

«ГЕНЕЗИС ФЕОДАЛИЗМА» И ГЕНЕЗИС МЕДИЕВИСТА

Злые мемуары в роли предисловия

Если бы было нужно найти общее название для целой серии моих монографий, написанных в разные годы, то, пожалуй, ни одно не подошло бы лучше, чем «К новому пониманию средневековья». Это заглавие выразило бы мое стремление пересмотреть устоявшиеся точки зрения и дать новые ответы на вопросы, поставленные перед историком как его специальностью, так и самой жизнью. Но под этим заголовком — «Pour un autre Moyen Age» уже существует книга Жака Ле Гоффа, преследующая точно такие же цели. Другое название, которое я охотно выбрал бы для данного тома, — «Бои за историю», ибо речь пойдет о тех коллизиях, которые переживала отечественная историческая наука и участником коих я был. Но и здесь французы меня давно обогнали! «Combats pour l'Histoire» — заглавие сборника статей Люсьена Февра, отстаивающего принципы «Новой исторической науки» («La Nouvelle Histoire»), как со сравнительно недавнего времени стали именовать это направление. Само собой разумеется, незачем использовать чужие названия, тем более, что наши бои за историю существенно отличались от тех, которые вели французские коллеги. Знакомясь с их мемуарами, я не могу удержаться от впечатления, что конфликты, в которые были вовлечены их авторы, за редкими исключениями (такими, как героическая смерть Марка Блока), слава Богу, не были столь же трагичными, как судьбы многих отечественных историков.

Среди полутора десятков опубликованных мною книг нет Золушек. С каждой из них связана память об определенном отрезке жизни и тех событиях, которые сопровождали их появление. Хотя часть их была создана двадцать и даже тридцать лет назад, я не склонен отказываться от того, что в них написано и как это выражено. Я, естественно, менялся и еще более менялись внешние обстоятельства, в которых приходилось работать, но все мною написанное было сформулировано так, как я в то время был способен это сделать.

И тем не менее, книга «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» занимает особое место среди моих интеллектуальных детищ. Именно работа над нею ознаменовала для меня определенный прорыв к новым горизонтам. Книга писалась во второй половине 60-х годов и вышла в свет в начале 1970 г. Я не перечитывал ее на протяжении четверти века и теперь, когда встал вопрос об ее переиздании, прочитал ее в свете накопленного за эти десятилетия опыта. Я не испытываю потребности что-либо изменить в ней или переписать какие-то ее части. Она принадлежит своему времени, когда все мы волей-неволей пользовались иными способами аргументации, нежели те, которые усвоили много позднее. Было бы нечестно отредактировать текст книги с тем, чтобы удалить из него ссылки на основоположников марксизма и общеупотребительные в тот период словесные коды. Я — сын своего времени, «шестидесятник», и ничто, свойственное тогдашней манере мыслить и говорить, не было мне чуждо.

«Книги имеют свою судьбу». Это древнее выражение всякий раз приходит мне на ум, когда я мысленно возвращаюсь к «Проблемам генезиса феодализма в Западной Европе» и к той научной и общественной ситуации, в которой она была создана. Мало этого, судьба этой книги во многом оказала влияние и на судьбу ее автора. Мне представляется нелишним вспомнить о событиях, предшествовавших ее написанию и сопутствовавших ее выходу в свет, потому что в них с большой ясностью проявилось общее состояние исторической науки целого периода нашей жизни. Это тот случай, когда личная судьба историка оказалась неразрывно связанной с более существенными процессами, которые происходили в духовной и общественной жизни нашей страны и в свою очередь уже стали достоянием истории, притом истории, к сожалению, мало знакомой нынешним поколениям. Именно последнее — неосведомленность молодежи, в частности начинающих гуманитариев, — побуждает меня поведать о конфликтах, в

обстановке которых приходилось в то время работать историкам. Я столкнулся с печальным, на мой взгляд, обстоятельством: кое-кто из молодежи не только ничего не знает об истории отечественной науки послевоенного периода, но и не проявляет к этому интереса. Но подобное незнание сравнительно недавнего прошлого, несомненно, опасно для настоящего и будущего.

Начать придется довольно издавна, с 40—60-х годов. Я учился на историческом факультете МГУ у ведущих профессоров кафедры истории европейского средневековья, ученых, формирование которых началось еще в предреволюционные годы. Они унаследовали лучшие качества российской интеллигенции. Не порывая с традицией отечественной исторической науки конца XIX — начала XX в. они, естественно, приобщились к марксизму, сделавшемуся после революции единственно допустимым мировоззрением. Высокий профессионализм и обширная эрудиция оставались их неотъемлемыми особенностями даже и в годы господства догматизма. Основной специальностью моих учителей Евгения Алексеевича Косминского и Александра Иосифовича Неусыхина была аграрная история средневекового Запада. В их школе начинающий историк мог приобрести умение внимательно анализировать исторические памятники.

Наши профессора были принуждены приноровить методы научного анализа к требованиям марксистской идеологии в ее ленинско-сталинском упрощенном виде, что, разумеется, не могло не ограничивать их научного кругозора. Главные проблемы их исследований — судьбы крестьянства при переходе к феодализму и в период его расцвета, развитие крупного землевладения, формы эксплуатации непосредственных производителей и их сопротивление гнету феодалов. При всей ограниченности этой тематики им удалось создать серьезные научные труды, соответствовавшие мировым стандартам исторической науки первой половины нашего столетия.

По мнению Жоржа Дюби, марксизм не был «интеллектуальным ошейником», сдерживавшим советских историков, и помогал им глубже проникнуть в сущность производственных отношений той эпохи. Можно ли согласиться с этим утверждением видного медиевиста, едва ли хорошо знакомого с трудами советских коллег? Я полагаю, что Дюби отчасти прав в том отношении, что углубленный интерес к особенностям способа производства открывал некоторые возможности для новых наблюдений и выводов, ибо марксизм, расширив перспективы изучения истории, дал мощные импульсы ученым разных стран и направлений; труды самого Дюби — наглядное тому доказательство. Но я убежден в том, что если бы уважаемый французский историк глубже погрузился в атмосферу советской исторической науки, он воздержался бы от этого утверждения. В медиевистику шли люди, старавшиеся по возможности минимизировать те огромные научные и нравственные издержки, которые были неизбежными для историков, занимавшихся более близкими по времени сюжетами. Но и оставаясь на поприще средневековой истории, советские медиевисты не могли не испытывать сильнейших ограничений в выборе тем своих исследований и в способах их разработки. Мало того, на протяжении десятилетий они были вынуждены работать в атмосфере политического террора и неусыпного идеологического контроля. Неизбежным следствием этого был страх, природу и глубину которого ныне трудно себе даже вообразить. Жизни этих людей в той или иной мере были исковерканы, и они не могли полностью реализовать себя как ученые и педагоги.

Тем не менее, подчеркну еще раз, до конца 40-х — начала 50-х годов в нашей медиевистике появлялись серьезные труды, в которых, несмотря на все наслоения, сохранялись академическая добросовестность и серьезность конкретных выводов. Залогом тому были лучшие интеллектуальные и нравственные качества части наших профессоров. Это были люди, приобщенные к философии и литературе, хорошо знавшие и чувствовавшие искусство, интеллектуалы, самая речь которых разительно

выделяла их среди университетской публики. Кафедра истории западноевропейского средневековья представляла собой своего рода оазис в том «овощехранилище», каким, по словам Е.А. Косминского, был исторический факультет, расположенный в ту пору на улице Герцена. Общение с нашими профессорами делало нас не только историками, но и людьми.

Затем наступила катастрофа. Выросло новое поколение преподавателей, среди которых было немало выскочек, лишенных научной честности своих предшественников. Эти люди полагались не столько на свои знания, сколько на партбилеты и были далеки от того, чтобы соотносить себя с поисками научной истины. Мыслили они идеологическими клише, равно прилагая их и к истории, и к текущей жизни. Воспитанные в духе теории об «обострении классовой борьбы» и всегда готовые видеть в оппоненте носителя «вражеской идеологии», они дожидались своего часа. В конце 40-х годов он пробил: по указанию «свыше» развернулась борьба против «буржуазного объективизма» и «безродного космополитизма». Идеологические «проработки» и административные погромы, которые охватили все области духовной жизни, имели явно выраженную антисемитскую направленность. Но цели, преследуемые участниками этих постыдных акций, и практические результаты, которых они добились, носили характер «внутривидовой» борьбы за существование и преуспевание. Поощряемые партийным руководством, «герои» этой борьбы начали энергично убирать со своей дороги собственных учителей и старших коллег с тем, чтобы захватить университетские кафедры и руководящие посты в академических учреждениях.

Я был свидетелем того, как происходил разгром всего лучшего, что существовало в нашей исторической науке. Приведу лишь немногие примеры расправы над «стариками». Во время одного из таких радений выступил некий доцент, которому было поручено подвергнуть уничтожающей критике видного ленинградского медиевиста профессора О.Л. Вайнштейна. «В своей методологически порочной книге о Столетней войне», — начал он, но был прерван криками аудитории: «Не Столетней!». — «Простите, в своей идейно вредной книге о Семилетней войне ...», — вновь крики: «Не Семилетней!» — «В книге о Тридцатилетней войне...». Оратор явно не удосужился ознакомиться с предметом своей «критики», — он попросту выполнял партийное задание, к тому же сознавая, что если он не будет топтать назначенную инстанциями жертву, то и сам сделается таковой.

На этом же заседании, неожиданно для всех нас, с критикой А.И. Неусыхина выступил его любимый ученик. Профессор вполне корректно, но и определенно ему возражал, и мы, несколько студентов и аспирантов, аплодировали ему. Во всем битком набитом зале А.И. Неусыхина поддержали только мы с женой и двое-трое наших друзей. Спонтанная реакция молодежи никак не входила в расчеты организаторов гонений, и через несколько дней было созвано новое собрание, специально посвященное поведению тех, кто осмелился аплодировать. Старый латинист возгласил, грозя мне пальцем: «Знаете ли, молодой человек, что с вами будет, если сообщить о вашем поступке куда следует?!». Это я знал, но я не знал другого: после того памятного заседания, когда наш профессор был предан своим учеником, он долго бродил по улицам, боясь вернуться домой, где, он был уверен, его уже поджидали люди из «органов». Нашего профессора не арестовали, он сохранил работу в университете, но от чтения общего курса истории средневековья 105105 был отстранен. Кафедры освобождались для новых людей с клыками, и с наукой было покончено.

Какое отношение имели подобные трагические события к моей будущей книге о генезисе феодализма? Мне представляется, самое непосредственное. Я и мои сверстники, только начиная входить в науку, получили памятный урок. Либо нужно

было писать стерильную историю, либо быть готовым к тому, что придется платить за каждую попытку приближения к истине. Либо нужно было учиться приспосабливаться к новой конъюнктуре и удушливой обстановке, воцарившейся в науке, как и в других областях интеллектуального творчества, либо вырабатывать в себе способность к противодействию идеологическому нажиму.

В эти годы я уже был аспирантом Института истории АН СССР и работал над кандидатской диссертацией, темой которой была история английского крестьянства в VII — начале XI в. Сюжет этот не был новым в историографии. С конца XIX столетия существовали, противоборствуя между собой, несколько теорий. Англичанин Ф. Сибом выдвинул в свое время идею, согласно которой средневековое английское поместье — мэнор вело начало от римской виллы, не претерпев за долгое время своей истории существенных изменений; сельская община, утверждал он, возникла в недрах мэнора. В противоположность Сибому П.Г. Виноградов, крупнейший русский медиевист на рубеже столетий, развивал взгляды на аграрную историю Англии, сочетавшие общинную теорию с вотчинной. По началу свободные собственники оказались, по мнению Виноградова, постепенно втянутыми в зависимость от крупных лордов, и над сельской общиной выросло феодальное поместье. Наконец, историк средневекового английского права Ф. Мэтленд, не без оснований скептически относившийся к широким обобщениям и стилизациям своих предшественников, продемонстрировал разнообразие типов вотчин (как он показал, вотчина могла вовсе не совпадать с деревней) и многозначность самого термина тапог. Проблема сельской общины занимала его гораздо меньше, поскольку в памятниках англосаксонского периода (до Норманнского завоевания 1066 г.) она почти вовсе не упоминается. Вдумываясь в содержание королевских дипломов, жалуемых монастырям, церковным учреждениям и служилым людям, Мэтленд пришел к выводу о том, что короли передавали под их власть не поместья с зависимыми людьми, а те права верховенства, которыми они пользовались по отношению к местному населению, — право сбора продуктов, необходимых для прокормления короля и его свиты во время посещения им данной местности, равно как и право присвоения судебных доходов и, следовательно, судебную власть. Иными словами, поместный строй возникал не только, а может быть, и не столько в результате процессов внутренней трансформации свободной общины (как полагал Виноградов), сколько в результате целенаправленной политики складывавшейся государственной власти, которая преследовала собственные политические и социальные цели («мэноры спускаются сверху», утверждал Мэтленд).

Передо мной стояла задача предложить свое решение этой запутанной проблемы, разумеется, осветив ее с марксистской точки зрения. Упорное противоборство с «буржуазной историографией» в конечном итоге привело меня к поражению: чем глубже я вгрызался в источники, тем более убеждался в правоте Мэтленда. Выводы, к которым я пришел, не согласовывались со взглядами, развиваемыми в советской медиевистике. А.И. Неусыхин и его школа придерживались общинной теории, унаследованной от немецких историков XIX в. и освященной авторитетом Маркса и Энгельса, которые видели в древней германской общине-марке осколок родового строя, сохранившийся в недрах феодальной общественной формации. Ниже, в книге о генезисе феодализма, изложены эти взгляды, и потому здесь незачем на них останавливаться. Но я хотел бы обратить внимание читателя на следующий историографический факт.

Точка зрения А.И. Неусыхина об изначальной родовой общине у германцев, переродившейся в соседскую, о внутреннем ее социально-экономическом разложении и о постепенном переходе во франкский период от коллективной собственности на землю к частной, эта точка зрения, развиваемая им в 40-е—60-е годы, находится в разительном противоречии с его концепцией, изложенной в

диссертации «Общественный строй древних германцев» (1929 г.). В этой книге молодой ученый утверждал, что у древних германцев уже существовала частная собственность на пахотную землю; проблема сельской общины в тот период его творчества совершенно А.И. Неусыхина не интересовала. Роль динамичного фактора в жизни германских племен и племенных союзов он отводил боевым дружинам германских королей; именно жажда приобретения новых богатств и плодородных земель толкала германский нобилитет на завоевание римских провинций. Эта ранняя книга А.И. Неусыхина незамедлительно подверглась нападкам со стороны ревнителей «чистоты» марксистской теории, уличавших его в следовании взглядам австрийского историка А. Допша и Д.М. Петрушевского — учителя А.И. Неусыхина. Непосредственным результатом этой критики было длительное молчание историка, а когда оно, наконец, было нарушено, перед нами выступил профессор, придерживавшийся уже совершенно новых взглядов по ряду принципиальных проблем истории начала средних веков. А.И. Неусыхин, насколько я знаю, никогда не упоминал книги «Общественный строй древних германцев» и ни разу не ссылаясь на нее в своих новых книгах и статьях. Я не способен объяснить пережитый им резкий перелом и высказаться относительно причин, по которым он не нашел возможным свести научные счета с самим собой.

Возвратимся к социальной истории англосаксонского периода. Изучение разного рода источников поставило меня перед комплексом новых проблем, с которыми поначалу мне трудно было совладать: они выпадали из поля зрения, очерченного нашей историографией. Пиршества и угощения, предоставлявшиеся населением своим предводителям, в то время еще не могли быть мною адекватно осмыслены, — они казались некоей экзотикой, которую трудно было включить в привычный круг вопросов социально-экономического развития.

Другой вопрос, над которым я ломал голову, — отношение крестьянина к возделываемой им земле. В англосаксонских памятниках весьма скупо упоминался институт *folcland'a* — категории земельных владений, противопоставлявшихся в законодательных текстах институту *bocland'a*. Бокланд, «земля, пожалованная по грамоте», создавался в результате раздачи королями церкви и служилым людям тех прав, о которых уже было сказано выше. Фолькланд же, «земля, которой владели по народному праву», оставался некоторой загадкой. Можно было предположить, что перед нами — более архаичная форма землевладения, но и только. Правда, в англосаксонских поэтических памятниках не раз встречается другой термин — *eðel*, но в силу того, что исследователи аграрных отношений привыкли не обращать особого внимания на произведения поэзии («Беовульф» и другие), оставляя их историкам литературы, в анализ этого понятия историки по существу не углублялись.

Мне пришлось в голову обратиться к изучению социальных отношений в тех странах Европы, в которых, как я предполагал, дольше держались старые германские традиции и, в частности, такие формы отношения к земле, которые уже невозможно было обнаружить в Англии или на континенте. Темой докторской диссертации я избрал общественный строй Норвегии в период, нашедший отражение в древнейших записях обычного права, в сагах и других источниках (эти тексты дошли до нас в записях XII—XIII вв., однако в них явно сохранились пласты, восходящие к более ранней стадии). Я не ошибся в своих ожиданиях. В древненорвежских и древнеисландских правовых и литературных памятниках вопрос об отношении человека к земле, которой он владел, получил самое широкое и детальное освещение, притом в разных аспектах. Основная форма земельной собственности — «одадь» (*odal*). Это было наследственное земельное владение семьи, переходившее из поколения в поколение и по сути дела неотчуждаемое. Понятие «одадь» предполагало вместе с тем определенный статус лиц, обладавших правами на эту землю. Норвежские бонды, земледельцы и скотоводы, были полноправны постольку,

поскольку владели наследственным одалем, но с неменьшим основанием можно было бы утверждать, что и одадь как бы владел ими, ибо единение индивида и семьи с земельным участком было настолько органичным и неразрывным, что право владения поэтизировалось. Институт одаля едва ли правомерно квалифицировать как частную собственность, ведь последняя предполагает отношение между субъектом и объектом владения, в то время как в данном случае субъект и объект сливались в неразрывное целое. Существуют поэтические тексты, в которых право индивида на отцовское земельное наследие обосновывается возведением его рода к далеким предкам, древним героям и даже к языческим божествам — асам. Создается впечатление, что право собственности на землю, с одной стороны, и поэзия и мифология, с другой, образовывали в сознании древних скандинавов нерасчленимое единство.

В древнескандинавских источниках максимально сближены (в том числе и в языковом отношении) понятия *oðal* и *aðal*: последний термин, обозначал благородство, полноправие и свободу. Не помогает ли это понять нам и древнеанглийские социальные отношения и институты земельной собственности, обозначенные генетически тождественным термином *oðal*? В свете этих наблюдений имело бы смысл возвратиться и к франкскому понятию «аллод». Записанные на континенте памятники права, к сожалению, скрывают от взора историка субъективное отношение человека к земельному владению. Здесь возникает куда более общий вопрос о том, в какой мере мы способны пробиться в латинских текстах к действительной картине мира, которая существовала в сознании людей, говоривших и мысливших в категориях своего родного языка.

Вопрос о пирах и угощениях, впервые вставший передо мной в ходе изучения англосаксонских памятников, приобрел всю свою значимость при знакомстве с древнескандинавскими источниками. Об этом подробно говорится в книге о генезисе феодализма. Пир — важнейшие узлы социальных связей и центральные моменты жизни традиционных обществ. При анализе сообщений о пиршественных сборищах мы вторгаемся в области религии и ритуала, суда и власти, социального поведения и человеческого самосознания. Вместе с тем прежде всего на пирах происходил обмен дарами — характернейшая форма коммуникации в обществах, которые оставались чуждыми товарному производству. Пир и подарки оказываются существенными компонентами генезиса феодальных отношений.

Для осмысления этой новой для медиевиста проблематики мне пришлось обратиться к трудам этнологов и антропологов, изучающих подобные институты у так называемых примитивных народов. Все это ставило Европу начала средних веков в иную историческую перспективу и побуждало меня задать источникам новые вопросы. Приходилось заново учиться, вторгаясь в соседние с историей дисциплины — культурную антропологию, социологию и социальную психологию, семиотику и историческую поэтику. Постепенно вырисовывался более общий вопрос о соотношении понятий «культура» и «общество». Становилось все более ясным, что их надлежит изучать не в отрыве друг от друга, но во внутреннем смысловом единстве. Следовательно, самое понятие «социальная история» должно было быть переработано таким образом, чтобы охватить это единство.

Иными словами, понятие «социальная история» нужно было насытить человеческим содержанием, какового оно было начисто лишено. Вместе с тем подобная постановка вопроса с неизбежностью предполагала пересмотр и самого понятия «культура». Привычное и казавшееся саморазумеющимся разделение на независимые специальности — «история интеллектуальной жизни» и «история социально-экономическая» — исчерпало себя и превратилось в препятствие для дальнейшего развития исследовательской мысли.

Соответственно широко раздвинулся круг чтения. Труды Макса Вебера, исследования этнологов и антропологов, датского историка Грёнбека, французов Мосса, Блока и Февра, голландца Хейзинги, наших соотечественников Карсавина, Бахтина, Лотмана сделались моими настольными книгами. Приходилось учиться и переучиваться.

Конец 50-х — 60-е годы были для меня временем переосмысления теоретических и гносеологических принципов исторического познания. Возрождение интеллектуальной жизни в нашей стране создало для этого определенные предпосылки. По необходимости оставаясь в русле марксистского мировоззрения, часть гуманитариев стремилась наполнить его новым содержанием, которое отвечало бы состоянию науки того времени. Я принял активное участие в дискуссиях о природе исторического знания, и если ныне многое из высказанного мною в тот период представляется мне недостаточно продуманным, то в любом случае нельзя отрицать, что теоретические дебаты явились для меня необходимой составной частью внутренней трансформации историка, все дальше уходившего из лона марксизма. Обсуждение наиболее общих вопросов исторического познания я никогда не отрывал от конкретных исследований в области: медиевистики, пытаюсь применить новые подходы к расшифровке посланий, пришедших из средних веков. Не показательно ли то, что одновременно с книгой о генезисе феодализма (отдельные ее разделы были опубликованы во второй половине 60-х годов) были завершены две монографии по социальной истории Норвегии, написаны книги «Походы викингов» и «История и сага» и начата работа над «Категориями средневековой культуры»? Все эти книги, по видимости посвященные разным темам, были внутренне связаны стремлением по-новому осмыслить культуру и общество средневековья.

Как мне кажется, общей особенностью книг и статей, написанных мною в 60-е годы (часть этих книг по не зависящим от меня причинам была опубликована позднее), было стремление противопоставить мою точку зрения закосневшим принципам официальной медиевистики, которая находилась после описанных выше драматичных событий конца 40-х — начала 50-х годов под контролем догматиков и людей, отгородившихся от мировой науки. Пожалуй, наиболее общей проблемой, по которой предстояло дать бой, была проблема феодализма, его природы и генезиса. Я отчетливо сознавал непродуктивность полемики с историками, которые не желали принять ничего нового, и хотел через их головы обратиться к студентам, к молодежи и вообще к тем, чьи умы были открыты для новых идей.

Так появилась книга «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе».

Если у меня и были известные сомнения в целесообразности нового издания книги, то по прочтении ее эти колебания исчезли. Прежде всего потому, что за время, отделяющее первое издание от второго, в нашей историографии не появилось почти никаких работ, в которых рассматривались бы предпосылки феодализма. Более того, тот напряженный интерес к изучению социально-экономической истории европейского средневековья, который был характерен для отечественной медиевистики с конца XIX в., иссяк в 60-е годы. Не возникло новой поросли историков, которые продолжили бы изыскания ученых старшего поколения. Мало этого, раннее средневековье вообще утрачено в качестве предмета исследования.

Вот почему я убежден в том, что книга и поныне сохранила свое значение. Главное же, что нужно подчеркнуть, — в ней поставлена проблема экономической антропологии, представляющей собой часть антропологии исторической. Такие темы, как отношение человека к земле, земельная собственность и ее специфика в древнегерманскую и раннесредневековую эпохи, особенности отношения к богатству, обмену и потреблению, рассматриваются в этой книге не в традиционной

манере экономической истории, а именно в качестве проблем антропологических. Это означает, что предметом исследования историка являются не абстракции типа «производство», «собственность», «рента» и т.п., но направленная на них человеческая активность, равно как и умонастроения, психологические и ценностные установки людей и обусловленные ими формы общественного поведения. Иными словами, труд, присвоение, потребление, торговля, обмен дарами оцениваются антропологически ориентированным историком в качестве содержания мыслей и чувств людей изучаемой эпохи, их религиозности, мифов и вообще всего комплекса символических систем.

В этом новом понятийном контексте вполне естественной и закономерной была попытка поставить проблему человеческого индивида и группы. Меня ни в коей мере не устраивал тот характерный для трудов моих предшественников подход к людям, образовавшим общество на заре средневековья, который привычно сводил их к функциям носителей социальных ролей. Я пришел к убеждению, что несмотря на всю ограниченность информации, содержащейся в латинских источниках, из них все же можно извлечь определенные данные об индивиде в его различных жизненных проявлениях. Но особенно богаты на этот счет скандинавские памятники, народный язык которых позволяет ближе подойти к пониманию человека той эпохи. Германец времен Тацита, франк периода записи «Салической правды», скандинав эпохи саг — отнюдь не безликие существа, всецело поглощенные родовыми или общинными коллективами и неукоснительно исполняющие отведенные им социальные роли, это — индивиды, которые, будучи включены в системы родства, вместе с тем обладают собственными характерами и полагаются прежде всего на свои силы. Главная этическая ценность, определяющая их поведение, — личное достоинство, честь, добрая слава.

Приходится признать, что со времени появления «Проблем генезиса феодализма» в указанном направлении в нашей историографии сделано немного.

Вместе с тем я отчетливо сознаю, что нынешний мой читатель, в особенности молодой, не обладает тем же жизненным и интеллектуальным опытом, что я и мои сверстники, и что поэтому ему было бы трудно, если вообще возможно, воспринять эту книгу точно так же, как ее восприняли в момент ее первого появления в свет. Вспоминаю, что когда я в 1966 г. прочитал в Новосибирском университете спецкурс, в основу которого легло содержание этой книги, одна студентка задала мне вопрос: «А вы пошли бы на костер за свои идеи?». Кострами, разумеется, не пахло, но неортодоксальная или попросту оригинально выраженная мысль имела в 60-е — 70-е годы взрывоопасные последствия. К тому же мы все тогда умели читать между строк и чутко воспринимать оттенки мысли, которая находилась не в ладах с официальной идеологией.

Обстановка в самом конце 60-х годов резко изменилась. Время Хрущева, которое можно охарактеризовать как период идеологического замешательства, было в высшей степени противоречивым: разоблачения культа Сталина и массовых репрессий на XX съезде КПСС сопровождалось кровавым подавлением освободительного движения в Венгрии, а попытки проведения реформ в нашей стране — нападками на творческую интеллигенцию (мы невесело шутили в те годы, что в энциклопедии будущего Хрущев будет назван «искусствоведом эпохи Мао»), Вспомним, что в 1964 г. состоялся судебный процесс над Иосифом Бродским, а двумя годами позже были осуждены А. Синявский и Ю. Даниэль. Тогда же имело место осуждение А.М. Некрича за книгу «1941, 22 июня»: сталинисты явно стремились взять реванш.

Но поворотным моментом в интеллектуальной жизни явилась советская интервенция в Чехословакию. После августа 1968 г. идеологические «гайки» все более закручивались, и я, подобно многим другим, вскоре испытал это на себе.

Книга о генезисе феодализма была уже написана, отдельные ее разделы опубликованы в виде статей. Одновременно я напечатал в «Вопросах истории», «Вопросах философии» и некоторых других изданиях статьи, посвященные методологии истории, — о природе исторической закономерности, об общественно-экономической формации, о социально-исторической психологии, о понятии «исторический факт», об особенностях исторического знания. В этих работах была выражена моя уверенность в необходимости выявления и демонстрации активной роли людей, участников исторического процесса, не подчиняющихся безоговорочно действию безликих общеисторических законов. Следуя мысли Макса Вебера об «идеальных типах», я подчеркивал, что «социальная формация» представляет собой идеологический конструкт, общее понятие, прилагаемое философами и социологами к многообразной общественной действительности; она обретается не на грешной земле, писал я, но в головах историков. Статьи мои имели определенный резонанс, но вместе с тем их идеи вызвали негативную реакцию, в одних случаях по идеологическим причинам, в других — в силу приверженности оппонентов устоявшейся традиции. Даже такой крупный и эрудированный медиевист, как А.Д. Люблинская, не сразу смогла принять мой тезис об огромной роли обмена дарами в варварском и средневековом обществах.

Что касается критики со стороны идеологических «ригористов», то достаточно вспомнить реплику А.Н. Чистозвонова, так прокомментировавшего мое заявление о том, что важность изучения исторической психологии уже подчеркивали такие ученые, как Й. Хейзинга и Р. Мандру: «Вы совершенно правы, утверждая, что не сказали ничего нового, — ведь проблемами социальной психологии занимаются эксперты Пентагона»...

Но то, скорее, были разрозненные эпизоды, и реакция перешла в наступление, собственно, лишь после августа 1968 г.

Весной 1969 г. на проводившейся в МГУ конференции по историографии с докладом выступил министр просвещения Российской Федерации АИ. Данилов. Подобно мне, он был учеником А.И. Неусыхина, но, в отличие от других, специализировался по модной тогда и, главное, беспроблемной теме «критика буржуазной историографии». Его докторская диссертация была посвящена немецкой медиевистике XIX в. В 1955 г. в сборнике «Средние века» он опубликовал инвективу против покойного Д.М. Петрушевского, в которой обвинил этого выдающегося ученого в антимарксизме, во враждебности строительству социализма — словом, во всех смертных грехах. Уже тогда мне пришлось в печати возражать Данилову и, в частности, подчеркнуть, что его нападки направлены на его собственного учителя. Тем не менее, наши отношения оставались корректными настолько, что в 1962 г. Данилов дал положительный отзыв на мою докторскую диссертацию. В то время он был ректором Томского университета, а несколько позднее был назначен министром просвещения.

Упомянутый доклад Данилова содержал в себе идеологический «разнос» ряда историков, в работах которых он усмотрел влияние структурализма. В понимании Данилова это было равнозначно проникновению буржуазной идеологии в марксистскую историографию и подлежало всяческому осуждению. Советская историческая наука на протяжении десятилетий была накрепко отгорожена от мировой, и наши попытки если не сломать, то по крайней мере расшатать этот барьер вдохновлялись стремлением избавиться от пагубной для нее изоляции. В этих условиях выступление Данилова имело вполне определенный зловещий смысл. Не приходится сомневаться, что роль блюстителя чистоты марксистских риз была

принята им на себя для достижения каких-то сугубо практических, карьеристских целей. Самое возмутительное во всей этой истории заключалось, на мой взгляд, в том, что предпринятая акция была рассчитана на внесение раскола в среду историков, причем Данилов хотел использовать поддержку наших учителей. Как мне впоследствии рассказал А.И. Неусыхин, Данилов пытался привлечь его к участию в прениях по своему докладу, но Александр Иосифович, разумеется, от этого уклонился, однако некоторые другие коллеги-медиевисты (С.Д. Сказкин, Е.В. Гутнова, А.Н. Чистозвонов) своими выступлениями поддержали докладчика. Критикуемые, и я в том числе, узнали об этой акции *post factum*. С содержанием же доклада нам удалось ознакомиться после того, как он был опубликован в главном теоретическом органе КПСС журнале «Коммунист».

Сложность моего положения состояла в том, что как раз в это время должен был быть расформирован сектор истории культуры Института философии АН СССР, в котором я в то время работал. Директор института, кстати, друг Данилова, уведомил меня о моем увольнении. Я прекрасно понимал, что с клеймом антимарксиста мне нигде не устроиться. Мало этого, в издательстве «Искусство» находилась рукопись моей книги «Категории средневековой культуры», а в издательстве «Высшая школа» — уже отредактированный текст «Проблем генезиса феодализма». Угроза того, что эти книги в создавшихся условиях не будут напечатаны, была вполне реальной. И действительно, в издательство «Искусство» звонили не то из Отдела науки ЦК КПСС, не то из Комитета по печати и запрашивали «для ознакомления» рукопись «Категорий». «Летальный исход» подобного «ознакомления» был совершенно очевиден, но редактор книги Е.С. Новик отвечала, что рукопись в производстве; на самом же деле она лежала в ее письменном столе.

Нужно было дать отпор нападкам Данилова, и я решил написать резкий ответ на его критику, который направил в редакцию «Коммуниста», секретарям ЦК КПСС, ведавшим идеологией, а также вице-президенту АН СССР А. М. Румянцеву. «С волками жить — по волчьи выть»: я в свою очередь обвинял Данилова в искажении и вульгаризации марксизма. Разумеется, я превосходно понимал, что мое письмо не будет опубликовано, но считал необходимым четко обозначить свою позицию и открыто заявить о ней. В положенный срок из редакции пришел ответ, гласивший, что журнал разделяет мнение Данилова и отклоняет мой текст. Казалось, вопрос исчерпан.

Однако месяца через два дело приняло неожиданный оборот. Заведующий редакцией философии в «Коммунисте» пригласил меня для беседы, из которой, несмотря на все обиняки, мне стало ясно, что журнал пытается дезавуировать статью Данилова и что делает он это по какому-то указанию «сверху». Беседа завершилась тем, что мне было предложено написать для журнала статью о возможностях применения методов структурализма в историческом исследовании. На это я возразил, что мне не до сочинения статьи (которую я никогда и не стал бы писать для такого издания), ибо меня увольняют из Института философии, и что я вижу прямую связь между этой акцией и публикацией доклада Данилова. Мой собеседник, по его словам, не предполагавший подобного поворота событий, заверил меня, что о происшедшем он сообщит «куда следует». И верно, вскоре мне позвонили из Отдела науки ЦК и сказали, что я буду принят на работу в Институт всеобщей истории АН. Я и до сих пор не имею представления о том, что произошло «под ковром», но такой исход дела меня вполне устроил: в 1950 г. после защиты кандидатской диссертации я не был оставлен в Институте истории и вообще не мог найти в Москве никакой работы, вследствие чего на протяжении более полутора десятков лет был вынужден преподавать в Педагогическом институте в Твери (тогдашнем Калинин), и лишь в 1966 г. мне удалось устроиться в Институт философии. Прибавлю, что меня дважды

пытались уволить и из Калининского пединститута, так что увольнение из Института философии я уже мог рассматривать как некую рутину. Превратности судьбы: понадобилось ослабить меня как ревизиониста-структуралиста для того, чтобы, наконец, пригласить в академический Институт истории...

С книгой же о генезисе феодализма произошло следующее. Заведующий редакцией в издательстве «Высшая школа» А.А. Антонов не был испуган статьей в «Коммунисте» и ограничился тем, что послал рукопись моей книги на дополнительные рецензии академику Н.И. Конраду и А.И. Неусыхину. Оба отзыва были вполне положительные. Николай Иосифович Конрад горячо поддержал мою книгу. Понимая остроту создавшейся ситуации, он сказал мне: «Я уже был зэком и теперь ничего не боюсь» (в свое время его арестовали как «японского шпиона», но затем освободили, так как нуждались в японисте). Что касается Александра Иосифовича Неусыхина, то он, не соглашаясь с концепцией моей книги и, в особенности, с критикой его взглядов, тем не менее считал необходимой ее публикацию. В начале 1970 г. «Проблемы генезиса феодализма» вышли в свет в качестве учебного пособия для студентов.

После всех вышеописанных событий гром не мог не грянуть. Данилов обратился к министру высшего образования с требованием принять меры против автора книги, идеи которой уже были осуждены «Коммунистом», и против лиц, допустивших ее публикацию. По указанию партийного комитета МГУ на начало мая было назначено обсуждение моей книги. В дискуссии намеревалось принять участие большое число историков и других гуманитариев, среди которых явно преобладали мои сторонники. Но в назначенный день на дверях помещения, в котором должно было происходить собрание, было вывешено объявление о том, что зал занят и заседание откладывается на неопределенный срок. Университетские власти решили не допустить свободной дискуссии и провести вместо нее закрытое заседание кафедр западноевропейского средневековья и древнерусской истории. Узнав о том, что на заседание будут допущены только члены обеих кафедр, я отказался принимать в нем участие, так как понимал, что в подобных условиях вместо научного обсуждения состоится идеологическая «проработка», а в отчете о дискуссии моя точка зрения не получит адекватного выражения. Так и произошло. Участники заседания осудили мою книгу как немарксистскую, мотивируя свою оценку тем, что я якобы преувеличиваю значимость межличных отношений при феодализме и недооцениваю роль экономики. То, что я при этом ссылаясь, в частности, на недвусмысленные оценки Маркса, ничуть не убеждало моих оппонентов, поскольку подобного Маркса они явно не знали. Вульгаризованная версия марксизма слишком прочно утвердилась в их сознании. Я писал о чрезвычайной сложности феномена, именуемого «феодализмом», — мои критики упрекали меня в том, что я вообще не знаю, что это такое. Впрочем, я не собираюсь пересказывать здесь всего того, за что подвергся нападкам со стороны членов обеих кафедр, — любопытствующие могут ознакомиться с материалами этой «дискуссии» в журнале «Вопросы истории» за 1970 г. Но одно обстоятельство нужно отметить. Открывая заседание, академик С.Д. Сказкин объявил, что предметом обсуждения является вопрос о том, пригодна ли немарксистская книга Гуревича в качестве учебного пособия для студентов. Ответ членов кафедр на этот вопрос был предопределен. Когда же в конце заседания кто-то из присутствующих робко намекнул на то, что нелишне бы обсудить вместе с тем и научное содержание книги, С.Д. Сказкин решительно заявил, что это не является целью настоящего собрания. Участники заседания рекомендовали Министерству высшего образования снять с книги гриф учебного пособия, что и было незамедлительно сделано.

С большой неохотой и даже болью упоминаю я в этой связи имя Сергея Даниловича Сказкина. В личном общении это был добродушный старик, которого

все любили и уважали. Но десятилетия террора и вызванного им страха сделали свое: в официальной обстановке и в окружении лиц, которые намеревались использовать его для достижения своих целей, это был совсем другой человек, неспособный противостоять их нажиму. Эта раздвоенность роковым образом сказалась и на его творчестве.

Но вернемся к книге, «отлученной» объединенными кафедрами. В тогдашних условиях официальные нападки на какое-либо издание служили ему лучшей рекомендацией. Вследствие осуждения книга немедленно стала популярной. Вскоре появились ее шведский и итальянский переводы.

Примерно в то же самое время было проведено опять-таки закрытое обсуждение моей книги в издательстве «Высшая школа» (без уведомления о нем автора), после чего заведующий редакцией А.А. Антонов был снят с работы. Я с благодарностью вспоминаю самоотверженную помощь, которую мне оказывали редакторы моих книг Е.С. Новик и А.А. Антонов, оберегавшие рукописи от «бдительных» идеологических надсмотрщиков; при этом они прекрасно понимали, чем рискуют.

Пожалуй, самое огорчительное в происшедшем заключалось в том, что в среду историков удалось внести раскол, а многие из моих коллег повели себя трусливо. Одному из них принадлежат слова: «Советские медиевисты так долго старались доказать, что они — марксисты, а Гуревич своей книгой все испортил, уронил марку медиевистики...». Другой мой коллега, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, посоветовал мне покаяться — «найти в книге три методологические ошибки», с тем чтобы удовлетворить начальство. Нет нужды объяснять, что капитулировать я не собирался.

Начальство между тем не питало на мой счет никаких иллюзий. В августе 1970 г. в Москве состоялся Международный Конгресс историков, и дирекция Института всеобщей истории позаботилась о том, чтобы в состав советской делегации не были включены два доктора исторических наук — А.М. Некрич, уже исключенный из КПСС за публикацию упомянутой выше книги, и я. Тем не менее я добился того, что выступил в прениях.

За все приходится расплачиваться. То, что меня ни до 1970 г., ни после этого (до конца 80-х) не выпускали за границу, не было моей отличительной особенностью. Куда более ощутимым было то, что меня не подпускали к студентам. На историческом факультете МГУ сменялись деканы и заведующие кафедрой истории средних веков, но за всю свою жизнь мне не довелось прочитать нашим студентам-историкам ни одной лекции. Это было возможно в почти пятидесяти университетах мира, но не в моей alma mater. В результате у меня практически не было учеников.

Поначалу я не вполне понимал, почему партийные и академические руководители так озабочены «делом Гуревича». Ведь в данном случае речь шла не о каких-то спорных проблемах истории современности, а о делах тысячелетней давности. Но вот что мне поведал, спустя много лет, тогдашний секретарь партийной организации Института всеобщей истории. В институт приехал секретарь Московского комитета КПСС по идеологии Ягодкин. В ходе беседы он спросил секретаря парткома, знает ли тот некоего Гуревича. «Да, он сотрудник нашего института». — «Будьте с ним осторожны: он думает». Вот в чем собака зарыта! «Их» идеал — ученый, не отваживающийся на самостоятельную мысль. Я вспоминаю, как в те же годы председатель редколлегии «Истории крестьянства» А.Р. Корсунский, серьезный медиевист, с которым до злополучной «проработки» «Генезиса феодализма» у меня были добрые отношения, при обсуждении одной из моих глав, написанных для этого издания, заявил: «Так не принято в советской исторической науке». Академик А.П. Окладников, по приглашению которого в 1966 г. я приезжал в Новосибирск для чтения спецкурса о генезисе феодализма, после осуждения моей

книги, выступая на заседании в возглавляемом им институте, вспомнил: слушая лекции Гуревича (на самом деле он на них и не появлялся), он все время «чувствовал, что что-то в них не то, но не мог уловить, что именно»; теперь же, по прочтении «Вопросов истории» с материалами обсуждения, у него открылись глаза. В действительности, случилось нечто иное — после оккупации Чехословакии в Новосибирском академгородке верх взяли такие силы, что многим моим коллегам пришлось оттуда уехать.

Раболепие отдельных ученых доходило до смешного. Один из них, придя на доклад сановного академического или партийного деятеля, старался усесться поближе к трибуне, и как только тот начинал свою речь, принимался усердно кивать ему в такт, демонстрируя полнейшее согласие не только с тем, что уже было сказано, но и со всем предстоящим. Станным образом этот «кивательный эффект» не наблюдался при выступлениях простых смертных. А ведь это был один из самых талантливых наших историков, имевший обыкновение «думать»...

Жаловались на цензуру, которая контролировала всякое печатное слово, и не напрасно жаловались, ибо освещение актуальных вопросов современности находилось под ее бдительным оком. Но трактовка особенностей исторического развития отдаленных эпох, в частности феодальных случаях бдительность проявляли начальники академических учреждений, гиперосторожные редакторы и коллеги. Главная же беда заключалась не в цензуре, а в самоцензуре. Автор думал не столько о читателях, сколько о том, как бы его не заподозрили в «ереси». Отсюда — стерильность мысли в столь многих трудах историков. «Суебливый конформизм» метко определил А.М. Некрич стиль поведения наших интеллектуалов.

Эти заметки и впрямь могут показаться злыми. Но что бы сказали иные из моих коллег, получи они возможность ознакомиться с рукописью «История историка», написанной по горячим следам событий: там я поведал куда больше о «подвигах» многих лиц, причастных к моему «делу».

Возвратимся, однако, к книге «Проблемы генезиса феодализма». Я хотел бы отметить, что содержащаяся в ней полемика направлена не только против догматических установок доморощенных марксистов. Когда я писал об односторонности сосредоточения внимания преимущественно на северофранцузской модели феодализма, то имел в виду и кое-кого из французских коллег, ибо для многих из них и по сей день характерно замыкание на истории одной страны или, несколько шире, на романизованной части Западной Европы, тогда как ее северные — германские регионы остаются как бы в тени. Я убежден в том, что роль варварских институтов в процессе формирования средневекового общественного уклада и культуры должна быть осмыслена заново. Соответственно, в моей книге речь идет скорее о германских, нежели о романских традициях.

Другой тезис, которому я придаю принципиальное значение, заключается в том, что в феодализме я склонен усматривать преимущественно, если не исключительно, западноевропейский феномен. На мой взгляд, он сложился в результате уникальной констелляции тенденций развития. Феодальный строй, как бы его ни истолковывать, представляет собой не какую-то фазу всемирно-исторического процесса, — он возник в силу сочетания специфических условий, порожденных столкновением варварского мира с миром позднеантичного Средиземноморья. Этот конфликт, давший импульс синтезу германского и романского начал, в конечном итоге породил условия для выхода западноевропейской цивилизации на исходе средневековья за пределы традиционного общественного уклада, за те пределы, в которых оставались все другие цивилизации.

В книге была уже отмечена расплывчатость и нечеткость понятия «феодализм», которым столь широко и, позволю себе сказать, даже беззаботно,

пользуются медиевисты. Еще более растяжимое и универсализирующее значение придают этому понятию философы и социологи. Между тем, здесь уместно напомнить, что термин *feodalite* был введен лишь по завершении той эпохи, которую он обозначает, введен юристами и теоретиками XVII—XVIII вв. и применялся ими к «Старому порядку» во Франции. Этим термином охватывалась группа явлений, которым придавалось определяющее значение при характеристике уходящего в прошлое социально-политического режима. Иными словами, понятие «феодализм» в высшей степени условно, и применение его к общественному строю Запада на протяжении целого тысячелетия не могло не грешить предельной стилизацией и неоправданной генерализацией. Исследованиями последних лет была с особой настойчивостью продемонстрирована крайняя релятивность понятий «феод» и «феодализм». В данном случае, как и во многих других, налицо реификация понятия, принятие научной абстракции за реально существовавший феномен.

Германцы, завоевавшие Западную Римскую империю, не были представителями «первобытно-общинного строя», как это продолжают утверждать наши учебники. Они были далеки как от ирокезской «первобытности» (см. Моргана и Энгельса), так и от пресловутой «общинности», которая заворожала столь многих историков давнего и недавнего времени. Для того, чтобы с максимальной четкостью разъяснить этот чрезвычайно важный момент, я в настоящем издании предпосылаю книге о феодализме очерк, посвященный социальным и экономическим структурам варваров. Этот раздел был опубликован в первом томе «Истории крестьянства в Европе. Эпоха феодализма» (1985 г.). Я придаю этому тексту особое значение еще и потому, что отечественными медиевистами явно недооценивается роль таких бурно развивающихся дисциплин, как археология и история древних поселений, для более глубокого понимания начального периода средневековья. Не показательны ли в этом отношении, что А.И. Неусыхин, который привлекал данные археологии в своей ранней книге «Общественный строй древних германцев» (т.е. тогда, когда эта наука еще не достигла столь значительных успехов как в послевоенный период), полностью игнорировал их в своих последующих трудах. Я вспоминаю о своей беседе с тем же А.И. Даниловым. Он утверждал, что для историка очень опасно использовать свидетельства археологии, поскольку он заимствует их «из вторых рук». Странная логика! Добросовестный археолог обнаруживает подлинные следы древних домов, полей, погребений и иные материальные остатки, тогда как сообщения античных авторов о германцах заведомо двусмысленны и не могут не внушать самых серьезных сомнений. В этом отказе принимать в расчет свидетельства археологии и истории поселений я вижу еще одну попытку отгородиться от прогресса науки, достигнутого во второй половине нашего столетия.

Монография «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» явилась поворотным моментом в моем развитии как историка. В ретроспективе я вижу, что в ней были заложены зародыши будущих моих исследований. Эта монография представляет собой первое звено того «семикнижья», посвященного разным аспектам культурной и социальной истории средневековой Европы, которое, помимо нее, включает в себя следующие работы: «Категории средневековой культуры», «Проблемы средневековой народной культуры», «Культура и общество средневековой Европы глазами современников», «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства», «Индивид в средневековой Европе» и «Проблемы исторического синтеза и Школа «Анналов»». Над этими книгами я работал в общей сложности более четверти века, и многие мои интерпретации за это время, естественно, изменялись, равно как и расширялся круг привлекаемых источников.

Широкую экспансию скандинавов, развернувшуюся в период между VIII и XI вв., справедливо считают второй волной варварских нашествий на Европу. Именно в

«эпоху викингов» Западу пришлось напрячь все свои силы для того, чтобы дать отпор этим нападениям, равно как и одновременным набегам арабов и мадьяр. Организация этого отпора ускорила феодальную перестройку западного общества. Поэтому мне представляется целесообразным и оправданным включить в настоящий том книгу «Походы викингов», первую, которую мне удалось опубликовать. Второе издание отделено от предыдущего тремя десятилетиями. Однако за это время накопление новых находок на скандинавском Севере не привело ученых к существенному пересмотру их выводов. Сжатый очерк истории викингов и разных аспектов их социального строя, культуры и быта, как мне кажется, должен органически включаться в общую картину раннесредневековой Европы.

Один из наименее разработанных аспектов истории скандинавов эпохи викингов — вопрос о причинах их экспансии. Проблема исторической причинности относится к числу труднейших. Привычные в нашей литературе ссылки на «разложение родового строя» на европейском Севере ничего не объясняют. Но немногим более убедительны упоминания о совершенствовании кораблей и мореходного дела или мнение о том, что вызванный нападениями арабов разрыв торговых связей на Средиземноморье (А. Пиренн) привел к возрастанию значимости этих связей на Балтийском и Северном морях. При обсуждении ситуации, в которой началась викингская экспансия, мне представляется необходимым обратить внимание на сдвиги, происшедшие в VIII — начале IX вв. в культуре и сознании скандинавов.

Август 1997г.

АГРАРНЫЙ СТРОЙ ВАРВАРОВ

Древние германцы

1. Предварительные замечания

Рассмотрение социально-экономического строя Поздней Римской империи, и в частности вопроса о предпосылках феодального развития в недрах переживавшего глубокий и всесторонний кризис рабовладельческого общества, заставило обратиться к изучению той силы, которая нанесла смертельный удар империи и тем самым расчистила путь для генезиса феодализма и феодально-зависимого крестьянства. Такой силой явились варвары. Вторжения германских племен, гуннов, венгров, других степных народов, а также славян, арабов, северных германцев-норманнов наполняют почти весь изучаемый нами период. Они привели к коренной перекройке этнической, лингвистической и политической карты Европы, к возникновению новых государственных образований. Невозможно понять начальный этап становления европейского крестьянства, не обратив самого пристального внимания на общественные и хозяйственные порядки, существовавшие у этих народов.

Как неоднократно подчеркивали Маркс и Энгельс (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20, с. 643; т. 3, с. 21, 22, 74 и др.), решающую роль в разрушении Римской империи сыграли германцы (при всей этнической неопределенности этого понятия, о чем см. ниже), поэтому представляется необходимым особенно подробно обрисовать их аграрные отношения. Целесообразность этого объясняется также и тем, что в научной литературе по вопросу о социально-экономическом строе германцев нет единодушия, и настоятельна потребность разобраться в существующих controverзах.

Процесс формирования крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе начался после завоевания варварами территории Римской империи. Главную роль в Великих переселениях играли германские племена. Поэтому изучение их социального строя — необходимая предпосылка анализа истории возникновения крестьянства. В какой мере можно говорить о том, что феодальное подчинение крестьян было подготовлено в века, предшествовавшие завоеваниям? Имелись ли какие-либо зародыши раннефеодальной системы у германцев? Как надлежит понимать преемственность между этими двумя этапами истории Европы — до и после варварских вторжений и переселений? Эти вопросы оживленно дебатировались на протяжении двух последних столетий развития исторического знания. Не вдаваясь здесь в рассмотрение споров между «романистами» и «германистами», необходимо подчеркнуть, что, оставляя в стороне политические, национальные и философско-идеологические причины противоборства школ историков, существенную трудность для познания общественно-экономических отношений у германцев представляло состояние источников. Историкам приходилось строить свои заключения на сообщениях греко-римских писателей, но содержащаяся в их сочинениях информация отрывочна, крайне неполна, тенденциозна и дает основания для неоднозначного и даже предельно противоречивого истолкования.

В самом деле, общественный строй германцев историки разных направлений характеризовали и как первобытное равенство, и как господство аристократии и крупного землевладения, эксплуатировавшего труд подневольных крестьян. Экономический быт германцев понимали то как номадизм, то как переходную стадию от кочевничества к примитивному земледелию, то как «кочевое земледелие», то как переложное земледелие при преобладании скотоводства, наконец как развитое земледельческое хозяйство (Weber, 1924). Ожесточенные споры вызывал и вопрос об общине: если одни историки находили в древней Германии общиннородовой быт и видели в ней колыбель средневекового маркового устройства, то другие, отрицая любые намеки на подобное устройство, утверждали, что германцы знали частную

собственность на землю. Теории, согласно которой германцы явились силой, разрушившей Римскую империю и обновившей Европу, противопоставлялась теория, отрицавшая какую бы то ни было катастрофу при переходе от древности к средневековью: германцы якобы постепенно проникли в империю и приобщились к ее цивилизации, близкой к их собственным социальным порядкам (Dopsch, 1923; Koehne, 1928; Kulturbruch oder Kulturkontinuitat..., 1968).

Такая полярность суждений об одном и том же предмете поневоле заставляет призадуматься: существует ли надежда получить сколько-нибудь объективное знание об этом предмете? Ведь сторонники взаимно исключавших точек зрения привлекали все тот же фонд источников — неужели состояние последних настолько безнадежно, что и впредь будет давать основания для прямо противоположных заключений?!

Поэтому очерк аграрного строя древних германцев приходится начинать с рассмотрения вопроса о памятниках, в которых он нашел свое отражение.

Как уже сказано, историки в своих суждениях традиционно исходили из анализа сообщений античных писателей. Эти письменные свидетельства появляются с тех пор, как представители античной цивилизации вступили в контакты с германскими варварами. Но отношения с варварами были по преимуществу немирными: Рим то оборонялся от германских вторжений, то вел против них наступательные войны; военные действия перемежались переговорами и обменом посольствами. В Германии побывали полководцы и воины, купцы и должностные лица, все они смотрели на ее население и его быт настороженно или просто враждебно. Строй жизни народов, живших за Рейном и Дунаем, неизменно виделся в противостоянии строю римской жизни.

Первое крупное столкновение между Римом и германцами — вторжение кимбров и тевтонов, которые около 113 г. до н.э. двинулись из Ютландии в южном направлении и в 102 и 101 г. до н.э. были разгромлены Марием. Правда, не существует достоверных сведений о том, что эти племена вообще были германцами, древние авторы именовали их «кельтами» или «кельто-скифами», и к германцам впервые их причислил лишь Цезарь.

Цезарь, который в ходе завоевания Галлии в середине I в. до н.э. вступил в более интенсивные отношения с германским племенем свевов, вторгшимся в эту страну, оставил довольно пространное описание германцев (два «германских экскурса» в «Записках о Галльской войне»). Но, конечно, Цезарь, политический деятель и полководец, был весьма далек от намерения собрать объективную информацию о свевах в чисто познавательных целях — он заботился и об оправдании и превознесении собственных действий в Галлии. Разгром свевов, огромные массы которых перешли Рейн и захватили часть земель галлов, был нелегким делом даже для такого военачальника. Экскурс о свевах в IV книге его «Записок» входил в донесения римскому сенату: «германский экскурс» в VI книге, независимо от того, был ли он присоединен Цезарем при окончательной работе над этим сочинением или же возник вместе со всеми остальными комментариями, также отнюдь не чужд тенденциозности в отборе и истолковании материала. Хотя Цезарь форсировал Рейн, в глубь Германии он не заходил, и сообщаемые им сведения могли быть почерпнуты лишь у прирейнских племен или у германцев, переселившихся в Галлию. Это не помешало Цезарю распространить сделанные им локальные наблюдения на германцев в целом.

Приблизительно полтора столетия спустя, в самом конце I и начале II в. н.э., о германцах писал Тацит: помимо повествования о войнах и переговорах римлян с разными германскими племенами (в «Историях» и «Анналах») он сочинил книгу «О происхождении и местожительстве германцев» (более известную под названием «Германия»), содержащую разнообразные сведения о них. Частью они были собраны у очевидцев — воинов и купцов, но немалую долю сведений Тацит позаимствовал у

других авторов, и, следовательно, эта информация могла уже устареть ко времени составления его труда.

Кроме произведений Цезаря и Тацита — «коронных свидетельств» о германцах, сообщения о них сохранились в трудах Страбона, Веллея Патеркула, Гая Плиния Старшего, Плутарха, Флора, Аппиана, Диона Кассия и других древних авторов; события более позднего времени рисуются в «Истории» Аммиана Марцеллина (IV в.).

Значительная часть письменных известий о германцах не принадлежит очевидцам. Но и в тех случаях, когда автор повествования непосредственно общался с ними, подобно Цезарю, достоверность его сообщений подчас вызывает самые серьезные сомнения. Северные варвары были чужды грекам и римлянам и по языку, и по культуре, по всему строю своей жизни — они были выходцами из иного мира, который пугал и настораживал. Иногда этот мир внушал и другие чувства, например чувство ностальгии по утраченной чистоте и простоте нравов, и тогда описание германских порядков служило, как у Тацита, средством косвенной морализаторской критики римской пресыщенности и испорченности — у древних авторов существовала давняя традиция восприятия «примитивного человека», не испорченного цивилизацией, и связанные с нею штампы они переносили на германцев. В этих условиях сообщения античной этнографии и анналистики о жителях заальпийской Европы неизбежно окрашивались в специфические тона. Читая эти сочинения, сталкиваешься в первую очередь с идеологией и психологией их авторов, с их представлениями о варварах, в большой степени априорными и предвзятыми, и вычленишь из такого рода текстов реальные факты жизни германцев крайне трудно. Сочинения античных писателей характеризуют прежде всего культуру самого Рима, культура же германцев выступает в них сильнейшим образом преломленной и деформированной взглядами и навыками мышления столкнувшихся с нею носителей совершенно иной культурной традиции. Варварский быт служил античным писателям своего рода экраном, на который они проецировали собственные идеи и утопии, и все заслуживающие доверия фактические сведения в их сочинениях надлежит оценивать в именно этом идеологическом контексте. Трудности, встающие перед исследователем, заключаются не столько в том, что сообщаются неверные сведения о варварах — они могут быть правильными, но оценка их значения, их компоновка в общей картине, рисуемой античным писателем, всецело определяются установками автора.

Не отсюда ли обилие научных контроверз в интерпретации данных о германцах, оставленных греко-римской историографией? Историческая и филологическая критика давно уже продемонстрировала, на какой шаткой и неверной основе строится картина германского общественного и хозяйственного устройства (Norden, 1923; Much, 1967). Однако отказаться от привлечения показаний Цезаря и Тацита в качестве главных свидетельств о материальной жизни германцев историки не решались до тех пор, пока не сложился и не приобрел достаточной доказательности комплекс других источников, в меньшей мере подверженных произвольному или субъективному толкованию, — данных археологии и связанных с нею новых дисциплин. При этом речь идет не о накоплении разрозненных вещественных находок (сами по себе они фигурировали в научном обороте давно, но не могли сколько-нибудь серьезно изменить картины древнегерманской жизни, сложившейся на основе письменных свидетельств; см.: Неусыхин. Общественный строй..., 1929, с. 3 и сл.), а о внедрении в науку более точной и объективной методики исследования.

В результате комплексных археологических исследований с привлечением картографирования, климатологии, почвоведения, палеоботаники, радиоуглеродного анализа, аэрофотосъемки и иных относительно объективных новых методов, в

особенности же в результате успехов в археологии поселений (*Siedlungsarchaologie*. См.: Jankuhn, *Einführung*., 1977), перед наукой в настоящее время открылись перспективы, о которых еще недавно даже и не помышляли. Центр тяжести в обсуждении древнегерманского материального быта явственно переместился в сферу археологии, и в свете собранного ею и обработанного материала неизбежно приходится пересматривать и вопрос о значимости письменных свидетельств о германских племенах. Если ряд высказываний римских писателей, прежде всего Тацита, высказываний о явлениях, которые легко распознавались даже при поверхностном знакомстве с бытом германцев, находит археологическое подтверждение (Jankuhn, 1966), то наиболее важные их сообщения о социально-хозяйственной жизни в древней Германии оказываются, как мы далее увидим, в разительном контрасте с новыми данными о полях, поселениях, погребениях и культуре народов заальпийской Европы в первые века нашего летосчисления, данными, многократно подтвержденными и, несомненно, репрезентативными, лишенными элемента случайности.

Само собой разумеется, археология не в состоянии ответить на многие из вопросов, которые волнуют историка, и сфера ее компетенции должна быть очерчена со всею определенностью. Нам еще предстоит обратиться к этой проблеме. Но сейчас важно вновь подчеркнуть первостепенную значимость недавних археологических открытий в отношении хозяйства германцев: обнаружение остатков поселений и следов древних полей коренным образом меняет всю картину материальной жизни Средней и Северной Европы на рубеже н.э. и в первые ее столетия. Есть основания утверждать, что упомянутые находки аграрного характера кладут конец длительным и продемонстрировавшим свою бесплодность спорам, связанным с истолкованием высказываний Цезаря и Тацита о германском земледелии и землепользовании — лишь в свете реконструкции полей и поселений становится вполне ясным, что эти высказывания не имеют под собой реальных оснований. Таким образом, если еще сравнительно недавно казалось, что археология может послужить только известным дополнением к анализу литературных текстов, то ныне более или менее ясно, что этим ее роль отнюдь не исчерпывается: самым серьезным образом под сомнение поставлены ключевые цитаты из «Германии» и «Записок о Галльской войне», касающиеся аграрного строя германцев, — они представляются продуктами риторики или политической спекуляции в большей мере, нежели отражением действительного положения дел, и дальнейшие попытки их толкования кажутся беспредметными.

И все же затруднение, которое испытывает исследователь древнегерманского общества, остается: он не может игнорировать сообщений античных авторов о социальной и политической жизни германцев, тем более что археологические находки дают куда меньше данных на этот счет, нежели об их материальной жизни. Но здесь приходится учитывать еще одно обстоятельство.

Интерпретация текстов античных авторов осложняется, помимо прочего, еще и тем, что они характеризовали германские отношения в категориях римской действительности и передавали понятия, присущие варварам, на латинском языке. Никакой иной системой понятий и терминов римляне, естественно, не располагали, и возникает вопрос: не подвергалась ли социальная и культурная жизнь германцев — в изображении ее латинскими писателями — существенной деформации уже потому, что последние прилагали к германским институтам лексику, не способную адекватно выразить их специфику? Что означали в реальной жизни варваров *rex*, *dux*, *magistratus*, *princeps*? Как сами германцы понимали тот комплекс поведения, который Тацит называет *virtus*? Каково было действительное содержание понятий *nobilitas* или *dignatio* применительно к германцам? Кто такие германские *servi*? Что скрывалось за терминами *pagus*, *civitas*, *oppidum*? Подобные вопросы возникают на

каждом шагу при чтении «Записок» Цезаря и «Германии» Тацита, и точного, однозначного ответа на них нет. Комментаторы этих сочинений нередко указывают на германские термины, которые, по их мнению, должны были обозначать соответствующие явления реальной жизни (Much, 1967; Wühler, 1959), однако термины эти зафиксированы много столетий спустя, содержатся в северогерманских, преимущественно скандинавских, средневековых текстах, и привлечение их для истолкования древнегерманского социального строя подчас рискованно. В отдельных случаях обращение к германской лексике кажется оправданным — не для того, чтобы подставить в латинское сочинение какие-либо готские или древнеисландские слова, но с целью прояснить возможный смысл понятий, скрытых латинской терминологией.

Во всяком случае, осознание трудностей, порождаемых необходимостью перевода — не только чисто филологического, но и перехода из одной системы социокультурных понятий и представлений в другую, — помогло бы точнее оценить античные письменные свидетельства о древних германцах.

Археология заставила по-новому подойти и к проблеме этногенеза германцев. «Germani» — не самоназвание, ибо разные племена именовали себя по-разному. Античные авторы применяли термин «германцы» для обозначения группы народов, живших севернее Альп и восточнее Рейна. С точки зрения греческих и римских писателей, это племена, которые расположены между кельтами на западе и сарматами на востоке. Слабое знание их быта и культуры, почти полное незнание с их языком и обычаями делали невозможным для соседей германцев дать им этническую характеристику, которая обладала бы какими-либо позитивными отличительными признаками. Первые определенные археологические свидетельства о германцах не ранее середины I тысячелетия до н.э., и лишь тогда «германцы» становятся археологически ощутимы, но и в это время нельзя всю территорию позднейшего расселения германцев рассматривать как некое археологическое единство (Монгайт, 1974, с. 325; ср.: Die Germanen, 1978, S. 55 ff.). Мало того, ряд племен, которых древние относили к германцам, по-видимому, таковыми или вовсе не являлись, или же представляли собой смешанное кельто-германское население. В качестве своеобразной реакции на прежнюю националистическую тенденцию возводить происхождение германцев к глубокой древности и проследить их непрерывное автохтонное развитие начиная с мезолита ныне раздаются голоса ученых о неопределенности этнических границ, отделявших германцев от других народов. Резюмируя связанные с проблемой германского этногенеза трудности, видный немецкий археолог вопрошает: «Существовали ли вообще германцы?» (Nachmann, 1971, S. 31; Ср.: Dobler, 1975).

В целом можно заключить, что вместе с уточнением исследовательской методики и переоценкой разных категорий источников наши знания о социально-экономическом строе германцев одновременно и расширились, и сузились: расширились благодаря археологическим открытиям, которые дали новые сведения, до недавнего времени вообще не доступные, в результате чего вся картина хозяйства германцев выступает в ином свете, нежели прежде; сузились же наши знания о социальной структуре древних германцев вследствие того, что скептицизм по отношению к письменным свидетельствам античных авторов стал перерастать в полное недоверие к ним — его источником явились, с одной стороны, более ясное понимание обусловленности их сообщений римской культурой и идеологией, а с другой — ставшие очевидными в свете находок археологов ошибочность или произвольность многих важнейших известий римских писателей.

2. Хозяйство

Характеристика экономического строя древних германцев в представлении историков разных школ и направлений, как уже упоминалось, была предельно противоречива: от первобытного кочевого быта до развитого хлебопашества. Сторонники номадной теории полагали, что в период, разделяющий «Записки» Цезаря и «Германию» Тацита, германцы переходили от кочевого быта к оседлости и начаткам земледелия. Однако постепенно наука отказалась от номадной теории — слишком уж бросались в глаза не согласующиеся с такими оценками указания Тацита и даже Цезаря¹. Цезарь, застав свевов во время их переселения, достаточно определенно говорит: свевов привлекали плодородные пахотные земли Галлии (De bell. Gall., I, 31); приводимые им слова вождя свевов Ариовиста о том, что его народ на протяжении 14 лет не имел крова над головой (De bell. Gall., I, 36), свидетельствует скорее о нарушении привычного образа жизни германцев, который в нормальных условиях, видимо, был оседлым. И действительно, расселившись в Галлии, свевы отняли у ее жителей треть земель, а затем заявили притязания на вторую треть (De bell. Gall., I, 31; ср.: I, 44; IV, 7). Слова Цезаря о том, что германцы «не усердствуют в обработке земли» (De bell. Gall., VI, 22, 29), невозможно понимать так, что земледелие им вообще чуждо, — попросту культура земледелия в Германии уступала культуре земледелия в Италии, Галлии и других частях Римского государства.

Хрестоматийно известное высказывание Цезаря о свевах: «Земля у них не разделена и не находится в частной собственности, и им нельзя более года оставаться на одном и том же месте для возделывания земли» (De bell. Gall., IV, 1), — ряд исследователей склонны были толковать таким образом, что римский полководец столкнулся с этим племенем в период завоевания им чужой территории и что военно-переселенческое движение огромных масс населения создало исключительную ситуацию, которая с необходимостью привела к существенному «искажению» их традиционного земледельческого уклада жизни². Не менее широко известны слова Тацита: «Они каждый год меняют пашню и [все-таки] еще остается [свободное] поле» (Germ., 26). В этих словах Допш усматривал свидетельство существования у германцев переложной системы землепользования (Feldgraswirtschaft), при которой пашню приходилось систематически забрасывать для того, чтобы почва, истощенная экстенсивной обработкой, могла восстановить свое плодородие (Dopsch, 1923, S. 71 f.). Возможно, слова «et superest ager» означали и другое: автор имел в виду обширность незанятых под поселение и необработанных пространств в Германии.

Аргументом против теории кочевого быта германцев служили и описания античными авторами природы Германии. Если страна представляла собой либо нескончаемый девственный лес, либо была заболочена (Germ., 5), то для кочевого скотоводства попросту не оставалось места. Правда, более пристальное чтение повествований Тацита о войнах римских полководцев в Германии показывает, что леса использовались ее жителями не для поселения, но в качестве убежищ, где они прятали свой скarb и свои семьи при приближении противника, а также для засад, откуда они внезапно нападали на римские легионы, не приученные к войне в подобных условиях. Селились же германцы на полянах, на опушке леса, близ ручьев и рек (Germ., 16), а не в лесной чаще.

¹ Подробный анализ этих высказываний античных авторов см. в кн.: *Неусыхин. Общественный строй...*, 1929, ч. I, гл. 3.

² *Weber*, 1924; *Dopsch*, 1923, S. 60 f.; ср.: *Hoops*, 1905, S. 511 ff, 53 Iff. См. также: *Неусыхин. Общественный строй...*, 1929, с. 63 и сл. Деформация эта выразилась, по Допшу, в том, что война породила у свевов «государственный социализм» — отказ их от частной собственности на землю. Д.М. Петрушевский говорит в этой связи о «военном коммунизме» у свевов (*Петрушевский*, 1928, с. 142).

Следовательно, территория Германии в начале нашей эры не была сплошь покрыта первобытным лесом, и сам Тацит, рисуя весьма стилизованную картину ее природы, тут же признает, что страна «плодородна для посевов», хотя «и не годится для разведения фруктовых деревьев» (Germ., 5). В свое время Р. Градман выдвинул теорию, согласно которой на пространствах Германии в интересующую нас эпоху перемежались леса и степи (Gradmann, 1901; ср.: Hoops, 1905; Much, 1928), — эта теория, видимо, должна была объяснить сочетание в хозяйстве германцев скотоводства с земледелием (оценку этой теории см.: Jager, 1963, S. 90—143). При этом предполагалось, что ландшафт Германии существенно не изменялся вплоть до внутренней колонизации XII и XIII вв. и что сельскохозяйственные поселения оставались на протяжении всей этой более чем тысячелетней эпохи на тех самых местах, где они были расположены на рубеже новой эры, — предположения, оказавшиеся при проверке археологами и палеоботаниками неосновательными; во-первых, средневропейский ландшафт менялся под воздействием человека уже в древнегерманскую эпоху, знакомую, в частности, и с расчистками лесных пространств под пашню; во-вторых, в тех случаях, когда найдены следы древних поселений, они прерываются в период Великих переселений народов, и новые деревни и хутора возникали на новых местах (Jankuhn. *Archäologie...*, 1976, S. 245 f.; Jankuhn, 1969, S. 22 ff., 134).

Археология поселений, инвентаризация и картография находок вещей и погребений, данные палеоботаники, изучение почв показали, что поселения на территории древней Германии распределялись крайне неравномерно, обособленными анклавами, разделенными более или менее обширными «пустотами». Эти незаселенные пространства в ту эпоху были сплошь лесными. Ландшафт Центральной Европы в первые века нашей эры был не лесостепным, а преимущественно лесным (Jankuhn. «*Terra*...», 1976, S. 149 ff.). Поля близ разобщенных между собой поселений были небольшими — места человеческого обитания окружал лес, хотя частично он уже был разрежен или вовсе сведен производственной деятельностью (Jankuhn, 1966, S. 411—426). Вообще необходимо подчеркнуть, что старое представление о враждебности древнего леса человеку, хозяйственная жизнь которого якобы могла разворачиваться исключительно вне лесов (Неусыхин. *Общественный строй*. 1929, с. 48—54), не получило поддержки в современной науке. Напротив, эта хозяйственная жизнь находила в лесах свои существенные предпосылки и условия (*Handbuch der deutschen Wirtschafts...*, 1971, S. 68; Gebhardt, 1970, S. 70-72; Trier, 1952). Мнение об отрицательной роли леса в жизни германцев диктовалось доверием историков к утверждению Тацита о том, что у них якобы мало железа (Germ., 6). Отсюда следовало, что они бессильны перед природой и не могут оказывать активного воздействия ни на окружающие их леса, ни на почву. Однако Тацит в данном случае заблуждался. Археологические находки свидетельствуют о распространенности у германцев железодобывающего промысла, который давал им орудия, необходимые для расчистки лесов и вспашки почв, также как и оружие (Much, 1967, 5.128 ff., 131, 143, 445, 477; *Handbuch der deutschen Wirtschafts...*, 1971, S. 28 f). Предположение Р. Муха о том, что упоминаемое Тацитом имя соседей лангобардов *Reudingi* (Germ., 40) происходит от германского слова «*reudan*» — «корчевать», «расчищать», представляется правдоподобным, так как расчистки лесных площадей под пашню имели место, как теперь установлено, уже в последние столетия до начала нашего летосчисления и сделали возможным переход населения с легких почв на более тяжелые (Much, 1967, S. 444f.; Jankuhn. *Archäologie...*, 1976, S. 10, 16; Christensen, 1969, S. 60).

Одновременно с расчистками лесов под пашню нередко оставлялись старые поселения по причинам, которые трудно установить. Возможно, перемещение населения на новые места вызывалось климатическими изменениями (около начала

новой эры в Центральной и Северной Европе произошло некоторое похолодание), но не исключено и другое объяснение: поиски лучших почв³.

Необходимо вместе с тем не упускать из виду и социальные причины оставления жителями своих поселков — войны, вторжения, внутренние неурядицы. Так, конец поселения в местности Ходде (Западная Ютландия) ознаменовался пожаром (Hvass, 1975, S. 75—85). Почти все деревни, открытые археологами на островах Эланд и Готланд, погибли от пожара в эпоху Великих переселений (Jankuhn, Tüppel, 1977, S. 230). Пожары эти — возможно, результат неизвестных нам политических событий.

Изучение обнаруженных на территории Ютландии следов полей, которые возделывались в древности, показало, что поля эти располагались преимущественно на местах, расчищенных из-под леса (Jankuhn. *Archäologie*., 1976, S. 87). Во многих районах расселения германских народов применялся легкий плуг или соха (*ard*) — орудие, не переворачивавшее пласта почвы (видимо, такое пашенное орудие запечатлено и на наскальных изображениях Скандинавии эпохи бронзы: его везет упряжка волов. См.: Glob, *Ard*., 1951; Adamav. *Scheltema*, 1964, S. 466, fig. 5). В северных частях континента в последние века до начала н.э. появляется тяжелый плуг с отвалом и лемехом (Bishop, 1936, p. 274 f.; Steensberg, 1936, p. 244—280; Curwen, Hart, 1953, p. 61 ff.; RL, I, S. 42 ff.); подобный плуг был существенным условием для подъема глинистых почв, и внедрение его в сельское хозяйство расценивается в научной литературе как революционное новшество, свидетельствующее о важном шаге на пути интенсификации земледелия.

Климатические изменения (понижение среднегодовой температуры) привели к необходимости постройки более постоянных жилищ. В домах этого периода (они лучше изучены в северных районах расселения германских народов, во Фрисландии, Нижней Германии, в Норвегии, на о-ве Готланд и в меньшей степени в Средней Европе⁴) наряду с помещениями для жилья располагались стойла для зимнего содержания домашних животных. Эти так называемые длинные дома (от 10 до 30 м в длину при 4—7 м в ширину) принадлежали прочно оседлому населению. Константность поселений, однако, не следует понимать в духе теории Градмана, предполагавшего непрерывную преемственность мест проживания начиная с неолита. В то время как в доримский железный век население занимало под обработку легкие почвы, начиная с последних столетий до н.э. оно стало переходить на более тяжелые почвы. Такой переход стал возможным вследствие распространения железных орудий и связанного с ним прогресса в обработке земли, расчистке лесов и в строительном деле.

Типичной «исходной» формой германских поселений, по единодушному утверждению современных специалистов, были хутора, состоявшие из нескольких домов, или отдельные усадьбы. Они представляли собой небольшие «ядра», которые постепенно разрастались. Примером может служить поселок Эзинге близ Гронингена. На месте первоначального двора здесь выросла небольшая деревушка.

³ На территории Ютландии обнаружены следы полей, которые датируются периодом начиная с середины I тысячелетия до н.э. и вплоть до IV в. н.э. Такие поля находились под обработкой на протяжении нескольких поколений (подробнее см. ниже). По мнению датского археолога П. Глоба, земли эти были в конце концов заброшены вследствие выщелачивания почвы, что приводило к болезням и падежу скота. Глоб высказывает предположение, что переселение кимбров и тевтонов из Ютландии в римские пределы было вызвано именно этими обстоятельствами (*Glob, Jyllands*., 1951, S. 136—144).

⁴ Распределение находок поселений на территории, занимаемой германскими народами, — крайне неравномерное. Как правило, эти находки обнаружены в северной части германского ареала, что объясняется благоприятными условиями сохранности материальных остатков в приморских районах Нижней Германии и Нидерландов, а также в Ютландии и на островах Балтийского моря — в южных областях Германии подобные условия отсутствовали.

Она возникла на невысокой искусственной насыпи, возведенной жителями для того, чтобы избежать угрозы наводнения, — такие «жилые холмы» (Terpen, Warfen, Wiirten, Wierden) насыпались и из поколения в поколение восстанавливались в приморской зоне Фрисландии и Нижней Германии, которая привлекала население лугами, благоприятствовавшими разведению скота (Монгайт, 1974, с. 332). Под многочисленными слоями земли и навоза, которые спрессовывались на протяжении веков, хорошо сохранились остатки деревянных жилищ и различные предметы. «Длинные дома» в Эзинге имели как помещения с очагом, предназначенные для жилья, так и стойла для скота. На следующей стадии поселение увеличилось примерно до 14 крупных дворов, выстроенных радиально вокруг свободной площадки. Этот поселок существовал начиная с IV — III вв. до н.э. и вплоть до конца Империи. Планировка поселка дает основания полагать, что его жители образовывали некую общность, в задачи которой, судя по всему, входили работы по возведению и укреплению «жилого холма» (van Giffen, 1936, S. 40 ff).

Во многом аналогичную картину дали раскопки деревни Феддерзен Вирде, находившейся на территории между устьями Везера и Эльбы, севернее нынешнего Бремерхафена (Нижняя Саксония). Это поселение просуществовало с I в. до н.э. до V в. н.э. И здесь открыты такие же «длинные дома», которые характерны для германских поселков железного века (подробнее см.: Гуревич, 1960). Как и в Эзинге, в Феддерзен Вирде дома располагались радиально. Поселок разросся из небольшого хутора приблизительно до 25 усадеб разных размеров и, видимо, неодинакового материального благосостояния (об этом ниже). Предполагают, что в период наибольшего расширения деревню населяло от 200 до 250 жителей. Наряду с земледелием и скотоводством заметную роль среди занятий части населения деревни играло ремесло (Naarnagel, 1975, S. 10—29; 1979).

Другие поселения, изученные археологами, не возводились по какому-либо плану — случаи радиальной планировки, подобные Эзинге и Феддерзен Вирде, объясняются, возможно, специфическими природными условиями⁵ и представляли собой так называемые кучевые деревни. Однако крупных деревень обнаружено немного. Распространенными формами поселений были, как уже сказано, небольшой хутор или отдельный двор. В отличие от деревень обособленные хутора имели иную «продолжительность жизни» и преемственность во времени: через одно-два столетия после своего основания такое одиночное поселение могло исчезнуть, но некоторое время спустя на том же месте возникал новый хутор (Ausgrabungen..., 1975, S. 5).

Заслуживают внимания слова Тацита о том, что германцы устраивают деревни «не по-нашему» (т. е. не так, как было принято у римлян) и «не выносят, чтобы их жилища соприкасались друг с другом; селятся они в отдалении друг от друга и вразброд, где [кому] приглянулся [какой-нибудь] ручей, или поляна, или лес» (Germ, 16). Римлянам, которые были привычны к проживанию в тесноте и видели в ней некую норму (см.: Кнабе, 1979, с. 28—32), должна была броситься в глаза тенденция варваров жить в индивидуальных, разбросанных усадьбах, тенденция, подтверждаемая археологическими изысканиями (Jankuhn, 1969, S. 138; Halt, 1957).

Эти данные согласуются с указаниями исторической лингвистики. В германских диалектах слово «dorf» («dorp, baurp, thorp») означало как групповое поселение, так и отдельную усадьбу; существенна была не эта оппозиция, а оппозиция «огороженный» — «неогороженный». Специалисты полагают, что понятие «групповое поселение» развилось из понятия «усадьба» (Schutzeichel, 1977, S. 318). Подобно этому, в скандинавских рунических надписях терминами «byr»,

⁵ Впрочем, построенное радиально аграрное поселение Экеторп на о-ве Эланд, очевидно, было окружено стеною по соображениям обороны (Stenberger, 1969, S. 103—112). Существование «круговых» поселков на территории Норвегии некоторые исследователи объясняют потребностями культа (Renneseth, 1996).

«bo» обозначались равно и отдельный двор, и деревня (Diiwel, 1977, S. 37—40). Археология подтверждает предположение, что характерным направлением развития поселений было разрастание первоначальной отдельной усадьбы или хутора в деревню (Muller-Wille, 1977, S. 198 ff.; Jankuhn. Einführung., 1977, S. 116 ff.).

Вместе с поселениями приобрели константность и хозяйственные формы. Об этом свидетельствует изучение следов полей раннего железного века, обнаруженных в Ютландии, Голландии, внутренней Германии, на Британских островах, на островах Готланд и Эланд, в Швеции и Норвегии. Их принято называть «древними полями» — oldtidsagre, fornakrar (или digevoldingsagre — «поля, огороженные валами») или «полями кельтского типа — celtic fields. Они связаны с поселениями, жители которых возделывали их из поколения в поколение (Kirbis, 1952; Muller-Wille, 1965).

Особенно детально изучены остатки полей доримского и римского железного века на территории Ютландии (Hatt, 1931; Hatt, 1949; Hatt, 1957; Danmarks hestorie, 1977, S. 63 f.; Jankuhn, 1969, S. 149 IT.). Эти поля представляли собой участки в виде неправильных прямоугольников. Поля были либо широкие, небольшой длины, либо длинные и узкие; судя по сохранившимся следам обработки почвы, первые вспахивались вдоль и поперек, как предполагается, примитивным плугом (ard), который еще не переворачивал пласта земли, но резал и крошил ее, тогда как вторые вспахивались в одном направлении, и здесь применялся плуг с отвалом. Возможно, что обе разновидности плуга применялись в одно и то же время (RL, 1,8. 102). Каждый участок поля был отделен от соседних неспаханной межей — на эти межи складывались собранные с поля камни, и естественное движение почвы по склонам и наносы пыли, из года в год оседавшей на сорной траве на межах, создали низкие, широкие границы, отделявшие один участок от другого. Межи были достаточно велики для того, чтобы земледелец мог проехать вместе с плугом и упряжкой тяглых животных к своему участку, не повредив соседских наделов. Не вызывает сомнений, что наделы эти находились в длительном пользовании.

Площадь изученных «древних полей» колеблется от 2 до 100 га, но встречаются поля, достигающие площади до 500 га; площадь отдельных участков в полях — от 200 до 7000 кв. м (Jankuhn, 1969, S. 151 f.). Неравенство их размеров и отсутствие единого стандарта участка свидетельствуют, по мнению известного датского археолога Г. Хатта, которому принадлежит главная заслуга в исследовании «древних полей», об отсутствии переделов земель. В ряде случаев можно установить, что внутри огороженного пространства возникали новые межи, так что участок оказывался разделенным на две или несколько (до семи) более или менее равных долей (Hatt, 1939)⁶.

Индивидуальные огороженные поля примыкали к усадьбам в «кучевой деревне» на Готланде (раскопки в Валльхагар); на острове Эланд (близ побережья Южной Швеции) поля, принадлежавшие отдельным хозяйствам, были отгорожены от участков соседних усадеб каменными насыпями и пограничными дорожками. Эти поселки с полями датируются эпохой Великих переселений. Подобные же поля изучены и в горной Норвегии (Stenberger, 1933; Stenberger, Klindt-Jensen, 1955; Hagen, 1953; Ronneseth, 1966). Расположение участков и обособленный характер их обработки дают исследователям основание полагать, что в изученных до сих пор аграрных поселениях железного века не существовало чересполосицы или каких-либо иных общинных порядков, которые нашли бы свое выражение в системе полей (RL, I, S. 102; Jankuhn, 1969, S. 74,150; ср.: Krenzlin, 1961,8.190 ff.).

Открытие следов таких «древних полей» не оставляет никаких сомнений в том, что земледелие у народов Средней и Северной Европы еще в до-римский период

⁶ Однако в тех случаях, когда ощущалась нехватка пахотной земли (как на северо-фризском острове Зильт), мелким хозяйствам, выделившимся из «больших семей», приходилось вновь объединяться. См.: Harck, Kossack, Reichstein, 1975, S. 30-44.

было оседлым и более интенсивным, чем предполагалось ранее. Таким оно оставалось и в первой половине I тысячелетия н.э.⁷ Разводили ячмень, овес, пшеницу, рожь (*Handbuch der deutschen Wirtschafts...*, 1971, S. 66). Именно в свете этих открытий, сделавшихся возможными вследствие усовершенствования археологической техники, стала окончательно ясной беспочвенность высказываний античных авторов относительно особенностей сельского хозяйства северных варваров. Отныне исследователь аграрного строя древних германцев стоит на твердой почве установленных и многократно засвидетельствованных фактов⁸, и не зависит от неясных и разрозненных высказываний повествовательных памятников, тенденциозность и предвзятость коих невозможно устранить. К тому же, если сообщения Цезаря и Тацита вообще могли касаться только прирейнских районов Германии, куда проникали римляне, то, как уже упоминалось, следы «древних полей» обнаружены на всей территории расселения германских племен — от Скандинавии до континентальной Германии; их датировка — доримский и римский железный век⁹. Подобные поля возделывались и в кельтской Британии.

Хатт делает на основе собранных им данных еще и другие, более далеко идущие выводы. Он исходит из факта длительной обработки одних и тех же земельных площадей и отсутствия указаний на общинные распоряжки и переделы участков пашни в поселках, которые им были изучены. Хатт полагает, что поскольку землепользование явно имело индивидуальный характер, а новые межи внутри участков свидетельствуют, на его взгляд, о разделах владения между наследниками, то здесь существовала частная собственность на землю (Hatt, 1939, p. 10; 1955). Между тем на той же территории в последующую эпоху — в средневековых датских сельских общинах — применялся принудительный севооборот, производились коллективные сельскохозяйственные работы и жители прибегали к перемерам и переделам участков (Rhamm, 1905; Haff, 1909; Steensberg, 1940). Хатт утверждает, что эти общинные аграрные распоряжки невозможно, в свете новых открытий, считать «первоначальными» и возводить к глубокой древности, — они суть продукт собственно средневекового развития. С последним заключением можно согласиться, но Хатт, не ограничиваясь им, высказывает идею о том, что коллективная и частная собственность не являются двумя последовательными фазами в эволюции землевладения; они сменяют одна другую попеременно, в зависимости от конкретных исторических и природных условий (Hatt, 1955, S. 121 ff.; 1939, p. 7, 12, 15, 22). В Дании развитие шло якобы от индивидуального к коллективному, а не наоборот. «Наши земледельцы, — пишет Хатт, — были более индивидуалистичны две тысячи лет назад, чем в сельских общинах XVIII века» (Hatt, 1939, p. 12).

Тезис о частной собственности на землю у германских народов на рубеже н.э. утвердился в новейшей западной историографии¹⁰. Поэтому необходимо остановиться на этом вопросе.

⁷ Историки, которые изучали проблему аграрного строя германцев в период, предшествовавший этим открытиям, даже придавая хлебопашеству большое значение, все же склонялись к мысли об экстенсивном его характере и предполагали переложную (или залежную) систему, связанную с частой сменой пашенных участков. См., например: *Неусыхин*. Общественный строй..., 1929, с. 83, 93 и сл.

⁸ Еще в 1931 г., на начальном этапе изысканий, для одной лишь Ютландии были зафиксированы 69 «древних полей» (Hatt, 1931, p. 148—153).

⁹ Однако следов «древних полей» нигде не найдено для времени после Великих переселений народов. См.: RL, I, S. 45.

¹⁰ *Lutge*, 1967, S. 15; RL, I, S. 102 f.; *Bosl*, 1970, S. 704. В. Кирбис высказывает сомнения относительно этого вывода (*Kirbis*, 1952, S. 43). Г. Янкун присоединяясь к заключению об отсутствии сельской общины у германцев, воздерживается от вывода о наличии у них частной собственности на пахотную землю (хотя и ссылается на теорию Хатта). Ср.: *Handbuch der deutschen Wirtschafts...*, 1971, S. 25; *Jankuhn*, 1969, S. 150; *Jankuhn*. *Archäologie...*, 1976, S. 300; *Much*, 1967, S. 34 f. Мысль о *Sondereigentum* у германцев в начале нашей эры высказывалась и в историографии ГДР. См., например: *Die Germanen*, 1978, S. 433. См. ниже.

Прежде всего — о пределах компетенции археолога. Наблюдения Хатта и других исследователей относительно древних аграрных поселений, систем полей и способов земледелия чрезвычайно важны. Однако вопрос о том, свидетельствует ли длительность обработки земли и наличие межей между участками о существовании индивидуальной собственности на землю, неправомерно решать с помощью лишь тех средств, какими располагает археолог. Социальные отношения, в особенности отношения собственности, проецируются на археологический материал весьма односторонне и неполно, и планы древних германских полей еще не раскрывают тайны общественного строя их владельцев. Отсутствие переделов и системы уравнильных участков само по себе едва ли дает нам ответ на вопрос: каковы были реальные права на поля у их возделывателей? Ведь вполне можно допустить — и подобное предположение высказывалось (Hagen, 1953; Jankuhn, 1969, S. 152; Jankuhn. Турен., 1977, S. 224, 252), — что такая система землепользования, какая рисуется при изучении «древних полей» германцев, была связана с собственностью больших семей. «Длинные дома» раннего железного века рассматриваются рядом археологов именно как жилища больших семей, домовых общин. Но собственность на землю членов большой семьи по своему характеру чрезвычайно далека от индивидуальной. Изучение скандинавского материала, относящегося к раннему средневековью, показало, что даже разделы хозяйства между малыми семьями, объединявшимися в домовую общину, не приводили к обособлению участков в их частную собственность (Гуревич, 1977, гл. 1). Для решения вопроса о реальных правах на землю у их возделывателей необходимо привлекать совсем иные источники, нежели данные археологии. К сожалению, применительно к раннему железному веку таких источников нет, и ретроспективные заключения, сделанные на основании более поздних юридических записей, были бы слишком рискованны.

Встает, тем не менее, более общий вопрос: каково было отношение к обрабатываемой земле у человека изучаемой нами эпохи? Ибо нет сомнения в том, что в конечном счете право собственности отражало как практическое отношение возделывателя земли к предмету приложения его труда, так и некие всеобъемлющие установки, «модель мира», существовавшую в его сознании.

Археологическим материалом засвидетельствовано, что жители Центральной и Северной Европы отнюдь не были склонны часто менять места жительства и земли под обработкой (впечатление о легкости, с которой они забрасывали пашни, создается лишь при чтении Цезаря и Тацита), — на протяжении многих поколений они населяли все те же хутора и деревни, возделывая свои огороженные валами поля¹¹. Покидать привычные места им приходилось только вследствие природных или социальных бедствий: из-за истощения пашни или пастбищ, невозможности прокормить возросшее население либо под давлением воинственных соседей. Нормой была тесная, прочная связь с землей — источником средств к существованию. Германец, как и любой другой человек архаического общества, был непосредственно включен в природные ритмы, составлял с природой единое целое и видел в земле, на которой он жил и трудился, свое органическое продолжение, точно также, как был он органически связан и со своим семейно-родовым коллективом.

Нужно полагать, что отношение к действительности члена варварского общества было сравнительно слабо расчленено, и говорить здесь о праве собственности было бы преждевременно. Право было лишь одним из аспектов единого недифференцированного мировоззрения и поведения — аспектом, который выделяет современная аналитическая мысль, но который в реальной жизни древних людей был тесно и непосредственно связан с их космологией, верованиями, мифом.

¹¹ То, что жители древнего поселка близ Grantoft Hede (западная Ютландия) с течением времени сменили место его расположения, — скорее исключение, чем правило; к тому же продолжительность обитания в домах этого населенного пункта — примерно столетие (Becker, 1966, S. 39—50).

Лингвистика способна помочь нам в какой-то мере восстановить представление германских народов о мире и о месте в нем человека. В германских языках мир, населенный людьми, обозначался как «срединный двор»: *midjungarðs* (готск.), *middangeard* (др.-англ.), *miðgarðr* (др.-исл.), *mittingart*, *mittilgart* (др.-верхненем.).

Garðr, *gart*, *geard* — «место, обнесенное оградой». Мир людей осознавался как благоустроенное, т.е. огороженное, защищенное «место посредине», и то, что этот термин встречается во всех германских языках, свидетельствует о древности такого представления. Другим соотношенным с ним компонентом космологии и мифологии германцев был *utgarðr* — «то, что находится за пределами ограды», и это внешнее пространство осознавалось в качестве местопребывания злых и враждебных людям сил, как царство чудовищ и великанов. Оппозиция *miðgarðr* — *utgarðr* давала определяющие координаты всей картины мира, культура противостояла хаосу (Gronbech, 1961, S. 183 ff.). Термин *heimr* (др.-исл.; ср.: гот. *haims*, др.-англ. *ham*, др.-фризск. *ham*, *hem*, др.-сакс. *hem*, др.-верхненем. *heim*), встречающийся опять-таки преимущественно в мифологическом контексте, означал как «мир», «родину», так и «дом», «жилище», «огороженную усадьбу». Таким образом, мир, возделанный и очеловеченный, моделировался по дому и усадьбе¹².

Еще один термин, который не может не привлечь внимания историка, анализирующего отношения германцев к земле, — *oðal*. Этому древнескандинавскому термину опять-таки существуют соответствия в готском (*haim* — *obli*), древнеанглийском (*oðe*; *eaðele*), древневерхненемецком (*uodal*, *uodil*), древнефризском (*ethel*), древнесаксонском (*oðil*). Одаль, как выясняется из исследования средневековых норвежских и исландских памятников, — это наследственное семейное владение, земля, по сути дела неотчуждаемая за пределы коллектива родственников. Но «одалем» называли не одну лишь пахотную землю, которая находилась в постоянном и прочном обладании семейной группы, — так называли и «родину». Одаль — это «вотчина», «отчизна» и в узком, и в широком смысле. Человек видел свое отечество там, где жили его отец и предки и где проживал и трудился он сам; *patrimonium* воспринимался как *patria*, и микромир его усадьбы идентифицировался с обитаемым миром в целом.

Но далее выясняется, что понятие «одаль» имело отношение не только к земле, на которой обитает семья, но и к самим ее обладателям: термин «одаль» был родственным группе понятий, выражавших в германских языках прирожденные качества: благородство, родовитость, знатность лица (*aðal*, *aedel*, *ethel*, *adal*, *edel*, *adel*, *aedelingr*, *oðlingr*). Причем родовитость и знатность здесь надлежит понимать не в духе средневекового аристократизма, присущего или приписываемого одним только представителям социальной элиты, а как происхождение от свободных предков, среди которых нет рабов или вольноотпущенников, следовательно, как полноправие, полноту свободы, личную независимость. Ссылаясь на длинную и славную родословную, германец доказывал одновременно и свою знатность и свои права на землю, так как по сути дела одно было неразрывно связано с другим. Одаль представлял собой не что иное, как родовитость человека, перенесенную на земельное владение и укорененную в нем. *Aðalborinn* («родовитый», «благородный») был синонимом *oðalborinn* («человек, рожденный с правом наследования и владения родовой землей»). Происхождение от свободных и знатных предков «облагораживало» землю, которой владел их потомок, и, наоборот, обладание такой землей могло повысить социальный статус владельца (подробнее см.: Гуревич, 1977, гл. 1,3; Bosl, 1970, S. 704; RL, I, S. 59).

¹² Согласно скандинавской мифологии, мир богов-асов также представлял собой огороженную усадьбу — *asgarar*.

Земля для германца — не просто объект владения; он был с нею связан многими тесными узами, в том числе и не в последнюю очередь психологическими, эмоциональными. Об этом свидетельствуют и культ плодородия, которому германцы придавали огромное значение¹³, и поклонение их «матери-земле»¹⁴, и магические ритуалы, к которым они прибегали при занятии земельных пространств¹⁵. То, что о многих аспектах их отношения к земле мы узнаем из более поздних источников, едва ли может поставить под сомнение, что именно так дело обстояло и в начале I тысячелетия н.э. и еще раньше.

Главное заключается, видимо, в том, что возделывавший землю древний человек не видел и не мог видеть в ней бездушного предмета, которым можно инструментально манипулировать; между человеческой группой и обрабатываемым ею участком почвы не существовало абстрактного отношения «субъект — объект». Человек был включен в природу и находился с нею в постоянном взаимодействии; так было еще и в средние века, и тем более справедливо это утверждение применительно к древнегерманскому времени. Но связанность земледельца с его участком не противоречила высокой мобильности населения Центральной Европы на протяжении всей этой эпохи. В конце концов передвижения человеческих групп и целых племен и племенных союзов в огромной мере диктовались потребностью завладеть пахотными землями, т.е. тем же отношением человека к земле, как к его естественному продолжению.

Поэтому признание факта постоянного обладания участком пашни, огороженным межей и валом и обрабатываемым из поколения в поколение членами одной и той же семьи, — факта, который вырисовывается благодаря новым археологическим открытиям, — не дает еще никаких оснований для утверждения, будто бы германцы на рубеже новой эры были «частными земельными собственниками». Привлечение понятия «частная собственность» в данном случае может свидетельствовать только о терминологической неразберихе или о злоупотреблении этим понятием. Человек архаической эпохи, независимо от того, входил он в общину и подчинялся ее аграрным распорядкам или вел хозяйство вполне самостоятельно¹⁶, не был «частным» собственником. Между ним и его земельным участком существовала теснейшая органическая связь: он владел землей, но и земля «владела» им; обладание наделом нужно понимать здесь как неполную выделенность человека и его коллектива из системы «люди — природа».

При обсуждении проблемы отношения древних германцев к земле, которую они населяли и обрабатывали, видимо, невозможно ограничиваться традиционной для историографии дилеммой «частная собственность — общинная собственность». Марковую общину у германских варваров находили те ученые, которые полагались на слова римских авторов и считали возможным возводить к седой старине общинные распорядки, обнаруженные во времена классического и позднего средневековья. В этой связи вновь обратимся к упомянутой выше общегерманской

¹³ Человеческие жертвоприношения, о которых сообщает Тацит (*Germ.*, 40) и которые засвидетельствованы многими археологическими находками, видимо, связаны также с культом плодородия (*Jankuhn*, 1967, S. 117 — 147).

¹⁴ Богиня Нертус, которой, согласно Тациту, поклонялся ряд племен и которую он толкует как *Terra mater* (*Germ.*, 40), видимо, соответствовала известному из скандинавской мифологии Ньерду — богу плодородия. См.: *Much*, 1967, S. 450 f.; *Turvil-le-Petre*, 1964, p. 171 sq.; *Piekarczyk*, 1979.

¹⁵ При заселении Исландии человек, занимая определенную территорию, должен был обходить ее с факелом и зажигать на ее границах костры. См.: Гуревич, 1977, с. 136.

¹⁶ Жители открытых археологами деревень, вне сомнения, выполняли какие-то коллективные работы: хотя бы возведение и укрепление «жилых холмов» в затопляемых районах побережья Северного моря. О возможности общности между отдельными хозяйствами в ютландском поселке Ходде см.: *Hvass*, 1975, S. 75 — 85.

«модели мира». Как мы видели, обнесенное оградой¹⁷ жилище образует, согласно этим представлениям, *miðgarðr*, «срединный двор», своего рода центр мироздания; вокруг него простирается Утгард, враждебный людям мир хаоса; он одновременно находится и где-то далеко, в необитаемых горах и пустошах, и начинается тут же за оградой усадьбы (Gronbech, 1961, S. 188 ff.). Оппозиции *miðgarðr* — *utgarðr* полностью соответствует противопоставление понятий *innangarðs* — *utangarðs* в средневековых скандинавских правовых памятниках; это два вида владений: «земля, расположенная в пределах ограды», и «земля за оградой» — земля, выделенная из общинного фонда (Гуревич, 1977, с. 116 и сл., 140). Таким образом, космологическая модель мира была вместе с тем и реальной социальной моделью: центром и той и другой являлся хозяйственный двор, дом, усадьба — с тою только существенной разницей, что в действительной жизни земли *utangarðs*, не будучи огорожены, тем не менее не отдавались силам Хаоса — ими пользовались, они были существенно необходимы для крестьянского хозяйства; однако права домохозяина на них ограничены, и в случае нарушения последних он получал более низкое возмещение чем за нарушение его прав на земли, расположенные *innangarðs*. Между тем в моделирующем мир сознании земли *utangarðs* принадлежат «Утгарду». Как это объяснить?

Картина мира, вырисовывающаяся при изучении данных германского языкознания и мифологии, несомненно, сложилась в весьма отдаленную эпоху, и община не нашла в ней отражения; «точки отсчета» в мифологической картине мира были отдельный двор и дом. Это не означает, что община на том этапе вообще отсутствовала, но, видимо, значение общины у германских народов возросло уже после того, как их мифологическое сознание выработало определенную космологическую структуру (Gurevic, 1979, S. 113-124).

Вполне возможно, что у древних германцев существовали большесемейные группы, патронимии, тесные и разветвленные отношения родства и свойства — неотъемлемые структурные единицы родо-племенного строя. На той стадии развития, когда появляются первые известия о германцах, человеку было естественно искать помощи и поддержки у сородичей, и жить вне таких органически сложившихся коллективов он едва ли был в состоянии. Однако община-марка — образование иного характера, нежели род или большая семья, и она вовсе не обязательно с ними связана. Если за упоминаемыми Цезарем *gentes* и *cognationes* германцев крылась какая-то действительность, то, скорее всего, это кровнородственные объединения. Любое прочтение слов Тацита: «*agri pro numero cultorum ab universis vicinis (или: in vices, или: invices, invicem) occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur*» (Germ., 26) — всегда было и обречено и впредь остаться гадательным¹⁸. Строить на столь шаткой основе картину древнегерманской сельской общины в высшей степени рискованно.

¹⁷ О роли, которую в сознании германцев играла идея ограды, см. работы известного лингвиста И. Трира (Trier, 1940, S. 55 — 131).

¹⁸ Much, 1967, S. 332 ff. Перевод этого места А.С. Бобовичем: «Земли для обработки они поочередно занимают всю общиной по числу земледельцев, а затем делят их между собою, смотря по достоинству каждого» (Корнелий Тацит, 1960, с. 364), — представляет собой вычитывание из текста большего, чем он содержит. Перевод С.П. Моравского: «Земля занимается всеми вместе поочередно по числу работников, и вскоре они делят ее между собой по достоинству» (Древние германцы, 1937, с. 70) — более осторожен; к тому же он сопровождается комментарием, в котором указано, что таково одно из возможных толкований этого спорного и испорченного в рукописи текста. Сопоставление слов Цезаря о германцах: «И никто из них не имеет точно отмеренного участка или владений в частной собственности, но должностные лица и старейшины ежегодно отводят родам и группам живущих вместе родственников, где и сколько они найдут нужным земли, а через год принуждают их перейти на другое место» (De bell. Gall., VI, 22) — с только что цитированным высказыванием Тацита о порядке занятия и распределения земли германцами позволяет предположить, что в основу последнего лег этот текст Цезаря. Во-первых, в обоих случаях подчеркивается несклонность германцев

Утверждения о наличии сельской общины у германцев опираются, помимо толкования слов Цезаря и Тацита, на ретроспективные выводы из материала, который относится к последующей эпохе. Однако перенос средневековых данных о земледелии и поселениях в древность — операция едва ли оправданная. Прежде всего, не следует упускать из виду отмеченный выше перерыв в истории германских поселений, связанный с движением народов в IV—VI вв. (Janssen, 1968, S. 315 ff., 345, 351). После этой эпохи происходили как смена мест расположения населенных пунктов, так и перемены в системе землепользования. Данные об общинных распорядках в средневековой марке по большей части восходят к периоду не ранее XII—XIII столетий (Мильская, 1975, с. 64 и сл.); применительно к начальному периоду средних веков такие данные чрезвычайно скудны и спорны.

Между Древней общиной у германцев и средневековой «классической» маркой невозможно ставить знак равенства. Это явствует из тех немногих указаний на общинные связи жителей древнегерманских деревень, которые все же имеются. Радиальная структура поселков типа Феддерзен Вирде — свидетельство того, что население размещало свои дома и проводило дороги, исходя из общего плана. Борьба с морем и возведение «жилых холмов», на которых возводились деревни, также требовали объединения усилий домохозяев. Вполне вероятно, что выпас скота на лугах регулировался общинными правилами и что отношения соседства приводили к некоторой организации жителей деревни. Однако о системе принудительных полевых порядков (*Flurzwang*) в этих населенных пунктах мы сведений не имеем. Устройство «древних полей», следы которых изучены на обширной территории расселения древних германцев, не предполагало такого рода распорядков¹⁹. Нет оснований и для гипотезы о существовании «верховой собственности» общины на пахотные участки.

При обсуждении проблемы древнегерманской общины необходимо принять во внимание еще одно обстоятельство. Вопрос о взаимных правах соседей на земли и о размежевании этих прав, об их урегулировании возникал тогда, когда возрастала численность населения и жителям деревни становилось тесно, а новых угодий не хватало. Между тем начиная со II—III вв. н.э. и вплоть до завершения Великих

усердствовать в обработке земли. Во-вторых, словам Цезаря о «*magistratus ac principes*», которые отводят сородичам земли и принуждают их через год переходить на другое место, соответствуют слова Тацита о занятии земель «всеми вместе» и ежегодной смене пашни. В-третьих, подобно Цезарю, отмечающему наличие обширного земельного фонда, об этом же пишет и Тацит. Отличие текста Цезаря от текста Тацита состоит, собственно, лишь в том, что первый приводит еще и объяснение описанного им порядка ежегодной перемены мест жительства: такой порядок якобы не дает германцам прельститься оседлым образом жизни, гарантирует сохранение равенства, не отвлекает от воинских занятий и препятствует возникновению жадности, — объяснение, имеющее прямое отношение к Риму, но не к германцам! Не исключена возможность того, что Тацит в данном случае, как и в некоторых других, опирается на литературный источник, а не на свидетельство очевидцев. Чрезвычайную близость текстов Цезаря и Тацита о землепользовании у германских племен отмечал А.Д. Удальцов (*Удальцов*, 1934, с. 17 и сл.). В целях «спасения» сообщений античных писателей об аграрных порядках германцев перед лицом противоречащих им данных археологии можно было бы, казалось, предположить, что слова Цезаря и Тацита сохраняют истинность хотя бы в отношении лучшей известной римлянам части Германии — районов, примыкавших к «лимесу». Однако трудно представить себе, чтобы те племена, которые в наибольшей мере испытали влияние римской цивилизации, остались на более примитивной ступени земледелия, чем жители центральных и северных областей Европы. Напротив, подвергшиеся романизации германцы перенимали новые для них виды землепользования и знакомились с римскими формами земельной собственности.

¹⁹ Здесь уместно вспомнить спор между А. Допшем и рецензентом его книги Г. Вopfнером о сельской общине у германцев. Вopfнер утверждал, что с тезисом Допша об отсутствии принудительного севооборота на древних полях Германии можно было бы согласиться только в том случае, если б удалось показать, что к каждому полювому участку был самостоятельный доступ. «То, что такой доступ существовал издревле, невозможно доказать на основе археологических или каких-либо иных источников» (*Wopfner*, 1912—1913, S. 53). Ныне наличие широких межей в полях римского железного века на территории расселения германцев многократно продемонстрировано археологически.

переселений происходило сокращение населения Европы, вызванное, в частности, эпидемиями (Abel, 1967, S. 12 ff.). Поскольку же немалая часть поселений в Германии представляла собой обособленные усадьбы или хутора, то едва ли и возникала необходимость в коллективном регулировании землепользования.

Человеческие союзы, в которые объединялись члены варварского общества, были, с одной стороны, уже деревни (большие и малые семьи, родственные группы), а с другой — шире («сотни», «округа», племена, союзы племен). Подобно тому как сам германец был далек от превращения в крестьянина, социальные группы, в которых он находился, еще не строились на земледельческой, вообще на хозяйственной основе — они объединяли сородичей, членов семей, воинов, участников сходов, а не непосредственных производителей, в то время как в средневековом обществе крестьян станут объединять именно сельские общины, регулирующие производственные аграрные порядки.

В целом нужно признать, что структура общины у древних германцев нам известна слабо. Отсюда — те крайности, которые зачастую встречаются в историографии: одна, выражающаяся в полном отрицании общины в изучаемую эпоху (между тем как жителей поселков, изученных археологами, несомненно, объединяли определенные формы общности); другая крайность — моделирование древнегерманской общины по образцу средневековой сельской общины-марки, порожденной условиями более позднего социального и аграрного развития.

Может быть, более правильным подход к проблеме германской общины сделался бы при учете того существенного факта, что в хозяйстве жителей нероманизованной Европы, при прочной оседлости населения, первенствующую роль сохраняло все же скотоводство (Lange, 1971, S. 106). Не пользование пахотными участками, а выпас скота на лугах, пастбищах и в лесах должен был, судя по всему, в первую очередь затрагивать интересы соседей и вызвать к жизни общинные распорядки.

Как сообщает Тацит, Германия «скотом изобильна, но он большей частью малорослый; даже рабочий скот не имеет внушительного вида и не может похвастаться рогами. Германцы любят, чтобы скота было много: в этом единственный и самый приятный для них вид богатства» (Germ., 5; ср.: Caes. De bell. Gall., VI, 35). Это наблюдение римлян, побывавших в Германии, соответствует тому, что найдено в остатках древних поселений раннего железного века: обилие костей домашних животных, свидетельствующих о том, что скот действительно был малорослым²⁰. Как уже было отмечено, в «длинных домах», в которых по большей части жили германцы, наряду с жилыми помещениями находились стойла для домашнего скота. Исходя из размеров этих помещений, полагают, что в стойлах могло содержаться большое количество животных, иногда до трех и более десятков голов крупного рогатого скота (Handbuch der deutschen Wirtschafts-, 1971, S. 64 f.; Haarnagel, 1979, S. 251 f.).

Скот служил у варваров и платежным средством (Tac. Germ., 12,21). Даже в более поздний период виры и иные возмещения могли уплачиваться крупным и мелким скотом, и самое слово *fehū* означало у германцев не только «скот», но и «имущество», «владение», «деньги».

Охота не составляла, судя по археологическим находкам, существенного для жизни занятия германцев, и процент костей диких зверей очень незначителен в общей массе остатков костей животных в изученных поселениях (Much, 1967, S. 235 f.; Haarnagel, 1979, S. 272 ff.). Очевидно, население удовлетворяло свои потребности за счет сельскохозяйственных занятий. Однако исследование содержания желудков трупов, обнаруженных в болотах (эти люди были, очевидно, утоплены в наказание за

²⁰ Much, 1967, S. 115 f. Среди костей животных, найденных в древних поселках, преобладают кости коров и овец. См.: Jankuhn, 1969, S. 145.

преступления либо принесены в жертву) (Тас. Germ., 9,12,40; Much, 1967, S. 173 f., 214f., 289 f.; Vries, 1970, S. 408 f.), свидетельствует о том, что подчас населению приходилось питаться, помимо культивируемых растений, также и сорняками и дикими растениями (Jankuhn, 1969, S. 229 f.; Much, 1967, S. 114).

Как уже было упомянуто, античные авторы, недостаточно осведомленные о жизни населения в *Germania libera*, утверждали, будто страна бедна железом, что придавало характер примитивности картине хозяйства германцев в целом. Несомненно, германцы отставали от кельтов и римлян в масштабах и технике железоделательного производства. Тем не менее археологические исследования внесли в нарисованную Тацитом картину радикальные поправки. Железо добывалось повсеместно в Центральной и Северной Европе и в доримский, и в римский периоды. Железная руда была легко доступна вследствие поверхностного ее залегания, при котором была вполне возможна ее добыча открытым способом. Но уже существовала и подземная добыча железа, и найдены древние штольни и шахты, а равно и железоплавильные печи (RL, II, S. 258 Г.). Германские железные орудия и иные металлические изделия, по оценке современных специалистов, отличались доброкачественностью. Судя по сохранившимся «погребениям кузнецов», их социальное положение в обществе было высоким (Jankuhn, 1969, S. 160ff.; Ohlhaver, 1939).

Если в ранний римский период добыча и обработка железа оставались, возможно, еще сельским занятием, то затем металлургия все явственнее выделяется в самостоятельный промысел (Jankuhn, 1970, S. 28 f.). Его центры обнаружены в Шлезвиг-Гольштейне и Польше. Кузнечное ремесло стало важным неотъемлемым компонентом хозяйства германцев. Железо в виде брусьев служило предметом торговли. Но обработкой железа занимались и в деревнях. Исследование поселения Феддерзен Вирде показало, что близ наиболее крупной усадьбы концентрировались мастерские, где обрабатывались металлические изделия; не исключено, что они шли не только на удовлетворение местных нужд, но и продавались на сторону (Neue Ausgrabungen..., 1958, S. 215 f.; Haarnagel, 1979, S. 296 f.).

Слова Тацита, будто у германцев мало изготовленного из железа оружия и они редко пользуются мечами и длинными копьями (Germ., 6), также не получили подтверждения в свете археологических находок (Uslar, 1975, S. 34). Мечи найдены в богатых погребениях знати. Хотя копья и щиты в погребениях численно преобладают над мечами, все же от 1/4 до 1/2 всех погребений с оружием содержат мечи или их остатки (Schirnig, 1965; Raddatz, 1966; 1967; Steuer, 1970). В отдельных же районах до 80 % мужчин были похоронены с железным оружием²¹ (Capelle, 1979, S. 54—55). Также подвергнуто сомнению заявление Тацита о том, что панцири и металлические шлемы почти вовсе не встречаются у германцев (Uslar, 1975, S. 34; Much, 1967, S. 143 f.).

Помимо железных изделий, необходимых для хозяйства и войны, германские мастера умели изготавливать украшения из драгоценных металлов, сосуды, домашнюю утварь, строить лодки и корабли, повозки; разнообразные формы получило текстильное производство (Jankuhn, 1969, S. 166 ff.; Uslar, 1975, S. 86 ff.).

Оживленная торговля Рима с германцами служила для последних источником получения многих изделий, которыми сами они не обладали: драгоценностей, сосудов, украшений, одежд, вина (римское оружие они добывали в бою). Рим получал от германцев янтарь, собираемый на побережье Балтийского моря, бычья кожа, скот, мельничные колеса из базальта, рабов (работоторговлю у германцев упоминают Тацит и Аммиан Марцеллин). Впрочем, кроме доходов от торговли в Рим

²¹ Оружие, в том числе мечи, находят не только в погребениях. У германцев существовал обычай после победы над врагом приносить захваченное оружие в жертву богам, предварительно изломав его, и подобные пожертвования найдены на берегах болот и озер. См.: *Danefae*, 1980, N 41.

поступали германские подати и контрибуции. Наиболее оживленный обмен происходил на границе между империей и *Germania libera*, где были расположены римские лагеря и городские поселения. Однако римские купцы проникали и в глубь Германии. Тацит замечает, что во внутренних частях страны процветал продуктовый обмен, деньгами же (римскими) пользовались германцы, жившие близ границы с империей (*Germ.*, 5). Это сообщение подтверждается археологическими находками: в то время как римские изделия обнаружены по всей территории расселения германских племен, вплоть до Скандинавии, римские монеты находят преимущественно в сравнительно узкой полосе вдоль границы империи (Eggers, 1951, Luders, 1952—1955, S. 85 ff.). В более отдаленных районах (Скандинавии, Северной Германии) встречаются, наряду с отдельными монетами, куски серебряных изделий, разрубленных, возможно, для использования в целях обмена (см.: Danefae, 1980, № 20).

Уровень хозяйственного развития не был однородным в разных частях Средней и Северной Европы в первые столетия н.э. Особенно заметны различия между внутренними областями Германии и районами, прилегавшими к «лимесу». Прирейнская Германия с ее римскими городами и укреплениями, мощеными дорогами и другими элементами античной цивилизации оказывала значительное воздействие на племена, жившие поблизости. В созданных римлянами населенных пунктах жили и германцы, перенимавшие новый для них образ жизни. Здесь их высший слой усваивал латынь как язык официального обихода, воспринимал новые для них обычаи и религиозные культы. Здесь они познакомились с виноградарством и садоводством, с более совершенными видами ремесла и с денежной торговлей. Здесь включались они в социальные отношения, которые имели очень мало общего с порядками внутри «свободной Германии» (Petrikovits. 1960, S. 84 ff., Schmitz, 1963; Jankuhn, 1969, S. 122 ff.; *Die Römer an Rhein...*, 1975; *Römer...*, 1976).

3. Социальный строй

Разногласия в оценке общественного строя древних германцев в историографии в немалой мере вызывались расхождениями в философско-исторических концепциях, которыми руководствовались историки, — ведь речь шла об истоках европейского развития. Специфическая база источников, на которую приходилось при этом опираться, оставляла простор для самых различных толкований.

Поэтому, переходя к социальному строю германцев, опять-таки необходимо сопоставить показания античных писателей с данными археологии. Заранее можно сказать, что и те и другие свидетельства сами по себе недостаточны: первые тенденциозны, вторые по природе своей не способны с должной полнотой осветить общественную структуру. Имея в виду эти ограничения, обратимся сначала к письменным источникам.

Римляне сталкивались прежде всего с германскими воинами и их вождями; употребляемая латинскими авторами терминология заведомо неточна, и потому едва ли ее анализ может быть результативен. В частности, из слов Тацита о том, что «королей они выбирают по знатности, а военачальников — по доблести» (*Germ.*, 7)¹, — заявления, вызвавшего длительную дискуссию (Bosl, 1964), — трудно извлечь какую-либо достоверную информацию, ибо древнегерманские социальные термины нам неизвестны и неясно, что такое «знатность» у древних германцев, кто именно подразумевался в тот период под «королем» и процедура их «избрания». Не должна ли быть эта фраза Тацита отнесена скорее к его риторике, чем к германской действительности? Здесь этот вопрос не может нас занимать специально, и удовольствуемся констатацией факта, что во главе племен или союзов племен у германцев стояли вожди, выделявшиеся особой знатностью происхождения и воинскими доблестями. Возможно, что королевская власть (или лучше: власть «конунга»?) уже в тот период осмыслялась как сакральная, хотя точное содержание этой сакральности (происхождение от богов? тесная связь с ними и покровительство, оказываемое богами отдельным знатым родам? ведущая роль короля в религиозно-культовой жизни племени, жреческие или магические функции его?) ускользает от нашего взора².

Во всяком случае, ясно, что наличие королевской власти предполагало существование социальной группы, которая концентрировалась вокруг короля, — нобилитета. Знать находилась с королем в противоречивых отношениях: знатные люди спланивались в возглавляемые вождями дружины, служили им, искали у них наград и добычи, вступали с ними в отношения личной службы и покровительства (*Tac. Germ.*, 13—15), но в определенных ситуациях представители нобилитета могли фигурировать и в роли конкурентов короля и завязывать с ним или между собой борьбу за власть (см. «Истории» и «Анналы» Тацита). Р. Венкус отвергает высказывавшуюся в историографии точку зрения на древнегерманскую знать, как на замкнутое «сословие» (*Stand*), четко отделенное от массы свободных, и полагает, что каждая знатная семья обладала собственным статусом, который определялся комплексом причин, и что уже в древнегерманский период существовала социальная мобильность, выражавшаяся в возвышении одних родов и упадке других (*RL*, I, S. 60 f.). Он указывает, кроме того, на невозможность общей оценки положения

¹ Мы предпочитаем перевод термина «тех» в применении к германскому правителю — «король» (таков перевод С.П. Моравского. — См.: *Древние германцы*, 1937, с. 59 и далее), а не «царь» (таков перевод А.С. Бобовича. — См.: *Корнелий Тацит*, 1960, I, с. 356 и далее). Германские термины, которые здесь можно подразумевать: *kuningaz*, *kunungaz*, *peudanz* (гот. *piudans*).

² На сакральной природе королевской власти у германцев настаивают ряд современных историков (К. Хаук, О. Хефлер, К. Босль; см.: *Gebhardt*, 1970, I, S. 710 f), тогда как другие историки ставят эти выводы под сомнение. См., в частности: *Baetke*, 1964.

нобилитета у германцев и подчеркивает региональные и племенные различия, в частности различия между племенами, жившими близ Рейна, т.е. в непосредственной близости от империи и в постоянном контакте с нею, приэльбскими племенами и, наконец, северогерманскими племенами (различия эти частично отмечены и самим Тацитом).

Представители знати выделялись из остальной массы соплеменников своими богатствами, и не только украшениями, оружием и другими сокровищами, которые они захватывали в войнах или выменивали на захваченную добычу, но и большими земельными владениями (Неусыхин. Общественный строй..., 1929; с. 83, 147 и сл., 219 и сл.). В пользу этой точки зрения свидетельствуют как высказывания латинских авторов, так и данные археологии. При всей неясности слов Тацита о том, что германцы делят земли «по достоинству» (*secundum dignationem*. — Germ., 26), все же возможно, что за ними стояла некая реальность — неравные разделы владений в зависимости от происхождения участников дележа занятой земли. В «Анналах» упоминается «вилла» фриза Крупториго (Ann., IV, 73), в «Историях» — «поля и виллы» Цивилиса (Hist., V, 23).

Конечно, все эти указания Тацита слишком разрозненны и спорадичны для того, чтобы на их основании делать положительные выводы. Однако описание им быта дружинников, в особенности ссылка на их полную праздность в то время, когда они не ведут войн (Germ., 15), заставляет с определенностью предположить, что именно в их владениях в первую очередь должны были трудиться те наделенные участками и домами рабы, о которых Тацит пишет несколько ниже (Germ., 25). То, что, по его словам, все заботы о жилище, домашнем хозяйстве и пашне дружинники перекладывают на плечи «женщин, стариков и наиболее слабосильных из домочадцев» (Germ., 15), внушает большие сомнения: если хозяйства знати были наиболее обширными, то обработка земли в них явно требовала куда больших усилий, чем это рисуется идеализирующему примитивный варварский быт римскому автору.

Однако, даже если мы допустим, что германский нобилитет обладал более обширными земельными владениями, чем прочие соплеменники, нет достаточных оснований для утверждения о том, что эти владения представляли собой «вотчины» (Fleischmann, 1906, S. 7 f.). Нельзя недооценивать глубоких различий между владениями древнегерманских нобилей, использовавших труд рабов, с одной стороны, и владениями средневековой знати, производство в которых старалось прежде всего на эксплуатацию зависимых крестьян, — с другой. Это различие, как кажется, игнорируют ряд современных исследователей. Исходя из данных археологии, И. Герман полагает, что уже в первые века н.э. владения германского нобилитета представляли собой «комплексы дворов», которые находились в собственности их обладателей и в которых трудились зависимые непосредственные производители (Untersassen). Эта точка зрения внутренне связана с представлением о том, что у древних германцев уже существовала частная собственность на землю (Herrmann, 1966, S. 409 IT.; 1973, S. 178 ff.).

Нужно полагать, что если за словами Тацита: «Гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны» (Germ., 14), — скрывалась какая-то действительность, то перед нами не просто германские установки в отношении физического труда и войны, а этика, присущая именно нобилитету, непосредственно о котором Тацит здесь и говорит. Напомним, что охота, которой, по словам римских авторов, дружинники уделяют свой досуг (Germ., 15; ср.: Caes. De bell. Gall., IV, 1), была проявлением их праздного образа жизни, «благородным занятием» и не представляла собой способа добывания средств к существованию, как полагали сторонники архаизирующей тенденции в изображении древнегерманского быта.

Знать, как явствует из высказываний Тацита, играла ведущую роль в управлении племенем, и именно на ее собраниях и пирах обсуждались все важнейшие дела — остальным же соплеменникам предоставлялось, потрясая оружием, одобрить те предложения, которые были выработаны королем и знатью (Germ., 11)³. Вообще «простолюдины», рядовые свободные занимают в рисуемой Тацитом картине общественной жизни Германии второстепенное место. Инициатива в принятии решений, имеющих значение для жизни народа, принадлежит, согласно этой картине, вождям и нобилям, масса же следует за ними. Как передает Тацит, знатный германец Сегест, противник Арминия, советовал римскому полководцу Вару бросить в оковы вождей (proceres) херусков: «Простой народ (plebs) ни на что не осмелится, если будут изъяты его предводители» (principes) (Ann., 1,55). Людей, следовавших за Сегестом, Тацит называет «клиентами» (Ann., I, 57). Точно также именует он и сторонников знатного Ингвиомера (Ann., II, 45; XII, 30).

У германцев, отмечает Тацит, «существует обычай, чтобы каждый добровольно уделял вождям кое-что от своего скота и плодов земных, и это, принимаемое теми как дань уважения, служит также для удовлетворения их нужд» (Germ., 15). Даже если допустить, что дары, приносимые свободными соплеменниками вождям, действительно имели добровольный характер, то легко предположить, что в случае нежелания кого-либо из членов племени выказать подобное уважение его главе такой человек рисковал навлечь на себя месть или опалу. Дары эти — далеко не подать, не принудительная дань, и тем не менее налицо элементы эксплуатации части ресурсов свободного населения в интересах нобилитета. Вполне возможно, что в материальном отношении эти дары были необременительными, однако сама традиция делиться ими с вождями выражала способ перераспределения материальных благ между рядовыми свободными и нобилитетом (см.: Griinert, 1968, S. 47—55). Для предводителя, окруженного многочисленной дружиной, подарки, получаемые как от соплеменников, так и от соседних племен (Tas. Germ., 15), должны были служить немаловажным подспорьем в укреплении его могущества.

Если этот общественный порядок и можно называть «военной демократией», то форма последней у германцев существенно отличалась от той формы, которую Морган наблюдал у североамериканских индейцев: у германцев лидерство знати приняло уже вполне развитые очертания. «Военная демократия» выступает в изображении Тацита в качестве крайне противоречивого феномена. С одной стороны, это демократия, и народ, все свободные участвуют в управлении племенем; нет отношений эксплуатации в среде свободных. С другой же стороны, это военная демократия, и воинственный нобилитет оказывает все возрастающее влияние на все стороны социальной и хозяйственной жизни. Знать представляла собой динамичный фактор в варварском обществе, и перегруппировка племен, возникновение новых племен и их союзов в позднеримский период в большой степени определялись военной ролью нобилитета (Wenskus, 1961, S. 429 ff.). Это дало основание ряду историков (Г. Данненбауэру, Г. Миттайсу, К. Бослю) выдвинуть тезис о «господстве знати» (Adelsherrschaft) как конститутивном признаке древнегерманского общества (Gebhardt, 1970, S. 705 ff.). Более осторожные исследователи предпочитают говорить не о «господстве», а о «ведущей роли» знати (Adelsfuhrung), отмечая непринудительный, добровольный характер связи между нею и остальными свободными, которыми она предводительствовала (Wenskus, 1961, S. 339f.; ср.: Laube, 1976, S. 189 f.).

Сдержанность этих ученых диктуется, в частности, тем, что утверждения, согласно которым знать и вожди опирались на укрепленные бургы (как впоследствии

³ Германский обычай поднимать оружие в знак одобрения решения сохранился и в раннее средневековье.

феодалы: Dannenbauer, 1956, S. 121—178), не нашли поддержки со стороны археологов; последние склонны видеть в изученных ими укреплениях из земли и дерева убежища для населения в моменты опасности (Jankuhn. *Archaeologie...*, 1976, S. 236). О том, что германцы при приближении врага укрывались в лесах или на горных вершинах, рассказывают Тацит и Аммиан Марцеллин, которые, однако, в этой связи не сообщают об искусственных укреплениях. Упоминаемые же античными авторами германские *oppida* и *castella*, по-видимому, были оставлены в начальный период Империи. Они становятся более частыми в III—V вв.⁴

Таким образом, знать, вожди, дружинники, несомненно, выделялись из основной массы населения как своим образом жизни, воинственным и праздным⁵, так и немалыми богатствами, которые были ими награвлены, получены в подарок или в результате торговых сделок; их земельные владения были более крупными, чем владения остальных свободных, и, видимо, знатные семьи преимущественно использовали труд рабов, перекладывая на них заботы о своем содержании. Впрочем, Р. Мух справедливо предостерегал от излишнего доверия к сообщению Тацита о полнейшей бездеятельности знати и ее отвращении к физическому труду — в этих словах римского писателя нетрудно разглядеть определенную тенденцию (Much, 1967, S. 237). Вероятно, действительность была более многообразна и не поддавалась такой однотонной стилизации. Зажиточные собственники могли принимать участие в производстве, даже если они и принадлежали к знати. Точно так же и рабы, о которых мы знаем из тацитовской «Германии» (Тацит уподобляет их римским колонам, мелким свободным арендаторам и явно идеализирует их положение⁶), трудились не на одних только вождях и дружинников, и наличие одного или нескольких рабов в хозяйстве свободного человека никоим образом не избавляло его самого от необходимости заниматься производственной деятельностью.

Об этих германских рядовых свободных известно очень немного: внимание римских авторов было, естественно, приковано к наиболее воинственному и динамичному слою дружинников и нобилей. Между тем рядовые свободные соплеменники составляли костяк населения. Исследователи древнегерманского общества сплошь и рядом без обиняков называют свободных (*ingenui*, *plebs* античных писателей) «крестьянами», имея в виду при этом, как правило, то, что они были земледельцами и скотоводами. Следовало бы, однако, принять во внимание тот факт, что в германских языках отсутствовало обозначение для людей свободного происхождения, занятых сельским хозяйством (RL, II, S. 99 Г.). Германские термины *bondi*, *gebur* (*gibur*), *buari* происходят от глагола *bua* (*buan*, *bauan*), обозначающего проживание, пребывание в доме и связь с коллективом, но не сельскохозяйственную деятельность. Лишь затем эти термины стали указывать на определенный социально-правовой статус, и, наконец, из них развилось значение «крестьянин» (*Wort und Begriff «Bauer»*, 1975, S. 58, 64 ff., 72), — человек, который поглощен сельскохозяйственным трудом и занимает вследствие этого низкое положение в социальной иерархии.

Однако такое содержание эти термины получили уже в складывавшемся феодальном обществе. Для более ранней стадии характерно было то, что производственные функции свободного не воспринимали в качестве определяющих; более существенными были такие значения терминов *bondi*, *bunda*, как

⁴ RL, I, S. 208; IV, S. 176—178. Кольцевые укрепления в Скандинавии (главным образом на островах Балтийского моря) относятся по большей части к эпохе Великих переселений народов. См.: RL, IV, S. 210 ff.

⁵ Знать отличалась от прочих соплеменников и своей одеждой (Тас. *Germ.*, 17), и тем, что в ее среде практиковалось многоженство (*Ibid.*, 18); известно, в частности, что у Ариовиста были две жены (*Caes. De bell. Gall.*, I, 53).

⁶ Мух полагает, что германские сервы могли исполнять и трудовые повинности наряду с уплатой подати и что кроме них существовали домашние рабы (*Much*, 1967, S. 326).

«домохозяин», «владелец дома», «глава семьи», «супруг». Не свидетельствует ли эта семантика об отсутствии в германском обществе функционального «разделения труда»?

В социологическом смысле древнегерманские свободные соплеменники еще чрезвычайно далеко отстояли от крестьян, и поэтому употребление термина «крестьянин» применительно к древней истории Средней и Северной Европы — явная модернизация.

Среди критериев крестьянства Р. Венкус отмечает тесную связь с землей — в смысле его «укорененности», прочной оседлости. На этом основании он считает невозможным говорить о «крестьянстве» применительно к аграрному населению неримской Европы (RL, II, S. 103).

Однако новые данные о «древних полях» и поселениях с «длинными домами», а также указания, почерпнутые из языка и мифологии германцев (см. выше), как кажется, не оставляют сомнения относительно того, что подобная «укорененность» имела место. Тем не менее о крестьянстве в собственном смысле слова можно говорить, по-видимому, только тогда, когда налицо общество, строящееся на разделении социальных и производственных функций, и когда в состав этого общества входит класс людей, занятых сельскохозяйственным трудом в своих мелких хозяйствах. Даже если отделение производственной функции от функций военной и управленческой проведено непоследовательно и земледельцы сохраняют личную свободу, тот факт, что они крестьяне, свидетельствует о существовании в обществе иной социальной группы, которая в той или иной мере концентрирует в своих руках войну и управление. В крестьянство рядовые германские соплеменники превратятся только после Великих переселений народов.

Древнегерманская социальная структура была весьма далека от подобного общества, и потому давний долгий спор в историографии о том, считать ли свободных соплеменников «крестьянами» или «вотчинниками» (последнюю точку зрения выдвинул в свое время В. Виттих)⁷, представляется беспредметным: они не являлись ни теми ни другими. Свободный соплеменник был занят сельскохозяйственным, а временами и ремесленным трудом, но в его хозяйстве или на участках, выделенных из его владения, вполне могли трудиться несвободные или зависимые люди; вместе с тем он был воином и участвовал в военных действиях и, нужно полагать, именно поэтому выступал в качестве члена народного собрания (Tas. Germ., 11,12). Иначе говоря, свободный соплеменник был полноправным членом общества, еще не знакомого с последовательно проведенным разделением социальных функций, — общества доклассового.

Состав хозяйства соплеменника определить довольно трудно. Характерный для древних поселков «длинный дом», площадь которого достигала подчас 100—150—200 и более кв. метров, был способен вместить несколько десятков жителей⁸. Его могла населять «большая семья» — коллектив родственников из трех поколений, включавший семью родителей и семьи их женатых или замужних детей; здесь жили и зависимые. О большой семье или домово́й общине у германцев приходится высказываться гипотетически, поскольку никаких твердых данных на этот счет применительно к изучаемой эпохе нет и все предположения исходят из более позднего материала, рассматриваемого ретроспективно.⁹

⁷ См. критику этих взглядов: *Weber*, 1924, S. 35 ff.

⁸ Г. Мильденбергер, напротив, полагает, что эти дома могли давать приют только малым семьям и что поля, следы которых обнаружены близ них, были способны прокормить небольшое число жителей. См.: *Mildenberger*, 1972, S. 63. Иначе: *Steuer*, 1979, S. 620, 627.

⁹ Некоторые исследователи ставят под сомнение возможность существования у германцев большой семьи, ссылаясь на то, что средняя продолжительность жизни была тогда очень низкой (предположительно 27 лет); это практически исключало одновременное существование трех поколений родственников. См.: *Beuys*, 1980, S. 22—23. Однако вероятная продолжительность жизни

Более обширные родственные союзы германцев — патронимия, или род¹⁰, — также известны нам чрезвычайно плохо, и такие выражения, как *gentes cognationesque* (Цезарь) или *familiae et propmquitates* (Тацит), мало проясняют картину. В новейшей научной литературе высказывались возражения против идеи тесно сплоченного и ясно очерченного рода как социальной единицы у германцев (Genzmer, 1950; Kroeschell, 1968), и нужно признать, что возражения эти небезосновательны: от действительных отношений родства и родовой взаимопомощи, которые, вне всякого сомнения, играли огромную роль в жизни германцев, необходимо отграничивать разработанную систему родовых институтов, созданную историко-юридической мыслью XIX в. (Schlesinger, 1963).

Тем не менее индивида в древнегерманском обществе трудно представить себе вне состава обширного коллектива сородичей и других близких людей — в качестве члена этой группы он находил поддержку и помощь. По Тациту, вооруженные отряды германцев состоят из людей, связанных семейными узами и кровным родством (Germ., 7); у них принято мстить за убитого сородича (Germ., 21) — обычай, как известно, сохранившийся у германских народов и много веков позднее; широкое гостеприимство (Germ., 21) — признак общества, в котором людей сплавляют прежде всего родовые отношения; об этом же свидетельствует и особо тесная связь между сыном сестры и дядей (Germ., 20)¹¹. Однако беспочвенно предположение о существовании у германцев родовых общин, члены которых якобы вели совместное хозяйство (Mayer, 1924, S. 30 ff.). Как передает Тацит, «наследниками и преемниками умершего могут быть лишь его дети»; при их отсутствии имущество переходило лицам, ближайшим по степени родства, — к братьям, к дядьям по отцу, дядьям по матери (Germ., 20). Новые данные о землепользовании и поселениях германцев подтверждают мысль о том, что производственной ячейкой этого общества была семья («большая» или «малая»). Мелкое производство едва ли требовало объединения усилий отдельных хозяев. Как мы уже видели, в основе картины мира германцев лежало представление о доме, огороженном дворе. Самое создание мира, согласно германской мифологии и космологии, было не чем иным, как процессом основания усадеб, и все обжитое и возделанное пространство земли, в их глазах, представляло собой совокупность обособленных усадеб (Гуревич, 1972, с. 42—44).

Знать, дружинники¹², свободные, вольноотпущенники, рабы — таков в изображении античных авторов состав древнегерманского общества. Археологический материал дает картину этого общества в несколько иной проекции. Здесь знатные и могущественные люди выступают не в роли участников пиров и

— понятие среднестатистическое; в очень большой степени она определялась высокой детской смертностью. В большой семье могли и отсутствовать родители взрослых сыновей, которые уже завели собственные семьи, но проживание в одном доме и совместное хозяйствование неразделенных братьев и сестер означало сохранение этого коллектива.

¹⁰ Патронимия, по М.О. Косвену, — широкая группа родственников, связанных хозяйственными, социальными и идеологическими отношениями, она представляет собой «ограниченный круг действия родства», членов которого объединяют право мести и право возмещения, соприязничество, «необходимое наследование», право предпочтительной покупки и родового выкупа отчужденного семейного имущества. См.: Косвен, 1963, с. 91 и сл.; 1949, с. 356.0 понятии «род» у германцев см.: Phillpotts, 1913; Гуревич, 1977, с. 42 и сл.

¹¹ Мнение о том, что авункулат, примеры которого можно найти также в скандинавских и английских источниках раннего средневековья, якобы представлял собой пережиток древнего материнского права (Planitz, 1971, S. 54), не имеет под собой оснований. См.: RL, I. S. 525 f.; Much, 1967, S. 297 f.

¹² Тацит говорит о знатных юношах, которые, будучи недовольными тем, что их собственное племя «закосневает в длительном мире и праздности», вступают в дружины вождей других племен (Germ., 14). Тем не менее едва ли все дружинники были знатными, и сам же Тацит отмечает, что в дружине «есть степени по решению того, за кем они следуют» (Germ., 13). Вполне вероятно, что в дружины входили и воины низкого происхождения. См.: Kuhn, 1956; ср.: Schlesinger, 1963, S. 22.

сходок, а как обладатели полей и стад, оружия и сокровищ. Точно так же и простой народ в археологическом освещении рисуется не в виде прячущихся в лесах и болотах воинов, которые легко снимаются с насиженных мест и переселяются в другие области, но нерадивы в обработке земли (Tas. Germ., 45), — раскопки свидетельствуют о населении деревень, существующих на протяжении нескольких столетий, населении, поглощенном заботами о скоте и вспашке земли, постройке деревянных домов и ремесле.

Сопоставление сообщений письменных источников, да еще таких специфичных, какими были повествования античных авторов об их враждебных соседях-германцах, с одной стороны, и данных археологии — с другой, чревато трудноустранимыми противоречиями (см. об этом: Клейн, 1978, с. 24 и сл., 63 и сл.), в особенности когда обсуждается проблема социальной стратификации, которая может найти отражение в археологическом материале лишь в весьма одностороннем виде (Jankuhn. Einführung., 1977, S. 182 ff.). Вместе с тем этот материал, накопленный и исследованный к настоящему времени, настолько красноречив и показателен, что игнорировать его было бы недопустимой ошибкой.

Особое внимание привлекают поселения, следы которых открыты археологами. Интерес к этим данным возрастает в связи с тем, что в ряде случаев вскрыто несколько археологических горизонтов, датируемых разными периодами, так что удастся проследить последовательные этапы истории одной и той же деревни.

Именно так обстоит дело в уже упомянутом ранее поселке Феддерзен Вирде, просуществовавшем более полутысячелетия — от раннего железного века до эпохи Великих переселений народов (Haarnagel, 1977, S. 257—284; 1979). Феддерзен Вирде был расположен на территории расселения племени хавков — тех самых хавков, про которых Плиний Старший писал как об «убогом, несчастном племени», лишенном «возможности держать скот и питаться молоком», и даже охотиться, но обреченном на одну только ловлю рыбы в море, окружающем их хижины (Nat. Hist., XVI, 2—4). Здесь выделены восемь археологических горизонтов. На начальной стадии, которую удастся установить (I в. до н.э.), в этой местности параллельно располагались пять равновеликих «длинных домов», обособленных каждый на своем «жилом холме». По величине дома можно судить о приблизительном количестве крупного рогатого скота, который содержался в стойлах, и поэтому, исходя из равенства площади домов, мы вправе заключить, что населявшие их семьи были относительно одинаковой состоятельности. В этот период здесь уже применялся плуг с отвалом. Поля, очевидно, были небольшими, и на первом месте в хозяйстве этих приморских жителей стояло скотоводство.

Затем складывается овално-радиальная структура деревни. Изучение плана расположения домов, равно как и дорог и мостов, привело В. Хаарнагеля, руководителя раскопок в Феддерзен Вирде, к заключению, что жители подчинялись определенным распорядкам в организации и использовании пространства и, следовательно, в этом смысле образовывали общину (Haarnagel, 1979, S. 316, 320).

В I в. н.э., в период разрастания деревни до 14 дворов, между хозяйствами, по-видимому, уже наметилось имущественное неравенство — появляются дома разных размеров. Несколько усадеб располагались внутри общей ограды, видимо, объединяя семьи сородичей или хозяйства, имевшие какие-то общие интересы. Эти объединения состояли из неравного числа домов, но в каждом из объединений выделялся один дом большего размера, чем прочие. В. Хаарнагель полагает, что налицо — усадьба крупного хозяина и наделы его зависимых держателей (Hintersassen) (Haarnagel, 1962, S. 151 f.; 1979, S. 318 f.).

Во II в. выделяется одно наиболее крупное хозяйство с домом длиной 29 м и тремя связанными с ним домами меньших размеров. Хаарнагель придерживается

мнения, что большой жилой дом с «залом» (Halle), окруженный малыми домами, в которых, возможно, жили зависимые люди (их статус, естественно, неизвестен), представлял собой резиденцию самого зажиточного «крестьянина» или «предводителя» (Hauptlingssitz), хозяйственный и культурный центр деревни. В этом доме, в отличие от прочих «длинных домов», не было стойла, скот содержался в других помещениях.

В непосредственной близости от жилища этого «богача» находился «дом сходок» жителей деревни, и то, что он располагался не на центральной площадке деревни, а неподалеку от «усадьбы предводителя», побуждает предположить, что он находился с ним в какой-то особой связи. Хаарнагель допускает возможность того, что этот дом был построен «предводителем», который руководил собраниями жителей (Haarnagel, 1975, S. 22).

На протяжении II и III вв. в Феддерзен Вирде существовали уже 23—26 домов разной величины (длиною от 25 до 10,5 м), расположенных двумя концентрическими кругами: появление новых домов не привело к изменению общего плана поселения. И в этот период сохранялись как «богатый дом», так и «дом сходок», причем первый был обнесен прочной оградой и рвом и сильнее обособлен от деревни, — по Хаарнагелю, он превратился отныне в «господский дом» (Herrenhof). Вокруг него концентрировалось ремесло, как можно судить по обилию ремесленных полуфабрикатов, угля и шлаков, а также ям для обжига в его непосредственном окружении и в малых домах поблизости. Мастера по металлу, работавшие в отдельных домах под покровительством или контролем владельца этой усадьбы, очевидно, уже не были заняты в сельском хозяйстве и представляли собой профессиональных ремесленников. Помимо кузнечного дела здесь существовало гончарное, плотницкое и текстильное производство. «Господский дом» был также средоточием торговой деятельности. В этом хозяйстве найдено, в частности, немало предметов импорта из Римской империи, поступление которых в эту область было облегчено мореплаванием вдоль побережья Северного моря вплоть до устья Рейна.

Одновременно расширяется и «дом сходок» (его размеры достигают 25 м в длину при 6,5 м в ширину), и на то, что дом этот служил каким-то важным целям, указывает тщательно сооруженный в центре его очаг. На площадке, где располагались «господская усадьба», «дом сходок» и ремесленные мастерские, найдено большое количество римских монет, черепков импортной посуды, фибул, стекла и т.п. Возникает предположение, что «господская усадьба» являлась центром ремесленной и торговой активности для всего населения деревни. На службе этого «господина» или «сельского предводителя» находились, по мнению Хаарнагеля, ремесленники и мореходы, получавшие от него содержание. Здесь же должны были проживать и стражники, охранявшие «господскую усадьбу» и ее богатства.

В IV—V вв. в Феддерзен Вирде появляются дома меньшего размера, и, судя по материальным остаткам этого периода, здесь произошли какие-то неблагоприятные перемены (упадок сельского хозяйства вследствие выщелачивания почвы и наступления моря?), в меньшей мере отразившиеся, очевидно, на «господской усадьбе». Можно предположить возрастание Удельного веса ремесла за счет сельского хозяйства. В конце концов в V в. жителям пришлось оставить это поселение.

Итак, Хаарнагель гипотетически выделяет следующие слои населения Феддерзен Вирде: «свободные, независимые крестьяне» (unabhängige freie Bauern), «зависимые держатели» (Hintersassen) «крестьяне-ремесленники», «профессиональные ремесленники», «господин» (Heer) или «предводитель» (Hauptling)¹³.

¹³ Погребение коня близ «дома сходок», собаки под порогом и свиньи под очагом, если истолковать эти погребения как жертвенные, дает основания предположить, что «господин» выполнял также и

Раскопки в Феддерзен Вирде не имеют параллели по богатству материала и по открывшейся в данном случае возможности восстановления истории древнего поселения в Европе железного века на протяжении столь длительного периода. Тем не менее и другие находки деревень и хуторов на территории расселения германцев, несомненно, заслуживают всяческого интереса. Остановимся на них более кратко.

Деревня в Западной Ютландии на рубеже н.э. обнаруживает в основном структуру, сходную с вышеописанной. В поселке Ходде найдены следы домов разной величины — от длинных (12—28 м) до малых (4,5—7,5 м), причем малые дома хозяйственно связаны с большими. В этой деревне тоже выделяется один особенно крупный дом (длиною до 28 м) со стойлом примерно для 30 голов скота. С. Хвасс, изучивший этот поселок, называет большой дом «усадьбой могущественного человека» (Stormandsgard) (Hvass, 1975, S. 75—85).

В деревне Нёрре Фьанд (в Западной Ютландии), существовавшей в I в. до н.э. и в I в. н.э., находим аналогичную картину. Здесь опять-таки обнаружены остатки домов разной величины, один из коих превосходит размерами прочие. По мнению Г. Хатта, это было хозяйство, доминировавшее в поселке (Hart, 1957). В другом ютландском поселении, Грентофт Хеде, которое возникло в V или IV в. до н.э., К. Беккер, исходя опять-таки из размеров помещений для скота, предполагает наличие «владельцев усадеб» (gerdsmaend), «мелких крестьян» (husmaend) и «безземельных людей» (jordlose). (Becker, 1965, S. 209—222; 1968, S. 235—255; Muller-Wille, 1977, S. 179 f.). Об усадьбе «предводителя» в хуторе Фохтелоо (Фрисландия) в I—II вв. н.э. пишет А. ван Гиффен, которому удалось реконструировать «длинный дом», стоявший обособленно от прочих домов меньшего размера (van Giffen, 1958). Ван Гиффен напоминает в связи с находкой в Фохтелоо сообщение Тацита о располагавшейся в этой местности вилле некоего Крупториго, германца, служившего Риму (Ann., IV, 73). В нидерландском селении Вийстер (время его существования — примерно от середины II до начала V в. н.э.), которое разрослось из одного двора, также обнаружена усадьба, которую считают аналогичной «господскому двору» в Феддерзен Вирде (van Es, 1967).

Таким образом, социально-экономическая структура древнегерманского поселения, рисуемая при изучении Феддерзен Вирде, не была исключением. Постепенный и неуклонный рост одного наиболее богатого хозяйства в этой деревне на протяжении нескольких столетий заставляет предположить, что здесь действительно происходило материальное и социальное возвышение некой семьи, которая если и не подчинила себе прочих жителей, то распространила свое влияние на всю деревню¹⁴. Могущество этой семьи опиралось на доходы от скотоводства и земледелия, а также — и во всевозрастающей степени — от ремесленного производства и торговли, в том числе и дальней. То обстоятельство, что и в других изученных поселениях приблизительно в ту же эпоху наблюдаются сходные явления: выделение одного более крупного хозяйства, — дало основание для предположения о формировании «господского слоя» (Herrmann, 1966, S. 409 ff.; Bohner, 1975, S. 4).

Оставляя в стороне утверждения о существовании в обследованных поселках «господ» или «предводителей» и «зависимых держателей», ибо для установления социального статуса обладателей крупных усадеб и их отношений с остальным населением деревни явно нужны были бы совершенно иные источники, мы, тем не менее, имеем основания констатировать существование в этих аграрных населенных

жреческие функции. Неподалеку от того же дома найдено человеческое погребение, и полагают, что, поскольку оно расположено, в отличие от всех прочих, не на кладбище, а в поселении, это захоронение имело культовый характер. См.: Ausgrabungen..., 1975, S. 24 f.; RL. IV, S. 411.

¹⁴ В. Хаарнагель полагает, что, хотя община равных свободных владельцев исчезла в Феддерзен Вирде уже в середине I в. н.э., нет указаний и на то, что «предводитель» осуществлял над жителями вотчинные права (Haarnagel, 1979, S. 322).

пунктах значительной общественной и имущественной дифференциации. Эта дифференциация, судя по всему, усиливается в эпоху Империи.

Выводы, сделанные на все же территориально ограниченном материале обследования поселений, находят дальнейшее подтверждение при изучении погребений. В захоронениях доримского железного века можно видеть отражение относительного имущественного и социального равенства, начиная же со времен принципата становится заметной дифференциация на богатые и бедные погребения; Р. Хахман предполагает, что богатые погребения принадлежали «деревенским предводителям» (Nachmann, 1956—1957, S. 7 f.; Jankuhn, Siedlung., 1976, S. 310). В начале н.э. появляются более пышные, так называемые княжеские погребения (Furstengraber), которые выделяются из их окружения, образуемого скромными сожжениями (Eggers, 1953)¹⁵. В могильные камеры из камня или дерева помещали деревянный гроб с телом; туда же клали серебряные и глиняные сосуды, украшения из золота и серебра, в том числе фибулы и другие предметы. При этом «рядовые» погребения отличались значительными региональными вариациями, тогда как существенной особенностью «княжеских погребений» была их однородность на обширной территории Западной и Северной Германии, что заставило предположить «династические связи» внутри слоя нобилитета. Неясно, существовало ли соответствие этого слоя упоминаемым Тацитом *reges* и *principes* (Capelle, 1971, S. 13,166).

Однако против квалификации богатых погребений как «княжеских», казалось бы, говорит отсутствие в них оружия. Поэтому высказывалось мнение, что погребения эти отражают скорее не социальную дифференциацию, а новые религиозные представления (Much, 1967, S. 203ff., 344). Новейшие исследования погребений этого типа вообще поставили под вопрос их принадлежность к «княжеским». Такие погребения в ряде районов охватывали немалый процент всех погребений (от 10 до 20%), и поэтому возникло предположение, что в них хоронили не вождей или их жен (весьма велик удельный вес женских погребений среди «княжеских»), а скорее зажиточных свободных, и в таком случае погребения упоминаемых Тацитом *reges* или *principes* вообще еще не найдены (Gebuhr, 1974, S. 82—128). Вопрос о том, в какой мере социальные различия находили отражение в погребениях, остается открытым (Mildenberger, 1970, S. 86 f.; Wenskus, 1961, S. 282, 310 f.; Steuer, 1979, S. 611). Так или иначе — налицо существование некоего общественного слоя, располагавшего значительными богатствами.

Данные археологии демонстрируют социальную и имущественную неоднородность в среде свободных. Конечно, было бы неосторожно, исходя из разительных контрастов в наборе вещей, которые помещали в погребение вместе с телом или урной с прахом умершего, прямо заключать об его статусе — следовало бы учесть и религиозные верования, в частности представления о загробном мире, и погребальные традиции. И тем не менее свидетельства археологии убеждают в том, что в древнегерманском обществе существовали зажиточные и бедные, не говоря уже о знати, которая располагала подчас огромными богатствами и похвалялась редкими сокровищами, импортированными из Рима. О наличии немалых богатств у части населения (или у отдельных индивидов) красноречиво говорят многочисленные клады, содержащие монеты римской чеканки, драгоценности, утварь, оружие и т.п. (Geisslinger, 1967).

¹⁵ Эту группу погребений принято называть «любсовской», по могильнику у деревни Любсова (Любишево) в Северной Польше, заселенной в ту эпоху еще германскими племенами. См.: Монгайт, 1974, с. 341.

Обладание сокровищами способствовало возвышению вождей и упрочению их власти, привлекая в их дружины наиболее воинственную часть соплеменников¹⁶. Наличие этих сокровищ выполняло и важную знаковую функцию; одеждой и фибулами, оружием и прической знать выделялась из остальной массы соплеменников. Полученные от римлян монеты подчас не имели меновой стоимости у племен, которые вели безденежную торговлю (Тас. Germ., 5), но германцы изготовляли из них украшения, имевшие религиозно-магическое и символическое значение (RL, III, S. 361—401). Трудно удержаться от заключения, что в этом обществе знать возвысилась над рядовыми свободными, заняв доминирующие позиции и в социальной, и в хозяйственной жизни, сосредоточив в своих руках ведение войн (в которых в случае необходимости принимали участие все свободные мужчины), а возможно, и руководство культом. Вывод о социально-экономическом и военном могуществе знати, напрашивавшийся уже и из анализа письменных источников (Неусыхин. Общественный строй., 1929, с. 83, 147 и сл., 154 и сл., 219 и сл.), находит в археологическом материале дальнейшее широкое подтверждение и, главное, конкретизируется. В этом смысле очень показательна рассмотренная выше история поселения Фед-дерзен Вирде. Группа домохозяев — скотоводов и земледельцев приблизительно одного достатка с течением времени, по мере роста населения, дифференцируется; затем в деревне выделяется наиболее зажиточная усадьба, вокруг которой концентрируются ремесло и торговля и с которой, по-видимому, связаны мелкие хозяйства (неизвестно, были ли то хозяйства несвободных соплеменников); наконец, экономическое преобладание этой состоятельной семьи, как можно предположить, приобретает также и некоторые черты социального верховенства.

А.И. Неусыхин видел в древнегерманском нобилитете социальную группу, которая выделилась из свободных соплеменников благодаря войне. То были лица, «которые играли наиболее выдающуюся роль в деле организации военной обороны племени» (Неусыхин, 1974, с. 393). Изучение археологических данных побуждает предположить, что накопление богатств и в мирных условиях приводило к обособлению в среде скотоводческого и земледельческого населения германских деревень преуспевающей верхушки, хотя остается загадкой, в какой мере она идентична нобилитету, изображенному Цезарем и Тацитом.

Признавая имущественное и социальное расслоение германского общества, тем не менее можно со всей определенностью отрицать зарождение в нем классовой структуры¹⁷. Тезис о наличии у германцев частной собственности на землю, который многократно постулировался историками, не находит подтверждения. Перед нами — родо-племенное варварское общество на поздней стадии своего развития («высшая ступень варварства» по Энгельсу). Существующие в нем социальные градации — знать, свободные, рабы — это разряды именно родо-племенного общества, основную массу которого образуют свободные¹⁸. Нет указаний о зависимости, личной или хозяйственной, одних свободных от других, и в этом отношении владения состоятельных германцев, в которых эксплуатировались рабы, радикально отличаются от средневековых вотчин с зависимыми крестьянами из числа бывших

¹⁶ Об отношениях между вождем и дружинниками, об их верности, длящейся вплоть до смерти, о состязании дружинников в проявлении доблести и о наградах, получаемых ими от предводителя, Тацит говорит очень красноречиво (Germ., 13, 14). Позднейшие письменные источники, в особенности скандинавские, рисуют такую же картину для эпохи викингов.

¹⁷ Неусыхин, 1968, с. 597, 616 и сл. Иначе — И. Герман, который возводит начало классовой дифференциации у германцев к рубежу н.э. (Herrmann, 1966, S. 398 ff; 1973, S. 178 ff.).

¹⁸ Разумеется, знать, свободные и несвободные у германцев не представляли собой «сословий» (Stände), как их мыслили историки-юристы XIX и начала XX в., а иногда еще и ныне; см.: Liitge, 1967, S. 16. Ф. Лютге пишет о «сословиях по происхождению» (Geburtsstände), хотя и признает неполную ограниченность одного от другого.

свободных. Ни зависимость сервов от их господ, ни личная связь дружинников с вождем не могут свидетельствовать о возникновении «зародышей» феодализма — они должны рассматриваться в контексте древнегерманской социальной системы, структурно, а не «телеологически». Варварское общество — последняя стадия доклассового общества.

Изучение социально-экономической истории германских народов на протяжении «имперского времени», с I по V в.¹⁹, обнаруживает своеобразное сочетание черт изменчивости и константности. Активная римская политика по отношению к Германии, походы римских полководцев в глубь страны, основание римлянами военных лагерей и поселений вдоль «лимеса» способствовали романизации областей, граничивших с Рейном и Дунаем. Однако романизация, восприятие германцами, населявшими эти районы, элементов римской цивилизации и социальных порядков, ограничивалась сравнительно узкой «каймой» на границе — внутри «свободной Германии» она чувствовалась очень мало. Крупнейший современный специалист в области германских древностей подчеркивает, что в целом германцы, несмотря на полутысячелетнее соседство с римлянами, почти ничего не переняли у них в сфере материальной жизни (Jankuhn, 1969, S. 184).

Если попытаться подвести итог длительной дискуссии на тему «континуитет — культурная цезура» при переходе от античности к средневековью, вызванной работами Допша (*Kulturbruch oder Kulturkontinuität...*, 1968), то при всей рискованности однозначного ответа на столь резко сформулированный вопрос все же можно с большой степенью определенности утверждать: вторжения варварских народов на территорию Римской империи открыли качественно новую эпоху в социально-экономической истории Европы. И дело не исчерпывается той ломкой позднеимперского общественного уклада, которая происходила в завоеванных германцами странах. Великие переселения нарушили преемственность и на родине германцев. Как уже упоминалось, археологами установлено, что почти все без исключения открытые ими поселения на пространствах, издавна обитаемых германцами, в IV—VI вв. пришли в запустение, были разрушены или оставлены их жителями²⁰. После этого же хронологического рубежа не обнаруживаются и так называемые «древние поля», широко распространенные в доримский и римский железный век. Налицо нарушение преемственности в области хозяйства и поселения. Напротив, деревни, заселенные германцами после Великих переселений, как правило, существовали на протяжении большей части средневековья.

Новые формы поселений, новые типы полей и системы обработки почвы, главное же — иной характер социальных отношений решительно отделяют древнегерманских скотоводов, земледельцев и воинов, членов варварского общества, от формирующегося крестьянства раннего средневековья.

¹⁹ Мы не касаемся здесь военно-политических перипетий отношений между Римом и германцами, равно как и изменений в структуре германских племен, и в частности образования племенных союзов. См. об этом: *Неусыхин*, 1929, с. 109—128; *Wenskus*, 1961, S. 429 ff.; *Dannenbauer*, 1959, S. 184 f.

²⁰ Весьма наглядно это видно из приводимой В. Янсеном таблицы, на которой показана хронология существования древних и средневековых поселений на территории Германии: IV и в особенности V и VI вв. знаменуют резкий и всеобщий упадок старых деревень; VI—VII вв. — время основания новых деревень (*Janssen*, 1968, S. 345; ср.: *Schlette*, 1969, S. 11—25).

4. Германская община после варварских завоеваний

После расселения в завоеванных провинциях Римской империи рядовые свободные германские соплеменники стали превращаться в крестьян. Несмотря на то, что и на старых местах жительства, внутри Германии, они с давних времен занимались оседлым земледелием и скотоводством, до Великих переселений крестьянами, непосредственными производителями, поглощенными хозяйством, они еще не являлись (см. выше). Ибо наряду с хозяйственной деятельностью они вели жизнь воинов, принимали участие в управлении и суде. Вещи, найденные в германских кладах и погребениях, очень часто представляли собой добычу, захваченную во время войн и грабительских набегов, и слова Тацита о том, что варвары предпочитают добывать себе нужное пролитием крови, а не пота (Germ., 14), — не пустая риторическая фигура. Общая картина, вырисовывающаяся при чтении «Германии»: неторопливые сборы на народные сходки, отнимающие подчас несколько дней; толпы («сотни»), следующие за старейшинами; непробудное пьянство на долгих пирах; оружие, с которым германцы никогда не расстаются; тяга молодежи в дружины; склонность отдавать сну не только ночь, но и часть дня; наконец, особенности германцев, которые поражали сторонних наблюдателей, а именно — большая выносливость в ратных делах и неприспособленность к труду и напряженной деятельности (Germ., 4, 11, 12, 13, 22), — свидетельствует о том, что перед нами отнюдь не крестьянское общество.

Сколь разителен контраст между этой картиной и тем, что выступает на первый план в древнейших записях обычного права германцев — варварских Правдах¹. Главное содержание судебных книг — охрана имущества и личной неприкосновенности домохозяев, их усадеб, домов, скота, рабов, движимости. Средоточием их хозяйственной и социальной жизни являются усадьба и дом, и они явственно доминируют в сознании германца. Преступления, совершенные против него внутри ограды его усадьбы и тем более в доме, караются особенно сурово (L Sal., add. 1, 2; VII, 3, add. 8; VIII, 1; add. 1; XI, 3, 5; XIII, 5; XIV, add. 1, 2; XVI; XXVII, 22, 23; XXXIV, 4, add. 2; XLII, 5); изгороди, отделяющие его хозяйство от внешнего мира, неприкосновенны (L Sal., IX, add. 2; XXXIV, 1, add. 1); лица, проживающие в его усадьбе, составляют ли они его семью или принадлежат ему в качестве зависимых, рабов, находятся под его покровительством, и он несет за них ответственность (L Sal., XIII; XV; XXIV; XXV; XXXV; XXXIX; XL; XLIV); в доме надлежит вчинять ему иски и вызывать на суд (L Sal. 1, 3; LII, LVI); человек, который должен уплатить вергельд, но вынужден в силу своей имущественной несостоятельности переложить эту обязанность на родственников, бросает горсть земли, стоя на пороге своего жилища, и затем прыгает через плетень, что, видимо, символизировало его отказ от дома, двора и имущества (L Sal., 3, LVIII).

Кроме усадьбы свободный германец владеет пахотным участком, лугом, выпасом для скота, делянкой в лесу, и неприкосновенность этих его владений и угодий также охраняется правом, хотя и не в той же мере, как неприкосновенность дома и двора (L Sal., VII, add. 11; IX, 1, 2, 4, 5; XXVII; XXXFV, 2, 3. См.: Неусыхин, 1974, с. 52 и сл.). Право пользования «травой, водой и дорогою» принадлежит всем жителям населенного пункта, и потому любой хозяин может воспретить постороннему лицу сюда переселиться, дабы его собственные интересы не оказались ущемленными (L Sal., XLV). Скрупулезность, с какой составители судебных книг

¹ В варварских Правдах крупное землевладение не находит адекватного или вовсе никакого (как в Салической правде) отражения. Однако необходимо иметь в виду, что эти судебники, предназначенные главным образом для регулирования правоотношений в среде рядовых соплеменников, к тому же преимущественно только спорных или неясных казусов, но не бесспорных норм, затрагивают отдельные аспекты жизни германцев, расселившихся в римской провинции, и не могут дать всесторонней картины общества в целом.

вникают во все возможные казусы краж и ограблений, подробнейшие перечни крупного и мелкого скота, птицы, утвари с установлением пеней за их похищение (вспомним хотя бы «свиную терминологию» Салической правды — L Sal., II), за потравы, нарушение границ и иной ущерб, причиненный хозяйству, - все это продиктовано интересами мелких производителей. Поводы для тяжб между ними нередко возникают во время пахоты, рубки леса, выпаса домашних животных, помола зерна на мельнице.

Разумеется, они свободны (*liberi, ingenui*) и полноправны, а потому вооружены, и в судебниках видное место отводится карам за убийства и ранения; видимо, вооруженная стычка между людьми, что-то не поделившими, была заурядным явлением. Еще недавно эти люди принимали участие в военной колонизации Галлии, и военный быт, очевидно, не вовсе ушел в прошлое. Не следует забывать и того, что в условиях только зарождавшегося государства свободному человеку самому приходилось охранять от посягательств свою жизнь и достоинство, а равно своих близких и достояние, прибегая при этом не только и, может быть, даже не столько к средствам судебной защиты, сколько к силе оружия. И тем не менее центр их интересов явственно переместился в сферу хозяйственной деятельности. Тот, кто предпочел войну земледелию и скотоводству, стал антрустионом, дружинником короля, и защищен утроенным против обычного вергельдом (L Sal., XLI, 3, 5; XLII, 1, LXIII, 2). Все остальные — крестьяне.

Существование, с одной стороны, крупного землевладения короля и знати и — с другой, превращавшихся в крестьян свободных было источником глубоких противоречий в VI в. Укреплявшееся после завоевания могущество монархии и сил, которые ее поддерживали², создавало угрозу независимости крестьянства — если не сейчас, то в недалеком будущем. Первые симптомы уже налицо в Салической правде.

Право жителей «виллы» воспретить постороннему вселиться в этот хутор или деревню (исследователи расходятся в толковании термина *villa* в гл. 45 Салической правды — см. ниже) теряло силу в том случае, если *migrans* предъявлял королевскую грамоту, дававшую ему такое право, и попытка воспрепятствовать вселению подобного привилегированного лица сурово каралась (L Sal., XIV, 4). Нетрудно предположить, что приближенный короля или человек, пользующийся его милостью, после вселения в виллу оказывался способным утеснить ее жителей; такой привилегированный поселенец вполне мог располагать средствами для того, чтобы поставить в зависимость от себя кое-кого из местных крестьян.

Но это лишь гипотеза. Факт же заключается в том, что, как явствует из гл. 45 Салической правды, составители судебного кодекса исходят из представления об отсутствии у жителей виллы (в данном случае так названо, видимо, групповое поселение) единства интересов. Соответственно, в ситуации, когда в виллу (точнее — к одному из ее жителей) вселяется какое-то новое лицо, часть крестьян хочет принять его, тогда как один (или несколько) жителей высказываются против вселения и тем самым делают его невозможным. В данном случае нас интересует не то, на каких правах и по каким причинам этот *migrans* переселяется к «другому», ибо здесь невозможно продвинуться дальше догадок (см.: Грацианский, 1960, с. 229 и ел.), — существенны самый факт разногласий между жителями виллы и наличие у любого из живущих в ней хозяев права воспрепятствовать переселению в нее нового лица. Если

² Здесь нет необходимости останавливаться на вопросе о старой франкской знати. То, что ее не упоминает Салическая правда, дало повод полагать, что франкские короли сумели ее физически истребить (см. на этот счет повествование Григория Турского), однако, возможно, часть старой знати перешла на службу королю. Высказывалось и иное предположение: франкская знать просто-напросто не испытывала потребности в том, чтобы ее права, в частности вергельды, были зафиксированы в таком правовом уложении, как Салическая правда, касающемся преимущественно отношений внутри сельского населения. Вопрос о знати у франков в VI в. (до становления служилой знати) остается предметом научных дебатов. См., в частности: *Bergengruen*, 1958; *Grahn-Hoek*, 1976; RL, I, S. 67 f.

вилла — деревня, то ее жители выступают в обрисованной ситуации индивидуально; даже при согласии всех остальных достаточно противодействия одного для того, чтобы вселение *migrans'a* оказалось противоправным. Титул 45 привлекали в качестве свидетельства того, что франкская деревня представляла собой общину, располагавшую правом «верховной собственности» на земли (см. полемику между А. Допшем и Г. Вопфнером: Wopfner, 1912—1913; Dopsch, 1912—1913). Но этот казус представляется в несколько ином свете, если учесть, что законодатель делает упор на расхождении в среде соседей. Перед нами — не корпорация, которой принадлежит коллективное право запрета на вселение чужака, а совокупность соседей, у каждого из коих — свой собственный интерес, не обязательно совпадающий с интересами других крестьян (см.: HalbanBlumenstok, 1894, S. 253 ff.; Inama-Sternegg, 1909, S. 105, 129 ff.)³.

Нет ли оснований согласиться с тем, что вселение нового хозяина в деревню могло противоречить интересам ее жителей, поскольку этот новый хозяин неизбежно станет пользоваться угодьями и тем самым сократит долю каждого из них в этих угодьях? (Грацианский, 1960, с. 342). Об общинных правах во франкской вилле можно говорить, опираясь на данный текст, в той мере, в какой речь идет о совместном пользовании лугами, водами и дорогами (*Extravagantia*, В. XI: «*Non potest homo migrare, nisi convicinia, et herba, et aquam, et via...*»). Но едва ли правомерно искать здесь указания на «верховную собственность» общины на пахотные земли.

Совместное проживание в населенном пункте и занятие сельским хозяйством в пределах одной территории естественным образом приводили к возникновению некоторых отношений и связей между крестьянами. Э первую очередь эти отношения определялись необходимостью пользования угодьями, и постольку жители деревни образовывали общность. Титул *De migrantibus* несет на себе отпечаток этих отношений. Представляется натяжкой видеть в *vicini*, упоминаемых эти титулом, кого-либо иного, нежели соседей. В самом деле, сначала они названы здесь *ipsi qui in villa consistuent*, а затем — *vicini*. То, что их связывает, — это совместное проживание в одном поселении и проистекающее из него пользование угодьями, в котором они заинтересованы. Никаких намеков на родственные связи между жителями виллы Салическая правда не содержит. Из судебного ясно видно, что все конфликты и правоотношения, которые им предусматриваются, суть отношения между отдельными лицами, обособленными хозяевами.

Нет достаточных доказательств существования у франков периода записи их обычного права большесемейных коллективов, ибо совершенно естественное и неизбежное в тех условиях поддержание родственных связей и оказание родственниками взаимопомощи не могут свидетельствовать об их совместном проживании в одной усадьбе и о ведении ими общего хозяйства. Истолкование «генеалогии» как большой семьи в *L Alaman.*, *LXXXI*, где описана тяжба из-за границ владений двух «генеалогий», также остается спорным. Из этого титула не вытекает с необходимостью, что члены генеалогий вели совместное хозяйство и

³ К.З. Бадер обратил внимание на сходство этого титула Салической правды с постановлением Кодекса Феодосия (III, 1, § 6, от 27 мая 391 г.), которым воспрещалось отчуждение земель чужакам, и предположил, что посредствующим звеном между обоими памятниками явился *Breviarium Alarici*, повторивший это предписание позднеримского права. Отличие титула 45 Салической правды от этого предписания, по Бадеру, заключается только в том, что вместо запрета продажи имущества (*rem vendere*) здесь говорится о *migrare*, ибо в обстановке франкской деревни начала VI в. продажи земли быть не могло и имелось в виду пользование угодьями. Тем самым, заключает Бадер, одно из «коронных свидетельств» существования марки в начале средневековья оказывается сугубо сомнительным (*Bader*, 1962, S. 133—136). На наш взгляд, нахождение возможного источника этого титула Салической правды все же не лишает его самостоятельного интереса. См. возражение: *Неусыхин*, 1967, с. 53.

совместно обрабатывали землю, на которую имели общие права (ср.: Неусыхин, 1956; Ganahl, 1941, 8. 68 f.).

Точно так же трудно найти намеки на родство между соседями и в тексте эдикта Хильперика, которым порядок наследования земли был дополнен и изменен в пользу родственников женского пола, не обладавших этим правом согласно Салической правде (титул 59). Этот титул предписывал, чтобы земельное наследство поступало после смерти хозяина одним лишь мужским его потомкам, а эдикт Хильперика допускал переход земли, в случае отсутствия сыновей, дочерям, причем была сделана оговорка, согласно которой *visini* эту землю не получают⁴. Оговорку о соседях, видимо, следует толковать в том смысле, что к ним переходили выморочные земли, которые могли быть использованы в качестве неподделанных угодий (*Hal-ban Blumenstock*, 1894, S. 301 f., 360, 367). О правах соседей на выморочные земли многократно упоминается в источниках более позднего времени, в частности в *Weistiimer* конца средневековья (*Die Anfänge der Landgemeinde*, 1964, S. 251), и эти права не могут свидетельствовать ни о том, что соседи — родственники прежнего владельца выморочного участка, ни о «верховой собственности» общины на пахотные земли (см.: *Inama-Sternegg*, 1909, S. 130 f., 136).

Таким образом, община, вырисовывающаяся из памятников периода после Великих переселений, — это не коллектив больших семей или бывших сородичей, обладавших верховенством над обрабатываемыми ими пахотными землями, а скорее объединение соседей, которые раздельно владели своими наделами, но были заинтересованы в регулировании пользования угодьями. Германская община периода Меровингов, самое существование которой не вызывает сомнений, представляла собой пока еще рыхлую и слабо оформленную организацию, если сравнивать ее с общиной классического и позднего средневековья. Подобно тому как самое крестьянство находилось в процессе становления, складывалась и крестьянская община. Видеть в ней непосредственную преемницу древнегерманской общины (см. выше) едва ли есть достаточные основания — ведь в истории аграрных поселений германцев завоевания привели к резкому разрыву. Археологическое изучение поселений на территории Германии свидетельствует о том, что почти ни в одном случае деревня, существовавшая до V в., не сохранилась впоследствии; все известные археологам поселки более позднего времени начинаются не ранее V или VI в. (*Janssen*, 1968, 5.12-13).

Для того чтобы несколько приблизиться к пониманию природы общины у германцев в период, непосредственно следующий за Великими переселениями, нужно остановиться на вопросе о характере их поселений. Анализ терминологии варварских Правд и других памятников того же периода показывает, что термин *villa* мог равно означать и деревню, и однодворное поселение (*Dolling*, 1958; *Bader*, 1957, S. 23, 91). Большой интерес представляет наблюдение, сделанное археологами. Для этого периода характерной формой кладбищ, на которых германцы, переселившиеся на территорию Северной Галлии, хоронили своих покойников, были так называемые *Reihengraber* (тела погребали головой на восток, и все могилы были расположены параллельно, вместе с покойником клали его вещи: оружие, одежду, украшения, иногда коней и собак. См.: *Werner*, 1950). Некоторые исследователи высказывали предположение, что это погребения воинственной знати (*Redlich*, 1948, S. 177—180), другие — что здесь хоронили свободных крестьян, обладавших значительным достатком (*Bolmer*, 1950/51, S. 28; 1950, S. 94, 105; *Franz*, 1970, S. 19; *Steuer*, 1979, S. 629 f.). Такие кладбища с параллельно ориентированными могилами невелики по

⁴ А. И. Неусыхин (Неусыхин, 1956, с. 115, 117 и сл.) предполагал, что отмененные эдиктом притязания соседей «восходят к тем временам, когда эти «соседи» были сородичами», членами большой семьи или домово́й общины.

размерам — очевидно, поселки, из которых совершались здесь захоронения, не были крупными.

Этот вывод находит широкое подтверждение в свидетельствах письменных источников, топонимики и данных археологии поселений: доминирующей формой были не большая «кучевая деревня» и не изолированная усадьба, а небольшое поселение, дворы в котором были расположены на известном расстоянии один от другого. В Северной Галлии и Бельгии ареал распространения обособленных дворов совпадал с ареалом преобладания германского языка, причем степень доминирования таких усадеб возрастала по мере продвижения с юга на север (Steinbach, 1927, S. 44,55f.). Хутора (*Weiler, villare*) характерны для значительной территории расселения германцев в период после завоеваний. Например, в Верхней Швабии в начале VI в. были распространены поселения с двумя-тремя дворами, и число дворов постепенно увеличивалось по мере роста населения и расчисток новины (Bog, 1956, S. 13). Однако не всегда эти хутора разрастались, и, как утверждает К.З. Бадер, даже в зрелое средневековье хутор оставался в Германии преобладающим типом сельского поселения; противоположность деревни и обособленной усадьбы обострилась, собственно, только к концу средневековья. Эти хутора могли населять сородичи, но родственная группа не являлась основой поселения (Bader, 1957, S. 33f.), и топонимы с членом *-ingen*, ранее считавшиеся наименованиями родовых поселков, на самом деле не свидетельствуют о том, что в этих поселках обитали сородичи, потомки одного предка.

Что же касается формы поселения, которая нашла свое отражение в Салической правде, то, как показал Н.П. Грацианский, составители судебника имеют в виду небольшие поселки в один, два или несколько дворов, нередко расположенных по соседству; по мере освоения пустоши и вырубki леса эти поселки могли объединяться либо же разрастался отдельный хутор. Исходя из предположительного состава стад домашнего скота, упоминаемых в титулах судебника о краже животных (L Sal., II, 7, 14—16; III, 6—7, add. 5; XXXVIII, 3—4), исследователь высказывает мысль о том, что стадо от 12 до 25 (и даже более) рогатых животных или стадо в 15, 25 или 50 свиней, 40 баранов и до 12 лошадей — это стада незначительных размеров, они не могли принадлежать крупным деревням. Точно так же и постановление о краже быка, который обслуживал стада трех вилл (L Sal., III, 5), имело в виду, очевидно, небольшие поселения (Грацианский, 1960, с. 331 и сл.; возражения см.: Неусыхин, 1956, с. 16, 17).

Салическая правда не дает ясных указаний на существование больших деревень и не противоречит выводам, к которым приходят современные исследователи: германские поселения в канун средневековья были по преимуществу мелкими. Если титул *De migrantibus* и рисует виллу, в которой проживают несколько хозяев, то все же нет оснований полагать, что их было здесь много; в других же титулах судебника *villa* выступает преимущественно как обособленная усадьба (Грацианский, 1960, с. 333 и сл.; Dolling, 1958, 8.7). Франки и другие германцы в тот период селились просторно, не стесняя друг друга и выбирая себе удобные места на местных полянах, на опушке леса, близ рек и водоемов. Полевые участки, принадлежавшие жителям хуторов и небольших деревень, были расположены не чересполосно, как в последующий период, а обособленно один от другого, и разделялись межами. Эти поля (*Eschfluren*) обрабатывались индивидуально и не были подчинены принудительному севообороту, который сложится лишь с переходом к трехпольной системе земледелия, — в условиях господства двухполья не возникало потребности в разделении поля на коны (*Gewanne*) (Steinbach, 1960, S. 10 ff.).

Коренная ошибка представителей старой марковой теории (Г. Вайца, Г.Л. фон Маурера, О. Гирке, А. Мейцена, Г. Ханссена и др.) заключалась в том, что полевое устройство и деревенскую общинную организацию, с которыми историки были

знакомы по памятникам позднего средневековья и Нового времени, они безоговорочно переносили в более раннюю эпоху. Презумпция для такого переноса состояла в том, что общинное устройство, вырисовывавшееся из межевых карт и планов полей и деревень позднейшего времени, якобы унаследовано от древнегерманской старины, а не сложилось в процессе развития деревни на протяжении средних веков. Средневековой общине по существу отказывали в истории: все коренные ее признаки воспринимались как «изначальные», и считалось, что для ее характеристики можно привлекать данные, зафиксированные в источниках самых разных периодов, от времен Цезаря и Тацита и вплоть до XIX в.

От подобного подхода к изучению общины историческая наука сумела отказаться лишь постепенно⁵. Стало ясно, что понять историю деревенской общины можно только в более широком контексте истории сельского хозяйства, смены методов обработки земли и эволюции форм поселений. Поля конца средневековья, карты которых изучали историки, представляют собой, по выражению Ф. Штайнбаха, «палимпсест», и под новым «текстом конов» была вскрыта более древняя система огороженных полей (Steinbach, 1960, S. 10).

Для сельского хозяйства зрелого средневековья в Германии были характерны: 1) относительная земельная теснота, 2) групповое деревенское поселение, 3) система землепользования, основанная преимущественно на трехполье, при котором поля делились на коны, в пределах каждого кона крестьянам, населявшим деревню, выделялись участки или полосы пахотной земли; возникавшая в результате чересполосица была по необходимости сопряжена с принудительным севооборотом и выпасом деревенского скота по жнивью. Не вызывает сомнения, что все три отмеченных момента были теснейшим образом между собой связаны. Нехватка земли, порождаемая ростом сельского населения, делала невозможным свободное отпочкование новых хуторов и вела к росту размеров деревни, к необходимости более строгого размежевания как прав отдельных хозяев в пределах сельской округи, так и прав на уголья между соседними деревнями. Иными словами, процесс так называемой *Verdorfung* (сплочения хуторов и мелких поселков в более обширные сельские коллективы) сопровождался усилением общинного начала, созданием разработанной общинной организации в деревне, которая брала на себя контроль за соблюдением полевых распорядков, а равно и всех других правил проживания и поведения в пределах общины округи⁶. Полевые распорядки, выражавшиеся в чересполосице, принудительном севообороте и выпасе по жнивью, т.е. в системе «открытых полей», могли сложиться и получить распространение только с укреплением трехполья. Первые спорадические упоминания трехполья и деления полей на коны относятся к VIII в., широкое отражение в источниках эта система землепользования находит не ранее XI в. (Franz, 1970, S. 51; Bog, 1956, S. 591).

Между тем в изучаемый нами начальный период средневековья, непосредственно после колонизации германскими племенами новых территорий, отсутствовали все перечисленные условия. Население было редким (на территории, ныне занимаемой ФРГ, средняя плотность населения не превышала 2,4 чел. на кв. км (Abel, 1967, S. 13), причем сокращение числа жителей, наметившееся в Европе еще со II в., продолжалось и в VI в.; по оценке Д. Рассела, максимальный демографический упадок приходится как раз на это время (Russell, 1958, p. 85, 88, 140).

⁵ Данилов, 1969, с. 8 и сл. Критику марковой теории в западной историографии см: *Dopsch*, 1962, 8.361 ff.; 1933; *Die Anfänge der Landgemeinde*, 1964; *Bader*, 1957; 1962; *Franz*, 1970; *RL*, I, S. 200 ff.; *Bosl*, 1964, S. 425—439. Ныне критическую оценку марковой теории в той или иной мере разделяют и ряд медиевистов Германии. См.: *Hermann*, 1971, S. 758 f; 1973, 181 ff; *Muller-Mertens*, 1963, S. 332; *Erb*, 1974, S. 839 ff.

⁶ К.Босль связывает образование больших сплоченных деревень с вотчинно-хозяйственной деятельностью (Bosl, 1970, S. 727).

Аграрные поселения были мелкими и раздробленными, нередко они состояли всего из 2—3 дворов (Handbuch der deutschen Wirtschafts-, 1971, Bd. 1. S. 84 f.). Эти Weiler, группы усадеб или хутора, окружали пахотные поля небольшой площади, луга и рощи; внутренний круг владений опоясывали леса, служившие местом выпаса скота, сбора валежника, охоты. Далее простирался уже дикий лес (Urwald). Такая картина германских поселений рисуется по данным археологии, палеоботаники, топонимики, аэрофотосъемки (Mortensen, 1958, S. 16-36, Radig, 1955).

Поскольку еще не существовало трехпольного севооборота, отсутствовала и система «открытых полей».

В силу этих обстоятельств община при Меровингах оставалась относительно аморфным коллективом и не могла еще вырасти в более сплоченную организацию, какой она выступает при изучении источников более позднего периода. В круг деятельности общинников тогда входили те функции, которые диктовались соседскими связями: пользование угодьями, лугами, лесами, водами, рыбными ловлями, не поделенными между соседями или подлежащими разделу лишь на время; расчистка и раскорчевка леса под пахотную землю; распоряжение выморочными и бесхозными землями; взаимная помощь, оказываемая соседями друг другу независимо от того, состояли они в родственных связях или нет (естественно, что узы родства и свойства должны были существовать или вновь возникать между жителями одной деревни или близлежащих поселков значительно чаще, чем между людьми, жившими на большом расстоянии, безотносительно к каким то ни было «пережиткам» родовых отношений) (Halban Blumenstok, 1894, S. 256 ff., 359 f.).

Община франкского периода была еще весьма далека от своего юридического оформления, от становления как правового института. Если мы возвратимся к титулу 45 Салической правды, то увидим, что, хотя любой хозяин в вилле мог заявить протест против вселения в эту виллу постороннего лица, осуществить на практике свое право он был в состоянии только с помощью органов власти, возвышающихся над деревней и расположенных вне ее, — сам он лишь требовал от *migrans*'а оставить виллу, явившись к нему со свидетелями, но суд, в который ему придется вызывать нарушителя права, — это не общинный суд, а суд окружной, или графский, и процедуру выселения был уполномочен осуществить опять-таки граф. В публичном суде, не имеющем никакого отношения к сельской общине, рассматриваются и все другие дела, о которых идет речь в варварских Правдах. Последние не упоминают никаких официальных лиц, стоявших во главе общины, мы ничего не читаем и об общинном сходе. Упоминаемый здесь маллус — это сотенное собрание, и рахинбурги, тунгины — должностные лица сотни. Таким образом, еще нет никаких указаний на существование общинного самоуправления. Не показательны ли то, что права соседей упоминаются не в самой Салической правде, а в более поздних текстах (в *Extravagantia* и в эдикте Хильперика)? Не означает ли это, что укрепление общинных прав происходило в период, следующий за временем составления Салической правды?

Не менее симптоматично и то, что еще нет специальных терминов для обозначения общинных угодий, — они появятся в более позднее время. В частности, термин «альменда» фиксируется памятниками начиная с XII в. (*Deutsches Rechtsworterbuch*, 1914—1932, Bd. 1, S. 463 f.), термин *Gewann* («кон») — с XIV в. (*Ibid.*, 1940, Bd. 4, S. 725), а наименование общины *communitas villae*, — по-видимому, не ранее XIII в. (Steinbach, 1960, S. 51). Зато начиная с XII—XIII вв. община заявляет о своем существовании повсеместно (Franz, 1970, 5.51).

Представляя собой соседство, коллектив пользователей угодьями, германская община не обладала каким-либо правом собственности или верховенства по отношению к пахотным участкам отдельных хозяев. Не будучи поселением рода или

совокупности родственных больших семей, эта община не являлась и субъектом собственности на поля, которыми владели и пользовались ее члены. Тезис старой марковой теории относительно изначальной собственности общины на пахотные земли, возделываемые ее членами, не находит подтверждения в источниках раннего средневековья Западной Европы.

Вопрос стоит, следовательно, не так, как его подчас формулируют современные западные историки: существовала ли община на первой стадии средневекового аграрного развития, — исходя из отсутствия в тот период Целого ряда признаков общины, характеризующих ее на более позднем этапе ее истории, они дают негативный ответ на этот вопрос, — вопрос заключается в том, чтобы уяснить специфику ранней общины.

Мы могли убедиться в том, что путь развития общины при переходе к средневековью был во многом прямо противоположным тому, какой изображает марковая теория. Древнегерманская община, существовавшая до периода варварских завоеваний, не являлась коллективным земельным собственником. Эта община не знала периодических уравнительных переделов, ее образовывали хозяйства, каждое из которых самостоятельно возделывало свой участок поля, находившийся в постоянном, наследственном обладании семьи, возможно, большой. Сменившая эту форму общины новая, которую мы застаем в период первых записей германского права, не была и не могла быть непосредственной преемницей древнегерманской общины уже потому, что варварские завоевания и все связанные с ними потрясения сопровождалась решительным перерывом в поселениях, перемещениями масс германцев на новые территории и в новые жизненные условия. При этом происходили распад старых племен и образование новых, население смешивалось, традиционные социальные связи заменялись принципиально иными, которые строились уже не столько на кровнородственной основе, сколько на основе соседской, территориальной.

Иными словами, при переходе к средневековью мы наблюдаем скорее перерыв континуитета общины, нежели продолжение ее органической эволюции. Поэтому те формы общины, которые удастся проследить в VI—VIII вв., вряд ли правомерно непосредственно связывать с более ранними, тем более что эти более ранние формы реконструировались марковой теорией умозрительно. Видимо, в начале средних веков община переформировывается. Как и в древнегерманской общине, в этой новой общине индивидуальный дом и усадьба образовывали самостоятельные единицы (Kroeschell, 1968, S. 47), и связывало их между собой, помимо отношений соседства, только пользование общими угодьями. Подобно древней общине, эта новая община по преимуществу была небольшой по составу (несколько хозяйств). Ее отличие от древнегерманской общины состояло, насколько можно судить на основе фрагментарного материала имеющихся источников, во-первых, в том, что стало меняться соотношение скотоводческих и земледельческих занятий: удельный вес вторых несколько возрастал и скотоводство утрачивало первенствующую роль, которую оно играло в эпоху до Великих переселений. Во-вторых, большая семья распалась, уступив место различным менее крупным родственным сообществам. Этот процесс шел медленнее на севере Европы, в частности у скандинавов, следы большой семьи, возможно, еще удастся обнаружить в алеманнской «генеалогии» (хотя весьма сомнительно, что последняя еще представляла собой в период записи Алеманнской правды хозяйственную единицу); в Салической правде и других памятниках убедительных указаний на большую семью найти не удастся.

Дальнейшая история общины заключалась не в «разложении» ее, а, напротив, в развитии, которое вызывалось переходом к окончательной оседлости (большая часть населенных пунктов, возникших в начале средневековья, сохранялась на всем

его протяжении), приростом населения, увеличением объема и плотности поселков⁷, в постепенном медленном оформлении и укреплении общинных порядков, в развитии внутренней структуры общины, в стабилизации альменды и — по мере распространения трехпольного севооборота — складывании системы чересполосицы с принудительными аграрными распорядками. Община отнюдь не являлась реликтом архаического строя, как изображали дело сторонники марковой теории, — она была естественным и закономерным продуктом средневекового развития с присущим ему всеобщим корпоративизмом. В этом смысле выработка общих институтов шла во многом параллельно коммунальному движению в городах, и в ряде случаев можно установить прямую связь между обоими процессами.

Что касается обширных марок, объединявших несколько деревень общим пользованием лесными и другими угодьями, то, как показали новые исследования, эти марки стояли не у истоков общинного развития, а сложились намного позднее в результате территориального сближения отдельных сельских общин.

⁷ Демографический спад III—VI вв. сменяется затем подъемом. Рост численности населения был весьма значителен. В изученных археологами населенных пунктах Зарейнской Германии число жителей возросло между началом VI и концом VII в. примерно в 10 раз (*Abel, 1967, S. 25 f.*).

Библиография

Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1960.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.

Гуревич А.Я. Некоторые вопросы социально-экономического развития Норвегии в I тысячелетии н.э. в свете данных археологии и топонимики. — СА, 1960, № 4.

Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. М., 1977.

Клейн Л. С. Археологические источники. Л., 1978.

Кнабе Г. Римские кварталы: теснота и история. — Декоративное искусство, 1979, №4.

Косвен М.О. Семейная община и патронимия. М., 1963.

Мильская Л.Т. К вопросу о трактовке проблемы сельской общины в современной историографии ФРГ. — СВ, 1975, вып. 38.

Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Бронзовый и железный века. М., 1974.

Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья). — В кн.: Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968, кн. 1.

Неусыхин А.И. Общественный строй древних германцев. М., 1929.

Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974.

Петрушевский Д.М. Очерки из экономической истории средневековой Европы М.; Л., 1928.

Удальцов А.Д. Родовой строй древних германцев. — В кн.: Из истории западноевропейского феодализма. М.; Л., 1934.

Abel W. Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom friihen Mittelalterbis zum 19. Jahrhundert (Deutsche Agrargeschichte/Hrsg. von G. Franz, Bd. II). Stuttgart, 1967.

Adama V., Scheltema F. Nordische Vorzeit. Bauern und Krieger. — In: Antaios. Stuttgart, 1964. Bd. V.

Die Anfange der Landgemeinde und ihr Wesen. Stuttgart, 1964. Bd. I. Ausgrabungen in Deutschland. Mainz, 1975. Teil. 2.

Bader K. S. Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtsbereich. Weimar, 1957.

Bader K.S. Dorfgemeinschaft und Dorfgemeinde. Weimar, 1962.

Baetke W. Yngvi und die Ynglinger. Eine quellenkritische Untersuchung iiber das nordische «Sakralkonigtum». — Sitzungsberichte der sachsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. Klasse, 1964. CIX: III.

Becker C.J. Ein friiheisenzeitliches Dorf bei Grantoft, Westjiiitland. — AA, 1965, XXXVI.

Becker C.J. To landsbyer fra tidlig jernalder i Vestjylland. — In: Nationalmuseets Arbejdsmark 1966. K0benhavn, 1966.

Becker C.J. Das zweite fraheisenzeitliche Dorf bei Grantoft, Westjiiitland. — AA, 1968, XXXIX.

Beuys B. Familienleben in Deutschland. Neue Bilder aus der demtschen Vergangenheit. Hamburg, 1980.

Bishop C. W. Origin and Early Deffusion of the Traction-Plough. — Antiquity, 1936, vol. X.

Bog I. Dorfgemeinde, Freiheit umd Unfreiheit in Franken. Stuttgart, 1956.

Bohner K. Archaologische Beitrige zur Erforschung der Frankemzeit am Niederrhein. — Rheinische Vierteljahresblätter, 1950/51, 15/16.

- Bohner K.* Ausgrabungen von kaiserzeitlichen Siedlungen im freien Germanien. — In: Ausgrabungen in Deutschland. Mainz, 1975. Teil 2.
- Bosl K.* «Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt» (Tacitus. Germania, c. 7). — In: K.Bosl. Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. München; Wien, 1964.
- Bosl K.* Staat, Gesellschaft, Wirtschaft in deutschen Mittelalter. — In: Gebhard. Handbuch der deutschen Geschichte. 9. Aufl. Stuttgart, 1970. Bd. 1.
- Capelle T.* Das Graberfeld Beckum I. Münster (Westfalen), 1979.
- Christensen A.E.* Vikingetidens Danmark paa oldhistorisk baggrund. København, 1969.
- Curwern E. C, Halt G.* Plough and Pasture. The Early History of Farming. N. Y., 1953.
- Danefae.* Red. ved. P.V. Glob. København, 1980, N,41.
- Danmarks historie / Af J. Skovgaard-Petersen, A.E. Christensen, H. Paludan. Copenhagen, 1977. Bd. 1.
- Dannenbauer H.* Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen. — In: Herrschaft und Staat in Mittelalter. Darmstadt, 1956.
- Dannenbauer H.* Die Entstehung Europas. Stuttgart, 1959. Bd. 1.
- Dobler H.* Die Germanen. Legende und Wirklichkeit von A — Z. — In: Ein Lexikon zur europäischen Frühgeschichte. Güterslohu. a., 1975.
- Dolling H.* Haus und Hof in westgermanischen Volksrechten. München, 1958.
- Dopsch A.* Die Markgenossenschaft der Karolingerzeit. — MIUG, 1912—1913, Bd. 34.
- Dopsch A.* Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Großen. Wien, 1923. I. Teil.
- Dopsch A.* Die freien Marken in Deutschland. Baden u. a., 1933.
- Duvel K.* Byr und bo in wikingerzeitlichen Runeninschriften aus Schweden. — In: Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters. Siedlungsform — wirtschaftliche Funktion — soziale Struktur/ Hrsg. von H. Jankuhn, R. Schutzeichel und F. Schwind. Göttingen, 1977.
- Eggers H.J.* Der römische Import im freien Germanien. Hamburg, 1951.
- Eggers H.J.* Lübsow, ein germanischer Fürstensitz der älteren Kaiserzeit. — Prähistorische Zeitschrift, 1949/1950, Bd. 34/35.
- Es W.A. van. Wijster.* A Native Village beyond Imperial Frontier, 150—425 A.D. — Palaeohistoria, 1967, 11.
- Fleischmann W.* Altgermanische und altromische Agrarverhältnisse in ihren Beziehungen und Gegensätzen. Leipzig, 1906.
- Franz G.* Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1970.
- Ganahl K.-H.* Die Mark in den älteren St. Galler Urkunden, II. — ZSSR, GA, 1941, Bd. 61.
- Gebhardt,* Handbuch der deutschen Geschichte. 9. Aufl./Hrsg. von H. Grundmann. Stuttgart, 1970. Bd. 1.
- Gebuhr M.* Zur Definition alterkaiserzeitlicher Fürstengräber vom Lübsow-Typ. — Prähistorische Zeitschrift, 1974, Bd. 49, Heft 1.
- Geisslinger H.* Horte als Geschichtsquelle dargestellt an den völkerwanderungs- und merowingischen Funden des südwestlichen Ostseeraumes. Neumünster, 1967.
- Genzmer F.* Die germanische Sippe als Rechtsbegriff. — ZSSR, GA, 1950, Bd. 67.
- Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa. B., 1978. Bd. 1.
- Giffen A.E. van.* Der Hof in Ezinge, Provinz Groningen, Holland, und seine westgermanischen Häuser. — In: Germania, 1936, 20.

Giffen A.E. van. Prahistorische Hausformen auf Sandboden in der Niederlanden. — Germania, 1958, 36.

Glob P. Ard og Plov i Hordens Oldtid. K0benhavn, 1951. *Glob P. V.* Jyllands ode agre. — In: Kuml, 1951.

Gradmann R. Das mitteleuropaische Landschaftsbild na.ch seiner geschichtlichen Entwicklung. — Geographische Zeitschrift, 1901, VII.

Grahn-Hoek H. Die frankische Oberschicht im 6. Jahrhundert (Vortrage und Forschungen, Sonderband 21). Sigmaringen, 1976.

Gronbech W. Kultur und Religion der Germanen. Darmstadt. 1961. Bd. 1.

Grunert H. Zum Verhaltnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen bei den Germanen des Mittel- und Unterelbgebietes um dei Wende unserer Zeitrechnung. — In: Germanen — Slawen — Deutsche. Forschungen zu ihrer Ethnologic. B., 1968.

Gurevic A. Ja. Zu Begriffsbildungen in vorkapitalistischen Gemeinwesen und ihrer gesel-Ischaftlichen Motivation: «Hof», «Grund und Boden», «Welt». Anhand mittelalterlicher skandinavischen und angelsachschen Quellen. — Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte, 1979, 1.

Haarnagel W. Die Grabung Feddersen Wierde und ihre Bedeutung fur die Erkenntnisse der bauerlichen Besiedlung im Kiistengebiet in dem Zeitraum vom 1. Jahrhundert vor bis 5. Jahrhundert nach Chr. — Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 1962, Jg. 10, H. 2.

Haarnagel W. Die Wurtensiedlung Feddersen Wierde im Nordseekustengebiet. — In: Ausgrabungen in Deutschland. Mainz, 1975. Teil 2.

Haarnagel W. Das eisenzeitliche Dorf «Feddersen Wierde», seine siedlungsgeschichtliche Entwicklung, seine wertschaftliche Funktion und die Wandlung seiner Sozialstruktur. — In: Das Dorf der Eisenzeit., 1977.

Haarnagel W. Die Grabung Feddersen Wierde. Methode, Hausbau Siedlungs- und Wirts-chachtsformen sowie Sozialstruktur (Feddersen Wierde, Bd. II). Wiesbaden, 1979.

Hachmann R. Die Gesellschaftsordnung der Germanen um Christi Geburt. — Archaeologia geographica, 1956/1957, 5/6.

Hachmann R. Die Germanen. Munchen, 1971. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Berlin, New York, 1973.

Haff K. Die danischen Gemeinderechte. Leipzig, 1909. Bd. II.

Hagen A. Studier i jernalderens gardssamfunn. — In: Universitets oldsaksamlings Skrifter. Oslo, 1953. IV. Bd.

Halban Blumenstok A. Entstehung des deutschen Immobiliareigenthums. Innsbruck, 1894. Bd. 1.

Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Hrsg. von H. Aubin und W.

Zorn. Stuttgart, 1971. Bd. 1.

Harck O., Kossack G., Reichstein J. Siedlungsform und Unwell. Grabungen in Archsumauf Sylt. — In: Ausgrabungen in Deutschland. Mainz, 1975. Teil 2.

Hatt G. Das Eigentumsrecht an bedautem Grund und Boden. — Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 1955, Jg. 3, H. 2.

Hatt G. Norre fjand. An Early Iron-Age Village Site in West Jutland. — Arkaeologisk-kunsthistoriske skrifter utgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Kobenhavn, 1957, Bd. 2, N2.

Hatt G. Oldtidsagre. — In: Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab. — Arkaeologisk-kunsthistoriske skrifter... Kobenhavn, 1949, Bd. 2, N 1.

Hatt G. The Ownership of Cultivated Land. — Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser. Kabenhavn, 1939, XXVI, 6.

Hatt G. Prehistoric Fields in Jutland. — AA, 1931, 11.

Hauck K. Brakteatenikonologie. — In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2. Auf. Berlin; New York, 1978. Bd. 3.

Hermann J. Fruhe klassengesellschaftliche Differenzierungen in Deutschland. — ZfG, 1966, XIV, N3.

Hermann J. Allod und Feudum als Grundlagen des West- und mitteleuropäischen Feudalismus und der feudalen Staatsbildung. — In: Beiträge zur Entstehung des Staates/Hrsg. von J. Herrmann, I. Sellniw. B., 1973.

Hoops J. Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum. Strassburg, 1905.

Hvass S. Hodde- et 2000-arigt landsbysamfund i Vestjylland. — In: Nationalmuseets Arbejdsmark 1975. Kobenhavn, 1975.

Inama-Sternegg K. Th. von. Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schlus der Karolingerperiode. Leipzig, 1909.

Jdger H. Zur Geschichte der deutschen Kulturlandschaften. — Geographische Zeitschrift, 1963, 51. Jg.

Jankuhn H. Archäologische Bemerkungen zur Glaubwürdigkeit des Tacitus in der Germania. — In: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Phil.-hist. Kl., 1966, N 10.

Jankuhn H. Archäologische Beobachtungen zu Tier- und Menschenopfern bei den Germanen in der römischen Kaiserzeit. — Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Phil.-hist. Kl., 1967. N 6.

Jankuhn H. Archäologie und Geschichte. Vorträge und Aufsätze. Berlin; New York, 1976. Bd. 1. Beiträge zur siedlungsarchäologischen Forschung.

Jankuhn H. Einführung in die Siedlungsarchäologie, Berlin; New York, 1977.

Jankuhn H. Rodung und Wüstung in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. — In: Jankuhn H. Archäologie und Geschichte., 1976. Bd. 1.

Jankuhn H. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaftsordnung der germanischen Stämme in der Zeit der römischen Angriffskriege. — In: Jankuhn H. Archäologie und Geschichte., 1976. Bd. 1.

Jankuhn H. Spätantike und merowingische Grundlagen für die frühmittelalterliche nordeuropäische Stadtbildung. — In: Early Medieval Studies. Stockholm, 1970. 1.

Jankuhn H. Terra... silvis horrida. — In: Jankuhn H. Archäologie und Geschichte., 1976. Bd. 1.

Jankuhn H. Typen und Funktionen eisenzeitlicher Siedlungen im Ostseegebiet. — In: Das Dorf der Eisenzeit., 1977.

Jankuhn H. Vor- und Frühgeschichte vom Neolithikum bis zur Völkerwanderungszeit (Deutsche Agrargeschichte/Hrsg. von G. Franz, Bd. 1). Stuttgart, 1969.

Janssen W. Mittelalterliche Dorfsiedlungen als archäologisches Problem. — In: Frühmittelalterliche Studien. Münster, 1968. Bd. 2.

Kirbis W. Siedlungs- und Flurformen germanischer Länder, besonders Großbritanniens, im Lichte der deutschen Siedlungsforschung. Göttingen, 1952.

Koehne C. Die Streitfragen über den Agrarkommunismus der germanischen Urzeit. B., 1928.

Krenzlin A. Zur Genese der Gewinnflur in Deutschland nach Untersuchungen im nördlichen Unterfranken. — Geografiska annaler, 1961, vol. XLIII.

Kroeschell K. Die Sippe im germanischen Recht. — ZSSR, GA, 1968. Bd. 77. *Kuhn H.* Die Grenzen der germanischen Gefolgschaft. — ZSSR, GA, 1956, Bd. 73.

Kulturbruch oder Kulturkontinuität im Übergang von der Antike zum Mittelalter/Hrsg. von P.E. Hubinger (Wege der Forschung, Bd. CCI). Darmstadt, 1968.

Lange E. Botanische Beiträge zur mitteleuropäischen Siedlungsgeschichte. Ergebnisse zur Wirtschaft und Kulturlandschaft in frühgeschichtlicher Zeit. B., 1971.

Luders A. Eine kartographische Darstellung der römischen Münzschatze in freien Germanien. — *Archaeologia Geographica*, 1952—1955, 2.

Lutge F. Geschichte der deutschen Agrarverfassung von frühem Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. 2. Aufl. (Deutsche Agrargeschichte/Hrsg. von G. Franz, Bd. III). Stuttgart, 1967.

Möller E. Germanische Gesellschaftsverbände und das Problem der Feldgemeinschaft. — *ZSSR, GA*, 1924. Bd. 44.

Mildenberger G. Sozial- und Kulturgeschichte der Germanen. Stuttgart etc., 1972.

Mortensen H. Die mittelalterliche deutsche Kulturlandschaft und ihr Verhältnis zum Gegenwart. — *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, 1958, Bd. 45. H. 1.

Much R. Der germanische Urwald. — *Sudeta*, 1928, 2.

Much R. Die Germania des Tacitus. 3. Aufl./ Unter Mitarbeit von H. J. Jankuhn, hrsg. von W. Lange. Heidelberg, 1967.

Müller-Wille M. Bauerliche Siedlungen der Bronze- und Eisenzeit in der Nordseegebieten. — In: *Das Dorf der Eisenzeit..*, 1977.

Müller-Wille M. Eisenzeitliche Fluren in den festländische Nordseegebiete. Mönster, 1965.

Neue Ausgrabungen in Deutschland. B., 1958.

Norden E. Die germanische Urgeschichte in Tacitus Germania, 3. Abdruck. Leipzig; Berlin, 1923.

Ohlaver H. Der germanische Schmied und sein Werkzeug. Hamburg, 1939.

Petrikovits H. von. Das römische Rheinland. Archäologische Forschungen seit 1945. Köln: Opladen, 1960.

Phillpotts U.S. Kindred and Clan in the Middle Ages and After. A Study in the Sociology of the Teutonic Races. Cambridge, 1913.

Planitz H. Deutsche Rechtsgeschichte. 2. Aufl. Graz; Köln, 1971.

Radtz K. Die germanische Bewaffnung der vorrömischen Eisenzeit — *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, I. Phil.-hist. K.1.*, 1966, N 11.

Radig W. Die Siedlungstypen in Deutschland und ihre frühgeschichtliche Wurzeln. B., 1955.

Ramm K. Die Grosshufen der Nordgermanen. Braunschweig, 1905.

Die Römer an Rhein und Donau. Zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den römischen Provinzen an Rhein, Mosel und oberer Donau im 3. und 4. Jahrhundert. 8., 1975.

Römer und Germanen im Mitteleuropa/Hrsg. von H. Griener. 2. Aufl. B., 1976.

Rønneseth O. Frühgeschichtliche Siedlungs- und Wirtschaftsformen im südwestlichen Norwegen. Neumünster, 1966.

Russell J. C. Late Ancient and Medieval Population. — *Transactions of the American Philosophical Society*, NS, 1958, vol. 48, N 3.

Schirrig H. Die Bewaffnung der Germanen in der älteren römischen Kaiserzeit, archäologische Bemerkungen zur Germania des Tacitus. — *Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte*, 1965, 34.

Schlesinger W. Randbemerkungen zu drei Aufsätzen über Sippe, Gefolgschaft und Treue. — In: *Alteuropa und die moderne Gesellschaft. Festschrift für Otto Brunner*. Göttingen, 1963.

Schlette F. Zur Besiedlungskontinuität und Siedlungskonstanz in der Urgeschichte. — In: *Siedlung, Burg und Stadt. Studien zu ihren Anfängen/Hrsg. von K.-H. Otto and J. Hermann*. B., 1969.

Schmitz H. Die Zeit der Römerherrschaft am Rhein. — In: *Das erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden Abendland am Rhein und Ruhr*. Düsseldorf, 1963. Textband I.

Schutzeichel R. «Dorf». Wort und Begriff. — In: *Das Dorf der Eisenzeit..*, 1977.

Steensberg A. Den danske Landsby. K0benhavn, 1940.

Steensberg A. North West European Plough-types of Prehistoric Times and the Middle Ages. — AA, 1936, VII.

Steinbach F. Gewandorf und Einzelhof. — In: Hictorische Aufsitze Aloys Schulte zum 70. Geburtstag. Dusseldorf, 1927.

Steinbach A. Ursprung und Wesen der Landgemeinde nach rheinischen Quellen. Koln; Opladen, 1960.

Stenberger M., Klindt-Jensen O. Vallhager, a Migration Period Settlement on Gotland/Sweden. Stockholm; Kopenhagen, 1955, Bd. 1—2.

Stenberger M. Eketorp — eine befestigte eisenzeitliche Siedlung auf Oland. — In: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, I. Phil.-hist. Kl., 1969, N 5.

Steuer H. Fruhgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa. Zur Analyse der Auswertungsmethoden des archaologischen Quellenmaterials. — In: Geschichtswissenschaft und Archaologie. Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschaft- und Kirchengeschichte/Hrsg. von H. Jankuhn und R. Wenskus. Sigmaringen, 1979 (Vortrage und Forschungen, Bd. XXII).

Steuer H. Historische Phasen der Bewaffnung nach Aussagen der archaologischen Quellen Mittel- und Nordeuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. — In: Fruhmittelalterliche Studien. B., 1970. Bd. 4.

Trier J. First. Uber die Stllung des Zauns im Denken der Vorzeit. — Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, 1940, Bd. Ill, N 4.

Turville-Petre E. O. G. Myth and Religion of the North. L., 1964.

Uslar R. V. Germanische Sachkultur in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Koln; Wien, 1975.

Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. 3. Aufl. B., 1970. Bd. 1.

Weber M. Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutschen Literatur des letzten Jahrzehnts. — In: Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Tubingen, 1924.

Wenskus R. Adel. — In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 1973. Bd. 1.

Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der friihmittelalterlichen Gentes. Koln; Graz, 1961.

Werner J. Zur Entstehung der Reihengraberzivilisation. — Archaeologia Geographica, 1950, 1, H. 2.

Wopfner H. Beitrage zur Geschichte der alteren Markgenossenschaft. — MIOG, 1912—1913, Bd. 33—34.

Wort und Begriff «Bauer»/Hrsg. von R. Wenskus, H. Jankuhn, K. Grinda. Gottingen, 1975.

Wuhrer K. Die schwedischen Landschaftsrechte und Tacitus' Germania. — ZSSR, GA, 1959, Bd. 76.

Печатается по изд.: «История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Формирование феодально-зависимого крестьянства». Т. I, гл. 3. — «Социальный строй варваров». М, 1985, с. 90—136.

При ссылках на литературу в тексте указывается лишь фамилия автора и год издания цитируемой работы. Полные выходные данные приведены в Библиографии, где все упомянутые работы помещены в алфавитном порядке их авторов (или названий — для коллективных трудов).

Принятые сокращения:

СА — Советская археология

СВ — Средние века

AA — Acta archaeologia

RL — Rhetores latini minores. Ex codicibus maximam partem primum adhibitis /
Emend. C. Halm. Lipsiae, 1863

ZSSR.GA — Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische
Abteilung. ZfG — Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.

ВИКИНГИ

Викинги - легенда и реальность

В один из июньских дней 793 г. монахи монастыря на острове Линдисфарн, близ побережья Нортумбрии, увидели в море паруса. Появление корабля в этом открытом всем ветрам и бурям негостеприимном уголке Северо-Восточной Англии было редким событием. Вот уже более полутора столетий служители монастыря Линдисфарн, основанного ирландскими и шотландскими миссионерами, жили уединенно, в строгом аскетизме, проводя время в молитвах и хозяйственных занятиях. Их мирная жизнь была мало связана с событиями внешнего мира и не нарушалась ими. Поэтому при виде четырехугольных парусов приближавшихся к острову кораблей монахи не испытали большого волнения. Каковы же были их изумление и ужас, когда на берег сошли воины в кольчугах с боевыми топорами в руках. Просьбы о пощаде и мольбы, обращенные к Богу, не возымели действия: монастырь был разрушен и сожжен, драгоценные дароносицы и другие священные сосуды, одеяния священников и все имущество разграблены пришельцами, многие монахи убиты, другие захвачены в плен и увезены прочь от родных берегов. Линдисфарн, служивший в VII—VIII вв., подобно некоторым другим монастырям Северной Англии, важным очагом духовной жизни Западной Европы, перестал существовать.

Камень, воздвигнутый впоследствии в Линдисфарне, красноречиво повествует о пережитой монахами трагедии. На одной его стороне высечены склонившиеся перед крестом фигуры молящихся людей, на другой — идущие друг за другом воины с занесенными для смертельного удара боевыми топорами. В «Англосаксонской хронике», сообщающей о нападении язычников на «Божью церковь в Линдисфарне, которую они диким образом разрушили, прибегнув к грабежу и убийству», это событие изображено как одно из многих стихийных бедствий, посеявших страх среди жителей Нортумбрии: ему предшествовали такие ужасные предзнаменования, как ураганы, необычайные молнии, полеты огнедышащих драконов; вслед за ними страну посетил голод. В следующем году участь Линдисфарна разделили монастыри в Ярроу и Вермуте. Затем подобным же набегам подверглись другие районы Англии, берега Шотландии, Ирландии, Уэльса.

Разгром церковных и культурных центров произвел глубокое впечатление на современников. Узнав о гибели монастыря в Линдисфарне, один из виднейших представителей «Каролингского возрождения», глава придворной Академии императора франков Карла Великого Алкуин усмотрел в ней Божью кару за грехи жителей Нортумбрии, среди которых, по его словам, одни погрязли в излишествах, а другие умирают от голода и холода, в то время как правители ведут несправедливую жизнь и следят за своей прической и бородой больше, чем за соблюдением справедливости в стране. В нападении язычников Алкуин видел предзнаменование новых бедствий, напоминающих времена завоевания бриттов саксами. Он приводил прорицание библейского пророка Иеремии: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли».

Действительно, пираты, нападавшие на британские берега, были выходцами с севера — из Скандинавии. Их нападения застали врасплох население Западной Европы. Завидев корабли под полосатыми или красными парусами с головами драконов и зверей на высоко вздымавшихся форштевнях, жители приморских районов Англии и Ирландии, Франции и Германии бросали дома и поля и спешили укрыться в лесах вместе со своим домашним скарбом и скотом. Замешкавшиеся погибали под ударами боевых топоров; пришельцев или становились их пленниками. Вместе с награбленным имуществом их грузили на корабли и увозили на север. Все, что пираты не могли захватить с собой, уничтожалось: скот убивали, дома сжигали. Попытки оказать им сопротивление поначалу были безуспешны. Хорошо

вооруженные бесстрашные северные воины, охваченные жадой добычи и возглавляемые прославленными вождями, легко рассеивали неорганизованные толпы крестьян, отвыкших от военного дела и приученных обращаться скорее с плугом и граблями, чем с мечом и копьем. Постоянно враждовавшие между собой феодалы Западной Европы не могли объединиться для того, чтобы дать отпор дерзким грабителям. Ошеломленные жители стран, подвергавшихся нападениям норманнов — «северных людей», как их прозвали за Западе, долгое время оставались беззащитными перед этой угрозой и, подобно Алкуину, видели в ней Божью кару за грехи. Духовенство молилось: «Боже, избави нас от неистовства норманнов!». Но самые горячие мольбы ко Всевышнему, на которого в средние века неизменно возлагались надежды о спасении от всяческих напастей, не помогали. Именно к этому времени относится предсказание, приписываемое Карлу Великому, что северные пираты причинят великие бедствия последующим поколениям.

Нападения норманнов с перерывами длились почти три столетия: с конца VIII до второй половины XI в. Во Франции «северные люди» были известны под именем норманнов, в Англии их звали датчанами, независимо от того, из Дании или Норвегии они приплывали на своих быстроходных кораблях. В Ирландии их называли фингалл («светлые чужеземцы» — норвежцы) и дубгалл («темные чужеземцы» — датчане), в Германии — аскеманнами, в Византии — варангами, на Руси — варягами. В самой же Скандинавии воинов, совершавших походы в другие страны, именовали викингами. Жители стран, подвергавшихся нападениям викингов, видели их обычно в кольчугах, с мечом или боевым топором в руках, грабящими и убивающими, увозящими в плен женщин и мужчин, жестокими и алчными, чуждыми христианству и милосердию. Такими описывали викингов западноевропейские хронисты. С такими чертами викинги и вошли в историю. Но исчерпывающая ли эта характеристика? Что представляли собой народы скандинавских стран, выходцы из которых столь долго сеяли по миру ужас и смерть? Каковы причины походов викингов? Какую роль сыграли эти походы в истории Европы и прежде всего в истории самих скандинавов?

О викингах историки судили лишь по словам их противников и жертв — средневековых монахов и других духовных лиц, которые не могли не сетовать на причиняемые ими разрушения, — ведь викинги были «нехристями»! Судить викингов последующим поколениям было легко — они молчали. У скандинавов эпохи викингов письменность отсутствовала, они не оставили документов или хроник. Рассказы о древних исландцах и норвежцах — саги — были записаны много позднее, в XIII в. Исландские песни о богах и героях литературоведы долго считали северными отголосками древнегерманского эпоса, а не памятниками скандинавской культуры. Вплоть до конца XIX в. ученые не могли заставить говорить курганы и камни, водруженные над могилами в Скандинавии и других странах, содержимое зарытых викингами кладов. Да и что изменили бы они в приговоре, вынесенном историей? Обилие монет, украшений, драгоценностей в северных кладах, видимо, могло лишь подтвердить вердикт: викинги — это грабители и насильники.

Одной из причин нападений норманнов историки считали слабость западноевропейских стран, вызванную их феодальной раздробленностью в IX и X вв., — воспользовавшись беззащитностью своих соседей, воинственные варвары нападали на них. Упрочение в XI в. королевской власти в Англии и других странах Запада положило конец этим разбойничьим набегам. Дала положительные результаты и неустанная миссионерская деятельность католического духовенства, проповедовавшего среди норманнов учение Христа: скандинавы крестились, принимали христианство, их походы прекратились.

Такое понимание проблемы викингов в истории средневековой Европы оставалось господствующим в науке вплоть до недавнего времени. Правда, среди

части историков, в особенности скандинавских, бытовал и совершенно иной, романтический взгляд на деяния норманнов. Эти историки, впадая подчас в безудержное приукрашивание жизни отдаленных предков теперешних исландцев и датчан, норвежцев и шведов, видели в них сказочных витязей и героев, воплощавших всевозможные доблести. Но подобные воззрения внушали серьезным ученым большое недоверие.

Однако нужно отметить, что кое-кого из ученых, занимающихся историей викингов, смущало одно обстоятельство. Дело в том, что средневековые хронисты, описывая с великим сокрушением и негодованием нападения норманнских язычников и их губительные последствия, гораздо меньше возмущались войнами и усобицами, которые непрерывно вели в тот же самый период христианские государи, князья и другие феодалы. Больше того, эти хронисты без всякого возмущения и осуждения сообщали об «угодных Богу» крестовых походах католических князей и церкви против язычников — славян, прибалтов, мусульман и других народов! А ведь в этом свете «подвиги» норманнов отнюдь не выглядят чем-то исключительным: война, грабеж, истребление населения были повседневной действительностью Европы в раннее средневековье.

Чтобы составить научную, по возможности объективную картину походов викингов, необходимо изучить все исторические источники, не только те, которые относятся к странам, подвергавшимся норманнским нападениям, но и в особенности те, которые накоплены к настоящему времени в самой Скандинавии. Историками, археологами, нумизматами, искусствоведами, лингвистами, литературоведами и другими учеными за последние десятилетия собрано множество данных, на основе которых представляется возможным составить совершенно новую, более правильную характеристику скандинавов эпохи викингов.

Сознание необходимости углубить представления об эпохе викингов и природе походов этих пиратов, военных наемников, купцов и колонистов возникло давно. «Наша прежняя историческая наука ограничивалась весьма расплывчатым и неопределенным представлением о смелых и воинственных викингах, мореходах и завоевателях, вооруженных с головы до ног и бороздивших моря от Ледовитого океана до Каспия на своих кораблях, украшенных резными звериными головами на носу. Этот эффектный образ «морского конунга», *saekonungr*, совершенно заслонял ту социальную среду, из которой вышел сам морской конунг, и те экономические условия, которые сложились у него на родине. За ним стоят те, кто пахали землю, косили сено, ловили рыбу и пасли скот, т.е. несли тот повседневный труд, на котором строилась вся вообще культура эпохи викингов и без которого были бы невозможны и сам обрисованный выше викинг, и его корабль, и все прочее; те, кто составляли его местное окружение на родине, куда он нередко возвращался после своих долгих и бурных поездок и приключений, его родичи, домашние, рабы и т.д., — окружение весьма сложное по своему социальному составу, и, наконец, те, кто шли с ним в поход, его дружина, его корабельщики, *skipverjar*, которые так же, как и он сам, не были какими-то абстрактными воинами и мореходами вообще, а вышли из определенной среды и не принимали участие в походах викингов во всяком случае не из одной любви к приключениям. Наша современная историческая наука, разумеется, не может удовлетвориться в отношении эпохи викингов прежней туманной романтикой»¹.

Эти слова были написаны четверть века назад одним из специалистов по истории Скандинавии. Но и по сей день в нашей литературе отсутствуют работы о викингах, которые могли бы покончить с романтическими и поверхностными

¹ Рыдзевская Е. А. Некоторые данные из истории земледелия в Норвегии и в Исландии в IX—XIII вв. — «Исторический архив», т. III. М. — Л., 1940, с. 14.

представлениями о них. Эту цель ставит перед собой автор предлагаемой читателю книги.

Необходимо ближе познакомиться со скандинавским обществом эпохи викингов, с его развитием, материальной и духовной культурой скандинавов, выяснить ту роль, которую они играли в истории Европы в IX—XI вв. Норманнская проблема, как она обычно ставится в советской историографии, касается отношений населения Руси со скандинавами в раннее средневековье. Однако ее нельзя правильно решить, не учитывая того, что представляли из себя норманны, какова была культурная и общественно-экономическая жизнь на их родине. О пути «из варяг в греки» и о скандинавах на Руси у нас написано немало. Между тем вопрос о «викингах на Западе» совершенно не освещен в нашей литературе². Поэтому в книге ему уделено больше внимания. Вследствие ограниченности ее объема проблема викингов не может быть рассмотрена с должной полнотой и многосторонностью. Задача книги — дать обзор и анализ нового, прежде всего археологического, материала по истории викингов, накопленного наукой за последние десятилетия, а также указать на некоторые вопросы, ждущие своего разрешения.

² На русском языке имеются лишь переводная работа А. М. Стрингольма «Походы викингов» (она вышла на шведском языке в 1834—1835 гг. и переведена на русский с немецкого перевода), ч. 1—2, М., 1861; а также детские книжки П. Деполовича «Витязи севера», СПб., 1896 (последнее издание 1904 г.), и Ж. Оливье «Поход викингов», М., 1963 (посвящена открытию норманнами Америки).

Родина викингов

Саги о древних скандинавах рассказывают, что, когда норвежцы покидали родину и отправлялись в морское плавание на поиски новых земель, они брали на борт своих кораблей вместе со скарбом и резные деревянные столбы с изображениями древних богов. Эти столбы украшали хозяйское сидение в горнице: языческие боги охраняли дом и его обитателей от бед и злых сил — великанов, чудовищ и прочей нечисти. Приближаясь к берегам Исландии, переселенец бросал эти столбы в волны и высаживался в том месте, куда их выбрасывало прибоем. Здесь он строил новый дом и устанавливал старые столбы подле своей почетной скамьи. Переселяясь на новые места не только с домочадцами, рабами и скотом, но также и со своими богами, привычками и обычаями, норвежцы искали возможность продолжать жить по законам своих предков.

Норвежские эмигранты, оказавшись в Исландии, на Оркнейских или Фарерских островах, в Ирландии или Шотландии, предпочитали селиться в гористой местности, близ морского побережья, в бухтах и фьордах. Между тем датчане, покидая равнинный Ютландский полуостров, переселялись в равнинные районы Нормандии и Восточной Англии. Выходцы из Швеции искали озерные и речные края, напоминавшие их родной Меларен и другие озера Центральной Швеции.

И это неудивительно. В средние века человек зависел от природы несравненно больше, чем сейчас. Она диктовала ему, как жить, где селиться, чем заниматься. Люди должны были скорее приспособливать ее к своим потребностям. Вот почему, не зная своеобразных черт природы Скандинавии, нельзя понять жизнь ее средневековых обитателей.

Скандинавский полуостров, вытянувшийся без малого на 2000 км, — самый крупный в Европе. Его рельеф сложился при отступлении и таянии ледника. Большая часть полуострова — гористая. С юго-запада на северо-восток простираются массивы Скандинавских гор. Гранитные скалы обнажены, но некоторые из них покрыты вечными снегами и ледниками. В образованных древним ледником чашах блещут синевой многочисленные озера. Горы круто обрываются в Норвежское море, врезающееся в берега многочисленными узкими и глубокими фьордами. Фьорды — заполненные морем огромные трещины в каменном теле полуострова — тянутся на десятки и сотни километров. Горы Скандинавии густой сетью прорезаны короткими, но многоводными и быстрыми реками с частыми порогами и водопадами. У берегов Норвегии, тянувшейся длинной узкой полосой в западной и северной частях полуострова, в общей сложности насчитывается до полутора тысяч островов. На восток Скандинавские горы постепенно понижаются. Возвышенности Северной Швеции наклонены к югу и ступенями спускаются к Ботническому заливу.

Лишь южная оконечность Скандинавского полуострова — Сконе — равнинная, с плодородными почвами. Ее пересекают невысокие скалистые гряды. Рядом островов, крупнейший из которых — Зеландия, Сконе соединяется с полуостровом Ютландией, тоже преимущественно равнинным. Берега Ютландии изрезаны морем и окружены огромным количеством островов и скалистых островков — шхер. Юго-западное побережье Ютландии окаймлено песчаными косами, отделенными от полуострова ваттами — пространствами, которые заливаются приливом и обнажаются при отливе. На берегу они переходят в покрытые сочными травами марши, которые тоже иногда затопляются морем. Это наиболее плодородные земли.

В отличие от Ютландии, ныне сравнительно небогатой лесами, почти половину всей площади Скандинавского полуострова занимают леса. Но в древности ими была покрыта большая часть территории обоих полуостровов. Леса разнообразны: на севере — хвойные, южнее — смешанные. Они располагаются зонами, в зависимости от высоты гор. На крайнем севере Скандинавского

полуострова преобладает тундра. Леса богаты зверем, много птиц, прибрежные воды изобилуют рыбой.

Скандинавские горы резко делят полуостров на две климатические зоны. На севере климат полярный, суровый в течение круглого года, на западе — умеренный, океанический; здесь чувствуется теплое Атлантическое течение — Гольфстрим. Благодаря ему климат Норвегии и Швеции более мягкий, чем в других странах, расположенных в тех же широтах. Обильны осадки, зима мягкая, лето прохладное. Восточная часть полуострова защищена от западных ветров горами. Климат здесь континентальный: зима холоднее, лето более теплое, причем в древности эти различия были сильнее, чем ныне. Но климат Средней Швеции смягчается под влиянием больших озер — Венерн, Меларен, Веттерн и др. Зимой на большей части территории Швеции передвижение возможно преимущественно на санях.

Сильно изрезанная береговая линия Скандинавского полуострова чрезвычайно велика. Швеция, Норвегия и Дания — морские страны. Такова и Исландия — остров, население которого сосредоточивается на береговых низменностях, тогда как его внутренняя, возвышенная часть — пустынна и бесплодна.

Природные условия — горы, валуны, густые леса, обилие холодных талых вод вследствие весеннего таяния снегов, бедность почв и значительная высота над уровнем моря — мало благоприятствовали занятию земледелием. И в наши дни в Норвегии обрабатываемые земли составляют около 3% всей площади, а в Швеции — 9%, причем большинство пахотных земель приходится на ее южные области. В Исландии же обрабатываемые земли занимают менее 1 % общей площади. Шире хлебопашество развивалось в Сконе и в Дании. В Норвегии и в большей части Швеции земледелие было возможно лишь на ограниченных пространствах, да и там населению подчас приходилось очищать почву от камней, выжигать или вырубать леса. Легенда приписывает одному из первых шведских конунгов прозвище «Лесоруб»: он якобы велел своим подданным и слугам рубить леса и строить на расчищенных селения. В XI—XIII вв. подобная внутренняя колонизация Швеции и Норвегии приобрела значительный размах. Выжигание лесов практиковалось вплоть до недавнего времени и привело к гибели обширных лесных массивов.

Из-за обилия осадков и короткого вегетационного периода во многих частях Скандинавского полуострова среди хлебных злаков преобладают быстро созревающие сорта овса и ячменя. Рожь и пшеница распространены лишь в южных районах. Но увеличение населения далеко не всегда могло сопровождаться соответствующим ростом зернового хозяйства. Хлеба в Скандинавии в средние века не хватало, и зерно ввозили из других стран (в раннее средневековье — из Англии, затем — из Германии). Методы обработки земли на протяжении всего средневековья оставались большей частью примитивными. Нередко практиковалось мотыжное земледелие. Трехпольный севооборот применялся мало. Урожайность культур была крайне низкой.

Шире было развито скотоводство. Большие возможности для него давали горные пастбища — сегеры. Ими пользовались сообща жители многих хуторов и целых округов. Крестьянам часто приходилось заботиться не столько о запашке поля, сколько о заготовке фуража для скота на зиму. Кормов недоставало, и весной отошавших коров подчас приходилось выносить на приусадебные пастбища на руках. Падеж скота был обычным явлением. Поэтому октябрь в шведском календаре считался месяцем массового убоя скота.

Среди продуктов питания норвежцев и шведов на первом месте стояли мясо, молоко, масло, а также рыба: ловля трески и сельди всегда являлась одним из основных занятий населения приморских областей. Издревле в Скандинавии был известен и китобойный промысел. На Севере, за Полярным кругом, добывали

тюленей. Тамошние жители — саами (лопари) разводили оленей, охотились на пушного зверя, птицу, собирали птичьи яйца и пух. Мясо и рыбу запасали впрок, вялили, солили и коптили. Такую пищу запивали большим количеством пива, и часто зерно употребляли прежде всего для изготовления горячительных напитков, а не для выпечки хлеба. В сагах нередко упоминаются недороды и голодные годы, когда даже наиболее богатым людям не из чего было варить пиво.

Голод и его угроза как следствие неурожая, падежа скота, ухода рыбы от побережья и других стихийных бедствий — повседневная реальность в жизни скандинавов того времени. Жители Севера сплошь и рядом были вынуждены покидать насиженные места, переселяться в другие районы страны или вовсе уезжать за ее пределы. Эмиграция из Скандинавии началась задолго до эпохи викингов.

Неизбежно возникавшая потребность в регулировании численности жителей Скандинавии удовлетворялась разрешенным языческими верованиями детоубийством. Новорожденного приносили отцу, и он решал, оставить ребенка в семье или нет. Если он не считал это возможным вследствие своей бедности, физических недостатков или слабости ребенка, младенца относили в лес или пустынную местность и оставляли на произвол судьбы. Особенно часто так поступали с девочками. Если же новорожденного окропили водой и отец дал ему имя и взял на руки, — он считался членом семьи, рода, после чего выбрасывание его расценивалось бы как убийство. Мужчина имел право признавать или отвергать детей, рожденных вне брака, — от рабыни или наложницы; если он не признавал ребенка, его судьбой должна была распорядиться сама мать. В те времена в ходу было понятие *gravgangsmenn* — «люди, обреченные на могилу»: если вольноотпущенник не мог прокормить свое потомство, детей оставляли в открытой могиле; бывший господин вольноотпущенника должен был взять наиболее крепкого из этих несчастных, остальные погибали голодной смертью. Показательно, что, когда в 1000 г. исландцы согласились принять крещение, было оговорено сохранение старинного обычая выбрасывать новорожденных. Эти варварские обычаи легко осудить, однако их нельзя объяснить черствостью родительского сердца. Нужда ожесточает. Суровые климатические условия Исландии постоянно держали ее население под угрозой голода. Во время сильного голода, постигшего остров зимою 976 г., убивали стариков. Видимо, неспроста датчане в Западной Европе того времени прослыли обжорами: после скудного питания на родине они с жадностью набрасывались на пищу, которой были богаче жители более плодородных стран.

Естественная среда, в которой жили скандинавы, определяла не только формы их хозяйственной деятельности, но и характер поселений. В гористых, сильно пересеченных местностях Норвегии и Швеции преобладали хуторские поселения, состоявшие из отдельной усадьбы или нескольких усадеб. Зачастую хутора были разбросаны на большом расстоянии один от другого. Лишь постепенно, с ростом населения, из хуторов возникали небольшие деревни. Но и тогда сыновьям владельца хутора нередко приходилось переселяться в другую местность, если имелась возможность основать новую усадьбу. Обширные районы в гористой части Скандинавии оставались незаселенными и использовались только для охоты. И в наши дни Норвегия отличается наименьшей плотностью населения в Европе, уступая в этом отношении одной Исландии. В равнинных областях средней Швеции и в Дании деревенская община возникла уже в раннее средневековье. Здесь население гуще. В этих областях, да еще кое-где в приморских районах Норвегии быстрее наступал материальный прогресс, развивалась культура, закладывались предпосылки для возникновения государства.

Жители обособленных хуторов, в особенности расположенных в гористой местности, подчас не могли поддерживать постоянных связей даже с соседями. Снежные горы и ледники, фьорды и горные речки разделяли страну на многочисленные небольшие районы, население которых жило своей жизнью и было слабо связано с внешним миром. Если горы разъединяли, то море часто соединяло жителей Скандинавии. Так, до недавнего времени обитателям отдельных местностей

Исландии труднее было поддерживать сообщение между собой, чем с Данией, которой до сравнительно недавнего времени был подчинен остров.

Разобщенность поселений не менее характерна и для других скандинавских стран. Большая часть норвежцев, например, жила в приморских частях страны, на берегах моря и фьордов. Кое-где через горные перевалы пролегали дороги, но по морю добраться из Северной Норвегии в южную или западную части ее оказывалось проще и быстрее, чем по суше. Название страны — Норвегия (Nordrvegr) означало «северный путь» — этот путь шел вдоль побережья. Средневековый скандинав чувствовал себя на земле более стесненным, чем на море. Почти все крупные сражения, которые произошли в Скандинавии между IX и XIII вв., были морскими. Повелителем Норвегии оказывался тот, кто обладал флотом.

Горный ландшафт Скандинавского полуострова, разделявший его на обособленные районы, в немалой мере предопределил и границу между Норвегией и Швецией. Ее большая часть проходит по горному хребту — в местности, которая не заселена и в наши дни. И это несмотря на то, что Швеция, Норвегия и Дания на протяжении всей своей истории были тесно связаны между собой как морскими путями (Швеция отделена от Дании лишь узкими проливами, расстояние от Норвегии до Дании по морю по прямой немногим превышает 100 км), так и непосредственным территориальным соседством: Дания в средние века имела владения в южной части Скандинавского полуострова — Сконе.

Разъединенные всем образом жизни и хозяйства, которое на протяжении многих веков сохраняло натуральный характер, жители скандинавских стран вместе с тем имели между собой и много общего. Прежде всего общими были их этническая принадлежность к северным германцам и язык. Повсюду в Скандинавии в раннее средневековье говорили на родственных диалектах одного древнескандинавского языка. Он принадлежит к языкам германской ветви индоевропейской языковой семьи. Иногда его называли «датским языком». Этот язык был понятен и в тех странах, куда переселялись выходцы из Скандинавии. Исландские поэты — скальды исполняли свои песни перед датским конунгом и беседовали со шведами при посещении их страны; норвежский конунг, бежавший на Русь — в «страну укреплений» (Gardariki), как ее называли скандинавы, находил общий язык (в прямом смысле слова) с ее правителями. В Англии также понимали северную речь. Культура, религиозные представления, мифология, формы погребений, многие правовые обычаи были общими для всех скандинавов. В основе их языковой и духовной общности, общности права и обычаев, о наличии которой свидетельствуют как первые записи их судебных актов, так и саги, лежало общее происхождение северных германцев, одинаковые условия жизни, один и тот же общественный строй — родовой строй на стадии разложения и перехода к классовому обществу — и порожденная этими естественными и общественными условиями и соответствовавшая им психология.

Если население большей части Европы того времени состояло преимущественно из крестьян-земледельцев, то скандинавские бонды — так называли свободных людей, домохозяев, глав семей — были не только, а подчас и не столько хлебопашцами, сколько скотоводами, охотниками, рыболовами, моряками, китобоями. Широко развитая на Севере уже в раннее средневековье торговля давала возможность его жителям несколько пополнять свои скудные пищевые ресурсы: они вывозили шкуры, меха, рыбу, лес, домотканые сукна, железную руду, тальковый камень и выменивали их на зерно, вино, ремесленные изделия, оружие, украшения и другие товары.

Несмотря на издревле существовавшие связи жителей Скандинавии с другими народами, внешнее влияние на их жизнь до начала эпохи викингов было все же относительно слабым. Скандинавы оставались в стороне от развития античной

цивилизации. Хотя выходцы из северных стран и принимали участие в нападениях на Римскую империю, скандинавские племена не были вовлечены в «Великое переселение народов», которое привело к завоеванию Римского государства варварами и образованию на его территории германских королевств. Относительная изоляция скандинавов тормозила их экономический, общественный и культурный прогресс. В то время как у франков, готов, англосаксов и других племен, переселившихся в бывшие провинции империи, формирование классового общества ускорило под воздействием найденных в завоеванных ими странах римских порядков, жители Швеции, Норвегии и Дании, оставаясь на родине, дольше сохраняли общинно-родовой строй. Его разложение шло медленнее, чем в других частях Европы.

У племен, занимавших отдельные области Скандинавского полуострова и Ютландии, долго держались родовые и общинные формы собственности на землю. Вплоть до VIII—IX вв. здесь существовала патриархальная большая семья — коллектив ближайших родственников нескольких поколений: в одном хозяйстве объединялись не только родители и их дети, но и семьи, созданные взрослыми сыновьями. Обычно большая семья занимала одно жилище. Археологами обнаружены остатки многих длинных домов этого периода. Длина их достигала 20—30 и более метров. В отдельных помещениях такого дома жили отец с матерью, сыновья со своими женами и детьми, другие родственники. В районах полуострова, имеющих суровый климат, отгороженная часть дома отводилась под стойло для скота¹. Земля, примыкавшая к усадьбе, принадлежала всей семье, составлявшей своеобразную домовую общину. С помощью родственников легче было расчистить участок от камней или леса и запастись на зиму корм для скота. Суровая природа вынуждала людей прочно держаться отношений взаимопомощи, естественных для родового строя.

Лишь в более позднее время между сыновьями и отцом или между братьями стали производиться разделы наследственного владения. Но и после раздела земли и обособления индивидуальных хозяйств свободного распоряжения участками сразу не возникало: человек, вынужденный продать свою землю, был обязан предложить ее купить сначала своим сородичам. Только в том случае, когда они не могли или не желали воспользоваться этим предложением, владелец получал право продать землю на сторону. Однако сородичи могли и впоследствии выкупить проданную землю².

Первоначально же земля вообще считалась неотчуждаемым владением большой семьи. Для бонда усадьба его отца, в которой он родился, жил, работал вместе с сородичами и которую он оставлял, умирая, своим детям и другим близким людям, была микромиром, средоточием всех его интересов. Его усадьба называлась одалем, а сам он — одальманом. Но слово «одаль» — наследственная земля — означало в древнескандинавском языке также «родина». В представлении скандинавов времен язычества, мир людей был не чем иным, как большой усадьбой: вокруг нес лежал мир великанов и страшных чудовищ. Поэтому мир людей называли Мидгардом (буквально: «то, что расположено в пределах изгороди»), а мир исполинов и чудищ — Удгардом («находящееся за оградой»). Человеки усадьба были неразрывно связаны между собой. Эта связь считалась священной.

¹ *Hagen A.* Studier i jernalderens gardssamfunn. — Universitetets oldsaksamlings skrifter», Bd. IV. Oslo, 1953; *Petcrsen J.* Gamle girdsanlegg i Rogaland, Bd. I—II. Oslo, 1933, 1936; *Hatt G.* Oldtidsagre. — «Del kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Arkeologisk-Kunsthistoriske Skrifter» Bd. II, Nr. 1. Kobenhavn, 1949; *Hatt G.* Norre Fjand. An Early Iron-Age Village Site in West Jutland. — «Arkaeologisk-kunsthistoriske Skrifter utgivet af Del Kongelige Danske Videnskabernes Selskab», Bd. 2, № 2, Kobenhavn, 1957.

² *Гуревич А.Я.* Большая семья в Северо-Западной Норвегии в раннее средневековье. — В сб. «Средние века», вып. VIII. М., 1956.

Близ хутора и даже в пределах его ограды находилось погребение предков. Считалось, что умерший продолжал свою жизнь в роду. Детям охотно давали имя предка, который как бы оживал в них, а его качества оказывали влияние на нового носителя имени. Предки охраняли семью и хозяйство, от них зависело плодородие. В память отцов и дедов воздвигались камни с вырезанными на них руническими надписями. Сознанием тесной связи поколений родичей и важной роли, которую умершие играли в судьбах потомков, проникнуты исландские родовые саги, с исключительной тщательностью прослеживающие родственные связи исландцев не только с ближайшими, но и с отдаленными предками: для древних скандинавов история в значительной мере была родословной. Уважение к старшим — безусловный закон родового общества — сочеталось с не менее общераспространенным пренебрежением к слабым. Нередко старик, чувствуя приближение времени, когда он станет беспомощным, искал смерти в бою. Древние скандинавы верили, что такая смерть открывала перед ними врата Валхаллы — загробной обители павших со славою воинов.

Названия многих усадеб, восходящие к периоду, предшествующему походам викингов, свидетельствуют о независимости, богатстве и высоком общественном положении их обладателей, о гордом их самосознании: «Прекрасный двор», «Дом сильного», «Жилище благородного», «Золотой двор», «Двор радости», «Богатая обитель».

У жителей усадеб были свои божества и духи-покровители, в честь которых приносились жертвы и устраивались празднества. Нередким было поклонение животным — коням и быкам. Во время праздничных пиршеств употреблялись мясо и кровь коней. Детородный орган жеребца служил амулетом, приносящим плодородие. Усердное поклонение духам дома гарантировало благополучие семьи, удачные роды жены и невесток, здоровье детей, приплод скота, произрастание посевов, счастье во всех делах.

В средней части дома находилось обширное помещение. Здесь, вокруг очага, происходили общие трапезы всех членов семьи. Вдоль стен располагались скамьи для домочадцев, а у обращенной к северу стене возвышалось хозяйское место, украшенное столбами с резными изображениями богов — покровителей дома. Почетное сидение бонда — главы дома — почиталось священным. Когда после смерти отца сын садился на его место, это означало, что он вступил в права наследника.

Вместе с членами семьи в усадьбе жили рабы и другие зависимые люди и слуги, которые помогали по хозяйству, пасли скот и выполняли другие тяжелые и грязные работы, участвовали в рыбной ловле. У каждого более или менее крепкого хозяина имелись зависимые домочадцы. Владельцы побогаче нередко выделяли рабам и вольноотпущенникам небольшие участки и снабжали их инвентарем. Все население дома находилось под непререкаемой и неограниченной властью его главы. Для такого самоуправляющегося и обособленно жившего коллектива не существовало иного закона, помимо обычая предков и воли отца. Он был властен наказывать домочадцев и определять их судьбу, от него зависело, останется ли в живых новорожденный ребенок. Между членами большой семьи не было равенства. Наряду с детьми, рожденными в браке и пользовавшимися правом наследования, у хозяина могли быть дети от рабынь и наложниц, которые таких прав не имели. Незаконнорожденные дети и бедные родственники, находившиеся на положении приживальщиков, играли немалую роль в хозяйственной жизни крупной усадьбы наряду с рабами и слугами. Зачастую зажиточные бонды отдавали своих детей на воспитание к более бедным родственникам или другим людям, в том числе вольноотпущенникам. Это была своеобразная форма покровительства, оказываемого

сильным более слабому. Таким путем расширялся круг родства и взаимопомощи, возглавляемый могущественным хозяином.

Женщина находилась под властью и покровительством мужчины: девушка — под опекой отца или сородича, заменявшего ей отца; после выхода замуж она переходила под опеку мужа. Но будучи подчиненной мужчине и неравной с ним, в частности в правах наследования, женщина вместе с тем не была принижена и бесправна. Ей принадлежала большая роль: она считалась хозяйкой дома. Саги рисуют облик многих властных женщин, державших семью в своих руках и пользовавшихся уважением жителей всей округи. Обладала женщина и правом на развод, которым могла воспользоваться в случае обнищания супруга, причинения ей обиды или недостойного поведения (например, если он носил одежду, напоминающую одежду женщины). Супружеская верность жен строго охранялась ревнивыми и мстительными мужьями, которые весьма пеклись о своей и семейной чести: неверную мужжестoko наказывал и отсылал к ее сородичам, которые могли даже продать ее в рабство. Западноевропейские хронисты утверждали, что у каждого скандинава якобы имелось по две-три жены, а у знатных их было без числа.

В усадьбе всем находилась работа. Но молодые люди из зажиточных семей имели возможность покидать отцовские усадьбы на летнее время, отправляться за море в пиратские и торговые поездки. До наступления зимних штормов они возвращались домой, принося семье, помимо дохода, уважение и славу в округе, новости о заморской жизни и впечатления, необычные для рутинного быта на родине. Зимой, когда работы было меньше, а связь с внешним миром, и без того слабая, почти вовсе прерывалась, жители усадьбы много времени проводили у домашнего очага, слушая рассказы о виденном и пережитом в чужих странах, сказания о жизни в старину, легенды о богах и героях, нередко восходившие к эпохе «Великого переселения». Как и другие народы, жившие родовым строем, скандинавы отличались широким гостеприимством. Даже врага нужно было накормить, если уж он пришел в дом.

Летом жизнь заметно оживлялась. Жители соседних хуторов чаще встречались на общих пастбищах, на сходках. Такие сходки — тинги — устраивались для решения конфликтов и споров, возникавших между соседями, для расследования и наказания преступлений; на тингах совершались в присутствии свидетелей и поручителей имущественные сделки. В каждом районе (хераде, сотне), пределы которого устанавливались самой природой — в отдельной долине, части побережья существовал свой тинг. На эти сходки мужчины являлись вооруженными. Принимая решение, они, как и древние германцы, в знак одобрения потрясали оружием.

Человек, имевший претензии к другому или обвинявший его в преступлении, должен был явиться к дому обидчика и вызвать его на тинг. Затем от усадьбы к усадьбе передавали стрелу — знак созыва тинга. В назначенный день, обычно в новолуние или полнолуние, все бонды, жившие в одном районе, собирались на отведенном для тинга месте, например на холме или лесной поляне, и выслушивали стороны и свидетелей. Места сходов считались священными и состояли под охраной богов: кровопролитие или другое преступление, совершенное здесь, признавалось святотатством и каралось особенно строго. Нередко в этих местах находилось капище, совершались жертвоприношения и гадания.

Хранителями обычая были наиболее почтенные и старые люди; обычай так и переходил из поколения в поколение, «исконность», старина придавали ему силу и авторитет. В нужных случаях хранитель обычая излагал его на тинге, в Исландии знаток обычаев так и назывался «законоговоритель». Для того чтобы оправдаться от обвинения, нужно было принести очистительную присягу вместе с определенным числом соприсяжников; количество их зависело от характера и тяжести обвинения. Иногда прибегали к испытаниям раскаленным железом или кипящей водой, и

выдержавший испытание считался очистившимся от обвинения. Виновных присуждали к уплате возмещения в соответствии с обычаем или по оценке сведущих людей. Наиболее злостных преступников карали изгнанием, таких негодяев — «нидингов» — считали волками, их всякий мог убить.

Единственной формой письменности у скандинавов до конца XI в. оставались древнегерманские знаки — руны, которые вырезали на камне, кости, дереве, оружии. Они имели преимущественно магическое значение, и законов ими не записывали. Поэтому к памяти предъявляли очень большие требования. В памяти приходилось хранить все, что требовалось сообщить следующему поколению. Сделки и соглашения заключались при свидетелях, которые обязаны были помнить их условия; по прошествии определенного срока эти условия подтверждались на тинге или сообщались тем, кто должен был выполнять функции свидетеля впоследствии. Чтобы память не изменила, свидетелей обычно было несколько.

Человек, привыкший рассчитывать только на свои силы и помощь сородичей, зачастую не обращался за правосудием к тингу: заботясь о поддержании чести своей семьи и рода, он расправлялся с обидчиком сам. Кровная месть была обычным явлением. Стремясь причинить обидчику и его роду наибольший урон, нередко убивали того из родственников преступника, кто пользовался наибольшим уважением. Месть вызывала ответную месть, ибо кровь, по представлениям, господствовавшим в родовом обществе, смывалась только кровью. Если сородич не был отмщен, на всю семью и род ложилось пятно позора. Месть индивидуальная превращалась в месть родовую, вовлекавшую в свой кровавый черед широкий круг людей и длившуюся подчас из поколения в поколение. Лишь посредничество соседей могло заставить враждующих сложить оружие и удовлетвориться уплатой возмещения. Исландские саги, излагающие родовые предания и жизнеописания, полны рассказов о бесконечных кровавых распрях между семьями и родовыми группами как в самой Исландии, так и в других скандинавских странах. Нередко случалось, что месть приводила к убийству сразу большого числа людей. В обычае было сожжение дома врага с его обитателями. Величайшим несчастьем, которое могло постигнуть человека, у древних скандинавов считалось прекращение рода или его упадок. Любовь к детям питалась, помимо естественного родительского чувства, сознанием того, что они — продолжатели рода.

Общество еще не перестроилось по классовому принципу, все бонды — свободные люди, обладавшие хозяйственной независимостью, считались равноправными и полноправными, обычай, имевший силу закона, был для всех один. Но на практике торжествовало право сильного: кто имел больше сородичей и зависимых людей, был богаче и влиятельнее, тот мог навязать свою волю соседям и участникам тинга. Самоуправство наиболее могущественных и богатых людей, имевших средства заставить считаться с собой всех окружающих, уже тогда не знало границ.

Имущественное неравенство скандинавов еще до эпохи викингов было довольно значительным. Наряду с состоятельными владельцами, которые владели большими стадами, использовали в хозяйствах труд рабов и слуг, имели корабли для торговых поездок, существовало немало бедняков, с трудом сводивших концы с концами в небольших усадьбах. Обнищавшим приходилось идти в услужение к богатым соседям. Нередко свободный человек, лишившийся собственности и не имевший возможности получить помощь от родственников, попадал в долговую кабалу и оказывался в положении раба. Вокруг больших и богатых дворов преуспевающих бондов на их земле возникали мелкие хозяйства арендаторов и держателей, которые платили за пользование участками часть урожая. Держателями становились также рабы и вольноотпущенники. Таким образом, крупное хозяйство в Скандинавии тех времен обрастало более мелкими. Рабы и вольноотпущенники,

слуги и арендаторы, многочисленные родственники и приживальщики группировались под властью «могучих бондов», как их с почтением, а подчас и с опаской, называли окружающие. Владения «сильных людей» (стурманов) становились центрами общественной жизни в отдельных местностях, своеобразными ядрами социального притяжения для всех более слабых, бедных и незащищенных: здесь они искали покровительства и помощи, за которую были вынуждены расплачиваться своей независимостью.

Жители соседних местностей, принадлежавшие к одному племени, подчас объединялись для совместной защиты от нападений и для соблюдения порядка. Время от времени они собирались на областной тинг. Здесь обсуждались наиболее важные дела, имевшие общий интерес. Некоторые языческие святилища были общими для целой области. Народные сходки являлись важным средством общения населения, раздробленного на мелкие мирки: на них узнавали новости, договаривались о сделках и брачных союзах. Законоговование не было оторвано от народного сказания, и то и другое в глазах народа имело одинаковую достоверность и значение. Встречи на тингах способствовали распространению саг, до XII—XIII вв. сохранявшихся в устной форме, песен о богах и героях, стихотворений и песен скальдов.

Хотя тинги в тот период сохраняли характер народных сходок, ведущую роль на них играли наиболее знатные и влиятельные бонды. С ними были связаны родством, свойством, а нередко и материальной зависимостью многие участники тинга. Когда собрание посещал правитель области — конунг или ярл, — с ним от имени и при поддержке присутствовавших говорили знатные люди и «могучие бонды».

Таким образом, несмотря на значительную обособленность хуторов и мелких деревень, их жителей объединяло стремление наладить местное управление, охрану порядка и правосудие; существовала общность религиозных верований, культов и связанных с ними празднеств. Необходимость защититься от внешней опасности, нападений с моря или на суше, вынуждало жителей заботиться о создании укреплений, где они могли бы укрываться от врага, и об организации ополчения. Примитивные, преимущественно земляные и деревянные, с использованием камня, укрепления, остатки которых разбросаны в разных частях Скандинавии, свидетельствуют о том, что население предпринимало совместные работы по их постройке. Но в организации подобных работ, и особенно при создании ополчения, большую роль играли вожди, стоявшие во главе населения.

Знать существовала еще у древних германцев. Во главе родов и округов стояли старейшины, племена возглавлялись «королями» и военными вождями, причем последние во время войны пользовались широкой властью. Античные авторы подметили наследственный характер германской знати: знатность, понимаемая как родовитость, была принадлежностью целого рода или семьи, и только из числа лиц, входивших в состав этого рода и семьи, «выбирались» предводители племен и племенных союзов. Таких «королей» (у скандинавов они назывались конунгами), ярлов и херсиров упоминают не только песни скальдов, наиболее ранние из которых известны от IX в. Свидетельствуют о них и рунические надписи, начиная с эпохи «Великих переселений». Правление знати было повсеместным явлением, оно глубоко укоренилось в общественной жизни скандинавских племен задолго до эпохи викингов. В VI—VIII вв. могущество знати еще более укрепляется.

Внушительными свидетельствами этого могут служить «княжеские» курганы и богатые погребения правителей Уппланда (в Средней Швеции), подчинивших своей власти племена свеев, и среди них — крупнейший «курган Оттара», датируемый V—VI вв.³ В Юго-

³ Lindqvist S. Uppsala hogar och Ottarshogen. Stockholm, 1936; Aberg N. Vendelgravarna och Uppsala hogar i deras historiska miljo. — «Fornvannen», 1949, s. 193—204.

Восточной Норвегии расположен самый большой курган Северной Европы — Ракнехауген. Поперечник его — 100 м, высота — 15 м. Прежде чем насыпать курган, строители возвели сооружение из бревен. С этой целью они истребили большой сосновый лес. Исследование годичных колец использованных при этом деревьев показало, что все они были спилены в течение одного года. При возведении кургана были предприняты и земляные работы широкого масштаба (в общей сложности было насыпано около 80 тыс. кубометров земли). Предполагают, что в этих работах принимали участие приблизительно 500 человек, т.е. мужское население обширного района. По-видимому, курган был возведен по приказанию могущественного вождя. Погребения в кургане не оказалось: он служил не местом захоронения, а монументом, увековечивавшим память «князя». Археологи относят Ракнехауген к VI в.⁴ Предание гласит, что в шведском Уппланде и в Юго-Восточной Норвегии в тот период правила династия Инглингов, к которым впоследствии возводили свой род конунги Швеции и Норвегии.

Когда гораздо позднее, в конце X в., представитель французского короля спросил датских викингов, отряд которых грабил Северную Францию, об имени их господина, они отвечали: «Нет над нами господина, ибо все мы равны!». Этот гордый ответ часто приводят в доказательство сохранения демократических порядков не только в Скандинавии, но и в войске викингов. Действительно, господ во французском понимании, т.е. феодальных сеньоров, требовавших службы и верности от своих вассалов за пожалованную им землю, у скандинавов в X в. еще не существовало. Но не было среди них и равенства: знать возвышалась над остальным населением, которое видело в ней своих предводителей и повиновалось ей.

Знатные люди играли ведущую роль в военном деле. Вождь стоял во главе ополчения, составлявшегося из всех боеспособных мужчин. Слово «херсир» (*hersir*), обозначающее вождя, происходит от древнескандинавского *her* — войско, народ. Быть вождем племени, народа, значило возглавлять воинское ополчение. Во время войны вождь пользовался неограниченной властью. Он постоянно требовал от подчиненных ему жителей хранить в порядке необходимое оружие. Существовало понятие «народное оружие», т.е. оружие, которое должен был иметь каждый свободный человек. В его состав входили боевой топор или меч, копье, лук со стрелами, щит. Поскольку война сплошь и рядом шла на море, в прибрежных водах, требовались корабли, и население было обязано на свои средства, в складчину, строить и снаряжать боевые ладьи, поставлять провиант и служить на них. В эпоху викингов жители приморских районов Швеции, Дании и Норвегии были организованы в «корабельные округа»; от каждого выставлялся полностью снаряженный военный корабль с командой.

Вождь был окружен дружиной, в которую входили молодые люди, искавшие добычи и славы. Такой вождь мог защитить соплеменников от врагов и захватить новую территорию для поселения. Отношения в дружине строились отнюдь не на началах равенства, как может показаться из слов датских викингов («Все мы равны!»): дружинники приносили вождю присягу верности, нарушение которой покрыло бы их несмылаемым позором, получали от него меч и иное оружие, коня и долю в добыче и считали его своим господином. Слово «*hetta*» — господин — встречается уже в самых ранних песнях скальдов для обозначения предводителя дружины. То, что Тацит писал о древних германцах: «Вожди сражаются за победу, дружинники — за вождя», — полностью подходит и к скандинавским дружинам. Вернуться из сражения, в котором пал вождь, было признаком трусости — одного из самых постыдных пороков, с точки зрения варваров. Дружина должна была защищать вождя, служить ему и пасть в бою вместе с ним, если военное счастье ему изменило. Дружинники служили предводителю и в его усадьбе, где они жили. Некоторые дружинники назывались «свейнами» — то были оруженосцы и слуги, обязанные стоять за столом, когда пировали вождь и старшие дружинники, и

⁴ Vart folks historic. Bd. 1. Oslo, 1962, s. 242—244.

подавать им питье и еду. Власть вождя над дружинником, пока тот оставался с ним (он мог быть отослан из дружины или уйти сам, с разрешения вождя), была чрезвычайно велика.

Племя, во главе которого стоял вождь, опиравшийся на дружину, отчасти содержало его и воинов на свой счет. Еще древние германцы приносили вождям подарки в виде скота и земных плодов. С течением времени эти дары неизбежно утрачивали добровольный характер и превращались в дань или кормление, которое все домохозяева обязаны были предоставлять вождю. Усадьбы конунгов и херсиров служили местом, куда население свозило продукты для вождя и его свиты. Такие поборы назывались *вейштой*, т.е. кормлением, угощением, пиром⁵. Вождь, имевший несколько усадеб, расположенных в разных частях возглавляемой им области, разъезжал по этим дворам и кормился вместе со своими людьми за счет приношений. Прокормить многочисленную дружину могущественного конунга или херсира было нелегко, население нередко видело в этой обязанности серьезное для себя обременение. Для того чтобы не истощить ресурсы жителей и не вызвать у них недовольства, вождям приходилось чаще переезжать из одной местности в другую, нигде не задерживаясь подолгу, либо отправляться за добычей к соседям или за море. Когда же они пытались сократить рацион дружинников, те не скрывали недовольства. Казалось естественным, что вождь щедр на угощения, как и на кольца и гривны, которые он дарил своим приближенным. Скальды сплошь и рядом называли вождя «раздающим золото», «щедрым на кольца».

Основой могущества знати являлась и ее ведущая роль в религиозных делах. Знатные лица охраняли храмы, ведали обрядами и жертвоприношениями. Поскольку же гадания и религиозный ритуал непосредственно связывались с поступками людей (в зависимости от предсказания выступали в поход или оставались дома, ждали урожая, улова рыбы, приплода скота и т.п.), то контроль знати над культом перерастал в ее контроль и над другими сторонами жизни населения. Принося жертвы, вождь способствовал благополучию населения. В одной из саг рассказывается, что после того как норвежский ярл Хакон стал «приносить жертвы настойчивее, чем это делалось прежде», «вскоре улучшился урожай, и снова появились хлеб и сельдь, процвела земля». Отправляя культ, знатные люди оказывались в глазах населения в более тесных, интимных отношениях с божественными силами и сами приобретали значение избранников или потомков богов⁶. Конунги древних скандинавов вели свое происхождение от языческих богов. Формировавшаяся у них в эпоху викингов королевская власть приобретала сакральный характер задолго до появления на Севере христианства.

В личности конунга, по представлениям того времени, воплощались благополучие и счастье его народа. Не только жертвы, которые он приносил, и обряды, им совершаемые, но и сам он был источником удач и успехов соплеменников. В годы правления конунга, «счастливого на урожай», в стране хорошо родились земные плоды, телились коровы и овцы, к берегам приходили большие косяки рыб, не было стихийных бедствий, не нападали враги, и «был мир добрый». При «несчастливых» конунгах все шло плохо. Когда на праздничных пирах пили за «добрый год» (т.е. за хороший урожай и всяческий приплод) и за конунга, то по существу заботились об одном и том же. По преданию, после смерти одного из конунгов Восточной Норвегии, считавшегося «самым счастливым на урожай из всех конунгов», знать разделила его тело на части, которые жители четырех разных районов похоронили в своих землях, «и думалось им, что можно надеяться на урожай».

Подобные представления о конунгах и знати как носителях производственной магии способствовали их возвышению и усилению их общественного влияния. Как и у других народов на соответствующей стадии развития, у скандинавов, в частности у шведов,

⁵ *Steinnes A. Husebyar. Oslo, 1955; Гуревич А.Я. Древненорвежская вейцла. — «Научные доклады высшей школы. Исторические науки», 1958, № 3.*

⁶ *Piekarczyk S. O społeczeństwie i religii w Skandynawii VIII — XIw. Warszawa, 1963.*

сложились легенды о том, что в тяжелые для народа годы конунгов приносили в жертву, если никакие другие жертвоприношения не помогали вернуть стране благополучие.

Но ведущее положение знати в обществе определялось не только ее ролью в защите территории и в контроле над культом. Вожди, стоявшие во главе дружин, воевали между собой, с соседними племенами, совершали походы в другие страны, занимались морским разбоем. Захваченная добыча: драгоценные металлы, украшения, ткани, одежда, оружие и утварь из более богатых стран, пленные, которых они продавали или обращали в своих рабов, — служила важнейшим источником их обогащения. Родовая знать древних скандинавов не представляла, разумеется, класса крупных землевладельцев, который в ту пору интенсивно развивался в Европе. Земля не была главным ее богатством. Скот, рабы, корабли, оружие и другие богатства, которыми они могли одаривать дружинников и приближенных, — таковы основные материальные источники общественного могущества конунгов, ярлов, херсиров. К ним стекались юноши и молодые люди, жаждавшие славы и приключений; неимущие и малоимущие искали в их усадьбах приюта и прокормления, соседнее население видело в них своих покровителей и защитников и в то же время нередко опасалось насилий и вымогательств с их стороны.

Торговые люди, путь которых проходил мимо владений знатного человека, также спешили расположить его в свою пользу, ибо в его власти было ограбить их или, наоборот, благоприятствовать торговле. Сообщения саг, изучение местоположения усадеб могущественных вождей того времени показывают, что свои дворы они нередко возводили как раз в таких местах, где проплывали купеческие корабли: на островах, выдающихся в море мысах, в проливах или горловинах фьордов. Контроль над торговлей был немаловажным источником обогащения скандинавской знати. Владельцы крупных усадеб в Северной и Северо-Западной Норвегии из поколения в поколение держали в своих руках необычайно прибыльную морскую торговлю на Севере с населением Финнмарка. Этот путь так и назывался «финским путем», по нему везли товары, вымененные у финнов и саами, и собранную с них дань: меха, шкуры, птичий пух, чрезвычайно ценившийся не только в Скандинавии, но и далеко за ее пределами. Эта торговля была неразрывно связана с разбоем, и львиная доля доходов доставалась представителям знати, контролировавшим «финский путь».

Один из них, Оттар из Халогаланда, области Северной Норвегии, побывавший в конце IX в. в Англии, рассказал королю Альфреду о своей родине и жизни там. Альфред записал этот рассказ, представляющий первую по времени из имеющихся в распоряжении историка характеристику могущественного человека из Скандинавии, своего рода моментальную его фотографию (хотя и дошедшую в копии X в.). Оттар жил за Полярным кругом, севернее него, как он говорил, никто из норвежцев не селился, лишь кое-где там попадались саами, которых норвежцы называли финнами. Оттар владел большими стадами скота, особенно много было у него оленей. Пахотной земли у него имелось немного. Значительную роль в его хозяйстве, видимо, играли морской промысел и охота. «Но главным его сокровищем была дань, которую ему платят финны». Она состояла из куньих мехов, меховой одежды, оленьих и медвежьих шкур, птичьего пера, китового уса, корабельного каната, на изготовление которого шли моржовые и тюленьи шкуры. Торговые поездки Оттар совершал на восток вплоть до Белого моря, в страну Бьярмию, в противоположном направлении — плывал в Англию и южную Данию.

Основой богатства и могущества средневековых феодалов была недвижимая собственность, земля. Богатства скандинавской родовой знати состояли в первую очередь из движимого имущества. То, что родовая знать жила больше военной добычей, чем за счет эксплуатации местного населения, и то, что она не была тесно привязана к земле, самый характер ее богатства и способ его приобретения делали скандинавскую знать необычайно мобильной, «легкой на подъем», готовой

отправиться в далекие походы для захвата добычи и даже переселиться в другие страны.

Вокруг знати группировались не только элементы общества, которые непосредственно зависели от нее или были связаны с ней своими материальными интересами (дружинники, приживальщики, домочадцы, данники, рабы, вольноотпущенники), но и более широкие круги населения, сохранявшие личную и экономическую самостоятельность, однако нуждавшиеся в ее защите и руководстве. В одной из песен «Старшей Эдды», известной под названием «Песнь о Риге», рассказывается о сотворении людей богом Ригом-Хеймдалем. Сперва он посетил убогое жилище Прабабки и Прадеда. Здесь был рожден от Рига Раб-Трэль, и от него пошел род рабов. Затем Риг приходит в дом Бабки и Деда, и зачатый Ригой Карл явился предком рода земледельцев — бондов. Наконец, в хоромы Матери и Отца от Рига родился Ярл — военный предводитель, знатный человек, потомком которого был юный Кон (конунг).

Знать, свободные земледельцы и рабы — таков состав общества в представлении древних скандинавов. Автор этой песни видит различия между тремя социальными слоями прежде всего в богатстве: Трэль живет в хижине, ест грубую пищу и занят тяжелой и грязной работой; Карл владеет скромным домом и возделывает участок земли, тогда как Ярл посвящает свои досуги воинским подвигам, охоте, пирам и иным, подобающим его знатности и благородству развлечениям. Но составитель песни, в противоположность благообразию бонда и его жены и красоте и изысканности манер знатных людей, на стороне которых все его симпатии, подчеркивает убожество и нечистоплотность рабов. Их он презирает: дети Трэля награждены именами, представляющими собой оскорбительные клички. «Песнь о Риге» сохранилась в поздней записи, но социальная структура, рисуемая в ней, весьма архаична. Поэтому есть основания предполагать, что «Песнь» восходит к эпохе викингов. Ярл и его сын Конунг — типичные воители, викинги, окруженные дружиной и совершающие заморские экспедиции.

Мобильностью отличались не только представители знати, но и часть простого населения. Ведь жизнь древнего скандинава сплошь и рядом была теснейшим образом связана с морем. Молодежь покидала отцовские усадьбы и отправлялась в другие области или за пределы страны — в военные и торговые поездки. Наиболее зажиточные хозяева имели собственные корабли, у бондов поскромнее были лодки. Нередко несколько бондов строили корабль в складчину и отправлялись в плавание: охотнику, китобою, рыболову, да и скотоводу нужно было сбывать свою добычу.

В обстановке глубокой ломки традиционных отношений собственности и всего уклада общества имелось сколько угодно социально неустроенных элементов, склонных к любой аванюре. Повествуя об этом времени, великий исландский историк начала XIII в. Снорри Стурлусон писал, что тогда в Скандинавии существовало много «морских конунгов», не имевших собственных земельных владений и крыши над головой: все их подданные входили в дружину и охотно отправлялись за море за добычей.

В эпоху викингов, подготовленную всем предшествовавшим развитием скандинавского общества, в военные походы и пиратские набеги, в дальние плавания по неизведанным морским просторам, в торговые поездки в другие страны, наконец, в переселения на новые земли втягивались значительные массы жителей Дании, Норвегии и Швеции — выходцы из различных социальных слоев. Эпоха викингов — эпоха широкой экспансии скандинавов, принимавшей самые различные формы. Причины ее также многообразны. Очевидно, множество разнообразных факторов толкало людей на то, чтобы покинуть землю предков и переселиться за море, или на

ведение насыщенной приключениями и сулившей славу и добычу, но вместе с тем и полной опасностями и риска жизни викингов.

Во-первых, к этому времени жители Скандинавии испытывали недостаток в землях, пригодных для земледелия и скотоводства. Некоторые современные ученые ставят под сомнение существование земельного голода, но исследования топонимики и скандинавских поселений давно уже дали ряд подтверждений этого факта. Еще в V—VI вв. население внутри полуострова начало проникать в ранее пустовавшие районы. При этом многие прежние поселки и усадьбы были заброшены. В VII—IX вв. распад хозяйств больших семей принял широкие размеры, что указывает на рост населения и создание внутри домовых общин скрытого перенаселения. С этим же обстоятельством, видимо, связано и значительное увеличение числа погребений в различных районах Скандинавии в начале эпохи викингов. Наконец, массовая эмиграция из стран Севера в другие страны уже в эпоху викингов и заселение датчанами и норвежцами целых областей Англии, Ирландии, Северной Франции, островов Северной Атлантики не могут быть объяснены, если не признать наличия избыточного населения в тогдашней Скандинавии⁷. Конечно, избыток населения вызывался не распространенным у скандинавов многоженством, как полагали некоторые историки. При относительно низком уровне сельского хозяйства, носившего экстенсивный характер, нехватка земли могла стать угрожающей. Немецкий хронист второй половины XI в. Адам Бременский писал о норвежцах, что на морской разбой их толкает бедность родины, она-то и гонит их по всему свету. В эпоху викингов земельный голод привел к тому, что внутренняя колонизация, которая приняла широкие размеры (данные археологии свидетельствуют о том, что именно в этот период в Скандинавии получает широкое распространение железо; появление большого количества железных топоров и других орудий было необходимым условием для расчистки новых земель), нашла свое продолжение во внешней экспансии скандинавов. Многие бонды забирали с собой семьи и скот и отплывали за море. Неизвестно, сколько их при этом погибло в бурных северных водах. Но стремление покинуть суровую родину, где они подчас голодали, и переселиться в страны, в которых «с каждого стебля капает масло», как вешали первые колонисты Исландии, желая привлечь туда из Норвегии новых переселенцев, привело в движение значительные слои бондов. Голод и нужда, поиски новых плодородных полей и тучных пастбищ гнали за море многих и многих скандинавов.

Во-вторых, и это обстоятельство особенно подчеркивается современными исследователями⁸, развитие торговли, начавшееся опять-таки много раньше эпохи викингов, привело часть населения Севера в более тесное и постоянное соприкосновение с жителями других стран и познакомило их с богатствами народов, опередивших скандинавов на пути материального и культурного развития. Это общение благоприятствовало подъему торговли и мореплавания у скандинавов, появлению у них первых значительных торговых центров (Бирка, Хедебю и др.) и стимулировало прогресс в технике судостроения. Мореплавание не было новостью для них, но в связи с новыми потребностями произошло усовершенствование формы и оснастки кораблей, которые они строили. В свою очередь, появление быстроходных и устойчивых в бурном океане кораблей, с парусами и глубоким килем, открыло перед северными мореходами широкие перспективы и позволило покончить с замкнутостью, в которой они жили до эпохи викингов.

В-третьих, родовая знать и верхушка бондов, игравшие важную роль в общественной жизни скандинавских племен еще и в предшествующий период, в новых условиях неизбежно должны были достигнуть наибольшего могущества и влияния. Создавшиеся к началу эпохи викингов возможности для проникновения в

⁷ Martens I. Vikingetogene i arkeologisk belysning. — «Viking», Bd. XXIV, 1960, s. 112—113.

⁸ Brandsted J. Vikingerne. Kobenhavn, 1960, s. 23.

соседние страны открыли перед скандинавской знатью широкие перспективы для обогащения и политического усиления. Захват добычи, драгоценностей и рабов, оживление торговли и мореплавания были делом в первую очередь знати. Походы викингов в самых различных их проявлениях и на всех их стадиях возглавлялись знатными и родовитыми людьми. Погребения и клады свидетельствуют о том, какие огромные богатства накопили многие знатные норманны в тот период в результате прямого грабежа, сбора дани и в процессе торговли. Разложение родового строя у скандинавов, как и у других народов, сопровождалось ростом воинственной знати, для которой экспансия в другие страны и агрессивность были средствами обогащения и укрепления своих позиций среди собственного народа.

Политическая слабость соседних стран, раздираемых в VIII и IX вв. внутренними раздорами и усобицами, делала их легкой добычей норманнов. Успехи викингов были вызваны не только их высокими боевыми качествами и не их многочисленностью, которая крайне преувеличена во всех западноевропейских источниках. В большой мере они объясняются неорганизованностью и несогласованностью действий их противников.

Наконец, усиление власти конунга, ознаменовавшее начало политического объединения в скандинавских странах, вело к обострению борьбы в среде знати. Той ее части, которая не желала принять новые порядки и подчиниться конунгу, приходилось покинуть родину и отправиться на чужбину. И напротив, неустойчивость королевской власти в скандинавских странах в начальный период экспансии давала викингам возможность безнаказанно хозяйничать и на родине, и за ее пределами. Далее мы увидим, насколько тесно были связаны нападения викингов на другие страны с событиями, происходившими у них на родине.

Таким образом, предпосылки походов викингов складывались постепенно в течение долгого времени. Некоторые из них необходимо рассмотреть более подробно.

Корабли. Города. Торговля

«Корабль — жилище скандинава». Это выражение франкского поэта очень верно передает самую суть отношения древних норвежцев и датчан к своим кораблям. Необычайное богатство морской терминологии и выражений, которые они употребляли, называя свои суда, бесчисленные изображения кораблей, погребения в ладьях — все свидетельствует о том, какое большое место в сознании скандинава они занимали, об огромной роли мореплавания в его жизни.

В VIII—XI вв. викинги не знали себе равных на море. Мореплавание было известно жителям Скандинавского полуострова с очень древних времен. Среди наскальных изображений, относящихся к неолиту и к бронзовому веку, много раз встречаются рисунки ладей. В бронзовый век корабль становится самым распространенным, излюбленным сюжетом скандинавских мастеров наскального рисунка. Корабль играл, по-видимому, видную роль среди религиозных представлений тогдашнего населения Скандинавии¹. Изображения кораблей сохранились и от раннего железного века. Судя по картинам того периода, у скандинавов существовали большие весельные ладьи, поднимавшие значительное число воинов; носовая и кормовая части украшались высоко вздымающимися резными головами животных. С течением времени формы изображаемых древними художниками судов совершенствуются, что могло отражать прогресс как в технике живописи, так и в кораблестроении. Затем появляются погребения, над которыми устанавливались ряды камней, имитировавшие контуры корабля. Задолго до эпохи викингов (как и в течение ее), наряду с такими погребениями, знатных людей стали хоронить в ладьях, которые помещались в курганах. Наиболее ранние могилы с людьми датируются примерно 500 г. н.э., т.е. относятся к эпохе «Великих переселений народов». По мнению некоторых археологов, подобная практика восходила к еще более раннему времени.

Из найденных ладей самая древняя — корабль из Нидама (Шлезвиг) — относится к рубежу III и IV вв. У этого гребного судна не было мачты, киль был развит слабо². Однако слава моряков Северной Европы намного древнее. Еще Тацит писал о племенах свионов, древних жителей Швеции: «Они сильны не только пехотой и вообще войском, но и флотом. Форма их кораблей отличается тем, что с обеих сторон у них находится нос, что дает им возможность когда угодно приставать к берегу; они не употребляют парусов, а весла не прикрепляют к бортам одно за другим; они свободны, как это бывает на некоторых реках, и подвижны, так что грести ими можно и в ту и в другую сторону, смотря по надобности»³. Это описание соответствует как наскальным рисункам, так и найденным остаткам кораблей. Первыми из германцев, кто стал применять мачту с парусом, были, очевидно, фризы, у которых в более позднее время ее переняли скандинавы. В VI—VIII вв. ладья у скандинавов сменяется кораблем с острым и длинным килем и мачтой, несущей большой четырехугольный полосатый, красный или синий шерстяной парус.

Когда начались походы в другие страны, морское превосходство скандинавов обнаружилось полностью. Они безраздельно господствовали на Балтийском и Северном морях, бороздили Средиземное море, смело курсировали в бурных водах Северной Атлантики и даже достигали берегов Северной Америки. Суда викингов поднимались по течениям рек в глубь континента Европы, плавали по Днепру и Волге вплоть до Черного и Каспийского морей. Каковы были их корабли?

Раскопки курганов в Вестфолле, в Юго-Восточной Норвегии, дали поразительные результаты. Два корабля викингов в Туне и Гокстаде были

¹ *Almgren O.* Nordische Felszeichnungen als religiöse Urkunden. Frankfurt am Main, 1934; *Kjellen T.* Nagot om Enköpingstraktens hallristningar. «Tor», vol. VI. Stockholm, 1960, s. 5—18.

² *Shetelig H.* Das Hydamschiff. «Acta Archaeologica», v. I. Kobenhavn, 1930, s. 1—30.

³ *Тацит.* Германия, гл. 44.

обнаружены еще в конце XIX в. Но самое интересное открытие было сделано в 1904 г., когда из так называемого княжеского кургана в Усеберге (Озеберге) извлекли корабль, сделавшийся объектом пристального внимания и изучения археологов и историков, специалистов морского дела и искусствоведов⁴. Только тогда стало ясно, на какой большой высоте стояло кораблестроение у скандинавов в конце IX и начале X в.

Но прежде чем говорить об этих кораблях, нужно ответить на вопрос: почему они оказались запрятанными в курганы? По языческим верованиям скандинавов, умерший человек в загробном мире продолжал вести тот же образ жизни, что и на земле: есть, трудиться, сражаться, развлекаться. Князья и дружинники считали, что они и после смерти останутся господами, а рабы и домочадцы будут прислуживать им. Поэтому знатных людей обычно хоронили со всякого рода утварью, богатством, оружием и иногда даже в кораблях. Любопытно, что все три корабля, найденные в Норвегии, стояли в курганах повернутые носами к югу, к морю, как бы готовые отправиться в путешествие. Судя по находкам, погребенные в них покойники были снаряжены всем необходимым для загробного существования, достойного их высокого происхождения, однако большая часть вещей, в особенности ценных, исчезла: курганы еще в средние века были разграблены (в борту судна в Гокстаде воры пробили большую дыру, через которую вынесли все богатства). Но сами корабли остались и, несмотря на повреждения, вызванные давлением тяжести земли кургана, неплохо сохранились в глинистой почве, не пропускавшей к ним воздуха. Ныне они реставрированы и выставлены в специальном музее близ Осло.

Длина кораблей приблизительно одинаковая — от 20 до 23 м, при ширине в средней части от 4 до 5 м. От скандинавских судов, относящихся к более ранней эпохе, корабли викингов отличались тремя основными чертами. Во-первых, более совершенным управлением: наряду с длинными, пяти-, шестиметровыми веслами (на корабле, найденном в Туне, было 11 пар весел, у гокстадского — 16 пар, а у усебергского — 15 пар) и большим рулем у них имелась мачта для паруса (на Севере ее называли «старухой»), тогда как их предшественники управлялись только при помощи весел. Парус на Севере появился незадолго перед эпохой викингов. Таким образом, маневренность корабля резко возросла. Норманнский корабль мог плавать не только по ветру, но и против него. Во-вторых, кили этих кораблей (из стволов деревьев) были сильно развиты, создавая судну большую устойчивость. Кроме того, эти корабли имели небольшую осадку, могли приставать к берегу даже в мелководье и подниматься по течению рек. Наконец, борта их оказались сшитыми из узких гибких планок, связанных со шпангоутами, вследствие чего они были очень эластичны; такому кораблю не были страшны удары океанских волн. Высокое мастерство строителей этих кораблей и их великолепные мореходные качества могли быть только результатом длительного развития кораблестроения в века, предшествовавшие началу походов викингов. На кораблях, относящихся к VII и VIII вв., скандинавы плавали в относительно спокойных водах Балтики. Смело выйти на просторы Северного моря и Атлантики они впервые смогли лишь тогда, когда были достигнуты серьезные новые успехи в кораблестроении, засвидетельствованные находками в курганах Южной Норвегии и других погребениях.

На обнаруженных археологами кораблях эпохи викингов отсутствовали скамьи для гребцов. Очевидно, когда корабль шел на веслах, команда сидела на своих сундучках. Что касается мореходных качеств этих судов, то их проверили на практике. В 1893 г. была построена точная копия корабля из Гокстада, и на нем норвежская команда менее чем за месяц, в штормовую погоду, переплыла Атлантический океан. По окончании плавания капитан корабля дал ему высокую

⁴ Osebergfundet. Udg. av. A.W. Bregger, Hj. Falk, H. Shetelig. Bd. I—III. Oslo, 1917—1920; O V.W. Bregger og H. Shetelig. Vikingeskipene. Oslo, 1950.

оценку. При этом он отметил большую легкость управления: даже в бурю с рулем мог справиться один человек⁵.

Высоко вздымая над волнами штевень, играя красками желтых и синих щитов, повешенных вдоль бортов, быстро и гордо неся такой корабль под четырехугольным парусом навстречу бурям и неизведанным землям, повинаясь руке опытного штурмана. Казалось, по морю несясь сказочный зверь. Резное деревянное изображение головы дракона или змея на штевне давало, по тогдашним верованиям, магическую силу кораблю, защищало его от злых духов и устрашало врагов. Когда викинги приставали к берегу и вытаскивали корабль на сушу, голова зверя снималась, дабы не разгневать местных богов. «Дракон», «Большой змей» — так называли викинги свои корабли.

Корабль играл в жизни скандинава огромную роль. Нередко, наряду с гребцами и воинами, на кораблях находились и их домочадцы со своим имуществом. Жители Севера дорожили своими судами, берегли их. Когда корабль не находился в плавании, его укрывали от непогоды в специальном сарае.

Скандинавы в эпоху викингов строили корабли разных типов. Одни из них предназначались для плавания вдоль побережья и в устьях рек и имели более скромный киль. Таков корабль, найденный в 1935 г. в Ладбю, на датском острове Фюн⁶. Другие суда, отличавшиеся большей маневренностью и устойчивостью, смело уходили в Атлантику. Со временем корабли викингов приобрели значительные размеры. В отличие от судов, зарытых в курганах, они имели большую грузоподъемность, на них было до 20 и более пар гребцов и они могли принять на борт изрядное количество воинов. На рубеже X и XI вв. норвежские конунги иногда строили корабли с 30 и более парами весел (такой корабль должен был достигать в длину почти 50 м). Но это был предел конструктивных возможностей: длина корабля зависела от размеров киля, а он сооружался из ствола одного дерева.

В норвежских кораблях, спрятанных в курганах, имелись погребальные камеры, в которых лежали останки их хозяев. В двух кораблях были похоронены мужчины, в усебергском корабле — женщина. По мнению норвежских историков, то была «королева» Аса — бабка объединителя Норвегии Харальда Прекрасноволосого. Она умерла молодой. Судя по останкам, ей было немногим более 30 лет. Рядом нашли труп старой женщины, очевидно, ее рабыни, следовавшей за нею в могилу, чтобы продолжать служить ей в загробном мире⁷. Вместе со своей хозяйкой в царство богов на усебергском корабле отправилось более дюжины коней и собаки. Кровати и кухонная утварь, сундуки и кадки, украшения и продовольствие, постели и ручной ткацкий станок — короче, все, чем пользовалась эта знатная женщина в своей земной жизни, было уложено при погребении в ее корабль. Особенно интересны сани и повозка. Они украшены богатым резным орнаментом, выполненным несколькими искусными мастерами в разных стилях.

⁵ Andersen M. Vikingefaerden. Kristmnia, 1895, s. 190—195.

⁶ Solver C.V. The Ladby Ship Anchor. — «Acta Archaeologica», v. XVII, 1947, s. 117—126; Brendsted J. Danmarks Oldtid. Bd. III. Kobenhavn, 1960, s. 333—335.

Корабль из Ладбю почти не сохранился, его реставрировали по фрагментам и отпечаткам, оставленным его формами. Длина корабля более 21 м, ширина в средней части без малого 3 м. Он был уже норвежских кораблей и не так глубоко сидел в воде. Нос его украшала голова дракона из железной спирали. Найден железный якорь с цепью, находившийся на борту: ладья была готова к «отплытию» в загробный мир, нос ее указывал, на юг. Судя по вещам и костям дюжины лошадей, найденным вместе с кораблем, на нем около середины X в. был погребен богатый датчанин. Но и этот курган оказался разграбленным.

⁷ Норвежский археолог Ш. Блиндхейм недавно поставила под сомнение эти выводы: исходя из того, что найденная в усебергском захоронении обувь была высокого качества и принадлежала, как полагает Блиндхейм, погребенной здесь старухе, она заключает, что эта женщина не могла быть рабыней. Вероятно, она-то и была «королевой» Асой. Blindheim Ch. Osebergskoene på ny. — «Vikiag», Bd. XXIII. Oslo, 1959, s. 71—85.

Известен и хозяин корабля из Гокстада. Курган, в котором находился этот корабль, расположен неподалеку от усадьбы Гьекстад; ею в конце IX в. владел конунг Олаф Гейрстадальф — родственник Асы. Снорри Стурлусон рассказывает, что Олаф был исключительно сильным и рослым человеком и умер от болезни ноги. Анатомическое исследование костей человека, погребенного в Гокстадском корабле, обнаружило, что его рост достигал 178 см (по тем временам — это высокий мужчина) и что он страдал хроническим суставным ревматизмом!

Северные мореплаватели в походе ориентировались главным образом по солнцу и звездам. При плавании вдоль побережья на ночь обычно приставали к берегу, но в открытом море приходилось полагаться преимущественно на свое искусство и мужество, да еще на счастье, в которое викинги непоколебимо верили. До последнего времени считалось, что викинг-штурман не имел ни компаса, ни других инструментов. Однако во время раскопок 1948 г. древнего поселения в Гренландии был найден обломок прибора, который считают примитивным пеленгатором: деревянный диск, как полагают, с 32 делениями, расположенными на равных расстояниях по краю, вращался на ручке, продетой через отверстие в центре, и по диску ходила игла, указывавшая курс⁸. Скандинавские мореплаватели эпохи викингов обладали и некоторыми астрономическими познаниями. В исландских сагах упоминаются «солнечные камни» и «камни-водители» — возможно, это какие-то предки компаса. Во всяком случае, викинги не блуждали в бурных водах Северной Атлантики совершенно вслепую.

Неизвестно, сколько кораблей викингов, ушедших в океан, исчезло в его пучине. Лишь в отдельных случаях мы узнаем о судьбе этих мореплавателей. Так, на камне, воздвигнутом в XI в. в Западной Норвегии в память о погибших моряках, сохранилась руническая надпись, повествующая об экипаже корабля, затертого во льдах близ Гренландии; люди покинули судно и по движущемуся льду пошли к берегу острова, страдая от мороза и голода. «Жестокая судьба погибнуть так рано, — гласит надпись, — ибо удача их оставила»⁹. Руническая надпись из Дании говорит о человеке, который «утонул в море вместе со всеми своими спутниками».

В «Саге об Эйрике Рыжем» рассказывается о гибели Бьярни, сына Гримольфа, который плывал к берегам Америки. Его корабль стал тонуть, и Бьярни приказал своим людям перейти в лодку. Но она могла вместить только половину экипажа, и Бьярни предложил тянуть жребий. Все согласились, а один юноша, не вытянувший счастливого жребия, воскликнул:

« — Ты намерен меня здесь оставить, Бьярни?

— Выходит, так, — отвечал Бьярни.

— Не то обещал ты мне, — сказал парень, — когда я последовал за тобой из отцовского дома в Исландии.

— Ничего не могу поделать, — сказал Бьярни. — Но скажи, что ты можешь предложить?

— Я предлагаю поменяться местами, чтобы ты перешел сюда, а я пошел бы туда.

— Пусть будет так, — ответил Бьярни. — Ты, я вижу, очень жаден до жизни и думаешь, что трудная вещь — умереть.

Тогда они поменялись местами. Тот человек перешел в лодку, а Бьярни взобрался на корабль...»¹⁰.

Сага гласит далее, что Бьярни и его друзья на тонувшем корабле погибли, лодка же добралась до Ирландии. Имени человека, которого спас Бьярни, сага не упоминает: он не заслуживает того. А о бесстрашном Бьярни, мужественно принявшем свою судьбу, рассказывали исландцы из поколения в поколение.

Торговля, также как и мореплавание, получила развитие у скандинавов в очень отдаленные времена. Меха с Севера высоко ценились и в Римской империи, а

⁸ *Oxenstierna E.* Die Nordgermanen. Zürich, 1957, S. 124.

⁹ *Norges innskrifter med de yngre runer.* Bd. II. Oslo, 1951, s. 37.

¹⁰ *Jones G.* The Norse Atlantic Saga. London, 1964, p. 187.

ютландский янтарь вывозили в различные части Европы, в том числе и в страны Средиземноморья, еще в бронзовый век. Повсеместно в Скандинавии находят римские монеты эпохи республики и империи, но особенно часто их встречают на острове Готланд. Среди обнаруженных кладов римских монет наиболее крупный содержит 1500 денариев.

Хотя монеты попадали на скандинавский Север не только вследствие грабежа, но и в обмен на вывозимые в империю товары, в самих скандинавских странах в римский период эти деньги хождения не имели — торговля здесь еще оставалась меновой. Тем не менее скандинавы охотно выменивали свои товары на серебро с юга и зарывали его в землю. Представления о золоте как основе и мере всяческого богатства проникали в Скандинавию в конце римского периода и во времена «Великих переселений народов». Они нашли отражение и в народном эпосе. Показательно, что эртог (эре) — название единицы веса и монеты в средневековой Скандинавии — происходит от позднеримского серебряного денария (*denarius argenteus*). О давних торговых связях Северной Европы с другими странами говорят и многочисленные находки на полуострове бронзовых, золотых, серебряных, стеклянных и глиняных сосудов, украшений, оружия и других предметов из римских провинций. Скандинавы поддерживали торговые связи и с королевствами, образовавшимися на территории Римской империи после ее падения. Особенно велик был на Севере спрос на оружие из стран, где ремесло было более развито. Запреты франкских государей продавать оружие славянам и норманнам, сделавшимся в IX в. опасными соседями Франкской империи, свидетельствуют о наличии в предшествующий период импорта оружия в Скандинавию. В песнях скальдов многократно упоминаются франкские мечи; немало их найдено и археологами¹¹.

В раннее средневековье торговые связи между странами, омываемыми Северным и Балтийским морями, были довольно оживленными. Ведущую роль в качестве торговых посредников играли фризы, их торговый пункт — Дорестад, расположенный в устье Рейна, был широко известен в Скандинавии. Среди торговых пунктов, существовавших в тот период в Швеции и Норвегии, добрый десяток носил одно и то же название — Бирка. Так назывались: торговый центр в Швеции на озере Меларен, неподалеку от выхода в Балтийское море (*Birko*), и пункт на Аландских островах, в горловине Ботнического залива (*Birko*), и поселение, на месте которого впоследствии был основан норвежский город Берген (*Berkeroon*), и остров у берегов Северной Норвегии (*Biarkey*) и другие пункты. Известно, что древнее скандинавское торговое право называлось *Biarkouiarrettr*. По мнению шведского ученого Э. Вадстейна, эти пункты получили свои имена вследствие того, что на их территории действовало торговое право, общее для всех них. Он полагал, что между всеми этими Бирками издавна существовали торговые связи по морю и что их посещали фризские купцы и моряки, а также торговый люд с Севера¹². Однако археологических подтверждений мнению Вадстейна не нашло.

Появление в Северной Европе важных торговых пунктов — первых скандинавских городов относится ко времени развития здесь большого судоходства. До недавних пор историкам, интересующимся жизнью и бытом этих городов, приходилось довольствоваться немногочисленными, скудными и не во всем

¹¹ *Petersen J.* De norske vikingesverd. — «Skrifter utgit av Videnskabselskapet i Kristiania, 1919. II. Historisk-filosofisk klasse». Kristiania, 1920; *Arbman H.* Schweden und das Karolingische Reich. Stockholm, 1937, S. 215—235.

Но оружие производилось, конечно, и в самой Скандинавии. Среди археологических находок последних лет особый интерес представляет обнаруженная в Норвегии могила кузнеца середины X в. В ней наряду с орудиями ремесла найдена и его продукция, в том числе мечи, наконечники копий, боевые топоры. (*Blindheim Ch. Smedgraven fra Bygland i Morgedal.* — «Viking», Bd. XXVI, 1963, s. 25—61).

¹² *Wadstein E.* Norden och Vasteuropa i gammal tid. Stockholm, 1925.

достоверными сведениями, которые содержатся в западноевропейских хрониках и рассказах арабских путешественников. Последние раскопки до некоторой степени восстановили облик древнейших торговых центров Дании, Швеции и Норвегии — Хедебю (в юго-восточной части Ютландского полуострова, южнее г. Шлезвиг), Бирки (на озере Меларен), Скирингсаль (в Южной Норвегии, на западном берегу Осло-фьорда). На месте этих пунктов, существовавших в эпоху викингов, впоследствии не возникли новые поселки. Это значительно облегчило восстановление их облика.

Хедебю (Хайтабу) — буквально: «город язычников»¹³ — был наиболее крупным из этих первых городов-эмпорий и самым важным в торговом отношении. Как установили археологи, в период своего расцвета — в X в. — Хедебю занимал площадь около 24 га (в IX в. она была вдвое меньшей). Расположенный на берегу озера в верховьях реки Шлей, впадающей в Балтийское море, город обладал удобной для судов гаванью. Он был обнесен полукруглым валом, который защищал его со стороны суши. Вал из земли и дерева, длиной около 1300 м, хорошо сохранился. На холме севернее города находилось еще одно укрепление, по-видимому, более раннего времени, чем вал. Внутри городской черты найдены остатки небольших домов, обнесенных оградой и образовавших узкие улочки. Раскопки на территории города и многочисленных погребений (общее их число ориентировочно составляет 3—5 тыс.) свидетельствуют о наличии в Хедебю ремесленников, занимавшихся гончарным делом, обработкой железа из болотной руды, ввозившейся из Швеции, ткачеством, работой по кости и рогу, производством стекла, чеканкой монеты, изготовлением бронзовых украшений и филигрانی. Археологи установили местонахождение отдельного ремесленного квартала.

Хедебю играл огромную роль в торговле Северной Европы. В первую очередь — из-за своего чрезвычайно удобного месторасположения: город находился в крайней восточной точке пути, связывавшего балтийское побережье Ютландии с западным ее побережьем, омываемым Северным морем. Вместо того чтобы совершать длительное и опасное путешествие через проливы Скаггерак и Каттегат, где торговые суда подстерегали пираты и где частыми были бури¹⁴, купцы предпочитали двигаться из Балтийского моря по судоходной Шлей до Хедебю. Оттуда по суше на расстояние примерно 17—18 км они волоком или на повозках продвигались к реке Трене и по ней до вод Северного моря. Этот путь пересекал южную оконечность Ютландского полуострова несколько севернее нынешнего Кильского канала. Большие и тяжело груженные суда идти таким путем не могли. Поэтому, надо полагать, купцы переправляли здесь относительно легкие и портативные, но ценные товары. Наряду с продукцией местного производства в Хедебю найдены изделия, привезенные из других стран. Судя по всему, с Севера везли рабов, меха, моржовые бивни, из стран Запада — ткани, вино, соль, изделия из благородных металлов и стекла, керамику. Таким образом, Хедебю представлял собой очень важный торговый узел. Недаром за право владеть этим пунктом на протяжении всего времени его существования шла упорная борьба.

Город, очевидно, возник в начале IX в., во всяком случае предметы более раннего времени в нем не обнаружены. Именно в то время, как гласят «Анналы франкских королей» (808 г.), датский конунг Годфред, который вел войны против

¹³ Jankuhn H. Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit. Neumunster, 1956; Jankuhn H. Die Ausgrabungen in Haithabu 1937—1939. Berlin, 1943.

¹⁴ На дне Роскилле-фьорда на острове Зеландия найдены остатки четырех кораблей, нагруженных камнями и затопленных для того, чтобы блокировать вход во фьорд. Их длина от 15 до 20 м. Радиоактивный анализ подтвердил предположение, что эти суда относятся к IX—XI вв. Olsen O. and Pedersen O.C. The Skuldelev Ships. «Acta Archaeologica», v. XXIX. København, 1958, s. 161—175; Olsen O. Vikingskibene i Roskilde Fjord. — «Natkalmuseets arbejdsmark». København, 1962, s. 18.

Карла Великого, приказал своим «герцогам» (*duces*) возвести вал вдоль южной границы своих владений, от Восточного (Балтийского) моря вплоть до Западного океана (Северного моря), оставив для проезда лишь одни ворота. До сих пор в южной части Ютландии можно видеть остатки мощного оборонительного вала в 3 м высотой, укрепленного камнями. Перед ним был вырыт ров. Толщина вала варьирует от 3 до 20 м. Эта оборонительная линия, строительство которой растянулось на три с половиной столетия (с начала IX в. до 60-х годов XII в., когда часть ее дополнили кирпичной стеной), известна под названием «Датского вала» (*Danevirke* — буквально «дело датчан») ¹⁵.

Вероятно, преимущества, которые давала эта оборонительная стена, привлекали население в Хедебю и благоприятствовали расцвету его торговли. Во франкских анналах одновременно с рассказом о постройке защитного вала в Южной Дании сообщается, что конунг Годфред, напав на город славян — Рерик, силой заставил его купцов переселиться в порт *Sliasthorp* («усадьба на Шлей»). Под этим названием, как полагают историки, скрывался Хедебю. В жизнеописании католического миссионера Ансгара, составленном в середине IX в. его преемником на архиепископском престоле Гамбурга — Бремена Римбертом, упоминается торговый пункт *Sliaswich*. Римберт писал, что в этот город, расположенный на Шлей, прибывали купцы из всех стран. Но имел ли в виду автор жития действительно Хедебю, неизвестно. Около 900 г. Хедебю захватили шведы. Стремясь удержать этот пункт в своих руках, шведы обнесли его полукруглой стеной, соединявшейся с Датским валом. Хедебю был включен в единую оборонительную систему. В 934 г. Хедебю захватил германский король Генрих I Птицелов, обложивший город данью. При Оттоне I здесь было основано епископство. Чеканить монету в Хедебю стали еще с середины IX в. (по образцу короллингских денариев из Дорестада). Но окончательно денежный обмен восторжествовал здесь лишь в середине X в. с притоком арабских монет. В это время, по свидетельству археологов, перестали использовать литейные формы из талькового камня, в которых отливали серебряные бруски, употребляемые в качестве средств платежа и ценившиеся по весу.

Как раз в середине X в. город посетил арабский путешественник Ат-Тартуши. Жители Хедебю, рассказывает он, за исключением немногих христиан, — язычники, устраивающие во время праздников жертвоприношения животных. Выходцу из процветавшей арабской Испании этот город на севере Европы не показался богатым. Население так нуждается, говорит он, что новорожденных детей топят в море, чтобы сберечь продукты. Ат-Тартуши пришел в ужас, когда услышал пение жителей Хедебю: никогда не слыхивал он ничего столь же уродливого; ему казалось, что лают собаки или раздается еще более страшный звериный вой.

В период своего расцвета Хедебю имел несколько сотен жителей, может быть, даже более тысячи. Руководитель раскопок немецкий археолог Г. Янкун отмечает наличие в городе высшего слоя населения (*primores* — в «Житии Ансгара»), жившего ближе к гавани и занятого прибыльной торговлей. Представителей этого социального слоя хоронили обособленно от других в заботливо сооруженных деревянных погребальных камерах. Кроме того, найдено погребение «княжеского типа» с оружием и украшениями, конями и ладьей под курганом (конец IX в.). Может быть, с погребенным здесь вождем (личность которого неизвестна) связан камень с рунической надписью, упоминающей дружинника. Эти памятники относятся к периоду шведского господства в Хедебю. Различия в размерах домов также позволяют предположить имущественные контрасты среди жителей Хедебю ¹⁶.

¹⁵ Датский вал использовался не только в Средние века. Он оказался нужным во время войны Дании против Пруссии и Австрии в 1864 г., хотя датчане и не смогли его удержать. Весной 1945 г. немецко-фашистские оккупанты использовали древний вал, пытаясь задержать английские танки.

¹⁶ *Jankuhn H.* Die frühmittelalterlichen Seehandelsplätze im Nord- und Ostseeraum (Vorträge und Forschungen, IV). Lindau und Konstanz, 1958, S. 477.

С 80-х годов X в. город вновь перешел под власть датских конунгов, которые продолжали его укреплять. Но около 1050 г. Хедебю разграбил и разорил норвежский конунг Харальд Хардрода. Однако, как рассказывают исландские саги, спасаясь от преследования датского конунга Свейна, Харальд бросил в море все сокровища, увезенные из Хедебю. Город был сожжен. Норвежский скальд, служивший в дружине Харальда, воспел это событие:

Из конца в конец пылал весь Хедебю, —

смелый подвиг, на мой взгляд, дорого обойдется Свейну.

Высоко вздымалось пламя над домами, когда я всю ночь до рассвета стоял на городском валу¹⁷.

Раскопки установили следы пожара, уничтожившего Хедебю. Выше этого слоя признаков продолжения жизни в городе не обнаружено. Правда, немецкий хронист Адам Бременский сообщает, что в 1066 г. венды — соседние с датчанами славянские племена — разграбили Хедебю. Но, по-видимому, тогда существовали только жалкие остатки уже разрушенного города. Вещи, найденные в Хедебю, относятся самое позднее к середине XI в., последние по времени монеты — к правлению английского короля Эдуарда Исповедника (1042— 1066 гг.). На дне гавани обнаружены части корабля с трупами людей, вероятно, затонувшего в момент уничтожения города. Оставшиеся жители переселились на другую сторону морского залива, и вскоре там возник город Шлезвиг, куда могли подходить более тяжелые корабли. Однако, судя по раскопкам, Хедебю стал утрачивать былое значение задолго до своего разрушения.

Другой важный торговый пункт на Балтике — шведская Бирка — был тесно связан с восточным путем «из варяг в греки». Расположенная на острове Бьоркё, около озера Меларен (в 30 км западнее Стокгольма), Бирка, в отличие от Хедебю, находившегося в пустынном тогда районе Ютландии, лежала в относительно густонаселенной области Швеции — Уппланде, неподалеку от древнего религиозно-политического центра — Старой Уппса-лы. Здесь собирались ярмарки, на которые привозили товары жители Уппланда. Как и Хедебю, Бирка не находилась непосредственно у открытого моря, корабли заходили в озеро из Балтийского моря через пролив. Город имел три гавани, замерзавшие зимой, но и в это время года торговля в Бирке не прерывалась: купцы везли меха по льду (при раскопках найдены костяные коньки, топоры для рубки льда и обувь с шипами для передвижения по льду).

Раскопки Бирки начались в 70-х годах XIX в. Продолжаются они и поныне¹⁸. Археологи обнаружили остатки домов, но состояние их таково, что реставрировать постройки пока не представляется возможным. На холме, господствующем над городом, стояло укрепление. Раскопана часть городского вала из камней и земли, относящегося к середине X в. В сохранившейся части вала найдено не менее шести отверстий. По-видимому, в X в. здесь высились деревянные сторожевые башни.

Население Бирки, как и Хедебю, было, по тогдашним масштабам, довольно многочисленным. Культурный слой на месте Бирки, так называемая «Черная земля», имеет площадь 12 га при толщине до 2,5 м (это название земля получила из-за темной окраски, особенно заметной, когда она влажная). Археологи открыли более 2000 могил под насыпями. В настоящее время примерно тысяча из них изучена. Кроме того, здесь имеется неопределенное число погребений без насыпей.

¹⁷ Snorri Sturluson. Heimskringla. III. Reukjavik, 1951, s. 146—147.

¹⁸ Arbman H. Birka, Sveriges äldsta handelsstad. Stockholm, 1939; Arbman H. Birka. I. Die Graber. Uppsala, 1943. М. Дрейер утверждает, что упоминаемая в исторических источниках Бирка — это не Бирка на Меларене, а Бирка на Аландских островах. Dreijer M. Hauptlinge, Kaufleute und Missionare im Norden vor Tausend Jahren. Mariehamn, 1960, S. 53—92.

Это крупнейшее кладбище на севере Европы того времени. Могилы самые различные. Встречаются и погребения с сожжением и без него, погребения, снабженные богатой утварью, и скромные могилы с небогатым набором вещей. Немало погребений в деревянных камерах. В таких могилах особенно много вещей, свидетельствующих о широких связях Бирки с Западной Европой, скандинавскими странами и в особенности с Востоком. Это полностью согласуется со сведениями о скандинавской торговле, которые дают арабские историки и географы IX и X вв. В одной погребальной камере лежало тело женщины, очевидно, знатного происхождения: ее сопровождало в «мир иной» немалое богатство. В той же могиле найдены останки другой женщины, судя по ее скрюченному положению, погребенной заживо. Несомненно, перед нами, как и в Усеберге, госпожа со служанкой. В некоторых погребениях в Бирке найдены остатки сожженных ладей, в которых хоронили покойников.

Все эти могилы свидетельствуют о языческих верованиях и представлениях о загробном мире. Но здесь же имеются захоронения по христианскому обряду, без вещей и с натальными крестами. Особенно любопытны случаи, когда в могилу клали и крест, и языческие амулеты. В части могил погребены воины с оружием. Но особенно много могил торговых людей: в нескольких из них обнаружены небольшие весы, использовавшиеся для взвешивания драгоценных металлов (которые, как и монеты, шли на вес), и в очень многих могилах попадаются гири от весов. Все это также согласуется с данными письменных источников. В жизнеописании Ансгара, дважды посетившего Бирку в первой половине IX в., говорится, что население ее состоит из купцов. Город находился в зависимости от шведского конунга, имевшего в нем своего представителя, но, по-видимому, сохранял значительную автономию и имел, по свидетельству Римберта, свой тинг. В «Житии Ансгара» подчеркивается важность для Бирки торговых связей с фризским Дорестадом.

Среди находок — арабское и иранское серебро в виде монет и драгоценностей, византийская парча, шелка из Китая, монеты из Западной Европы, фризские одежды, стеклянные и керамические изделия из Рейнской Германии, оружие из Франкского государства. Как уже говорилось, основные связи жители Бирки поддерживали с Востоком¹⁹.

В 92 могилах были найдены монеты, выпущенные в мусульманских странах. Западноевропейские деньги удалось обнаружить лишь в 13 могилах. По-видимому, через Бирку шла продажа рабов на Восток.

Бирка возникла почти одновременно с Хедебю — около 800 г. До ее основания на соседнем острове — Хельгё, расположенном примерно в 11 км от Бирки, существовал другой торговый центр — Лилле, обнаруженный впервые в 50-х годах XX в.²⁰ Эта фактория датируется VII—VIII вв., хотя поселение на острове восходит к еще более раннему времени. На месте, где находился Лилле, наряду с арабскими монетами найдены осколки стеклянных изделий, привезенных из Франкского государства, епископский посох ирландского производства, золотые бляшки скандинавского происхождения с изображением целующейся пары²¹ и даже такой неожиданный гость на севере Европы, как маленькая бронзовая статуэтка Будды. Но на Хельгё существовало и ремесло. Здесь производили плавку железа, обрабатывали металл (найлены орудия труда, множество железных и бронзовых замков с ключами), изготавливались стеклянные бусы. По-видимому, в конце VIII или

¹⁹ Kivikoski E, Studien zu Birkas Handel im ostlichen Ostseegebiet. — «Acta Archaeologica», v. VIII. Kobenhavn, 1937, s. 229—250.

²⁰ Holmqvist W. Die eisenzeitlichen Funde aus Lillon, Kirchspiel Ekero, Uppland. «Acta Archaeologica», v. XXV. Kobenhavn, 1954, s. 260—271; Holmqvist W. Excavations at Helgo. — «Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens», 1961.

²¹ Holmqvist W. The Dancing Gods. — «Acta Archaeologica», v. XXXI. Kobenhavn, 1960, p. 101—127.

начале IX в. основной центр торговли был перенесен из этого пункта в Бирку, в которой сконцентрировались связи с арабским Востоком, шедшие по волжскому пути. С другой стороны, Бирка оказалась связанной удобными речными путями со многими пунктами в Средней Швеции, а морем — с северными ее районами, а также с Хедебю, островом Готланд и южным побережьем Балтики. В IX в. в Бирке чеканилась собственная монета по франкскому образцу.

Бирка существовала менее продолжительное время, чем Хедебю. Наиболее поздние монеты, найденные в могилах, датированы 60-ми годами X в. Предполагают, что Бирка прекратила свое существование в последней четверти X в. История ее исчезновения не выяснена. Одни ученые выдвигают догадку, что Бирку разорили датские викинги. Однако раскопки не обнаружили следов насильственного уничтожения и сожжения этого города. Другие связывают исчезновение Бирки с утратой ею значения промежуточного центра торговли с Волгой, последовавшей после разгрома Булгара Святославом в 965 г., и указывают на изобилие в могилах Бирки арабских монет, относящихся ко времени до 950 г., и почти полное отсутствие таких монет от второй половины X в. Высказывалась также мысль, что понижение уровня воды в Меларене сделало невозможным подход к Бирке судов. Так или иначе, около 975 г. Бирка сходит со сцены, и главным торговым центром на Балтике с конца X в. становится остров Готланд.

Ко времени походов викингов относятся многие тысячи монет из разных стран, найденные во всех районах Скандинавии. Здесь и монеты из Англии, Германии, Франции и из Византии, очень много их из арабского Халифата. По словам шведского археолога Э. Оксеншерны, век викингов был «серебряным веком» на Севере²². Своего серебра скандинавы не имели, все оно было привозное. Нигде, пожалуй, не найдено оно в таком обилии, как на пути «из варяг в греки», точнее, в данном случае, «из грек в варяги». И богаче всего кладами на этом пути оказался Готланд.

Готландская торговля в восточной части Балтики, судя по находкам, начала развиваться еще до эпохи викингов. Но наивысшего своего расцвета она достигла лишь после загадочного исчезновения Бирки. Правда, в тот период на Готланде не возникло городов, население острова жило рассеянно, на отдельных хуторах. Их 700 с лишним кладов, найденных на Готланде к 1956 г., большинство находилось близ прежних дворов бондов. По-видимому, эти бонды были одновременно и торговцами. Большая часть кладов содержит немного монет, но найдено несколько кладов весом 7—8 кг. О размахе, который получила коммерческая деятельность готландцев, лучше всего свидетельствуют следующие цифры. Наряду с разнообразными вещами и украшениями (пряжками, гривнами, булавками, браслетами и т.д.) здесь найдено около 90 тыс. целых монет и 16,5 тыс. фрагментов (монеты в Скандинавии в IX—XI вв. обычно шли на вес, и их разрезали на куски). Из этого числа всего 3 монеты золотые, остальные серебряные (золотые монеты, попадавшие на Север, использовались для изготовления украшений). Особенно много монет немецкого происхождения — 37 тыс., а также арабских — 26 тыс., английских — 20 тыс. Реже встречаются монеты из Скандинавии (преимущественно из Дании) и Византии²³. Для сравнения можно сказать, что в Швеции найдено всего около 40 тыс. монет: более 5 тыс. арабских, 19 с лишним тысяч немецких, более 13 тыс. английских, 2300 датских и около 170 шведских, а в Дании — 3800 арабских, 8900 немецких и 4 тыс. английских монет²⁴. Всего в Скандинавии обнаружено около 85 тыс. арабских монет IX и X вв.

²² Oxenstierna E. S levde vikingarna. Stockholm, 1959, s. 102.

²³ Stenberger M. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. I—II. Stockholm — Lund, 1947, 1958.

²⁴ Skovmand R. De danske Skattefund fra Vikingetiden og den ældste Middelalder indtil omkring 1150. — «Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie», 1942.

Крайним кладам (вторая половина IX и X в.), найденным на Готланде, относятся почти исключительно куфические арабские монеты. С конца X — начала XI в. начинают преобладать монеты немецкой чеканки, тогда как число монет из Халифата резко сокращается. На XI в. приходится большинство кладов, содержащих английские монеты. Эти наблюдения говорят о расцвете готландской торговли с Востоком в первый период норманнской активности и о сокращении этой торговли с конца X в. (причины этого сокращения не ясны, предполагают, что приток арабского серебра прекратился ввиду истощения запасов его в Халифате), а также происшедшем одновременно оживлении торговых связей с Западом. Приток монет из Германии, наблюдающийся начиная со второй половины X в., был связан с разработкой серебряных рудников в Гарце. Обилие английских монет в период между 990 и 1020 гг. объясняется тем, что как раз в это время датские завоеватели взыскивали с английских королей огромные суммы в виде контрибуций («датские деньги»), а после перехода Англии под власть Кнуда Датского, его воины получали жалованье за службу. На Готланд эти монеты попали преимущественно в результате торговли²⁵.

Долгое время считали, что в Норвегии не было торгового центра, подобного Бирке и Хедебю. Правда, в рассказе халогаландца Оттара, записанном английским королем Альфредом, упоминался пункт в Южной Норвегии — Скирингссаль, в который нужно плыть из Халогаланда вдоль берегов Норвегии почти месяц и куда он заезжал по пути в Хедебю. Больше ничего о Скирингссале известно не было, и поиски археологов, предпринятые в конце XIX и начале XX в., не привели к каким-либо определенным результатам. Однако за последние годы норвежские археологи открыли на месте поселка Каупанг, во внутренней части Осло-фьорда, древний населенный пункт. Он находился в той же области Вестфолль, в которой ранее были найдены погребения в кораблях. Этот пункт идентифицируют с упомянутым Оттаром Скирингссалем. Здесь открыто целое кладбище с погребениями в ладьях. Ладьи не сохранились, но отпечатки их в земле и ряды гвоздей, которыми скреплялись полностью сгнившие за тысячу лет деревянные части судов, дают о них довольно ясное представление. Найденные в могилах вещи датируются IX и началом X в. Среди них — металлические вещи из Ирландии и Англии, фризские платья, рейнские керамические и стеклянные изделия, женские украшения, в том числе броши в виде черепашек, оружие, например, английский меч. Найденные вещи отражают Широкие торговые связи их владельцев. Они же — несомненное свидетельство о связях Скирингссала-Каупанга с Хедебю и Биркой. Часть вещей, например из Англии, могла быть получена не в результате мирного обмена, а как военная добыча — недаром мужские погребения содержат полный комплект обычного для викингов оружия! Монет найдено немного. Предполагают, что в древнем Каупанге шла меновая торговля. Название Kaupangr, означающее «торговое место», «торжище», вообще носил ряд подобных пунктов обмена и городов раннего средневековья, (ср. швед, koping и англ, searing).

Укрепления в Скирингссале-Каупанге были более скромными, чем в Хедебю или в Бирке. Культурный слой тоже уступал по толщине (30—40 см) культурным отложениям этих городов, очевидно, концентрация населения в нем была ниже, чем в Бирке, а продолжительность существования поселка меньше, чем в Хедебю. Установлено место, где швартовались прибывавшие в гавань корабли. Множество островков, частично скрывавшихся под водой, защищало подступы к гавани со стороны моря. Ныне гавань оказалась в стороне от моря: береговая линия в эпоху

²⁵ Клады на Готланде находят постоянно: при ремонте дорог, вспашке поля, уборке картофеля. В XVIII в. клад, содержащий 4 кг серебра, был выкопан собакой, старавшейся спрятать кость, а крупнейший готландский клад с более чем 2600 арабскими монетами весом без малого 8 кг был случайно найден в 30-е годы нашего века детьми, игравшими в каменоломне.

викингов была на 2 с лишним метра выше, чем сейчас. Это дало повод некоторым ученым для предположения, что понижение уровня моря послужило одной из причин упадка Каупанга в X в.

Через Скирингссаль шел путь из Бирки и Хедебю на запад. Большая часть погребений в Скирингссале носит языческий характер. Однако могилы с гробами, содержащие немного вещей, производят впечатление, что христианство уже оказало влияние на погребальные обряды. Если это наблюдение справедливо, оно представляет большой интерес. Известно, что христианизация Норвегии произошла лишь в конце X — начале XI в., однако население Скирингссалы, общавшееся со странами Западной Европы, очевидно, в какой-то мере подверглось влиянию церкви гораздо раньше. Исходя из различия в погребениях, руководитель раскопок Ш. Блиндхейм предположила, что они отражают также имущественные и общественные различия в среде населения древнего «порта»²⁶.

Весьма любопытен социальный облик людей, погребенных в богатых могилах. Как и занятых торговлей бондов Готланда, жителей древнего Каупанга трудно назвать купцами. Это скорее состоятельные сельские хозяева, занимавшиеся вместе с тем и торговлей и ездившие на своих кораблях (в одиночку или на паях) в другие торговые пункты. И действительно, наряду с чужеземными товарами, весами и оружием в могилах найдены сельскохозяйственный инвентарь и рыболовные снасти. Эти «фарманы», как их называли в средние века, обменивали рыбу, железо, птичий пух, тальк (он шел на изготовление сосудов для варки) на всякого рода изделия. Жители Северной Норвегии, подобно Оттару приезжавшие на ярмарку в Каупанг, привозили меха, шкуры, корабельные канаты, сплетенные из шкур морских зверей. Погребения такого же характера, как и в самом Каупанге, разбросанные в близлежащей местности, свидетельствуют о тесной связи между жителями этого торгового центра и населением прилегающих районов Вестфоллы.

Ряд характерных признаков Каупанга — меньшая концентрация и, по-видимому, большая текучесть населения, смешанный характер его занятий, неразвитость ремесла, отсутствие хороших укреплений — отличают его от Хедебю и Бирки. Норвежский Каупанг-Скирингссаль — не город в полном смысле слова, а скорее его эмбрион. Археологический материал, собранный в этом районе, говорит лишь о «городской туманности», которая могла в благоприятных условиях постепенно сгуститься в поселение городского типа. Но этого так и не произошло. Древний Каупанг обнаружил еще меньшую устойчивость и жизнеспособность, чем Бирка и Хедебю, также исчезнувшие — первая еще в эпоху викингов, второй — в период ее заката.

В X в. Каупанг-Скирингссаль утратил свое значение. Торговым центром Вестфоллы стал Тёнсберг. Упадок Хедебю, Бирки, Каупанга не означал свертывания северной торговли, она перешла в другие места, ее центрами стали новые города — Сигтуна²⁷, Шлезвиг, Волин, Новгород, Гданьск, Гамбург.

Значение исследования истории торговых пунктов Скандинавии IX—X вв. выходит за рамки изучения эпохи викингов. Эта история — один из первых этапов возникновения средневекового города в Северной Европе, и именно тот его этап, который нашел весьма недостаточное отражение в письменных памятниках, вследствие чего основательное его изучение началось лишь недавно, преимущественно в результате усилий археологов. Помимо рассмотренных нами торговых центров в этот период на Северном и Балтийском морях существовал и ряд других им подобных — франкский Квентовик, фризский Дорестад, славянский

²⁶ *Blindheim Ch.* The Market Place in Skiringssal. — «Acta Archaeologica», v. XXXI. Kobenhavn, 1960, p. 83 ff.

²⁷ *Floderus F.* Sigtime. — «Acta Archaeologica», v. I, Kobenhavn, 1930, s. 97—110; *Ambrosiani B.* Birka — Sigtime — Stockholm. — «Tor», v. III. Uppsala, 1957, s. 148—158.

Рерик, Трузо и Гробин в Прибалтике, славянско-скандинавский Волин, немецкие Гамбург, Эмден и др.²⁸ Сравнительно недавно в Дании были обнаружены остатки поселения переходного типа от сельского к городскому — Линд-хольм Хейе, тоже относящегося к эпохе викингов²⁹.

Не только Каупанг-Скирингсаль, но и Бирка и Хедебю отличаются от городов, которые стали быстро расти в Европе с XI в. Существование древнесеверных городов-эмпорий было связано не только с грабежом, но и прежде всего с транзитной торговлей, шедшей по пути от устья Рейна до озера Меларен и связывавшей страны бассейнов Балтийского и Северного морей, страны Запада и Востока. Ремесло, получившее некоторое развитие в Хедебю и Бирке, не было основой их широкой торговли. Изучение этих торговых пунктов свидетельствует о том, что среди скотоводов, земледельцев, рыболовов и охотников, составлявших в эпоху викингов скандинавское общество, происходило (далеко не во всех случаях завершившееся) выделение новых социальных слоев — купцов и ремесленников. В то время как скандинавы еще не знали частной собственности на землю, в этих торговых пунктах земля уже, по-видимому, сделалась товаром. Римберт говорит о покупке Ансаром участка земли в Бирке; археологи обращают внимание на то, что в Хедебю участки, на которых стояли дома, были обнесены изгородями.

Вместе с тем первые торговые пункты Скандинавии служили центрами распространения среди ее населения новых культурных и идеологических стимулов, пришедших из других частей Европы и из Азии. В свете новых археологических находок приходится пересматривать мнение о том, что скандинавы в раннее средневековье были только пиратами и разбойниками, дезорганизовавшими торговлю. Наряду с викингом, захватывавшим торговые корабли и чужие богатства, все более отчетливо вырисовывается фигура купца, занимавшегося регулярной торговлей. В период нападений викингов на Англию, Францию и другие страны Запада не прекращалась и не свертывалась торговля³⁰. В конце IX в., когда между англосаксами и скандинавами шла ожесточенная борьба, король Альфред принимал у себя норвежца Оттара, прибывшего в Англию с торговыми целями, а англосакс Вульфстан в это же время совершал путешествие по Балтийскому морю. Скандинавы продавали в другие страны не только военную добычу и пленных, имевших большой спрос на арабском Востоке, но и меха, шкуры, янтарь, железо, рыбу, лес. К ним везли серебро и драгоценности, ткани и вино, хлеб и оружие. В могилах скандинавов наряду с оружием — мечами, боевыми топорами, наконечниками копий, щитами, кольчугами — находят орудия кузнечного и ткацкого ремесла, весы и гири к ним — «вооружение» купцов. Помимо военных кораблей у скандинавов создаются иные типы судов, специально предназначенных для торговых поездок. Эпоха викингов — время развития торговли на Балтийском и Северном морях. Однако не следует забывать, что эта торговля тесно переплеталась с пиратством и грабежом.

²⁸ Jankuhn H. Die frühmittelalterlichen Seehandelsplätze im Nord- und Ostseeraum, S. 453 ff., 495 f.

²⁹ Ramskou Th. Lindholm. — «Acta Archaeologica», v. XXIV. København, 1953, s. 186—196; Ramskou Th. Londhohn Hoje. — «Acta Archaeologica», v. XXVI, 1955, s. 177—185; v. XXVIII, 1957, s. 193—201.

³⁰ Lewis A.R. The Northern Seas. Shipping and Commerce in Northern Europe AD 300—1100. Princeton, 1958, p. 250.

Существовал ли Йомсборг?

Средневековые западноевропейские хронисты изображали викингов дикими воинами, недисциплинированными и не способными ни к какой организации. В сочинениях этих историков викинги обычно фигурировали в виде обособленных разбойничьих банд и дружин, на свой страх и риск нападавших на другие страны, колонизовавших их без всякого руководства и плана. Несомненно, что такие разрозненные нападения действительно имели место и даже преобладали на раннем этапе экспансии викингов. Но эпоха викингов охватывает почти три столетия — с конца VII в. до середины или второй половины XI в. И в течение ее скандинавы прошли в своем развитии большой путь. В этот период начинают складываться скандинавские королевства; конунги Швеции, Дании и Норвегии, пресекавшие разбой викингов в пределах своей страны, направляли, а нередко и возглавляли походы на соседние государства, придавая им совершенно иной характер. На этом этапе викинги нередко проявляли организованность, беспримерную для их феодальных современников.

Средневековые легенды и саги повествуют о викингах из Йомсборга, крепости, расположенной где-то на побережье Балтийского моря, в устье Одера. По датским преданиям, Йомсборг основали датские викинги. Исландские саги изображают Йомсборг мощной крепостью, местом пребывания идеальной общины воинов, в которой поддерживалась строжайшая дисциплина и куда не допускались женщины. Среди викингов Йомсборга не было людей старше 50 и моложе 18 лет. Воинам запрещалось отлучаться из бурга более чем на три дня. Все они подчинялись закону мести за павшего собрата. Величайшим позором для йомсвиканга считалось проявить трусость или не передать захваченную добычу в распоряжение общины, которая должна была делить добытое в бою между всеми воинами. Нарушителей принятого в Йомсборге обычая изгоняли из общины. В Йомсборге, гласит сага, была обширная гавань, которая могла вместить одновременно 360 больших кораблей¹. Отсюда викинги совершали дерзкие набеги на Норвегию, Швецию, Англию, Данию и другие страны, принимали участие во всех крупных битвах своего времени, пока в 40-е годы XI в. их не разгромил норвежский конунг Магнус Добрый, уничтоживший это гнездо пиратов.

Справедлива ли эта легенда? Что в действительности за нею скрывалось?

Шведский исследователь Л. Вейбюль начисто отвергает всякую тень правдоподобия и отказывается искать в ней историческое ядро, ссылаясь на то, что сообщений о Йомсборге нет в ранних памятниках, они появляются лишь в источниках XIII в.²

Однако Адам Бременский в конце XI в. еще знал о богатом городе Юмне (Jumne), который считал крупнейшим из всех городов Европы. Адам отмечал, правда, что про Юмне рассказывали много неправдоподобного. Этот город, по его словам, был населен славянами и выходцами из других стран, сюда привозили всевозможные товары из всех областей Скандинавии³. Но где находился этот легендарный город, неизвестно. Полагают, что это и был Йомсборг.

Некоторые ученые были склонны видеть Йомсборг в пункте, обнаруженном в устье Одера, близ нынешнего Волина, но находки в нем слишком скромны, чтобы допустить подобную идентификацию. Вопрос остается открытым. Однако нужно заметить, что возражения Л. Вейбюля, основывающиеся на «молчании» источников X—XI в., в свете новых данных не могут считаться убедительными: за последнее время ряд сообщений саг, прежде признававшихся недостоверными, получил подтверждение. Так, археологи нашли остатки скандинавского поселения на

¹ Jomsvikinga saga. Ed. by N. F. Blake. London, 1962, 15—16.

² Weibull L. Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000. Lund. 1911, s. 178—195.

³ Bremen Adam van. Hamburgische Kirchengeschichte. Hrsg. von B. Schmeidler, 1917, II, 22.

Ньюфаундленде, известного только из поздних саг; изучение рунических надписей в Швеции обнаружило историческое ядро легендарной саги об Ингваре Мореходе; погребение в Гокстаде соответствует рассказу Снорри об Олафе Гейрстадальфе и т.д. Если легенда о Йомсборге и не нашла пока подтверждения, то существование больших и хорошо организованных военных лагерей датских викингов более не может вызывать никаких сомнений, ибо они найдены, и не один, а целых четыре, и не исключена возможность новых подобных открытий. Найдены лагеря не на месте легендарного Йомсборга, а в самой Дании. Из письменных памятников об этих лагерях ничего не было известно. Тем сильнее поразило их открытие всю Скандинавию и научный мир.

Изучение остатков мощных земляных валов в различных районах Ютландии и на датских островах с применением современных методов исследования, в частности аэрофотосъемки, дало в распоряжение ученых ценнейший новый материал. Основные открытия были произведены после второй мировой войны. К настоящему времени изучены лагеря Треллеборг⁴ в западной части острова Зеландия, Аггерсборг⁵ в Северной Ютландии, Фюркат⁶ в Восточной Ютландии и Ноннебьерг (Ноннебаккен) в Оденсе, на острове Фюн; последние два лагеря исследованы частично. При известных и подчас немаловажных различиях, все лагеря объединяет наличие ряда общих черт, свидетельствующих о принадлежности всех их к одному типу. Лагеря представляют собой группы построек, обнесенных концентрическими земляными валами и расположенных близ морского берега в месте, удобном для стоянки кораблей. Треллеборг стоял на мысе в 3—4 км от пролива Большой Бельт, связывающего юго-восточное побережье Дании с Каттегатом, Аггерсборг находился на Лим-фьорде недалеко от Северного моря, поблизости от него Фюркат — на берегу Каттегата; Ноннебьерг — на территории города Оденсе, в удобной и большой гавани, иными словами, эти лагеря занимали выгодное стратегическое положение, позволявшее господствовать над важнейшими морскими путями.

Вызывает удивление высокий уровень инженерного искусства, с которым были построены эти лагеря. Концентрические валы (в Треллеборге толщина такого вала достигает 18 м), в которые заключены постройки, представляют собой совершенно правильную окружность. Эта окружность пересекается крест-накрест прямыми линиями с севера на юг и с востока на запад, вдоль которых внутри лагеря идут мощенные деревом дорожки. Ворота, расположенные в валах, обращены таким образом на четыре стороны света. Не менее удивительна правильность и точность размещения домов в лагерях. В Треллеборге перпендикулярно перекрещивающиеся дорожки делят территорию лагеря (площадью около 1,5 га) на четыре равных сектора. В каждом из них размещались по четыре длинных дома, стоящих под прямым углом по отношению друг к другу, образуя точный квадрат со двором посередине. Таков же план и Фюрката. В Аггерсборге таких каре уже не 4, а 12, и число домов не 16, а 48. Соответственно, наряду с двумя перпендикулярными главными дорогами, в этом лагере параллельно каждой из них шли еще по две более короткие дорожки, образовывавшие квадрат. В центре этого лагеря, по-видимому, стояла сторожевая вышка.

Однако, пожалуй, наибольшее изумление исследователи испытали, произведя обмеры лагерей. Хотя окружность валов весьма велика (в Треллеборге ее диаметр равен 136 м, в Фюркате — 120 м, а в Аггерсборге — даже 240 м), она выверена с точностью до нескольких сантиметров, так что отклонение от геометрического круга составляет менее 0,5 %. В основе планов лагерей лежала римская мера длины — фут

⁴ *Norlun P.* Trelleborg. København, 1948.

⁵ *Schultz C.G.* Aggersborg, vikingelejren ved Lirnfjorden. (Fra Nationalmuseets arbejdsarkiv, 1949). København, 1949, s. 91—108.

⁶ *Olsen O.* Fyrkat (Nationalmuseets bli bager). København, 1959.

(римский фут равнялся 0,29 м). В Треллеборге, помимо вала, окружавшего 4 каре домов, был еще внешний вал, тоже со рвом. Расстояние между обоими валами точно равно радиусу окружности внутреннего вала (234 фута). Дома в Треллеборге имели совершенно одинаковую форму и длину — 100 футов, при ширине около 30 футов (8,7 м). Длина домов в Аггерсборге 110 футов. Оси 15 домов, размещенных внутри наружного вала Треллеборга, лежали по радиусу окружности вала, из них 13—на равном расстоянии один от другого, а два — поодаль. Эти дома имели длину 90 футов.

Назначение домов, находившихся за пределами внутреннего вала, неясно, следов обитания в них почти не обнаружено. Помимо этих больших домов в лагере имелись еще дома меньшего размера, частью, по-видимому, служившие сторожками, частью (размещенные внутри каре) — домами командиров. Размеры каждого из них 30x15 футов.

Как уже отмечалось, Аггерсбург был еще крупнее, чем Треллебург. Здесь, в центре лагеря, находилась площадь размером 72x72 фута; над валом, укрепленным деревянным бруствером, по-видимому, возвышались сторожевые башни. В Фюркате, как и в Треллеборге, было 16 домов, построенных в 4 каре, но дома здесь имели несколько меньшую длину — 96 футов. Лагерь Ноннебьерг изучен хуже, о нем еще нет полных публикаций. Дома в лагерях, несмотря на вариации в размерах, принадлежат к общему типу длинных деревянных домов со стенами, имеющими эллиптическую форму; в средней части дом шире, к концам постепенно суживается; острые концы, однако, срезаны. Высокая двускатная крыша опиралась на два ряда столбов. Внутри дом делился на три помещения, среднее — большое, по краям — маленькие. Сами дома не сохранились, но следы стен и опорных столбов явственно передают их план. Исследователи установили, что дома подобного типа строились по всей Скандинавии еще до эпохи викингов и в эту эпоху. Археологи считают, что Аггерсбург был построен на месте более древнего поселения, в котором имелись дома подобной же формы, но меньших размеров. Исходя из размеров домов, полагают, что в Треллеборге могло жить от 1000 до 1500 человек. Следовательно, Аггерсбург, который был крупнее, имел еще больше жителей.

Раскопки в лагерях дали сравнительно немного вещей. Среди них: оружие, кузнечные орудия, приспособления для прядения и ткачества, лемех плуга, косы, украшения, керамика. В погребениях близ Треллеборга (общим числом около 135) найдены останки мужчин, преимущественно молодых (от 20 до 40 лет), женщин и нескольких детей и стариков. Открыты три общие могилы, из них наибольшая, так называемая братская могила воинов, содержит Юскелетов. У одного из них кость ноги выше колена перерублена топором или мечом. Погребения языческие. Плохая сохранность костей во многих случаях мешает точному определению пола захороненного. Тем не менее есть основания предполагать, что диспропорция между множеством погребенных в Треллеборге мужчин и незначительным числом стариков, и в особенности женщин и детей, — свидетельство специфического характера поселения: это был лагерь воинов, живших без семей. То обстоятельство, что какое-то число женщин в лагере все-таки жило (об этом свидетельствуют найденные на его территории женские украшения), истолковывают ослаблением первоначально строгой дисциплины, допустившим на территорию военного поселка женщин. В этой связи П. Нерлунд, руководивший раскопками Треллеборга, указывал на то, что трое из четырех ворот в валу лагеря на поздней стадии его существования были загорожены стеной, и образовавшиеся помещения использовались под жилье; в этих жилищах найдены всякого рода предметы домашнего обихода, в том числе множество грузиков от ручных прядильных станков. Здесь, вероятно, и жили женщины; длинные же дома с обширными помещениями служили бараками исключительно для воинов. Наличие среди находок сельскохозяйственных и других

орудий мирного труда дает основание предположить: население лагерей должно было само (хотя бы отчасти) заботиться о своем пропитании.

Датируемые вещи (их, правда, немного) относятся к концу X и первой половине XI в. Треллеборг существовал примерно с 975 по 1050 г. По-видимому, и другие лагеря функционировали в период правления в Дании конунгов Свейна Вилобородого (986-1014 гг.), Кнуда Могучего (1018—1035 гг.) и его преемников. Известно, что эти конунги вели завоевательные войны против Англии, которую и покорили: Кнуд стал ее королем. Поэтому историки предполагают, что лагеря (вспомним об их важном стратегическом положении!) служили опорными пунктами военных отрядов и кораблей, во главе которых датские конунги совершали походы в Англию⁷. Быть может, в этих лагерях были собраны наемники Свейна или Кнуда; имена многих из них упоминаются руническими надписями на камнях, найденных в разных частях Скандинавии. Кроме того, известно, что у Кнуда Могучего существовало отборное войско, своего рода королевская гвардия или личная дружина — тинглид, с помощью которого он управлял завоеванной Англией. Однако не исключена возможность, что лагеря относятся к середине и даже ко второй половине XI в. Историки вспоминают в этой связи, что датский конунг Кнуд II готовился к походу на Англию, но погиб в 1086 г. в Оденсе в результате восстания народа, измученного поборами, причем, как сообщает хронист, был сожжен его бург. Между тем остатки лагеря Ноннебьерг в Оденсе хранят следы пожара, его уничтожившего.

Но связь лагерей с походами на Англию можно лишь предполагать. Обращает внимание почти полное отсутствие в лагерях вещей западноевропейского происхождения, и в частности денег английской чеканки; между тем клады этих монет, как уже упоминалось, рассеяны на Севере в огромном числе. Предлагались и иные толкования природы лагерей, а именно: они были построены для охраны Дании от нападения викингов, т.е. имели назначение оборонительных укреплений, а не баз для атак на другие страны. Но подобные объяснения не встретили широкой поддержки у исследователей. Мысль о том, что лагеря сооружены на датской территории захватчиками с целью держать в повиновении местных жителей, также ничем не обоснована. Однако до сих пор остается необъясненным следующий интересный факт: вещи, найденные в Треллеборге, относятся преимущественно к Балтике и напоминают находки в Хедебю и Бирке⁸.

Изучение планов датских лагерей производит впечатление, что они разработаны опытными инженерами и геометрами, вооруженными циркулем и линейкой. По выражению одного исследователя, от викингов трудно было ожидать подобного «бюрократического педантизма». Для постройки такого рода лагерей потребовалась масса рабочей силы, обширные леса, т.е. обладание значительной властью и богатством. Название Треллеборг, как полагают, существовало уже в эпоху викингов. Значение его «бург рабов» (трэль — древнесканд. раб). Возможно, лагерь получил такое название вследствие того, что был построен руками подневольного люда. Впрочем, выдвигалось и иное объяснение. По мнению некоторых специалистов, это название произошло от *tralle* (столб палисада).

Постройка подобных лагерей требовала больших расходов и множества рабочих рук. Исходя из этого, историки связывают существование лагерей с сильной королевской властью, возникшей в Дании как раз в те времена⁹. При этом высказывалось предположение, что инженеры, проектировавшие лагеря, были чужеземцами, ибо трудно предположить столь высокую строительную технику у

⁷ По мнению Б. Альмгрена, в лагерях типа Треллеборга подготавливалась к отправке в Англию конница викингов, значение которой возросло в X — начале XI в. *Almgren B. Vikingatagens hqjdpunkt och slut. Skepp, hastar och befastmngar.* — «Tor», v. IX, 1963, 8.215—250.

⁸ *Grieg S. Trelleborg.* — «Norsk militaert tidsskrift», 111. Bd, 1952, s. 427—429.

⁹ *Olsen O. Trelleborg-problemer.* — «Scandia», 28. Bd, 1962, s. 101.

самых датчан в X и XI вв. Однако остается невыясненным, откуда явились в Данию эти иноземные военные инженеры, якобы приглашенные датскими государями или захваченные викингами в плен. Дело в том, что нигде в Европе того времени подобных или хотя бы сколько-нибудь аналогичных сооружений не существовало. Строительным материалом на Западе в то время был камень, тогда как датские укрепления сооружались из земли, глины и дерева. Ученых смущает и применение в качестве меры длины римского фута, ибо древнеримские лагеря строились в форме прямоугольников, а не колец. Предположение, что такие инженеры могли быть византийцами, казалось бы, подтверждается: в XI в. связи скандинавов с Византией усилились. Но до сих пор не найдено убедительных параллелей из истории строительной техники. Правда, возможность приглашения инженеров из Византии не исключена: ведь приглашали их в Клев к князю Владимиру. Высказывалось и другое мнение: при постройке датских лагерей был использован фортификационный опыт персов и ассирийцев, воспринятый арабами и пришедший в Данию путем «из варяг в греки»¹⁰. Но все это лишь догадки.

Между тем доказано, что конструкция домов в лагерях представляет собой дальнейшее развитие типа длинных скандинавских домов более раннего времени. Таким образом, одна из существеннейших составных частей датских лагерей, видимо не являлась заимствованием извне, а скорее продолжала уходящую в глубь веков местную традицию. Не следует ли предположить, что и сами лагеря были построены датчанами? Примитивные круговые укрепления строились в Скандинавии еще в V в. Укрепление Исманторп на о-ве Эланд (Швеция), которое археологи относят к периоду «Великих переселений» (по другим предположениям, к более позднему времени), представляло собой круговую каменную крепость с не менее чем девятью воротами и множеством небольших домов в ее пределах. Дома вдоль внутренней стороны стены располагались радиально, в средней части крепости они составляли четыре группы. Но, конечно, до геометрической правильности форм датских лагерей этому лагерю очень далеко!

Остатки кольцевых поселков, относящихся к эпохе переселений народов и к более позднему времени, найдены и в Юго-Западной Норвегии (Рогаланд) и в Северной Норвегии (Халогаланд). Укрепления в виде концентрических валов строились и в Европе в VIII в. Достаточно указать на разрушенный Карлом Великим знаменитый «Ринг» (кольцо) аварского кагана на Дунае, в Паннонии, в котором насчитывалось до девяти валов, вписанных кругами один в другой. Славянские укрепления также были кольцевыми. Известны тесные связи датчан со своими соседями — прибалтийскими славянами. Наконец, кольцевые укрепления сооружались на Британских островах. Больше того, если прежде английские археологи относили их ко времени, предшествовавшему походам викингов, то ныне раздаются голоса в пользу датского происхождения некоторых английских лагерей¹¹.

Разумеется, строгие геометрические формы и пропорции лагерей в Дании X—XI вв. существенно отличают их от любых возможных прототипов. Во всяком случае они не стоят в Европе совершенно изолированно. Если Римская строительная техника и оказала влияние на строителей датских лагерей, то искать родину этих инженеров в Византии или в других, еще более далеких странах Востока вряд ли имеются достаточные основания. Но римский фут — мера, положенная в основу всех размеров в лагерях, продолжает смущать ученых.

Следует отметить, что планы, по которым построены все четыре известных нам лагеря, все же различны: особенно неодинаковы технические конструкции их домов. В этой связи высказывалось мнение, что лагеря принадлежали не конунгам

¹⁰ L 'Orange H. The illustrious Ancestry of the newly excavated Viking Castles Trelleborg and Aggersborg. — «Studies presented to D.M. Robibson», vol. I. St. Lois, Missouri, 1951, p. 509, ff.

¹¹ Lauring P. Danelagen. Danmark i England. K0benhavn, 1957, s. 195 ff.

Дании, а могущественным предводителям, управлявшим отдельными областями страны¹². В таком случае предположение о местной строительной традиции становится особенно привлекательным. Указывали также на то, что стратегическое положение лагерей определялось не только их близостью к морю, но и тем, что они господствовали над районами, в которых помещались. Следовательно, хозяева лагерей (кто бы они ни были — местные предводители или слуги датского конунга), опираясь на стоявшие в них гарнизоны, держали под своим контролем местное население¹³.

Происхождение и назначение датских лагерей X—XI вв. — одна из многочисленных загадок, которые оставили нам викинги. Может быть, легенда о викингах из Йомсборга все-таки как-то связана с существованием этих лагерей? Как бы ни решился вопрос о строителях Треллеборга, Аггерсборга и других бургов, ясно одно: это лагеря датские. Не считаться с их характеристикой при оценке викингов и их походов невозможно.

Любопытно, что в древнескандинавской мифологии чертог верховного божества Одина, Валхалла, рисовался в виде огромной палаты с несколькими сотнями дверей; в Валхаллу получали доступ одни лишь воины, павшие в бою. Норвежский ученый М. Ульсен связывал это представление с римским Колизеем, полагая, что скандинавы мыслили Валхаллу как огромный амфитеатр¹⁴. Но нельзя ли отыскать прообраз дворца Одина где-нибудь ближе¹⁵? Не следует ли видеть связь между Валхаллой и круговыми лагерями, существовавшими у викингов? Нам кажется более существенным в описании Валхаллы в песнях «Старшей Эдды» не количество дверей и число воинов, которые могли войти туда одновременно (по 960 воинов в каждую из 640 дверей), — это, естественно, плод фантазии, — а то, что чертог Одина был обиталищем исключительно одних павших в бою героев — эйнхериев. Вспомним, что и в легенде о викингах Йомсборга подчеркивается тот же момент: на территории его могли находиться только викинги. Что касается входов в лагерь датских викингов, то хотя в них было всего по 4 ворот, они были открыты на все четыре стороны света. Нельзя ли предположить, что строители лагерей стремились воплотить в жизнь свое представление о Валхалле как обители избранных воинов?

¹² Weibull L. Fornborgen Trelleborg. — «Scandia», 20. Bd, 1950, s. 287, f.

¹³ O. Olsen. Trelleborg — problem, s. 104.

¹⁴ M. Olsen. Valhall med de mange dører. — «Acta philologica Scandinavica», VI, 1931, s. 151, ff.

При этом М. Ульсен подчеркивал обилие дверей в Валхалле. Сходство с Колизеем усугубляется, по его мнению, тем, что в нем сражались гладиаторы, а по древнескандинавским представлениям воины в Валхалле тоже бились между собой.

¹⁵ Шведский ученый С. Линдквист, в отличие от М. Ульсена, полагает, что прообразом Валхаллы послужил языческий храм в Старой Уппсале (Швеция). Lindqvist S. Valhall-Collosseum eller Uppsalatemplet? — «Tor», 1949—1951. Uppsala, 1952, s. 61—101.

Походы викингов

«Эпоха викингов»... Но была ли на самом деле в истории подобная эпоха? Наиболее правильным представляется утверждение, что в истории Европы, рассматриваемой в целом, такой эпохи не было: несмотря на значительную роль, которую сыграли нападения скандинавов в жизни самых различных народов — от Англии до Византии, от Руси до Италии, — они не определяли исторических судеб Европы в IX—XI вв.

Но в истории самих скандинавских стран указанные столетия — это действительно эпоха викингов. Весь вопрос заключается в том, как объяснить походы викингов, в каких связях их рассматривать и что именно под ними понимать.

Походы викингов ошибочно считать чем-то единым по их содержанию и неизменным по характеру. В своей основе это экспансия скандинавов в другие страны. Но, во-первых, внешняя экспансия была прямым продолжением внутренних сдвигов, происходивших в скандинавском обществе, и правильно понять походы викингов можно лишь в тесной связи с развитием, одновременно происходившим на их родине. Во-вторых, под понятие «походы викингов» подводятся обычно самые различные проявления экспансии скандинавов. Между тем их нужно различать. Несмотря на трудность, а подчас и невозможность разграничения как по времени, так и по существу разных форм норманнской активности в Европе, очень важно выделить эти формы. Для лучшей ориентировки в дальнейшем изложении мы просто перечислим отдельные проявления экспансии скандинавов: пиратство в северных морях и сезонные нападения на другие страны разрозненных дружин с целью грабежа; нападения на другие страны объединенных (хотя бы на время) отрядов с целью захвата добычи и занятия территорий для последующего ее заселения; походы больших армий, возглавляемых могучими хавдингами, а иногда и скандинавскими государями, с целью организованного выкачивания из завоевываемых стран добычи, дани и частичной их колонизации и даже с целью установления над этими странами или областями своего государственного верховенства; экспедиции, не носившие завоевательного характера и сопровождавшиеся заселением пустовавших до того земель (мирная колонизация); морская торговля, основание факторий и торговых станций; наемничество.

Как уже отмечено, выделение отдельных типов экспансии сопряжено с большими трудностями: сплошь и рядом один ее тип переходил в другой. Военный набег, пиратство и мирная торговля подчас шли рука об руку. Одни и те же викинги могли выступать то в роли грабителей и захватчиков, то в качестве мирных поселенцев и земледельцев. Хавдинги и конунги, преследовавшие политические цели, как правило, применяли для их достижения любые средства, в том числе и далеко не в последнюю очередь — разбой. Борьба за контроль над торговыми путями и пунктами также сочеталась с пиратством и войной. Строго говоря, некоторые из намеченных типов экспансии, в особенности мирная колонизация и торговая деятельность, не являются походами викингов. Но они подчас входили в них как составные части и столь тесно переплетались с ними, что абстрагироваться от них невозможно.

Участников походов викингов, понимаемых в столь широком смысле, необходимо различать также по их социальному составу. Во главе военных предприятий стояли представители знати, в них принимали участие как знатные, так и незнатные воины. В числе колонистов преобладали простые бонды и воины, хотя заселением и распределением земель обычно руководили хавдинги. Торговлей наряду с профессиональными купцами занимались и знатные и незнатные, и воины и мирные люди.

Термин «викинг» (vikingr) остается не вполне ясным. Над его расшифровкой бились не меньше, чем над истолкованием термина «русь». Адам Бременский писал о

«пиратах, которых датчане называют викингами». Ученые долгое время связывали этот термин с Виком (Viken), областью Норвегии, принадлежащей к Осло-фьорду. Но во всех средневековых источниках жители Вика называются не «викингами», а совершенно другим термином — *vikvejar* или *vestfaldingi* (от Вестфолля). Выдвигалось другое объяснение: «викинг» происходит от слова *vik* — бухта, залив; викинг — тот, кто прячется в заливе. Но в таком смысле слово в не меньшей, а может быть, и в большей мере было бы применимо и к мирным купцам. Наконец, термин «викинг» пытались «производить» от древнеанглийского *wic* (лат. *vicus*), обозначавшего торговый пункт, город, укрепленный лагерь. И это объяснение было отвергнуто. В настоящее время наиболее приемлемой считается гипотеза шведского ученого Ф. Аскеберга, который производит термин «викинг» от глагола *vikja* — «поворачивать», «отклоняться». Викинг, по его толкованию, это человек, который уплыл из дому, покинул родину, т.е. морской воин, пират, ушедший в поход за добычей. Любопытно, что в источниках этот термин употребляется особенно часто не применительно к человеку, а как обозначение самого грабительского предприятия: «уйти, отправиться в *viking*», — причем проводится довольно строгое различие между отплытием «в викинг» и торговой поездкой¹.

Наконец, существенно отметить и то, что в глазах скандинавов (насколько можно судить на основании источников) слово «викинг» не было комплиментом. В исландских сагах XIII в. викингами называют людей, занятых грабежом и пиратством, необузданных и кровожадных. Но обратимся к памятникам, современным эпохе викингов. Во многих надписях рунами, сделанных на камнях, которые воздвигались в память о людях, погибших в заморских походах, встречается слово «викинг», но обычно как обозначение похода («погиб в викинге»). В одной из надписей из Уппланда говорится об Ассуре, сыне ярла Хакона, что он был «стражем против викингов». Видимо, в самом деле скандинавы эпохи викингов применяли это слово преимущественно к грабительским походам и вылазкам, в какой-то мере и к их участникам, но подчас с оттенком осуждения.

Кто же такой викинг? Это пират и воин, искатель добычи и славы, которую могли доставить ему военные подвиги; но это и колонист, переходивший в благоприятных условиях к мирному труду, и мореплаватель, занятый торговлей и поисками неведомых островов. Если быть точным, то нужно сказать, что далеко не все участники скандинавской экспансии IX—XI вв. были викингами. Но именно викинги задавали ей тон, и они наложили наибольший отпечаток на все движение и на эпоху. Понятия «походы викингов», «эпоха викингов» утвердились в исторической науке. Но нужно иметь в виду, что «викинг», «эпоха викингов» — названия, в большой мере условные. Что же за ними скрывалось в реальной действительности?

¹ *Askeberg F.* Nordea och Kontinenten i gammal tid. Studier i forngertransk kulturhistoria. Uppsala, 1944, s. 121 ff., 140 ff., 182—183.

Воины. Поселенцы.

Разграбление и разрушение монастыря в Линдисфарне — один из первых эпизодов в долгой и кровавой истории походов викингов на Англию. С этого времени они становятся постоянным бедствием в жизни Англии, Франции и других стран Европы. Но фактически экспансия скандинавов началась задолго до 793 г. Она принимала разные формы. Для того чтобы составить о ней верное представление, вторжения жителей Севера в чужие земли нужно увязать с внутренней колонизацией, происходившей на Скандинавском полуострове в течение нескольких столетий. Нехватка удобных для обработки земель вследствие роста населения и начавшихся разделов больших семей толкала многих бондов на освоение незанятых территорий во внутренних и северных областях Норвегии и Швеции. Они рубили и корчевали леса, очищали земли от валунов, строили сельские усадьбы, распахивали участки. Многие жители приморских районов Норвегии, издавна связанные с морем своим образом жизни, начали в конце VIII в. переселяться на острова Северной Атлантики — Фарерские, Шетландские, Оркнейские и Гебридские. Здесь были благоприятные климатические условия для земледелия и овцеводства (Фарерские острова буквально означают — «Овечьи», овцы могли тут находиться на пастбищах в течение круглого года). Наряду с разведением домашних животных поселенцы занимались ловлей рыбы и другими морскими промыслами, сбором птичьих яиц и пуха. Кое-где норвежцы, заселяя острова, потеснили или изгнали своих предшественников — кельтов и пиктов, преимущественно отшельников, в других случаях они были первопоселенцами.

Раскопки в местности Ярлсхов, на Шетландских островах, обнаружили остатки поселка, состоявшего из длинных домов типичной скандинавской формы. Шотландские археологи установили, как одиночное поселение выросло с течением времени в целую общину. На обломках песчаника и сланца сохранились от того периода рисунки кораблей, животных, головы дракона, видимо, украшавшей нос корабля. Но особенно интересны два человеческих профиля, один — молодого человека с завитыми волосами, бородкой и усами, другой — беззубого старика¹.

Мирная колонизация бондов подчас сочеталась с воинскими набегами и пиратством, которым занимались наиболее воинственные элементы в их среде. Шетландские острова по своему географическому положению сыграли роль соединительного звена между скандинавскими поселениями в Северной Атлантике и Шотландией. Этим путем отряды искателей добычи и достигли в конце VIII в. берегов Шотландии, Ирландии и Северной Англии.

Экспансия скандинавов с самого начала стала разворачиваться в разных направлениях. Норвежцы устремились на северо-запад, сюда их, естественно, ориентировало само положение Норвегии, вытянувшейся вдоль побережья Северной Атлантики, изрезанного бесчисленными глубокими фьордами. Ни Англия, ни Шотландия, ни Ирландия, на берега которых стали совершать набеги норвежские викинги с северных островов, не представляли из себя политического единства и не располагали сколько-нибудь значительным и боеспособным флотом. Поэтому, когда скандинавские пираты появились у берегов Британских островов, они не встретили серьезного отпора. Слабость англосаксов и кельтов поощряла набеги норвежцев, сумевших захватить значительные территории на юго-западе Шотландии и севере Англии.

Первое нападение норвежцев на Ирландию произошло в 795 г. Оно носило такой же характер, как и нападение на Линдисфарн в Англии. С начала IX в. набеги учащаются. Разобщенность страны на мелкие враждующие между собой княжества и кланы способствовала успехам пиратов и завоевателей. Ирландский хронист из

¹ *Hamilton J.R.C. Excavations at Jarlshof, Shetland. Edinburgh, 1956, p. 114, 121, Plate XXI.*

Ульстера писал о нападении, происшедшем в 820 г.: «Море извергло на Эрин [Ирландию] потоки чужеземцев. Не осталось ни одного залива, ни одной пристани, ни единого укрепления, укрытия, бурга, который не был бы наводнен викингами и пиратами»². Вскоре разрозненные вылазки норвежцев сменяются переселениями их в захваченные районы Ирландии. В 839 г. норвежский хавдинг Тургейс, прибывший в Северную Ирландию во главе большого флота, провозгласил себя, по словам анналиста, «конунгом над всеми чужестранцами в Эрин». Завоеватели стали возводить приморские форты. Главным из них стал Дублин. Однако угнетение покоренного народа и то, что скандинавы хотели заменить христианство, утвердившееся в Ирландии за 4 века до их нашествия, языческими верованиями, превращая церкви в капища, вызвали в 844 г. восстание. Норвежский правитель был утоплен в море. Борьба осложнилась с появлением на «Зеленом острове» датских викингов.

Воспользовавшись враждой между датчанами и норвежцами, не желавшими уступать им добычу, ирландцы заключили союз с датчанами. В результате норвежцы были разгромлены. Историк сообщает, что пало более 5 тыс. норвежцев «из хороших семей», не считая множества «простых воинов и людей низкого происхождения». Датчане, сражавшиеся против норвежцев, якобы обещали перед решительной битвой поделить добычей, на которую они рассчитывали, с небесным покровителем Ирландии святым Патриком; одержав победу, они пожертвовали ему большой кубок, полный золота и серебра. «Все же датчане — народ, не вполне чуждый благочестия», — замечает по этому поводу ирландский хронист.

Но вскоре из Норвегии приплыл большой флот с новым отрядом, возглавляемым Олафом Белым, который захватил Дублин и изгнал датчан с острова. Угнетение и ограбление ирландцев норманнами еще более усилилось. Хронист говорит, что невозможно передать «всех страданий, которые вынес ирландский народ, мужчины и женщины, миряне и священники, малые и старые, от этих воинственных и диких язычников». В конце IX в. возобновилась борьба между норвежцами и датчанами, вновь явившимися из Восточной Англии. Господство норвежцев было ослаблено, и в 901 г. ирландцам удалось захватить Дублин.

Грабя и угнетая кельтов, викинги вместе с тем воспринимали с их стороны сильные культурные импульсы. Резко расширился и изменился круг их представлений. Свидетельство тому — изобразительное искусство викингов, развившееся у них в IX в., в частности большие каменные кресты на острове Мэн: на высеченных на них изображениях причудливо переплетаются христианские и языческие мотивы³.

Щеды в VIII в. пересекают Балтийское море, плавание по которому было относительно более легким делом, и основывают опорные пункты на южном его побережье. Таков Гробин в земле прибалтийского племени куршей (неподалеку от нынешней Лиепай). Раскопки обнаружили здесь остатки земляного укрепления и три кладбища с многочисленными могилами. Изучение найденных в погребениях вещей привело ученых к предположению, что часть жителей занималась мирной торговлей, тогда как другие были воинами. Возможно, что купцы были с острова Готланд, а воины происходили из Средней Швеции. Согласно сообщению Римберта (в «Житии Ансгара»), племя куршей было около середины IX в. подчинено шведами, но затем восстало и освободилось от их власти. Римберт упоминает о походе шведского конунга Олуфа, который, по его словам, сжег пункт под названием Зеебург («морская крепость»), где якобы находилось не менее 7 тыс. воинов. Шведские археологи полагают, что раскопанный ими Гробин был укрепленным пунктом, сооруженным шведами после сожжения Зеебурга. Таким образом, шведская экспансия на южное

² Annals of Ulster, ed. W. M. Hermessy and B. MacCarthy. I. Dublin, 1887.

³ Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Bd. VIII. Kobenhavn, 1963, s. 374.

побережье Прибалтики задолго до эпохи викингов засвидетельствована как археологическими, так и письменными данными⁴.

Отсюда по Западной Двине (Даугаве) шведские торговцы и воины двигались на Днепр и по нему к Черному морю, в Византию. Другие шли в восточном направлении — через Финский залив, по Неве, в Ладожское озеро, к Старой Ладоге, расположенной при впадении Волхова в Ладожское озеро, и из нее — к верховьям Волги; далее по Волге путь лежал в Каспийское море, к арабскому Халифату. Другой путь шел по Волхову в Новгород (известный в скандинавских источниках под названием Хольмгарда), а оттуда к Полоцку, где открывалась дорога к Днепру, Западной Двине и Волге.

Шведская экспансия на Восток имела некоторые особенности по сравнению с норвежской и датской агрессией на Западе. Одним из важнейших занятий скандинавов на Востоке была торговля. Без учета большой активности шведских торговых людей на волжском и днепровском путях, вплоть до византийских, арабских и хазарских владений, вообще нельзя объяснить наличие огромного количества кладов на скандинавском Севере. Немало рунических надписей на камнях в Швеции упоминают об участии шведов в поездках и походах на Восток — в Южную Прибалтику, на Русь (Гардар), в Константинополь (Миклигард) и Сёркланд — страну сарацинов (арабский Халифат). Разумеется, и на Востоке скандинавы искали добычи и захватывали ее подчас силой, с помощью оружия. Купец шел рука об руку с воином. Стремясь подчинить себе племена Восточной Европы, норманны облагали их данью. Они охотно становились наемниками на службе у славянских князей и у византийского императора — под именем варангов (варягов). Более того, от выходцев из Скандинавии вели свой род князья древней Руси. Предание о «призвании варягов» на Русь явно недостоверно, легендарно, возможно, и сам Рюрик. Но первые известные нам князья, сидевшие в Новгороде и Киеве, — Олег, Игорь, Ольга, а равно и часть их приближенных и дружинников, были скандинавами. О несомненном скандинавском происхождении многих дружинников и купцов, близких к князю, свидетельствуют их имена, зафиксированные в договорах Игоря и Олега с византийскими императорами 911 и 944 гг.

Скандинавские названия носили некоторые днепровские пороги, перечисляемые византийским императором Константином VII Багрянородным (середина X в.) в сочинении «Об управлении империей». Это еще раз подчеркивает значение днепровского пути для скандинавов. Однако данные топонимики свидетельствуют об относительной немногочисленности скандинавов на Руси (в особенности, если сравнить ее со скандинавской топонимикой на Британских островах). Вещи норманнских воинов и купцов найдены в Киеве, Чернигове, Гнездове, близ Ярославля, в Старой Ладоге, т.е. в крупных для того времени городах и в их окрестностях. Видимо, дружинники князей иногда получали от них в управление укрепленные пункты, в которых концентрировалась торговля. Сюда свозилось полюдь, уплачивавшееся местным населением и шедшее на содержание князя и его дружины. Полюдь X в. (как оно рисуется в русской летописи и в сочинении Константина Багрянородного) представляет аналогию древнескандинавскому кормлению — *вейцле*. Согласно имеющимся данным, полюдь, основывающееся на твердых «уроках» и связанное с системой погостов, было введено при Ольге. То, что этот вид «кормления» получил распространение как на Руси, так и в скандинавских странах, — одно из доказательств примерно одинаковой стадии социально-экономического развития и сходства условий жизни в Скандинавии и на Руси в тот период.

⁴ *Nerman B. Grobin-Seeburg. Stockholm, 1958.*

Хотя выходцы из Скандинавии и сыграли немалую роль в укреплении княжеской власти и связанных с нею учреждений, разумеется, не они создали основы Древнерусского государства. В непонимании природы государства и причин его возникновения — коренной порок норманнской теории происхождения государства на Руси. Ранняя форма государства у восточных славян, как и у всех других народов, возникла не в результате завоевания или «признания князей», а вследствие достижения славянами определенной ступени общественно-экономического и политического развития⁵. Приходящаяся на этот период истории народов Восточной Европы норманнская экспансия сделала возможным захват власти в Новгороде, а затем и в Киеве выходцами из Швеции: они включились в шедшие здесь социально-политические процессы. Против преувеличения значения норманнов в истории становления Древнерусского государства говорит также и то обстоятельство, что выходцы из Швеции, составлявшие незначительную кучку среди основной массы славянского населения, вскоре и сами ославянились. Уже сын Ольги носил славянское имя Святослав. Важно отметить, что договоры Руси с Византией были составлены на греческом и славянском языках. Письменность, право, культура древней Руси славянские, а не скандинавские.

Княжеский дом в Киеве и в XI в. продолжал поддерживать тесные связи с конунгами Скандинавии. Не только часто заключались браки между представителями киевских Рюриковичей и скандинавскими правителями, но последние во время неурядиц на родине искали поддержки и убежища в Новгороде и Киеве. Владимир Святославич и Ярослав Мудрый прибегали к услугам варяжской дружины, приглашаемой ими из Скандинавии.

Письменные источники, упоминая норманнов на Руси, противоречивы, многие из них относятся к более позднему времени и тенденциозны. Но и современные эпохе викингов источники «темны»⁶. Изучение археологических данных подтверждает мнение об ограниченности роли варягов в истории Древнерусского государства. Скандинавских вещей, оружия, украшений найдено много, но бесспорно норманнских погребений среди раскопанных курганов немного⁷. Бездоказательно утверждение шведских историков о широкой колонизации скандинавами северных районов Древнерусского государства⁸.

⁵ Lowmianski H. Zagadnienie roli normanow w genezie panstw slowiainskich. Warszawa, 1957; Греков Б.Д. О роли варягов в истории Руси. — «Новое время», 1947, № 30; Шаскольский И.П. Норманнская теория в современной буржуазной науке. М. — Л., 1965.

Авдусин Д.А. Варяжский вопрос по археологическим данным. — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры», 1949, вып. 30.

⁶ Тихомиров М.Н. Происхождение названий «Русь» и «Русская земля». — «Советская этнография», т. 6—7, М., 1947; ср., Минорский В.Ф. Куда ездили древние русы? — В сб. «Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы». М., 1964; Melvinger A. Les premieres incursions des Vikings en Occident d'apres des sources arabes. Uppsala, 1955.

⁷ Авдусин Д.А. Варяжский вопрос по археологическим данным. — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры», 1949, вып. 30.

⁸ Однако массовые обследования, произведенные на русском Севере, обнаружили антропологическую близость приильменского населения (так называемого ильменско-беломорского типа) с жителями Скандинавии. М.В. Битов, руководивший антропологической экспедицией, склонен объяснять это сходство «весьма вероятной варяжско-скандинавской примесью у русских северо-запада». Битов М.В. Антропологические данные как источник по истории колонизации русского Севера. — «История СССР», 1964, № 6, с. 97. Остается неясным вопрос о поселении в Старой Ладог. Наиболее ранними ее жителями, по-видимому, были финны. См.: Корзухина Г. Ф. Этнический состав населения древнейшей Ладого. — «Тезисы докладов второй научной конференции по истории, экономике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии». М., 1965, с. 12—14. В слое IX—X вв. найдены вещи из Скандинавии и палочка с рунической надписью. См.: Равдоникас В.И., Лаушкин К.Д. Об открытии в Старой Ладог рунической надписи на дереве в 1950 году. — «Скандинавский сборник», IV. Таллин, 1959.

Решению многих вопросов, связанных с ролью норманнов в истории древней Руси, мешало также превратное понимание соотношения уровней общественного и культурного развития скандинавов и восточных славян. В то время как многие буржуазные историки-норманнисты произвольно выдвигали тезис о превосходстве шведов над славянами, в советской историографии мысль о невозможности создания норманнами Древнерусского государства, вытекающая как из конкретного анализа всего комплекса имеющихся данных о началах государства на Руси в донорманнский период, так и из марксистского учения о базисе и надстройке, иногда мотивировалась отсталостью норманнов по сравнению с восточными славянами. Изучение социально-экономического положения обоих народов IX—XI вв. с учетом их предшествовавшего и последующего развития приводит современного историка к более правильному выводу о стадийной синхронности их развития: и те и другие народы ко времени их тесного соприкосновения переживали процесс перехода от давно уже разлагавшегося общинно-родового строя к ранним формам феодализма, к первоначальной государственности; у восточных славян и у скандинавов одновременно совершался и переход к христианству⁹. Именно в силу одинаковости их социального развития, шедшего и в Скандинавии, и на Руси вне синтеза общинно-родового строя с рабовладельческим строем Римской империи, норманны могли без каких-либо трудностей включиться в этот процесс на Руси и принять в нем участие, не изменив существенно ни его хода, ни форм, в которых он протекал.

Норманнские наемники играли немалую роль в жизни Византийской империи в X и XI вв. Среди них особенной известностью пользовался Харальд Сигурдарсон — будущий правитель Норвегии; о его подвигах на Руси, в Константинополе, на Ближнем Востоке, в Южной Италии и других странах пели скальды и слагались красочные легенды.

Скандинавские воины добрались до Афин. На мраморном изображении льва в Пирее (ныне находится в Венеции) варяги вырезали рунические письмена. О походах шведов в Сёркланд повествует сага об Ингваре-Мореходе: он водил большой отряд на Восток и умер в Сёркланде. На многих памятных камнях в Швеции имеются рунические надписи с именами воинов, которые ходили в поход под началом Ингвара.

Географическое положение Ютландии — на стыке Балтийского и Северного морей — и связь ее с континентом открывали путь датчанам как в западном, так и в восточном и южном направлениях. Но в основном их набеги были нацелены на юг и запад. Походы датского конунга Годфреда в самом начале IX в. против славян-ободритов привели его в соприкосновение с Франкской империей, которая достигла при Карле Великом наибольших размеров. Подчинив саксов, Карл стремился распространить свою власть и на ободритов и другие соседние с датчанами славянские племена. Именно в эти годы началась постройка в южной Ютландии Датского вала (восточной его части). Очевидно, Годфред опасался франкского вторжения и спешил принять оборонительные меры. На море он чувствовал себя сильнее.

Начались нападения датского флота на фризское побережье. Высаживавшиеся здесь отряды громили франкские гарнизоны и облагали население данью. Как писал биограф императора Карла Эйнхард, конунг Годфред считал себя господином Германии, фризов, саксов и ободритов и даже похвалялся, что захватит Аахен — главную резиденцию Карла Великого. Пусть франкский историк и сгущает краски, опасность, нависшая над северными областями империи, была вполне реальна. Карлу пришлось возводить приморские укрепления и снаряжать корабли для борьбы против норманнов, разместив их в устьях рек Франции и Германии, впадающих в Северное

⁹ Шаскольский И.Л. Проблемы периодизации истории скандинавских стран. — «Скандинавский сборник», VIII. Таллин, 1964, с. 354—355, 357.

море. Дело касалось не одной лишь безопасности его государства, но и прибыльной торговли, которую вели фризские купцы. В разгар борьбы Годфред погиб от руки собственного дружинника (81 Ог.). Воспользовавшись усобицей между его преемниками, сын Карла Великого, Людовик Благочестивый, перешел в наступление на датчан. Инициатива в войне переходила от одной стороны к другой, ободриты также поддерживали то франков, то датчан, но временно Людовику удалось защитить свои владения от скандинавских пиратов.

К этому моменту относится описание датчан франкским поэтом Эрмольдом Нигеллом. В стихотворении, воспевающим Людовика Благочестивого, Эрмольд говорит о датчанах (или «норманнах», как часто их называют на франкском языке), что это проворные и быстрые люди, ловко обращающиеся с оружием, «плавание по морю — их ремесло». Датчане «красивы лицом, благородны осанкой и ростом велики. Легенда гласит, что от них происходит и франков род». Поэт повествует далее о том, как император послал миссию для обращения датчан в истинную веру. Миссия удалась, и в один прекрасный день на Рейне под Ингельхеймом, где пребывал тогда Людовик Благочестивый, показались сотни кораблей, украшенных белыми, как снег, парусами. На первой ладье стоял датский конунг Харальд, прибывший с родней и дружиной принять крещение. После совершения обрядов крестный отец датского конунга, император Людовик, щедро одарил своего крестника, ставшего его ленником.

Не ясно, в какой мере заслуживает доверия этот рассказ придворного поэта, стремившегося превознести своего господина. Скорее всего крещение было принято датским конунгом лишь с целью получить дары. Нет оснований считать, что датчане действительно стали в то время христианами. Любопытен в этой связи рассказ сен-галленского монаха. Людовик Благочестивый требовал от всех норманнов, прибывавших к нему, принять крещение. Многие из них так и поступали, но истинная причина заключалась в том, что их привлекала возможность получить при крещении одежды и подарки, которые франки давали вновь обращенным. Так, однажды не хватило крещальных одежд для всех, и тогда они стали рвать ткани на куски и делить их между собой. Один из старейших среди них признался: «Я принимал крещение двадцать раз, и всегда получал хорошее платье, но ныне мне дали мешок, подходящий пастуху, но не воину». И он швырнул с этими словами не понравившееся ему одеяние.

Это стихотворение Эрмольда — свидетельство того, что датские конунги в начале IX в. подчас нуждались в поддержке франкского императора. Однако успехи франков в борьбе с северными соседями не могли быть длительными и прочными. Созданная Карлом Великим держава неуклонно близилась к феодальному распаду, внутренняя смута ослабляла императорскую власть. Борьба между Людовиком и его сыновьями открывала перед норманнами благоприятные возможности беспрепятственно нападать на еще недавно столь могущественного соседа.

В 833 и 834 гг. им удалось разграбить важнейший торговый пункт в Северной Европе — Дорестад (в устье Рейна). Наложить руку на богатства этого процветавшего фризского центра торговли и мореходства было давней мечтой викингов, которые с жадностью домогались и чеканивших здесь франкских монет, и товаров, стекавшихся сюда из Англии и Германии, Франкской империи и Северной Европы. Дорестад пережил, однако, датское завоевание и просуществовал еще три десятилетия. В 864 г. он погиб в результате стихийного бедствия: невиданные штормы, сопровождавшиеся огромными наводнениями, затопили обширные районы Фрисландии и Голландии; когда вода спала, эти места оказались покрытыми мощными отложениями песка. Переместилось устье Рейна. Остатки Дорестада и более мелких населенных пунктов были погребены под дюнами...

Между тем датчане продолжали свои разрозненные набеги. Они совершили нападение на остров Вальхерен в устье Шельды, многократно атаковали английские берега. В 841 г. датчане поднялись по Сене почти до самого Парижа. В 842 г. ими был разграблен важный пункт торговли с Англией — Квентовик. В 843 г. они захватили и сожгли другой торговый пункт — Нант. Одновременно норманны

утвердились на островке Нуармутье в устье Луары, откуда могли контролировать франкскую торговлю вином и солью. Так норманны впервые утвердились на франкской территории. Хронист говорит, что то были норвежцы. Возможно, они прибыли сюда из Ирландии.

В 845 г. датчанами был разграблен и сожжен Гамбург. Архиепископ Ансгар бежал вместе с монахами, библиотека его погибла в огне. Одновременно легендарный викинг Рагнар (или Регнар) Лодброг вторгся в Северную Францию и, поднявшись по Сене, захватил Париж. К этому времени внутренняя борьба в империи привела к ее распаду: по Верденскому договору 843 г., она была разделена на три части между сыновьями Людовика Благочестивого. Эти раздоры открывали перед норманнами новые возможности для нападений. Датские и норвежские викинги вновь и вновь нападали на Руан, Париж, Шартр, грабили, жгли, убивали, не встречая серьезного сопротивления. Западнофранкскому королю Карлу Лысому пришлось откупиться от них серебром. Так началось выкачивание предводителями отрядов норманнов «датских денег» из стран Запада. Часть денег давали монастыри, другие собирались в виде налогов с населения, причем взимание этих поборов сопровождалось такими злоупотреблениями со стороны магнатов, что неизвестно, от чего сильнее страдал народ: от сбора «датских денег» или от набегов норманнов¹⁰.

Для походов викингов в первой половине IX в. были характерны именно никак не согласованные между собой набеги отдельных отрядов искателей наживы и приключений, группировавшихся вокруг прославившихся своими подвигами вождей. Таковы были первые два поколения викингов. Но правители Западной Европы оказались не в состоянии отразить даже такие неорганизованные нападения не столь уж многочисленных норманнов. Пораженные легкостью, с которой викинги достигали своих целей, западные хронисты крайне преувеличивали численность воинов и кораблей норманнов и приписывали им все бедствия, испытываемые населением, каковы бы ни были истинные их причины.

О том, что делалось в то время в самой Скандинавии, известно очень немного. Главным источником служит «Житие Ансгара», составленное в 70—80 годы его учеником Римбертом. Хотя житие и написано по шаблону, принятому в то время для агиографических сочинений, в нем содержатся некоторые любопытные сведения. Свою миссионерскую деятельность Ансгар начал в Дании. В Хедебу он основал церковь (раскопки не обнаружили ее следов). Датский конунг пожаловал Ансгару землю для постройки церкви в другом торговом пункте Дании — Риббе. Но, в отличие от Эрмольда, автор жития не говорит, что датчане в своей массе были христианами. Новую веру приняли лишь немногие из них. Путь из Хедебу в шведскую Бирку, куда Ансгар отплыл на торговом корабле, был полон опасностей. На него напали пираты, отнявшие у монаха все его священные книги, привлекавшие их, разумеется, лишь своими роскошными переплетами. Самому Ансгару, подобно другим путникам, пришлось спасать жизнь, прыгнув за борт. Наконец, он добрался до цели путешествия и почувствовал себя вознагражденным за все перенесенные мытарства и опасности хорошим приемом, оказанным ему конунгом Бьерном. Успехи миссии казались папе римскому столь значительными, что после возвращения в Гамбург Ансгар стал архиепископом, и его назначили легатом среди шведов, датчан, славян и всех других народов Прибалтики. Однако вскоре его преемник, действовавший в Бирке, был изгнан, а датский конунг запретил кому-либо из своих подданных переходить в католицизм. После смерти Ансгар был провозглашен святым; в средние века его перевозносили как «апостола Севера», но реальные результаты его христианизаторской деятельности являлись очень скромными и недолговечными. Важно отметить, что миссия Ансгара была связана с торговыми местами в Дании и Швеции: очевидно, лишь среди купцов и других людей, занятых торговлей и поездками в другие страны, церковные проповедники могли в то время рассчитывать на некоторый успех, бонды же оставались чуждыми новой религии.

¹⁰ *Ioranson E. The Danegeld in France. Rock Island, 1924.*

Со второй половины IX в. походы викингов начинают понемногу принимать новую форму. Вожди викингов, по-видимому, стали испытывать потребность объединить свои силы для нападений. Возможно, что их толкало на это усилившееся сопротивление в подвергавшихся нападениям странах. Так, в 851 г. король Уэссекса (в Южной Англии) Этельвульф сумел собрать большую армию англосаксов и нанести серьезное поражение «язычникам» (так обычно называли «Англосаксонская хроника» викингов), которые уже разграбили Кентерберии и Лондон. Вскоре после этого произошло другое событие, не прошедшее бесследно для дальнейших походов викингов: в 854 г. в результате усобиц погибли почти все члены королевского рода в Дании, страна окончательно распалась. Отсутствие политического единства и раздоры в Дании не воспрепятствовали новым походам в другие страны. Напротив, отдельные предводители, хозяйничавшие у себя на родине, более не сдерживались рукой конунга и с новой силой обрушились на Англию и Францию.

Теперь на эти страны нападают более крупные армии датчан. Датские историки пишут даже, что Дания обессилела в походах, поглощавших, по их мнению, значительную часть ее молодежи. Однако никаких достоверных данных о действительной численности этих армий нет. Как уже отмечалось, сообщение западных хронистов об «огромных» войсках викингов внушают серьезнейшие подозрения: в средние века сведения о числе воинов в тех или иных кампаниях, как правило, преувеличивались. Вполне вероятно, что успехи, достигнутые викингами, обеспечивались не их количеством, а мобильностью и превосходством во флоте. Содержание большого войска в тогдашних условиях могло вызвать лишь дополнительные трудности, связанные в первую очередь с его снабжением.

В это время разгорелась борьба за обладание островом Жефосс на Сене (севернее Парижа): Карл Лысый упорно отстаивал его от датских и норвежских викингов. В этом эпизоде войны проявилась одна из коренных причин слабости франков — отсутствие единства, раздоры. В то время как король Карл с помощью своего брата, короля Лотаря, боролся против норманнов, на Францию напал их третий брат — Людовик Немецкий, и Карлу пришлось отступить. Королю Франции не оставалось ничего другого, как нанять за огромную сумму одного из вождей викингов, с тем чтобы он изгнал из Жефосса собственных соплеменников. И впоследствии норманнские предводители часто становились наемниками королей Запада, сражаясь против соотечественников, что, впрочем, не мешало им при случае изменять и своим нанимателям. Операции скандинавов распространяются на северо-западную часть континента — Бретань и далее на западное побережье Франции, вплоть до устья Луары. Здесь орудовали норвежские викинги.

Правители Северной Франции лихорадочно строили укрепления для обороны от усилившихся нападений норманнов. Деревянные и земляные бурги оказались недостаточными и небезопасными, начали возводить каменные башни и стены, укреплять монастыри, строить мосты, с тем чтобы перегородить доступ кораблям викингов в устья рек. Строжайше, под страхом смертной казни, было воспрещено продавать норманнам оружие. Но меры эти не спасали положения. Скандинавы более не довольствуются захватом добычи во время кратких нападений; с середины IX в. они сооружают укрепления в прибрежных районах Франции и Англии и отсюда совершают длительные рейды в глубь страны.

Область по нижнему течению Сены находилась в руках норманнов. «Ни один почти город, ни один монастырь не остались неприкосновенными. Все обращалось в бегство, и редко кто-нибудь говорил: Остановись, окажи сопротивление, защищай свою родину, собственных детей и народ! Не сознавая смысла происходящего и в постоянных раздорах между собой, откупались все деньгами там, где нужно было для защиты применить оружие, и так предавали дело божие». Подобные жалобы часто встречались в хрониках и других сочинениях того времени.

В качестве опорных пунктов для вторжения в Англию викинги первоначально использовали два острова — Тенет, у берегов Кента, и Шеппей, близ устья Темзы. Но после поражения, понесенного ими в 851 г., они выбрали другой путь — через Восточную Англию. Здесь-то в 865 г. и высадилось многочисленное датское войско, состоявшее из отрядов независимых предводителей, именовавших себя конунгами. Датские легенды приписывают руководство этим войском сыновьям Рагнара Лодброга — самого знаменитого датского викинга IX в. У вождей датского войска, очевидно, не было разработанного плана военных действий, но, в отличие от отрядов норманнов, совершавших кратковременные набеги на Англию в предшествующий период и державшихся побережья, это войско двигалось по стране, подвергая разграблению одну область за другой и вынуждая население платить ему дань. В ходе войны обнаружилась способность викингов соблюдать дисциплину и предпринимать согласованные действия. Сначала норманны оккупировали Восточную Англию и в 866 г. захватили Йорк. Датский историк конца XII в. Саксон Грамматик повествует, что сыновья Рагнара Лодброга якобы отомстили королю Нортумбрии за то, что он погубил их отца, попавшего к нему в плен и брошенного им в яму со змеями. Но это — позднейшая легенда. Так или иначе, с независимостью Нортумбрии — королевства на Севере Англии — было покончено.

Вскоре пал от руки норманнов и король Восточной Англии — Эдмунд, через несколько десятилетий провозглашенный церковью святым мучеником. В 870 г. датское войско вторглось в Уэссекс. Хотя дальнейшие военные действия шли с переменным успехом и правителям Уэссекса, братьям Этельреду и Альфреду, удалось нанести поражение противникам, значительная часть их владений была захвачена датчанами. В 871 г., когда после смерти короля Этельреда Альфред вступил на престол, положение страны было отчаянное. Большая часть Англии вместе с Лондоном находилась в руках датчан. Пришлось платить захватчикам большие контрибуции. Насколько тяжелым бременем ложились «датские деньги» на плечи населения, видно из того, что даже церковным прелатам приходилось продавать свои владения, чтобы расплатиться. Угроза для всей Англии оставалась огромной.

В 874 г. датское войско распалось на две самостоятельные части. Часть завоевателей стала делить между собой земли Нортумбрии, намереваясь, очевидно, обосноваться в ней навсегда. По словам автора «Англосаксонской хроники», вождь датчан Хальвдан «поделил земли Нортумбрии, и с этого времени его люди пахали и возделывали поля». Нападающие обрушились и с севера на суше, и с юга и востока со стороны моря. Альфреду с его отрядами пришлось укрываться в лесах западной части своих владений. И все-таки англосаксам удалось нанести поражение датчанам в 878 г. при Эдингтоне, в Уилтшире. Их предводитель Гутрум обязался покинуть пределы Уэссекса и принять крещение вместе со своими главными сподвижниками. Язычник Гутрум стал католиком Этельстаном. Но мир сохранялся недолго. Лишь один Уэссекс сохранял свою независимость, другие англосаксонские королевства оставались в руках датчан. Победа англосаксов не избавила Уэссекс от опасности. В том же году в устье Темзы прибыл новый флот с большим войском норманнов. Его так и называли — «великое войско». Часть его вскоре отплыла на континент и высадилась в нижнем течении Шельды.

Осадой Гента началось тринадцатилетнее хозяйничанье норманнов во Фландрии и примыкающих областях Франции, на Рейне и Мозеле. Хронист, рассказывая о бедствиях, обрушившихся на население, восклицает: «Отчаяние охватило франков: казалось, что христианскому народу пришел конец». Правда, в 881 г. сыну Карла Лысого, Карлу Заике, удалось нанести поражение викингам на Сомме. Однако норманны согласились снять осаду Парижа только после уплаты им контрибуции. Местность вокруг Парижа была опустошена. Лишь в 892 г. «великое

войско» покинуло берега континента: но прогнали его не франки, а голод и болезни. Франция получила краткую передышку. Викинги отплыли в Англию.

Тем временем земли восточных районов Англии, так же, как ранее в Нортумбрии, начали заселяться скандинавами. Эти районы впоследствии получили название Денло — области датского права. Завоеватели вводили в этой части Англии порядки, существовавшие у них на родине. Началась колонизация скандинавами и некоторых районов Северной Франции.

Альфред взял на себя руководство всеми англосаксами, не подвластными захватчикам. В 886 г. ему удалось освободить Лондон. Вероятно, к этому времени относится договор, который он заключил с Гутрумом. Была определена граница между владениями Альфреда и областями, подчиненными датчанам. Восточная и большая часть Центральной Англии, а также Эссекс признавались сферой господства датчан; линия размежевания в основном шла по Темзе. Договор определял положение англосаксов, подчиненных Гутруму: простые крестьяне, сидевшие на землях лордов, были приравнены по своему статусу к скандинавским вольноотпущенникам, тогда как англосаксонская знать должна была иметь такие же личные права, как и все датские поселенцы в Англии. В Восточной Англии жило уже значительное количество скандинавов. Это были датские, в меньшей мере норвежские бонды — воины и земледельцы одновременно. Однако англосаксонское население не было изгнано из этих районов. Опорными центрами скандинавов в Денло являлись пять укрепленных районов — Линкольн, Стэмфорд, Лейстер, Ноттингем и Дерби. Весь район расположения этих крепостей так и стал называться «Пять бургов».

Договор с Альфредом был заключен Гутрумом от имени датчан, оккупировавших Восточную Англию. Однако он не касался жителей независимых скандинавских (в большей мере норвежских) поселений на северо-востоке, в Нортумбрии.

Когда же в 892 г. большое датское войско, грабившее до этого времени Францию, переправилось в Англию, по сообщению хронистов, на 250 кораблях, его поддерживали датчане из восточных областей и Нортумбрии. Альфреду пришлось предпринять ряд мер для того, чтобы спасти положение. Ополчения графств, составлявшиеся преимущественно из крестьян, отвыкших от употребления оружия и поглощенных сельским трудом, не хотели сражаться за пределами своего района. Тогда Альфред решился на некоторые преобразования. Созывая половину ополченцев и позволяя остальным заниматься своим хозяйством, он смог дольше использовать Войско. Кроме того, Альфред приступил к сооружению целой системы укреплений из дерева и земли. В них размещались гарнизоны. Заботы об их содержании и пополнении возлагались на местное население, и без того истощенное войнами, датскими поборами и гнетом феодальных землевладельцев. По приказу Альфреда был построен флот. Он состоял из кораблей, которые по размерам превосходили норманнские суда.

В результате всех этих мер новое нашествие викингов было в конце концов отражено, причем англосаксы иногда даже переходили в наступление. Так, в упорных битвах против захватчиков закладывались основы политического объединения Англии под властью уэссекских королей. Однако в Восточной Англии и в Нортумбрии скандинавы засели прочно. Таково было положение к 899 г., когда умер король Альфред.

В то время как датчане грабили и завоевывали Восточную и Северо-Восточную Англию и подвергали опустошениям Северную Францию, норвежские викинги продолжали свои пиратские экспедиции по пути, шедшему от островных баз Северной Атлантики через Ирландию и Ирландское море к западным берегам Франции и далее на юг — к арабской Испании и даже в Средиземное море. Первая их

попытка высадиться на побережье Галисии в 844 г. не удалась. Однако норманны подвергли разграблению Лиссабон, Кадис и Севилью. Арабский историк аль-Якуб пишет о нападении на Севилью норманнов, называемых им маджус — неверными, язычниками, огнепоклонниками. «Аль-маджус, которые зовутся ар-рус, ворвались туда, захватывали пленных, грабили, жгли и убивали»¹¹. «Море, казалось, заполнили темные птицы, — пишет другой арабский хронист, — сердца же наполнились страхом и мукою»¹². Однако значительная часть флота викингов была уничтожена в результате последовавших вскоре нападений со стороны арабов. Захваченных при этом викингов в большом числе повесили в Севилье на пальмах. Двести отрубленных голов норманнов, в том числе голову их предводителя, арабский эмир Абдаррахман послал своим союзникам в Северную Африку в доказательство того, что Аллах уничтожил свирепых маджус в отместку за их злодеяния. Память о понесенном викингами поражении в течение полутора десятков лет удерживала их от повторной экспедиции в арабские воды.

Но отношения между арабами и норманнами в тот период были не только враждебными. Один из арабских историков рассказывает о посольстве, направленном в середине IX в. из Испании Абдаррахманом II к конунгу Аль-маджус в ответ на датское посольство. Во главе арабской миссии стоял придворный поэт Аль-Газал. Конунг хорошо принял его. Аль-Газал рассказывал, что, когда ему предстояла аудиенция у датского государя, он поставил условием, что арабы не будут падать перед конунгом ниц, на что было дано согласие. Однако, придя к палатам конунга, Аль-Газал увидел, что вход в них очень низкий, так что поневоле пришлось бы склонять голову. Посол вообразил, что это сделано умышленно для встречи с ним, и, чтобы избежать унижения, уселся на землю ногами вперед и в такой позе, с поднятой сверху головой полз в зал, после чего встал перед конунгом. Обменявшись с ним речами, он передал послание эмира и подарки, которым конунг был очень рад. Наибольшее впечатление на арабского посланца произвела красота жены конунга. По его словам, поэт проводил с ней много времени. Его опасения ревности со стороны конунга были рассеяны самой женой, сообщившей, что женщины у датчан свободны и могут расторгнуть брак по собственному желанию. Вдохновленный красотой датчанки, Аль-Газал посвятил ей любовные стихи. К сожалению, увлечение, пережитое им при датском дворе, помешало Аль-Газалу увидеть в Дании что-нибудь достопримечательное, помимо красивой женщины.

В 859 г. из Бретани на юг вышел новый норвежский флот из 62 кораблей. Красные паруса викингов появились в водах Западного Средиземноморья, у берегов Испании, Балеарских островов, Марокко и в устье Роны и даже поднялись по ее течению на 260 км. В 860 г. норвежцы разграбили Пизу (Северная Италия). Их вождь Хастинг мечтал о захвате Рима, и «Хроника Нормандии» повествует (по-видимому, не без прикрас) о том, как он «осуществил» свое желание.

Остановившись у одного из итальянских приморских городов, поразившего воображение викингов своими размерами и красотой, они без колебаний посчитали его Римом и осадили его, ожидая богатой добычи и славы. Однако город был хорошо укреплен, и жители его отчаянно сопротивлялись. Тогда норвежцы прибегли к хитрости и направили в город послов с известием о внезапной смерти их вождя, перешедшего якобы перед кончиной в христианскую веру. Северные воины просили епископа осажденного города совершить погребальную службу над телом новообращенного Хастинга. С разрешения епископа гроб с телом хавдинга в сопровождении его свиты был внесен в городской собор. Но перед самым погребением мнимый покойник выскочил из гроба и убил епископа. Воспользовавшись всеобщим смятением, викинги подвергли город опустошению, а жителей его — избиению. Но каково было их разочарование, когда они узнали, что

¹¹ *Melvinger A. Les premieres incursions des Vikings en Occident d'apres des sources arabes, p. 44—45.*

¹² Там же.

их добычей стал не «вечный город», а заштатный городишко Луна! В гневе, обманутый в своих надеждах, Хастинг велел сжечь город.

Этот рассказ, центральный эпизод которого несколько напоминает историю с троянским конем, возможно, не во всем достоверен, но современные исследователи не сомневаются в том, что за ним скрываются некоторые подлинные факты. Норманны не имели тогда познаний в географии Средиземноморья. В 862 г. норвежская экспедиция с богатой добычей возвратилась в Ирландию. В течение целого века мы не слышим о набегах норманнов в Юго-Западную Европу. Арабский флот отличался высокой боеспособностью, военное могущество арабских правителей было достаточно велико, чтобы держать викингов в отдалении от своих владений.

Примерно к концу IX в. относится обнаруженное археологами погребение викинга на острове Иль де Груз, у южного побережья Бретани. В кургане найдена могила с оружием, остатками ладьи, щитами, утварью, одеждами, шахматными фигурками и игральными костями. Прах покойного был насыпан в железный сосуд. Часть вещей напоминает находки, сделанные в Ирландии, и поэтому вполне возможно, что именно оттуда прибыл этот хавдинг в Бретань.

В конце IX в. началась и колонизация Исландии. На этот пустынный остров, где жили лишь немногочисленные ирландские отшельники, норвежские мореплаватели наталкивались в течение IX в. несколько раз. Норвежец Наддодд назвал остров «Страной снегов», швед Гардар, посетивший его несколько позже, дал ему имя Гардарсхольм. Вскоре, однако, за островом закрепилось нынешнее его название — «страна льдов». Впервые его так назвал норвежец Флоки Вильгердарсон. Но природные условия Исландии не показались суровыми первооткрывателям. Их привлекали удобные для поселения прибрежные долины, богатые травой луга, обилие рыбы в море. Заселение Исландии началось около 874 г. Первым поселенцем был Ингольф Арнарсон. Норвегию ему пришлось покинуть из-за совершенного его братом убийства. Ингольф обосновался на юго-западном берегу острова, вблизи горячих источников — в Рейкьявике.

Колонисты приплывали в Исландию преимущественно из Норвегии. Но немало переселенцев прибыло и из норвежских владений в Ирландии и Шотландии, как скандинавов, так и кельтов или людей смешанного кель-тско-норманнского происхождения. Через 60 лет, к 930 г., все удобные земли Исландии были заселены. Всего на острове обосновалось более 400 хозяев. Селились они только вблизи моря. Негостеприимные внутренние горные районы остались пустынными и безлюдными.

Ведущую роль в заселении острова играла знать. Норвежские морские конунги, ярлы, херсиры вместе с многочисленными домочадцами, сородичами, друзьями, рабами и вольноотпущенниками на собственных кораблях отплывали в Исландию, где занимали обширные пространства. Согласно «Книге о заселении Исландии», каждый мог занять столько земли, сколько он был в состоянии обойти за один день с горящим факелом в руке, зажигая на границе своего владения костры. Женщине разрешалось присвоить земельное пространство, которое она обошла между восходом и заходом солнца, ведя на поводу корову. К хавдингам приезжали затем другие переселенцы, среди которых они распределяли земли.

Вопрос о причинах массовой эмиграции норвежцев в Исландию (в источниках говорится даже о запустении отдельных районов Норвегии) долгое время был предметом научных споров. В исландских сагах XIII в., повествующих преимущественно о знати и наиболее богатых бондах, указывается, как правило, на вражду между родовитыми людьми Норвегии и ее первым объединителем — конунгом Харальдом Прекрасноволосым. Не желая подчиниться власти Харальда и отказаться тем самым от своих вольностей и независимого положения, часть знати вынуждена была эмигрировать из Норвегии. Такую точку зрения разделяли и историки вплоть до начала XX в. Однако затем выяснились два обстоятельства,

внесшие в эти споры существенные поправки. Во-первых, уточнение хронологии истории Норвегии в IX и X вв. привело к выводу, что объединение страны конунгом Харальдом началось позднее, чем колонизация Исландии. В частности, решающая битва между Харальдом и его противниками в Хаврсфьорде (в Юго-Западной Норвегии), после которой действительно многим из родовитых и могущественных людей пришлось спешно бежать из страны, произошла не около 870 г., как считалось ранее, а незадолго до 900 г. Следовательно, не существовало прямой связи между переселениями в Исландию и политическими коллизиями в Норвегии. Во-вторых, установлено, что исландские саги в очень большой мере пронизаны враждебным отношением исландцев XIII в. к норвежским королям, стремившимся покорить Исландию. Вследствие этого авторы саг переносили свой недоброжелательный взгляд на норвежских государей в прошлое. Заселение Исландии оказывалось в изображении саг результатом борьбы свободолюбивых бондов против тирании конунга Харальда. Поэтому полностью доверять сообщениям саг нельзя.

Несомненно, что многие из знатных людей действительно уезжали в Исландию, не желая подчиниться власти норвежского конунга. Но крестьянская колонизация Исландии из Норвегии, а равно и переселения сюда из Ирландии и Шотландии, объясняются более прозаическими причинами: в первую очередь, потребностью бондов в новых землях.

Колонизация носила мирный характер: завоевывать остров не приходилось, ирландские монахи покинули его уже в начале переселений, не желая жить с язычниками; земли поначалу было достаточно. Складывавшееся в процессе колонизации исландское общество состояло из сравнительно обособленных друг от друга небольших мирков — соседств, во главе которых стояли влиятельные и родовитые первопоселенцы. Как и на родине, в Норвегии, они контролировали здесь общественную жизнь, культ и право в своей местности. Основными занятиями исландцев были скотоводство, рыбная ловля, охота на морского зверя, в меньшей мере — земледелие. Но многие исландские бонды, и в особенности знатные хавдинги, принимали участие в походах.

В 930 г., когда в основном завершилось заселение Исландии, было учреждено общее для всего населения острова собрание — альтинг — и приняты первые законы (по норвежскому образцу). Письменности у скандинавов еще не было, и закон приходилось хранить в памяти и излагать его содержание на альтинге. С этой целью жители учредили выборную должность законоговорителя. Альтинг сделался не только судебным и законодательным центром Исландии, но и местом общения разбросанно живших островитян, центром их культурной жизни. Остров был поделен в судебном отношении на «четверти» — области, в каждую из которых в свою очередь входили по три тинговых округа. Управление в округах сосредоточивалось в руках наиболее влиятельных и богатых хавдингов, именовавшихся годи. Годи был жрецом и руководителем местного тинга.

Таким образом, в Исландии эпохи викингов не сложилось государственной власти. Процессы классообразования, начавшиеся в то время в скандинавских странах, шли в Исландии особенно медленно. Основную массу населения составляли свободные бонды, имевшие рабов и вольноотпущенников. Исландская знать не превратилась в господствующий класс. Ее общественное влияние уходило своими корнями в общинно-родовые традиции. В специфических островных условиях, при незначительной роли земледелия, в Исландии надолго сохранились архаические доклассовые порядки.

В 80-е годы X в. норвежцами и исландцами была открыта Гренландия. Первооткрыватель ее, Эйрик Рыжий, покинул Исландию по той же причине, по какой его отец в свое время бежал из Норвегии: он совершил убийство и был поставлен вне закона. Тогда он решил отправиться в плавание на запад, где, как рассказывали,

лежала неведомая земля. Так и была открыта Гренландия. Эйрику понравились плодородные долины, поросшие прекрасной травой, обилие рыбы, моржей и тюленей в море. Возвратившись в Исландию после плавания на расстояние в общей сложности в 4,5 тыс. км, он, чтобы привлечь новых колонистов, дал название новооткрытому острову «Зеленая земля». Нехватка земель, чувствовавшаяся уже в то время в Исландии, толкнула часть ее жителей к переселению в Гренландию, природные условия которой были близки к исландским. Постепенно сложились Восточное и Западное поселения. В этих местностях археологами обнаружены остатки примерно трехсот дворов первопоселенцев (скандинавские поселения в Гренландии запустели в XIV в.)¹³.

Скандинавские мореплаватели, продвинувшись так далеко на запад, приблизились к неведомой им Америке. Их плаваниям на запад благоприятствовали попутные течения. Естественно, что в конце X в. они открыли и Америку.

Вкратце история этого открытия, излагаемая в исландских сагах, такова. Около 986 г. Бьярни Херьюльфссон во время плавания из Исландии в Гренландию сбился с курса. Заплыв далеко на запад, он видел земли, хотя и не пристал к ним. Соотечественники осуждали его впоследствии за отсутствие предприимчивости и любознательности. Через несколько лет сын гренландского первопоселенца Эйрика Рыжего, Лейф, на том же корабле, на котором плавал Бьярни, отплыл на поиски этих земель. После долгого плавания он обнаружил землю, которую наименовал Хеллюланд — «Страна плоских камней». Затем Лейф открыл поросшую лесом землю, соответственно названную им Маркланд («Лесная земля»). Еще после двух дней плавания он достиг земли, которую назвал Винландом. В позднейших сагах говорится, что название было дано потому, что путешественники нашли здесь дикий виноград. Мнение некоторых ученых, что Винландом землю назвали из-за ее лугов (луг по-древнеисландски — *vin*), несостоятельно. У Лейфа и его спутников сложилось убеждение, что страна эта хороша для поселений и плодородна. В местности, названной ими Лейфсбудир, они построили большой дом и остановились на зимовку. Так гласит «Сага о гренландцах»; согласно «Саге об Эйрике Рыжем», Лейф открыл лишь Винланд. Следующей весной экспедиция вернулась в Гренландию.

После этого плавания Лейфа прозвали «Счастливым». Сага рассказывает далее, что брат Лейфа Торвальд также возглавлял экспедицию, плававшую на запад, и погиб в стычке с туземцами — скрелингами. Следующую поездку, уже на трех кораблях, в Добрый Винланд совершил купец и мореплаватель Торфинн Карлсефни. Видимо, в его планы входила колонизация новых земель: в числе его спутников были женщины, захватил он с собой и домашних животных. «Сага об Эйрике Рыжем» приписывает Торфинну открытие Хеллюланда и Маркланда. В Винланде, которого достиг Торфинн, у него родился сын по имени Снорри, первый исландец, родившийся в Новом Свете. Спутники Торфинна встретились с туземцами. По описанию исландцев, то были уродливые, широкоскулые и смуглые люди, с некрасивыми прическами и большими глазами. С ними удалось вступить в мирные сношения: на красивые одежды и молоко (неизвестное до того туземцам) пришельцы выменивали меха и шкуры. Однако, как повествует сага, рев быка, принадлежавшего Карлсефни, напугал скрелингов, и они бежали прочь на своих кожаных лодках — каное. Вскоре между гренландцами и скрелингами произошла стычка, с обеих сторон были жертвы. Помимо луков со стрелами туземцы были вооружены пращами и каменными топорами. Железного оружия они не имели.

Исландцам понравились вновь открытые земли, их климат и плодородие. Но от мысли прочно осесть здесь им пришлось отказаться. Очевидно, помимо угрозы

¹³ *Ingstad H. Landet under leidarstjenien. En ferd til Granlands norrane bygder. Oslo, 1959.*

нападения скрелингов на их решение вернуться домой повлияло и то, что колонисты не смогли жить дружно и передрались из-за женщин. Возвращаясь в Гренландию, они захватили с собою двух молодых скрелингов, которых обучили исландскому языку и крестили. Те якобы рассказывали (гласит «Сага об Эйрике Рыжем»), что скрелинги живут не в домах, а в ямах и пещерах, а правят ими конунги. Против их земли расположена другая страна, населенная людьми, которые носят белые одежды, украшенные лентами. Далее «Сага о гренландцах» повествует о дочери Эйрика Рыжего Фрейдис, на двух кораблях плававшей в Винланд в сопровождении исландцев Хельги и Финнбоги. Зимовала она в доме, сооруженном еще Лейфом, а Финнбоги и Хельги построили свое жилище. Раздоры между участниками экспедиции закончились тем, что Фрейдис собственными руками умертвила Финнбоги и Хельги, а также всех женщин, их сопровождавших, после чего возвратилась в Гренландию.

Многие исследователи ныне не разделяют ранее существовавших в науке сомнений в достоверности этих саг. Гренландцы и исландцы на рубеже X и XI вв., по-видимому, достигли берегов Северной Америки. В Западной Гренландии был найден индейский наконечник от стрелы. Трудности представляет локализация открытых территорий. Издавна шли споры о том, где именно в Америке побывали скандинавы. Обычно называют Баффинову землю (Хеллюланд), Лабрадор (Маркланд) и Ньюфаундленд (Винланд). Однако некоторые ученые высказывали мысль о том, что высадка гренландцев совершалась гораздо южнее — в районе нынешнего Бостона. Судя по имеющимся данным, скандинавы не создали в Новом Свете постоянных поселений, возможно, потому, что встретили там сопротивление туземцев. Кроме того, новооткрытые земли были отделены от их родины слишком большими расстояниями.

Последние исследования норвежских археологов на острове Ньюфаундленд, по-видимому, подтверждают истинность сообщений саг. В северной части острова найдены остатки построек того типа, который характерен для скандинавских домов эпохи викингов. Один из домов был особенно крупным и имел зал в пять других помещений. Обнаружены также следы кузницы. Раскопавший поселок Ингстад полагает, что он был основан Лейфом Счастливым¹⁴. Если это так, он еще раз оправдал прозвище! Ведь в таком случае Лейфу посчастливилось опередить Колумба на полтысячелетия¹⁵!

¹⁴ Радиоактивный анализ древесного угля позволил наметить следующие даты: около 860 г. (плюс — минус 90 лет) и около 1000 г. (плюс — минус 70 лет). Возможно, что сожженные обитателями поселка деревья погибли намного раньше того времени, когда их бросили в очаг. Из вещей найдена лишь одна: пряслице — ролик веретена, аналогичный норвежским. Ingstad H. Vinland Ruins Prove Vikings Found the New World. — «National Geographic», v. 126, № 5, November 1964. Нужно, однако, сказать, что остаются сомнения в правильности идентификации Винланда с Ньюфаундлендом и нет определенности относительно времени, когда существовало это поселение. См. Коган М.А. Виндланд найден? Новые данные о норманнах в Америке. — «Известия всесоюзного географического общества», т. 97, 1965, с. 472. Хотелось бы, в частности, отметить одно обстоятельство, которого Х. Ингстад не учел. В идентификации им Ньюфаундленда с Винландом немалую роль играет то соображение, что название Винланд надо расшифровывать якобы не как «страна винограда», а как «страна лугов» (vin от древнейшего winja, «пастище»). Местность на Ньюфаундленде, в которой открыты дома норманнов, носит название мыса Медоу (англ. Луговой), и в этом склонны видеть «многовековую традицию», восходящую к Лейфу и его спутникам. Но термин vin (win) утратил указанное значение в древнорвежском языке задолго до 1000 г., и все населенные пункты в Скандинавии, имеющие в своих названиях этот корень (их известно около тысячи), возникли в первой половине I тысячелетия н.э. Следовательно, Винланд исландских саг, несомненно, «страна винограда», а не «страна лугов». Ингстад в этом отношении заблуждается.

¹⁵ Осенью 1965 г. в Йельском университете (Нью-Хейвен, США) была опубликована географическая карта XV в., подлинность которой удостоверяют несколько исследовавших ее специалистов (нам о ней известно лишь из периодической печати). Как сообщают, карта датируется 1440 г. и была составлена в Базеле. Она представляет собой копию более древней карты. Широкое внимание, привлеченное к этой

публикации (см., например, «Кто же открыл Америку?» — «За рубежом», № 46, 1965, с. 24—26), объясняется тем, что на карте, составленной за полвека до экспедиции Колумба, обозначен, наряду с Гренландией, Винланд, а также имеется надпись, сообщающая о посещении Винланда епископом Гренландии Эриком Гнупссоном. Об Эрике до сих пор было известно, что он в 1121 г. отплыл на поиски западных островов, но ничего не говорилось о достижении им Винланда и вообще о его дальнейшей судьбе. Однако относительно подлинности новонайденной карты в науке высказываются серьезные сомнения. В любом случае эта карта, представляющая интерес для оценки предыстории экспедиции Колумба, не произведет переворота в наших знаниях о скандинавских открытиях в Америке на рубеже X и XI вв.

Конунги. Королевства

Во всех скандинавских странах в IX—X вв. происходило разложение доклассовых родовых порядков, складывались предпосылки феодального строя. Экспансия норманнов — отчасти порождение социально-экономического развития Скандинавии; с другой стороны, в большой мере она оказала свое воздействие на генезис классового общества на севере Европы. Но в политической истории отдельных стран Севера в тот период существовали большие различия.

Как мы уже знаем, при Харальде Прекрасноволосом началось объединение до того обособленных областей, фюльков (fylki, буквально «племя», «народ»). Завоевывая одну область за другой и добиваясь либо подчинения, либо изгнания местной знати, Харальд создавал свое королевство. Наибольшим влиянием он пользовался в Западной Норвегии, где находились его личные владения. Королевство Харальда сохраняло немало черт племенного союза, но со временем, при преемниках его, стало превращаться в государственное образование. Те родовитые люди, которые изъявили покорность Харальду, сделались его наместниками, других конунг заменил верными себе людьми. Викингов он обуздывал и, по свидетельству саг, даже совершил экспедицию против островных баз викингов в Северной Атлантике. Единство Норвегии в первой половине X в. в немалой мере еще было эфемерным: враждовали между собой сыновья Харальда, правившие в отдельных областях, обособленность которых не могла быть легко преодолена. Непосредственной опорой конунга оставалась еще дружина, включавшая в себя его приверженцев.

После смерти Харальда Прекрасноволосого (около 940 г.) правление Норвегией перешло к его сыну, Эйрику Кровавой Секире, получившему свое прозвище за убийство нескольких братьев. Но это был более викинг, чем государь, и внутри Норвегии он держал себя приблизительно так же, как и во время набегов на другие страны. В жены себе он взял Гун-нхильду, дочь датского конунга Горма Старого. Исландский скальд Эгиль Скаллагримссон, смертельный враг Эйрика, называет его губителем народа, нарушителем законов и братоубийцей, а его супругу винит в том, что она подстрекала Эйрика на злодеяния. Насколько справедливы эти обвинения, судить трудно. Но через несколько лет Эйрик был изгнан из своего королевства. Его место занял младший сын Харальда Прекрасноволосого — Хакон, воспитанный при дворе английского короля Этельстана.

В противоположность Эйрику, Хакон заслужил в народе прозвище Доброго за то, что отказался от взимания поборов, введенных Харальдом. При нем были учреждены новые судебные собрания в областях, предусмотрено содержание судебныхников. Хакон придал более организованную форму ополчению, которое было призвано оборонять побережье Норвегии: от каждого приморского фюлька должно было выставляться определенное число боевых кораблей с командой из местных жителей. Попытки Хакона распространить в Норвегии христианство натолкнулись на сопротивление бондов Трандхейма (Северо-Западная Норвегия), упорно державшихся старых богов и обрядов и вынудивших конунга принимать в них участие. Хакону даже приходилось скрывать от подданных то, что в Англии он перешел в новую веру.

Хакон погиб в борьбе против сыновей Эйрика Кровавой Секиры, и один из них — Харальд Серый Плащ — стал конунгом Норвегии. В сагах сохранилась недобрая память о сыновьях Эйрика. Вину за неурожаи и голод, свирепствовавшие в Норвегии в то время, авторы саг возлагали на этих непопулярных в народе правителей. Это объясняется, очевидно, тем, что, проводя политику укрепления своей власти, они не останавливались перед жестокостью и не щадили знатных людей.

Дания между тем переживала время политического упадка. В 90-е годы IX в. датчане потерпели сильные поражения в Бретани и во Фландрии и оказались не в

состоянии успешно сопротивляться нападению шведов. Шведский конунг Олаф захватил южную часть Ютландии, он и его преемники на несколько десятилетий утвердились в Хедебю и прилегающих областях. Возможно, что шведские викинги при этом стремились к захвату важных торговых путей, связывавших Хедебю с Биркой и Балтику с Северным морем. Владычество шведов в Южной Дании длилось до середины 30-х годов X в. В 934 г. германский король Генрих Птицелов нанес поражение шведскому предводителю Гнупе и вынудил его принять крещение. Вскоре после этого шведы потеряли Хедебю.

Внутренние неурядицы в Дании и Норвегии разворачивались на фоне непрерывавшейся активности викингов в других странах. К концу IX в. нападения норманнов на Северную Францию приобрели особенно опасный характер. В 885 г. в районе Сены появилось большое войско. Сопровождавший его флот насчитывал, по оценке современников, до 700 одних лишь крупных кораблей. Под Парижем собралось якобы 30—40 тыс. норманнов, часть которых пришла сюда вместе со своими семьями. Целью этого нашествия, масштабы которого крайне преувеличены, был, очевидно, захват земель для расселения. Защитники Парижа упорно сопротивлялись. Во главе его гарнизона стоял граф Одо. Норманны применили осадные машины, но не смогли прорваться в город ни с суши, ни по Сене. Лишь на следующий год французский король Карл Толстый подступил с войском к Парижу, чтобы оказать помощь осажденным. Норманны взяли выкуп, но вместе с тем получили возможность двинуться дальше вверх по Сене. Одним из последствий этого события явилось низложение в 887 г. обнаружившего свою неспособность Карла Толстого и избрание на французский престол Одо, храброго защитника Парижа.

На рубеже IX и X вв. войско норманнов, действовавшее в Северной Франции, распалось. Одному из их отрядов удалось обосноваться на полуострове Котантен. Его предводитель Роллон, по французским источникам датчанин, по исландским сагам — норвежец (по имени Рольф), получил в 911 г. эту часть Франции в лен от французского короля Карла Простоватого. С этого времени Роллон формально стал считаться его вассалом-герцогом, обязанным верностью королю, и должен был защищать страну от нападений викингов. Фактически же новообразованное герцогство было совершенно независимо от слабых западнофранкских государей, как и от датских конунгов. Роллон действительно оборонял Северную Францию от набегов своих соплеменников, но делал это, исходя исключительно из собственных интересов, и, когда это ему казалось нужным, нарушал вассальную присягу.

Скандинавы сразу же приступили к заселению полуострова. Воины получали земельные владения по обоим берегам Сены, вплоть до Пикардии на востоке и Бретани на западе. Судя по географическим названиям с типичными скандинавскими корнями и окончаниями, здесь расселилось значительное количество датчан и норвежцев. Не случайно это герцогство стало называться Нормандией. Со временем пришельцы с Севера смешались с местным населением. На их общественные порядки оказали большое влияние феодальные отношения, уже сложившиеся в основном в Северной Франции к моменту создания герцогства. В конце XI в. историк Адемар говорил, что все норманны позабыли свой родной язык и говорили только на романском (т.е. на старофранцузском). Разрыв новых жителей Северной Франции с традициями викингов ознаменовался, в частности, тем, что уже в 912 г. Роллон и его сподвижники приняли крещение. Но политические порядки, сложившиеся в Нормандии, оказались весьма устойчивыми. В X и XI вв., когда французское государство раздиралось усобицами и короли были бессильны их обуздать и даже подчас с трудом удерживали престол, герцоги Нормандии твердо правили своими подданными.

Как уже говорилось, положение норвежцев Ирландии после того, как в 901 г. они потеряли Дублин, сильно пошатнулось. Кроме того, к началу X в. довольно далеко зашел процесс смешения осевших на острове скандинавов с ирландцами¹. Ирландский анналист пишет об этом времени: «В каждом округе был норвежский конунг, в каждом клане — хавдинг, в каждой церкви — аббат, в каждой деревне — судья, в каждом доме — воин». Норвежцы приняли христианство, а один из их правителей того времени даже постригся в монахи. Но освободительная борьба ирландцев против норвежских конунгов продолжалась. В 980 г. норвежцы потерпели новое сильное поражение. Ирландский вождь Бору Бриан объединил вокруг себя всю южную часть страны. 23 апреля 1014 г. при Клонтарфе (севернее Дублина) произошла решающая битва. Несмотря на гибель Бору Бриана, ирландцы разбили норвежцев. Однако в среде победителей тут же начались раздоры, и объединения Ирландии не произошло. Скандинавы не были изгнаны с острова. Напротив, сюда приплывали новые корабли с переселенцами. Между Ирландией и странами Севера по-прежнему процветала торговля.

В Англии нажим скандинавских завоевателей на местное население, столь сильный в предшествовавшие десятилетия, на рубеже IX и X вв. также ослабел. Как и в Ирландии, завоеватели, не расставаясь с оружием, постепенно переходили к мирной жизни. И здесь началась христианизация, связанная с отказом от привычного для скандинавов мира представлений и норм поведения, с утратой духовного контакта с остававшейся еще языческой родиной. Но, в отличие от герцогства Нормандии, в Восточной Англии не сложилось единого государственного образования скандинавов: области «датского права» распадалась на отдельные самоуправляющиеся районы, во главе которых стояли самостоятельные предводители, именовавшиеся ярлами или конунгами. Они могли объединяться для проведения совместной военной кампании против англосаксов, но политически скандинавские поселения в Англии оставались разрозненными. Поскольку же в войне против датского нашествия неизбежно происходило сплочение англосаксов, то соотношение сил в борьбе, столь неблагоприятное для местного населения в IX в., стало изменяться в пользу правителей Уэссекса.

Мы уже знаем, что важные сдвиги в этом направлении наметились при короле Альфреде. Полностью результаты начатых им военных преобразований сказались в начале X в., когда часть датских колоний в Восточной Англии признала власть уэссекского короля. Немалое число скандинавских вождей поступило к нему на службу. Многочисленные крепости, построенные в отвоеванных у датчан графствах, с размещенными в них гарнизонами и связанные с местными ополчениями, предохраняли эти районы от новых неожиданных захватов. Сохранившиеся от этого времени документы, которые скрепляли сделки о купле-продаже земли, заключенные между датчанами и англосаксами, — свидетельство мирных отношений между обоими народами.

Уэссекским королям удалось нанести в 910 г. сильное поражение датчанам, захватившим Нортумбрию. Тем самым, казалось бы, они обезопасили себя и со стороны северо-востока. Однако ослабленные этим разгромом датские вожди в Нортумбрии оказались не в состоянии противиться новым нападениям извне, и в 919 г. явившиеся из Ирландии норвежцы основали новое королевство с центром в Йорке. Это событие заставило всех других, остававшихся до того независимыми правителей искать защиты и поддержки у короля Уэссекса Эдуарда. Его преемник, Этельстан, захватил и Йорк, распространив тем самым свою власть на всю Англию. Вторжение норвежских правителей Ирландии в Англию было отбито (937 г.). Согласно поэме, посвященной этой битве («Битва при Бруннбурге»), среди погибших норвежских

¹ Viking Antiquities in Great Britain and Ireland. Pt. III. Oslo, 1940.

викингов было пять конунгов, а верховный их вождь Олаф с трудом спасся, бежав в Ирландию. В последующие годы (после смерти Этельстана) норвежцам временно удалось вернуть себе Йорк и другие территории на севере Англии, но к середине 40-х годов они были вновь изгнаны. Воюя с норвежскими викингами из Ирландии, Этельстан в то же время установил дружественные связи с конунгом Норвегии Харальдом Прекрасноволосым. Борьба с разбоем викингов объединяла интересы правителей Англии и Норвегии. Харальд Норвежский прислал Этельстану в подарок богато украшенный корабль под пурпурным парусом. Более того, при дворе Этельстана, как мы знаем, воспитывался сын конунга Харальда — Хакон (будущий норвежский конунг Хакон Добрый).

Отношения между английскими и норвежскими государями изменились, однако, после смерти Харальда Прекрасноволосого. Когда его сын, Эйрик Кровавая Секира, был изгнан из Норвегии сторонниками Хакона — воспитанника Этельстана, он объявился в Нортумбрии. Местные скандинавские поселенцы увидели в нем вождя, способного восстановить их независимость от королей Англии. Провозглашение Эйрика конунгом Йорка привело к войне с королем Англии и викингами Ирландии. В результате Эйрик был изгнан, но затем вновь возвратился в Нортумбрию.

О его правлении осталось мало достоверных сведений. Но сохранилась хвалебная песнь, сочиненная в его честь Эгилем Скаллагримссоном. Корабль Эгиля, давнего кровного врага Эйрика, был выброшен бурей на побережье Нортумбрии, и Эгиль оказался в руках ненавистного и ненавидевшего его конунга. Чтобы спасти свою жизнь, Эгилю пришлось сочинить песнь, воспевавшую Эйрика. Такие песни-панегирики ценились высоко, и в них видели не только средство увеличения славы и популярности конунга, но и средство укрепления и расширения счастья и удачи его самого и его рода. Песнь Эгиля, посвященная Эйрику («Выкуп головы»), интересна как доказательство живучести старой традиционной скандинавской культуры при Йоркском дворе. Однако в это время и здесь начало прививаться христианство: на чеканившихся при Эйрике в Йорке монетах есть изображения креста.

Согласно «Англосаксонской хронике», в 954 г. жители Нортумбрии окончательно изгнали Эйрика и признали верховенство английского короля. Объединение Англии было завершено. Для страны наступил период относительного спокойствия, длившийся четверть века.

То было время, когда в самой Дании происходили процессы ломки старых отношений и внутренней консолидации. Симптомом этих перемен явилось возвышение новой династии и ее политика. Первый из известных нам конунгов этой династии был Горм Старый. Его резиденцией считался Еллинг, расположенный в средней части Ютландского полуострова. Правление Горма, о котором известно очень мало, относится к 40-м годам X в. Как он, так и его сын и наследник, Харальд Синезубый (это прозвище засвидетельствовано впервые памятниками XII в.), были язычниками. Но господство германских феодалов в Южной Дании сопровождалось распространением христианства среди ее жителей. Проводниками его были архиепископ гамбургский и его миссионеры. Под давлением германского короля Отгона I конунг Харальд перешел в католицизм (около 960 г.). Согласно легенде, миссионер Поппо, для того, чтобы убедить конунга Харальда в превосходстве Христа над языческими божествами, подвергся испытанию огнем.

Харальд Синезубый предпринял поход против Норвегии с целью ее подчинения. Но сперва он потерпел неудачу; преследовавшие датчан норвежцы напали на Данию, грабили Ютландию, Сконе и острова. Тем не менее впоследствии, воспользовавшись непопулярностью в Норвегии сыновей Эйрика Кровавой Секиры, Харальд Синезубый достиг своей цели: около 970 г. он был уже конунгом как Дании, так и Норвегии. Вскоре после новых поражений, понесенных норвежцами, Норвегия оказалась разделенной на части. В этой-то обстановке роста могущества Датского

королевства и быш воздвигнут в Еллингe памятный камень, увековечивавший память о конунге Горме и его жене Тире и величие самого Харальда. На камне, украшенном пышными изображениями Христа и льва, обвиваемого змеем, конунг Харальд приказал высечь надпись рунами о том, что он «подчинил себе всю Данию и Норвегию и окрестил датчан». По выражению датского историка, это метрическое свидетельство о крещении датчан, запечатленное в камне. В какой мере христианство в действительности было распространено в тот период в Дании, неизвестно.

Комплекс памятников в Еллингe, связанных с этими событиями, представляет большой интерес для науки. Два кургана, расположенных соответственно южнее и севернее церкви в Еллингe, — самые крупные и импозантные из всех датских курганов. В пространстве между ними, неподалеку от церкви, и находятся два камня с руническими надписями, свидетельствующими, что они сооружены конунгами Гормом и Харальдом. Этот знаменитый комплекс древних памятников в течение трех столетий привлекает внимание исследователей. Датский историк XII в. Свен Аггесен утверждал, что в одном из курганов была погребена жена конунга Горма, Тира, в другом же — сам Горм. Каждый из курганов возвышается на 7—8 м и имеет в диаметре 60—70 м. Раскопки 1820 г. обнаружили в северном кургане деревянную погребальную камеру, длиной около 7 м, при ширине более 2,5 м и высоте 1,5 м, обнесенную каменной кладкой. Погребение было разграблено, поэтому вещей в нем найдено немного, лишь остатки ткани, обломки изделий из бронзы, серебра, железа и дерева. Исследователи не нашли и останков покойника. В 1861 г. был раскопан южный курган, но в нем ничего не оказалось.

Исследователям было неясно: стоят ли камни с руническими надписями там, где и были водружены, или они первоначально находились на другом месте. Надпись на первом гласит: «Конунг Горм велел поставить этот памятник по своей жене Тире, красе Дании». По мнению некоторых специалистов, последние два слова относятся не к Тире, а к самому Горму. На втором камне высечены руны: «Конунг Харальд велел поставить этот памятник после своего отца Горма и своей матери Тиры (Харальд), который подчинил себе всю Данию и Норвегию и окрестил датчан». На одной стороне камня Харальда, там, где находится основная часть надписи, виден орнамент; на другой стороне этот орнамент сплетается в стилизованную фантастическую фигуру льва, обвитую змеей (здесь слова — «и Норвегию»), а на третьей стороне изображен Христос с руками, распростертыми как на распятии, также окруженный орнаментом с надписью «и окрестил датчан». Это древнейшее изображение Христа в скандинавских странах, известное науке. Рисунки отражают влияние ирландской и английской художественных школ, так что высказывалось мнение о принадлежности мастера, украшавшего камень, к англосаксам. Надпись Горма относят ко времени около 935 г., когда он отнял у шведов южную Данию, а надпись Харальда — к 983 г. и связывают ее с захватом им Датского вала. Слово «памятник» (kuml), упоминаемое в обеих надписях, очевидно, относится не только к камню, но и к насыпи. Было отмечено, что большой камень расположен точно посередине линии, проходящей между центрами обеих насыпей; в таком случае этот камень был поставлен тогда, когда курганы уже существовали. Но загадочным оставалось то обстоятельство, что южный курган был пуст.

Раскопки, возобновленные в 1941 г., дали разгадку тайны монументов Еллинга. Основательное исследование южного кургана окончательно подтвердило, что в нем никогда не было и не предполагалось погребения. Зато в нем обнаружили остатки сооружения, имевшего чисто символическое значение: то было древнее языческое святилище, окруженное большим количеством камней, выстроенных в форме острого угла со сторонами длиной почти в полкилометра! Здесь же нашли остатки деревянной сторожевой вышки. Этот курган был воздвигнут, следовательно, на месте святилища конунгом Харальдом, перешедшим в христианство.

Раскопки северной насыпи установили, что погребение в ней находилось на месте более древнего кургана бронзового века.

Интереснейший результат дали раскопки под фундаментом каменной церкви, расположенной между обоими курганами и построенной во второй половине XI в.: археологи нашли здесь остатки деревянного сооружения, — очевидно, то была христианская церковь, которую Харальд воздвиг после своего крещения на месте языческого капища Горма.

Наконец, под большим из камней с руническими надписями была найдена массивная каменная кладка (без каких-либо следов могилы), это подтвердило мнение, что камень стоит на своем первоначальном месте.

Высказывалось предположение, что в северном кургане были погребены и Тира, и Горм. Отсутствие их останков объясняли тем, что их перенесли впоследствии в другое место, скорее всего к церкви в Роскилле (недалеко от Копенгагена), где Харальд заложил свою резиденцию, основал епископство и где он сам был похоронен около 986г.

Итак, северный курган сооружался при Горме, куда и были помещены его останки рядом с останками ранее умершей Тиры. Он также воздвигнул и большое святилище из построенных углом камней с храмом в центре его. Харальд же, перейдя в христианскую веру, уничтожил это святилище и велел соорудить деревянную церковь. Однако он закончил возведение погребального кургана Тиры и Горма. Но почему Харальд воздвиг новый (пустой) курган, прибегнув таким образом к форме языческого монумента, остается загадкой. Судя по всему, этот конунг-христианизатор не порвал еще окончательно со старой религией².

Сооружение подобных курганов, потребовавшее огромных усилий больших масс людей в течение длительного времени, — само по себе свидетельство могущества государей, при которых они были созданы.

Но могуществу и всевластию Харальда Синезубого вскоре пришел конец. Против него восстала Норвегия. Кроме того, обострились отношения его с собственным сыном, Свейном Вилобородым. Дело дошло до вооруженной борьбы, и раненому Харальду пришлось бежать за пределы Дании, по преданию, в основанную якобы им крепость викингов Йомсборг. Свейн Вилобородый, незадолго до того освободивший Хедебю от немцев, стал править Данией. Эти события произошли в середине 80-х годов X в.

В отличие от отца, Свейн был язычником. Видимо, крещение датчан при Харальде, возведенное надписью на камне в Еллинге, далеко не было всеобщим и окончательным. Тем не менее Свейн терпимо относился к католическому духовенству, рассчитывая на его поддержку. Попытка Свейна восстановить датское господство над Норвегией оказалась безуспешной: в морской битве у норвежских берегов датский конунг и его союзники — викинги из Йомсборга — потерпели полный разгром. Неудачной для Дании оказалась и война против Швеции. Воинственные устремления Свейна обратились вновь к Англии.

Английское государство в то время было ослаблено борьбой за престол и непопулярным правлением Этельреда II, заслужившего прозвище Неспособного. Более того, укрепившиеся в своих владениях крупные феодалы не оказывали королю должной поддержки, а скандинавское население восточных и северо-восточных областей Англии вовсе не желало повиноваться англосаксонскому королю и лишь ждало удобного случая, чтобы от него отделиться. Атаки викингов на Англию возобновились еще до вступления на датский престол Свейна Вилобородого. Существует мнение, что среди них были люди, не желавшие принять христианство, которое вводил в Дании Харальд Синезубый, и подчиниться его господству. Эти набеги совершались относительно небольшими разобщенными отрядами.

Иным оказалось войско, высадившееся на юго-восточном побережье Англии осенью 991 г. То была большая и организованная конная армия. В битве при Мэлдоне, севернее Лондона, норманны наголову разгромили англосаксонское войско. К концу года английскому королю пришлось заключить договор с вождями викингов: им было обещано содержание в обмен на обязательство соблюдать мир и защищать Англию от новых нападений. Крупнейшим из вождей победителей был знаменитый норвежский викинг Олаф Трюггвасон, потомок конунга Харальда

² Dyggve E. Gorm's Temple and Harald's Stave-Church at Jelling. — «Acta Archaeologica», v. XXV. København, 1954, s. 221—239.

Прекрасноволосого, ставший через четыре года конунгом Норвегии. При заключении договора скандинавы получили огромную сумму — 22 тыс. фунтов золота и серебра. Так началось систематическое выкачивание из Англии колоссальных контрибуций. Уплата «датских денег» тяжелейшим бременем ложилась на плечи ограбленного народа. Договор особенно не связывал вождей викингов. Вскоре Олаф Трюггвасон уже фигурировал в качестве открытого противника короля Этельреда. Вместе с ним в нападении на Англию, возобновившемся в 994 г., принял участие и Свейн Вилобородый. У норвежцев и датчан было 94 боевых корабля, на борту которых находилось войско, превосходившее по численности все скандинавские силы, появлявшиеся в Англии за минувшие полвека. От полной катастрофы страну спасли разногласия между датчанами и норвежцами и героическая оборона Лондона. Этельреду II удалось откупиться от нашествия 16 тыс. фунтов, Свейн и Олаф Трюггвасон отправились по домам. Олаф, принявший крещение в Англии, покинул ее навсегда, чтобы вскоре завоевать престол Норвегии.

Стремясь упрочить свою власть над Норвегией, Олаф последовательно проводил политику христианизации. К концу X в. вера в старых богов у скандинавов была расшатана. Симптоматично, что к этому времени в приморских районах Норвегии прекращается практика погребений, совершавшихся по языческим обрядам. Здесь, как и в Исландии, было уже немало людей, принявших нового бога или склонявшихся к тому, чтобы обратиться к нему. Неудивительно поэтому, что Олафу Трюггвасону удалось достичь некоторых успехов в своей миссионерской деятельности. Военная его удача служила в глазах скандинавов наиболее убедительным доказательством превосходства Христа, под покровительство которого он перешел. Под влиянием Олафа в 1000 г. исландский альтинг постановил, что все жители острова должны креститься. Однако оппозиция политике Олафа Трюггвасона в Норвегии оставалась сильной, поэтому в войне против датского и шведского конунгов его не поддерживали многие норвежские хав-динги. В 1000 г. Олаф погиб в морской битве. Норвегия опять оказалась под верховенством датского государя.

Между тем Свейн Вилобородый не оставлял своего плана покорения Англии. Новое нашествие викингов в эту страну началось еще в 997 г. Датское войско опять в течение нескольких лет опустошало обширные территории на юге, западе и юго-востока Англии. В 1000 г. викинги отплыли в Нормандию, чтобы в следующем году возобновить свои нападения. В 1002 г. они получили выкуп размером в 24 тыс. фунтов серебра. Но в конце того же года Этельред II совершил нелепый и гибельный для своей страны поступок: он приказал убить всех датчан, находившихся в его королевстве. Уничтожение датчан не было повсеместным; не везде в Англии подчинялись воле непопулярного короля. Тем не менее убийства совершились во многих местах, среди жертв были заложники, оставленные Свейном при заключении мира, в том числе его сестра. Месть не замедлила. В 1003 г. войско Свейна обрушилось на Англию и свирепствовало в ней до 1005 г. В 1006 г. последовало новое нашествие. В следующем году ценой уплаты «датских денег» в размере 36 тыс. фунтов Англия избавилась от викингов, но лишь на два года.

Правительство Англии воспользовалось этим перерывом для создания военного флота, состоявшего из больших шестидесятивесельных кораблей. Однако вследствие измены часть флота погибла еще до вторжения в страну (1009 г.) новой большой датской армии. В ее состав входили и викинги из Йомсборга. Особенно ожесточенный характер военные действия приняли в следующем году. Англосаксонский хронист пишет о 15 графствах, частью или полностью разграбленных скандинавами. В 1012 г., получив 48 тыс. фунтов «датских денег», они покинули Англию. Во время этого нашествия в их руки попал архиепископ

кентерберийский. Он был подвергнут жестокой казни за то, что отказался уплатить за себя выкуп.

Перед лицом победоносного врага Англия оказалась бессильной. Непрерывные взимания «датских денег» обездолили массы людей. Многие города были разграблены, монастыри опустошены. Магнаты, на которых лежала ответственность за оборону, враждовали между собой, измена стала заурядным явлением. В то время, когда над всей страной нависла катастрофа, крупные лорды усиливали эксплуатацию крестьян, лишали имущества и свободы слабейших. Народ, лишенный руководителей, на которых можно было бы рассчитывать, роптал. Проповедники и церковные писатели объясняли испытываемые англичанами бедствия гневом божьим, который они навлекли своими грехами и беззакониями, и призывали к покаянию. Вера в возможность избавления от датчан иссякла.

В 1013 г. Свейн вторгся в Англию. На этот раз он хорошо понимал, что сопротивление англосаксов не может помешать ему подчинить себе всю страну. Высадившись в Южной Англии, Свейн направил затем свои силы в датские области на северо-востоке. Здесь он встретил полную поддержку со стороны местных соплеменников, принявших его в качестве короля. Утвердившись в Денло, он захватил затем Оксфорд и Уинчестер. Отсюда Свейн направился на Лондон, но потерпел неудачу. Тогда он пошел на Уэссекс. Согласно «Англосаксонской хронике», «весь народ признал его королем». Феодалы переходили на его сторону, король Этельред бежал в Нормандию. Однако в начале 1014 г. Свейн Вилобородый умер, и конунгом Дании стал его старший сын Харальд. Этельред воспользовался внезапной смертью своего врага, чтобы возвратиться в Англию. Он обещал подданным править более справедливо и простить их измену. Тем не менее положение Этельреда II оставалось непрочным. Против него поднял мятеж его сын, нашедший поддержку в Денло.

Воспользовавшись этими раздорами, шестнадцатилетний сын Свейна, Кнуд, в 1015 г. возобновил против англичан военные действия. В разгар военных батальи, проходивших при явном превосходстве датчан, Этельред II умер (1016 г.). Почти немедленно английское высшее духовенство и светские магнаты присягнули на верность Кнуду. Сын Этельреда, Эдмунд Железнобокий, с остававшимися верными ему силами стойко сопротивлялся датскому завоевателю, но был в конце концов разбит. Тем не менее Кнуду пришлось заключить с ним мирный договор, предусматривавший раздел Англии. Однако в том же году Эдмунд умер, и Кнуд стал королем всей Англии.

Чтобы держать страну в повиновении, Кнуд разделил ее на четыре большие области. Управление над ними он передал своим приближенным. С населения вновь были взысканы «датские деньги» (более 80 тыс. фунтов). «Датские деньги», взимавшиеся со времен Этельреда II как контрибуция в пользу датских викингов, теперь превратились в ежегодный военный налог, шедший на содержание датской армии и флота и сохранявшийся в Англии вплоть до 1051 г. Кнуд окружил себя преданными воинами, составлявшими его личную дружину. В дружине Кнуда царила строжайшая дисциплина, входившие в ее состав хускарлы должны были подчиняться особым правилам, спланивавшим их в замкнутую группу и охранявшим их интересы и честь. Многие из сподвижников Кнуда получили земельные пожалования в разных частях Англии, а некоторые из них стали править от его имени целыми областями. Со времени царствования Кнуда в Англии утверждается титул ярла (англ, эрла) — так называли наместника в скандинавских странах.

Желая упрочить свое положение, Кнуд искал опоры среди населения Англии. Для этого было необходимо заручиться поддержкой землевладельцев. Он обещал соблюдать старинные законы, в изданном им кодексе широко использовалось законодательство английских королей более раннего времени. Кнуд выступил в

качестве ревностного поборника интересов английской церкви. Этот выходец из семьи датских конунгов, отец которого большую часть жизни оставался язычником, стремился заставить служить себе идею божественного происхождения королевской власти и сблизиться с христианскими государями Европы и с папой римским (он даже совершил в 1027 г. паломничество в Рим и присутствовал там на коронации германского императора). Высшее английское духовенство получало от него щедрые подарки, политическая власть церковных прелатов возросла. Однако приверженность христианству не помешала Кнуду иметь двух жен.

Опираясь на феодалов, Кнуд вместе с тем пытался защитить интересы своих мелких вассалов от притеснений со стороны магнатов: он понимал, что может скорее рассчитывать на верность первых, нежели вторых. Но, разумеется, даже столь могущественный правитель не мог изменить или задержать развития феодальных отношений. Напротив, его пожалования в пользу церкви ускоряли этот процесс. Английское купечество получило при Кнуде возможность расширить торговые связи с другими странами: на морях господствовал его флот, пираты перестали безраздельно хозяйничать на торговых путях; для купцов и паломников, направлявшихся из стран Севера в Италию, Кнуд добился льгот.

Через два года после восшествия на английский престол Кнуд после смерти своего брата Харальда стал королем Дании. Однако положение его на родине оказалось менее прочным, чем в Англии. Далеко не все датские хавдинги повиновались ему безоговорочно, и Кнуду приходилось сдерживать викингов, мечтавших о возобновлении грабительских набегов на английские берега. Центром державы Кнуда оставалась Англия, Данией правили его наместники, не раз поднимавшие против него мятежи, используя помощь норвежского конунга Олафа Харальдссона. Последний, в прошлом викинг, служивший вначале королю Этельреду II в его войне против Свейна Вилобородого, а затем нормандскому герцогу, при дворе которого он принял крещение, в 1016 г. захватил власть над Норвегией, тяготившейся датским господством. На стороне Олафа, прозванного Толстым, был его деверь — шведский конунг Анунд Якоб, опасавшийся усиления конунга Дании. Оба государя намеревались напасть на Данию, пользуясь мятежом ее наместников против Кнуда. Борьба закончилась плачевно для норвежского конунга. В 1028 г., заручившись посредством подарков и посулов поддержкой части норвежской знати, недовольной усилением Олафа Харальдссона, Кнуд подчинил себе Норвегию. Олаф бежал на Русь к великому князю Ярославу. Попытка его восстановить свою власть над Норвегией закончилась битвой при Стиклестеде (в Трандхейме) 29 июля 1030 г.: норвежские бонды во главе с наиболее могущественными людьми страны нанесли Олафу поражение, сам он пал на поле боя.

Кнуд Могучий теперь вполне оправдывал свое прозвище: он был государем в трех странах одновременно и носил титул короля англичан, датчан, норвежцев и части шведов. Его могущество в большой мере определялось господством над северными морями и контролем над торговым путем, шедшим из Бискайского залива в Балтийское море. Но положение его в Норвегии не было прочным. Норвежцы восстали против самовластия конунга Олафа Харальдссона не для того, чтобы покориться еще более жестоким и жадным датским правителям, которых поставил над ними Кнуд. Его жена и сын пытались ввести в Норвегии налоги и поборы, а также применять непривычные для норвежцев строгие законы. В результате отношение к памяти погибшего конунга Олафа вскоре стало меняться: теперь этого викинга и сурового государя считали защитником и покровителем народа. Церковь провозгласила Олафа святым. Культ Олафа Святого, ставший очень популярным в Северной Европе, способствовал подогреванию недовольства в Норвегии, и в середине 30-х годов XI в. датские правители были изгнаны из нее.

Окончательно Норвегия восстановила независимость после смерти Кнуда (1035 г.). На ее престол вступил вызванный знатью из Киева юный сын Олафа Святого — Магнус. Созданная Кнудом держава оказалась эфемерной. Хотя вдова и сыновья Кнуда — Харальд Заячья Нога и Хардакнуд — в течение нескольких лет и продолжали еще управлять Англией, положение их становилось все более непрочным. Население, изнемогавшее под бременем налогов, роптало, дело доходило до восстаний. Так, в 1040 г. королевские сборщики налогов были растерзаны толпой жителей Вустера и поселян, пришедших в город на ярмарку. Хардакнуд послал на усмирение мятежа почти всех своих дружинников-хускарлов и большую армию. Горожане Вустера упорно оборонялись, но город был сожжен карателями, прилегающая к нему местность опустошена. После смерти Хардакнуда (в 1042 г.) английская корона досталась сыну Этельреда II — Эдуарду Исповеднику, и датчане окончательно потеряли Англию. Нападение викингов на английское побережье в 1048 г. носило эпизодический характер.

Воспользовавшись междуцарствием в Дании (прямая мужская линия в доме датских конунгов со смертью Хардакнуда пресеклась), ее подчинил себе норвежский конунг Магнус Олафссон. Магнус собирался, кроме того, совершить поход на Англию. Он мечтал, подобно Кнуду Могучему, соединить в своих руках управление всеми тремя королевствами. Но в разгар приготовлений к походу он умер (1047 г.). Его сменил на норвежском престоле сводный брат Олафа Святого — Харальд Сигурдарссон, который получил прозвище Хардрода — Жестокий за беспощадную расправу с непокорными хавдингами и бондами. Это был знаменитый викинг, ходивший в 30-е годы походами в Восточную и Южную Европу, служивший в варяжской гвардии в Константинополе. По приказу византийского императора он воевал в Италии и Сицилии. Его женой была дочь великого князя Ярослава.

Став конунгом Норвегии, Харальд возобновил войну против датского конунга Свейна Эстридссона, последний пытался заручиться в этой войне поддержкой сперва у англичан, затем у германского императора; он даже признал себя его вассалом. Но Харальду удалось разграбить и сжечь Хедебю.

В 1066 г., узнав о смерти английского короля Эдуарда Исповедника, Харальд Хардрода снарядил большой флот (по сообщениям саг — 200 кораблей, по словам Адама Бременского — 300) и отплыл к берегам Англии. В экспедиции принимали участие ярлы Оркнейских и Шетландских островов и острова Мэн. Население Нортумбрии, незадолго до того уже восстававшее против английского короля, перешло на сторону Харальда. Однако вновь избранный на английский престол Гарольд Годвинссон, несмотря на то, что он готовился к отражению нападения другого врага — герцога Нормандии Вильгельма, грозившего с юга, сумел организовать отпор норвежскому вторжению. В битве при Стэмфордбридже, неподалеку от Йорка, 25 сентября 1066 г. армия Харальда Хардроды была разбита. Среди большого числа убитых на поле боя остался и сам конунг — последний викинг на престоле Норвегии. Остатки его войска покинули берега Англии, причем сын погибшего конунга, Олаф, клятвенно обещал никогда больше не нападать на эту страну. Англия действительно навсегда была избавлена от нападений норвежских викингов. Однако менее чем через три недели она была завоевана офранцузившимися норманнами: 14 октября в битве при Гастингсе англосаксы были разбиты рыцарским войском нормандского герцога. Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

В 1069 г. датский конунг Свейн Эстридссон напал на восточное побережье Англии, воспользовавшись восстанием против Вильгельма Завоевателя, поднятого населением Йоркшира. Но в следующем году, получив выкуп, датчане покинули территорию Англии. Нормандские завоеватели прочно утвердились на острове. Походы викингов к этому времени лишились прежних импульсов и во второй

половине XI в. прекратились. Правда, в 80-е годы датский конунг Кнуд II собирался совершить новый завоевательный поход против Англии. Но началось восстание недовольного поборами населения Дании, во время которого конунг погиб. Тем не менее к концу XI в. под властью скандинавов находились довольно обширные владения: Северная Шотландия, Гебридские и Оркнейские острова, остров Мэн. В Ирландии норвежцы сохранили в своих руках Дублин и Лейнстер.

Норманнские поселения на Западе

Изучение последовательного хода событий эпохи викингов убеждает в том, что нападения скандинавов на страны Запада не происходили постоянно и непрерывно. Начавшись на рубеже VIII и IX вв., они длились на протяжении всего IX в., но прекратились вскоре после 900 г. В начале следующего столетия норманны, расселившиеся в Англии, Франции, Ирландии, переходят к мирной жизни, включаются в той или иной мере в социально-экономическое и культурно-религиозное развитие феодального мира. Новый взрыв норманнской агрессии приходится на конец X и начало XI в. Именно в этот период существенно изменилась обстановка в самих скандинавских странах: в них окрепла королевская власть. Вследствие этого стал иным и характер походов: вместо разрозненных атак отдельных отрядов происходят организованные нападения больших флотов и армий во главе с конунгами.

Каковы последствия нападений норманнов на Западную Европу? Одним из важнейших результатов их набегов явилось основание ими государств на территории Англии, Франции, Ирландии, на островах Северной Атлантики.

Политические образования, созданные скандинавами на востоке и северо-востоке Англии¹, как мы видели, оказались неустойчивыми: в течение X и первой половины XI в. они были включены в состав английского государства. Тем не менее завоевание этих областей наложило сильный отпечаток на все стороны их жизни, и особенности общественного строя, права, культуры были здесь очень велики. Изучение имен собственных и прежде всего географических названий свидетельствует об интенсивной скандинавской колонизации этих областей Англии. Датчане и норвежцы не растворились в тот период среди англосаксонского населения. В занятых скандинавами районах появились многочисленные деревни, названия которых содержали собственное имя и оканчивались на *thor* или *by* (так назывались поселки в Дании и Швеции). По-видимому, это были поселения, оказавшиеся под властью датских предводителей, чьи имена они стали носить. Возможно также, что земли распределялись среди групп или отрядов датчан, остававшихся под контролем своего хавдинга; хотя поселок и получил название от его имени, этот предводитель имел скорее военную, чем поземельную власть над местными жителями.

Административное деление в Денло отличалось от системы управления, существовавшей в других частях Англии. В то время как по всей стране графства делились на «сотни», в Линкольншире, Ноттингемшире, Дербишире, Лейстершире и части Йоркшира деревни объединялись в административные единицы, носившие название *wapentake*. В скандинавских странах термином *varnatak* обозначалось решение тинга, утверждаемое процедурой поднятия оружия. В Денло этот термин был распространен и на собрания, и на округа, центрами которых они служили. Различие между «сотней» и *wapentake* в Англии не сводилось к одному лишь различию в названиях: в «сотнях» других областей страны решающий голос имели одни земельные собственники, т.е. феодалы и свободные крестьяне, тогда как основная и все увеличивающаяся масса крестьян, втянутых уже в феодальную зависимость, была оттеснена от участия в управлении.

Между тем в *wapentake* в X и XI вв. принимали участие все свободные люди, которых в областях датских поселений было особенно много. Таким образом, местное управление здесь носило более демократический характер.

Датские области стояли особняком и в правовой системе Англии: переселенцы из скандинавских стран продолжали здесь придерживаться многих обычаев, которые принесли с собой. В этих правовых различиях проявлялись

¹ Stenton P.M. The Danes in England. — «Proceedings of the British Academy». London, 1927.

существенные особенности общественного положения датчан в феодальной Англии. Так, на всей территории страны лорд должен был получать возмещение за своего убитого подданного. Но в англосаксонских областях размеры этой компенсации устанавливались в соответствии со статусом лорда, тогда как в Денло они определялись статусом убитого. Иначе говоря, общественное положение зависимого человека в Денло имело большее значение, чем в остальной Англии. Свободные крестьяне Восточной и Северо-Восточной Англии часто сохраняли права на участки земли. И хотя они уже находились в зависимости от лордов, последняя носила скорее форму покровительства, подчинения частной судебной власти, нежели всестороннего господства крупного землевладельца над бесправным и эксплуатируемым крестьянином, все шире распространявшегося в X и XI вв. в других областях Англии. Многие крестьяне Денло назывались сокменами (сока — судебная власть лорда, которую они должны были признавать), или «свободными людьми» (*liberi homines*). Они могли покинуть лорда, отчуждать свою землю, тогда как англосаксонский крестьянин сплошь и рядом был закрепощен.

В настоящее время мнение о том, что все эти «свободные люди» и сокмены были скандинавами по происхождению, поставлено под вопрос. Возможно, что многие из них были потомками англосаксов, сохранивших личную свободу под датским управлением. Во всяком случае несомненно, что развитие феодальных отношений в Денло шло медленнее, чем в остальной Англии.

Скандинавы не изменили системы хозяйства в этих областях. Однако они оказали воздействие на структуру землевладения, введя в Денло вместо прежнего деления земли на «семейные наделы» (гайды) привычную им единицу — *plogesland* («земля, вспахиваемая одним плугом»). Вотчины многих лордов в Восточной и Северо-Восточной Англии представляли собой конгломераты владений, рассеянных на обширной территории; жившие в них крестьяне платили небольшие оброки продуктами.

В подобной социальной среде старинные вольности и правовые традиции проявляли большую живучесть. Небезынтересно отметить, что самое слово *law* (право) в английском языке, как и многие другие, скандинавского происхождения (до того времени в ходу был лишь термин *riht*, совр. *right*). В скандинавских странах термином *log* обозначались как право, обычай, так и область, на территории которой этот обычай действовал. Таков например, Трендалаг — область, где признавалось право трендов, жителей Северо-Западной Норвегии. Подобно этому и в Англии *Danelag* (Др.-англ. *Danalagu*, англ. *Danelaw*) был областью датского права. Со скандинавами появился в Англии суд двенадцати присяжных, существовавший в датских *warentakes* и получивший в более позднее время (уже после нормандского завоевания) всеобщее распространение.

Не только до конца эпохи викингов, но и некоторое время спустя датские поселенцы в Англии и ее коренные жители продолжали осознавать себя двумя разными народами. Английским королям в X и первой половине XI в. приходилось признавать обособленность Денло. Сепаратистские восстания его жителей в середине и второй половине XI в. в немалой мере «питались» их стремлением сохранить свою самобытность. Один датский историк называет Денло «Данией в Англии»². Это, конечно, преувеличение, но интеграция скандинавских элементов в английский общество шла медленно и растянулась на ряд столетий, в отличие от скандинавских поселенцев во Франции.

Скандинавские завоеватели наложили неизгладимый отпечаток на общественные порядки других Британских островов³. Первые норвежские поселения на острове Мэн восходят примерно к тому же времени, что и в Ирландии. Найдены

² *Lauring P. Danelagen. Danmark i England. Kobenhavn, 1957.*

³ *The Northern Isles. Ed. by F. T. Wainwright. Edinburgh, 1962, p. 117—118.*

многие погребения викингов, относящиеся к IX в., в том числе в небольших ладьях (по норвежскому обычаю) и с оружием. Часть могил викингов явно языческого характера, но немалое их число обнаружено на церковных кладбищах. Под влиянием кельтского населения пришельцы вскоре перешли в христианство. Среди погребений нет особенно богатых. Это могилы скорее состоятельных бондов, чем военной знати. Выше уже упоминалось, что на каменных крестах, воздвигнутых в X и XI вв., христианские символы соседствуют с изображением скандинавских богов и героев, например Одина, борющегося с волком Фенриром, Гуннара в яме со змеями. Из саг известно, что многие норвежцы вступали в брак с ирландками, и кое-кто из них затем переселился в Исландию, среди жителей которой кельтский элемент был довольно значителен. Это смешение народов подтверждается и изучением имен, встречающихся в рунических надписях (треть этих имен кельтские).

Административное деление острова Мэн в наибольшей степени сохранило черты своего норвежского происхождения. Крестьянские усадьбы, первоначально считавшиеся неотчуждаемыми из семьи (подобно норвежскому одалю), объединялись по четыре в так называемые «трети». От этих единиц выставлялись воины в ополчение (по одному от «трети»). Группы из «третей» (по 2—3 десятка) в свою очередь составляли шесть «корабельных округов», каждый из которых снаряжал боевой корабль. Впоследствии «трети» стали фискальными единицами. Таким образом, здесь обнаруживается территориальное устройство того же типа, что и в самой Норвегии, прибрежные районы которой с X в. тоже делились на корабельные округа, выставлявшие корабли в ополчение — лейданг.

Правовые обычаи Мэна до сих пор сохраняют черты норманнского влияния. Как и в средневековой Исландии, здесь на Тинговом холме собирается общий тинг, на котором, при строгом соблюдении старинных обычаев и процедур, зачитываются законы. Без их публичного оглашения на тинге они силы не имеют. Вплоть до XVIII в. каждый корабельный округ имел свой тинг, созывавшийся дважды в год. Такие тинги собирались на протяжении всего средневековья и на островах Северной Атлантики — Фарерских, Шетландских, Оркнейских. Во главе управления островами стояли ярлы; и здесь были исключительно сильны норвежские обычаи. Земельные владения на Шетландских островах, называвшиеся удэль, сохраняли до конца средних веков многие черты норвежского одала.

Когда норманнский вождь Роллон стал в 911 г. герцогом Нормандии, он и его сподвижники были еще очень далеки от восприятия франкских феодальных порядков.

Легенда гласит, что, принося присягу вассальной верности Карлу Простоватому, Роллон, как полагалось в таких случаях, вложил свои руки в руки короля и произнес установленную формулу, но решительно отказался стать перед ним на колени и поцеловать ногу; а его дружинник, которому он поручил это сделать вместо себя, выполнил непривычную для викинга обязанность настолько неуклюже, что опрокинул короля, к вящему удовольствию присутствовавших при процедуре норманнов.

Роллон вел себя не как вассал короля Франции, а как независимый правитель. Судя по описаниям (недостоверным и противоречивым), то был скорее викинг, нежели феодальный барон. Новообращенный христианин, он улаживал свои дела с потусторонним миром не только при помощи щедрых даров и земельных пожалований в пользу церкви, но и при посредстве человеческих жертвоприношений языческим божествам. Таковы были и его подданные, число которых в X в. постоянно увеличивалось за счет притока новых скандинавских поселенцев.

Однако в течение ближайших поколений основатели герцогства Нормандии утратили большую часть признаков своего скандинавского происхождения: язык, право, религию, обычаи, старые социальные порядки. Расселившись среди местного населения, в жилах которого текла кровь кельтов, римлян, франков и других германцев, норманны быстро смешались с ним. Уже второй герцог Нормандии

должен был искать учителя датского языка для своего сына: в Руане больше никто не знал этого наречия. Датско-норвежская колония превратилась в образцовое французское феодальное герцогство, однако, с особой политической структурой и с необычайно сильной по тем временам герцогской властью.

Когда в 1066 г. нормандцы во главе с герцогом Вильгельмом Незаконнорожденным завоевали Англию, они уже не имели ничего общего со своими северными предками. Это были северофранцузские рыцари, говорившие по-французски, писавшие (кто умел) по-латыни, воспитанные в духе феодальной идеологии. Недаром после Нормандского завоевания в Англии утверждается ленная иерархия и сильная феодальная монархия. Классическое феодальное право, впервые развившееся во Франкском государстве, было распространено на Англию при посредстве нормандцев. Из островной державы Англия стала европейской лишь ценой ее норманизации, замечает один историк⁴.

Правда, некоторые черты в жизни северофранцузских норманнов, напоминающие о живучести старой скандинавской традиции, можно обнаружить еще и в этот период. Так, на знаменитом гобелене из Байе⁵, изображающем в отдельных сценах всю историю завоевания Англии Вильгельмом, наряду с многочисленными признаками феодально-рыцарского быта нормандцев (церкви, дворцы, конница, кольчуги, знамена, вооружение, щиты, одежда и многое другое) имеются явные следы северного происхождения завоевателей. К ним относятся, например, рисунки боевых топоров, характерных для викингов, кораблей нормандцев — скандинавского типа, с висящими вдоль бортов щитами, украшенных изображениями голов драконов (на гобелене видно, как, высаживаясь на берег, нормандцы снимают эти резные фигуры со штевней). Но это лишь отдельные признаки устойчивости старинных обычаев. Все «нормандское устройство» Англии говорит об обратном: перед нами представители развитого феодального общества. Очевидно, скандинавские поселенцы в Северной Франции, оказавшие большое влияние на местное население и общественные порядки — о чем свидетельствуют географические названия Нормандии, имена собственные, отчасти словарь французского языка (в особенности морская терминология), — в свою очередь подверглись сильнейшему воздействию со стороны французов и растворились среди них, хотя, конечно, далеко не бесследно. Могучая герцогская власть, способная обуздывать своевольных и воинственных вассалов, — прямой плод завоевания начала X в.

В отличие от других западноевропейских государей того времени, герцоги нормандские пользовались исключительным правом чеканки монеты, контролировали постройку феодальных замков, назначали епископов и аббатов, сохраняли независимость по отношению к Папе, сдерживали кровную месть и уوبيцы среди баронов и располагали относительно дисциплинированным и организованным рыцарским войском. Контраст между нормандским герцогом и французским королем, который в тот период был фактически лишен власти на территории своего королевства за пределами личного домена, был разительным. Многие из этих особенностей управления Нормандией были после 1066 г. перенесены в Англию. В конце концов удача Вильгельма в завоевании Англии в большой мере объяснялась его могуществом как герцога Нормандии, пользовавшегося поддержкой своего рыцарства и баронов.

В XI в. нормандцы захватили, помимо Англии, Сицилию и Южную Италию, основав в начале XII в. «Королевство Обеих Сицилий». Они продолжали играть огромную роль в истории Франции и приняли немалое участие в Крестовых походах.

⁴ *Haskins Ch.H. The Normans in European History. Boston and New York, 1915, p. 82.*

⁵ Этот огромный гобелен длиной в 70 м при ширине в 0,5 м содержит более 70 сцен. Он был выткан английскими мастерами во второй половине XI в. *Stenton F. (ed.). The Bayeux Tapestry. A Comprehensive Survey. London, 1957.*

В их военных предприятиях можно обнаружить боевой дух и жажду завоеваний их северных предков, но уже в феодальной оболочке. Любопытно отметить, что потомки скандинавов, дольше других народов Европы не переходивших к государственному строю, создали самые сильные и централизованные во всей тогдашней Европе королевства и герцогства!

Культура скандинавов IX–XI вв.

За последнее время ученые, прежде всего скандинавские, проделали значительную работу по выяснению и уточнению многих вопросов истории Северной Европы в VIII—XI вв. Накоплен огромный и интереснейший археологический материал; специалисты по рунологии дали более точные толкования надписей; большие успехи сделала нумизматика в деле систематизации все увеличивающегося количества найденных монет; обширная литература по истории древнескандинавской мифологии и религии пополнилась рядом новых исследований; критической проверке подвергаются сообщения о скандинавах, принадлежащие западноевропейским хронистам и арабским историкам. Однако вопрос о причинах походов викингов остается неясным. Некоторые историки полагают, что удовлетворительно объяснить этот взрыв активности и агрессивности скандинавских народов вообще невозможно¹. Другие пытаются выйти из затруднения, всячески приуменьшая значение и масштабы походов викингов, которые они хотят свести к «нормальной активности эпохи раннего средневековья»². Во многих книгах, посвященных походам викингов, об их причинах говорится вскользь; авторы обычно ограничиваются общими соображениями о роли торговли и мореплавания в жизни скандинавов в раннее средневековье, о нехватке земли у них на родине, об овладевшей ими жажде приключений и добычи³. Все эти соображения не лишены оснований, но простое нагнетание даже многих причин (или обстоятельств, которые принимают за причины) еще не объясняет полностью исторического явления.

Задумываясь над причинами норманнской экспансии в Европе, мы сталкиваемся с противоречием: с одной стороны, несомненно, что нападения викингов на другие страны были подготовлены задолго до IX в., с другой стороны, их начало производит впечатление внезапности. Мы видели выше, что походы, начавшись как экспедиции сравнительно немногочисленных отрядов, вскоре переросли в более широкое движение, захватившее и втянувшее в себя значительные группы скандинавского населения. Во всем существовании норвежцев, датчан и шведов походы и переселения произвели огромный переворот и наложили сильнейший отпечаток на жизнь нескольких их поколений в IX—XI вв.

Чтобы полнее оценить размеры этого переворота, вспомним, что во времена, предшествовавшие эпохе викингов, большинство населения Скандинавии жило крайне разобщенно, на отдельных хуторах, в оторванных от остального мира долинах и фьордах, на островах и в глухих углах, составляя неразрывное целое с природой своей местности, которая ограничивала круг их интересов и потребностей. Маленький мирок, в котором протекала из поколения в поколение жизнь скандинава, представлял для него весь известный ему и необходимый для жизни мир. Все находившееся за пределами его долины, херада или фюлька, казалось ему чуждым и враждебным. Даже в более позднее время скандинавы долго чувствовали себя не норвежцами, шведами, датчанами, но членами лишь своего племени, жителями той или иной обособленной области. Здесь они жили испокон веков, здесь находились их боги, курганы предков, и лишь здесь они могли быть уверены в себе и в удаче своей деятельности, заведенной раз навсегда, неизменной и подчиняющейся установленному природой ритму. Конечно, эта примитивная и замкнутая жизнь, несмотря на весь свой консерватизм, не стояла на месте, устои традиционного, рутинного общества постепенно подтачивались. В конце концов наступил момент,

¹ Kendrick T.O. A History of the Vikings. London, 1930, p. 22; Shetelig H. Viking Antiquities in Great Britain and Ireland, pt. I. Oslo, 1940, p. 10.

² Sawyer P.H. The Age of the Vikings. London, 1962, p. 194.

³ Brandsted J. Vikingerne, s. 21—23; Lauring P. Vikingerne. K0benhavn, 1956; E. Oxenstiema. Sa levde vikingarna, s. 17; Arbman H. Vikingarna. Stockholm, 1962, s. 46.

когда под воздействием ряда причин — оживления торговли и прогресса в кораблестроительной технике и мореплавании, недостатка земли и роста потребности в жизненных средствах, развития частной собственности, усиления воинственной знати и открывшихся новых возможностей для удовлетворения ее агрессивности — произошел перелом: началась широкая экспансия скандинавов. Она проявилась и в мирной колонизации, и в захвате чужих земель, и в пиратстве и разбое, и в бурном развитии торговли и мореплавания, и в наемничестве. Викинги первыми объехали на кораблях вокруг всей Европы и посетили четыре части света.

Важно подчеркнуть одно: в жизни скандинавов в конце VIII в. — в первой половине IX в. произошел резкий сдвиг — перерыв в медленном, постепенном развитии. Среди них появляется новый тип людей — смелые мореплаватели, искатели добычи, приключений и впечатлений, имеющие связи в разных странах.

Таков, например, швед Гардар. Его усадьба находилась в Зеландии, женился он в Норвегии, поселился на Гебридских островах; штормом его прибило к неведомой тогда Исландии. К тому же времени, к концу IX в., принадлежат первые поселенцы в Исландии и Оттар — хавдинг из Халогаланда, плававший в Данию и Англию. На недавно найденной на Готланде кольчуге викинга выбиты рунами названия стран, в которых он побывал: Греция, Иерусалим, Исландия, Сёркланд (страна сарацинов). Руническая надпись на памятном камне в Швеции упоминает членов одной семьи, павших в походах: двое погибли в Греции, один на Борнхольме, еще один в Ирландии.

Скандинавы снимались с насиженных мест, бросали родину, искони привычный образ жизни и вместе с семьями, близкими и зависимыми от них людьми, со скарбом, скотом, священными символами отправлялись за море, в новые для них, а то и вообще никому неведомые страны. Другие все оставляли дома и примыкали к дружинам, окружавшим знатных хавдингов, сражались под их предводительством в дальних землях, завоевывая добычу и славу. Третьи уплывали в торговые поездки и среди чуждых им народов обменивали продукты своей родины и богатства Востока и Запада. Короче, прежний и привычный для них строй жизни был сломан, сделался невозможным, — и это не для единиц, не только для изгоев или поставленных вне закона людей, которым поневоле, как, например, Ингольфу Арнарсону или Эйрику Рыжему, приходилось искать нового места жительства, возможно дальше от дома, но для множества знатных и бондов.

Достаточно ли простого указания на все перечисленные ранее причины походов викингов, чтобы получить убедительное объяснение столь глубокого переворота в жизни скандинавов? Очевидно, недостает по крайней мере еще одного звена, которое превратило бы эти не вдруг возникшие причины или предпосылки во внутренние стимулы движения людей. Но возможно ли обнаружить это посредствующее звено?

Для понимания внутренних побудительных причин движения норманнов в другие страны, причин, которые, очевидно, были настолько сильны, что заставили многих и многих из них порвать со всем традиционным укладом жизни, нужно найти возможность заглянуть в духовный мир скандинавов эпохи викингов. Задача эта очень трудна. Помимо тех препятствий, с которыми всегда сталкивается историк, пытающийся проникнуть в мысли, представления и чувства людей давно минувших эпох, сложность в данном случае усугубляется еще и тем, что основные памятники скандинавского эпоса и произведения литературы, в которых можно было бы почерпнуть представления о религии и духовной жизни древних скандинавов, относятся к более позднему времени. Песни о богах и героях, известные под названием «Старшей Эдды», как и большинство исландских саг, дошли до нас в записи XIII в. События «Великих переселений» Севера, несомненно, наложили сильнейший отпечаток на духовную жизнь скандинавов в последующие века, но они подверглись в то же время и переосмыслению. Когда возникли эпические песни и саги, каковы изменения, происшедшие в содержании этих произведений со времени

их сложения до времени их записи, и в какой мере они могут позволить исследователю проникнуть во внутренний мир скандинавов эпохи викингов — все эти сложные и в высшей степени спорные вопросы на протяжении многих десятилетий неустанно дебатуются в науке.

Общепринятого и убедительного решения этих проблем не достигнуто. Поэтому более верным путем для познания духовной жизни скандинавов эпохи викингов было бы исследование современных ей источников. Их не так много, как памятников XIII в., главное же — они менее содержательны. Мы располагаем поэзией исландских и норвежских скальдов — поэтов, живших в IX—XI вв.; их песни сочинялись устно и были записаны много позднее, в XII и XIII вв. Известны они главным образом в виде отрывков, цитируемых в сагах. Однако в силу свойственных скальдической поэзии особенностей стиля и построения эти песни передавались в неизменной форме. Песни скальдов — интересный памятник, в них отразились некоторые черты сознания древних скандинавов.

Далее имеются краткие рунические надписи, вырезанные на камнях, оружии, дереве. Текст во многих случаях неясен. Важный материал дает изучение форм и характера погребений: оно может пролить свет на верования скандинавов и на их представления о смерти и загробном мире. Наконец, существуют произведения искусства — изображения, орнаменты, украшения, ремесленные изделия. Их происхождение не всегда известно, датировка подчас спорная, но тем не менее они также могут быть использованы при изучении духовной жизни скандинавов этой эпохи.

Первое, что обращает на себя внимание в изобразительном искусстве норманнов, это крутой перелом, происшедший в его развитии с началом эпохи викингов. «Животный стиль», преобладавший в скандинавском искусстве со времени «Великого переселения народов», к VIII в. уже утратил былую живость и силу, выродился в бескровную, вялую стилизацию, несмотря на влияние на него англо-кельтского искусства. «Монотонная стилизация, «лишенный энтузиазма», «бездушный», «расплывчатый» — таковы характеристики, даваемые этому стилю ведущими искусствоведами⁴. Разительным контрастом ему служит возникший и распространившийся в VIII в. новый стиль, также основанный на анималистических мотивах, но отличающийся от предшествующего строгостью организации орнамента. К концу же VIII в. наряду с ним появляется новый, опять-таки «животный» стиль. Его наиболее характерные признаки: большая экспрессивность, пластичность, выпуклость, трехмерность изображения, а главный персонаж — так называемый хватающий зверь (*gribe-dyr*). На брошках и других украшениях, на деревянных панелях и столбах — повсюду встречается загадочное живое существо с большими, непропорциональными по отношению к туловищу мускулистыми лапами, хватающими одна другую или иные детали орнамента, с обращенной к зрителю мордой не то кошки, не то щенка, не то медвежонка или тигренка, — словом, живого, озорного и в то же время угрожающе ощерившегося дикого и, может быть, даже обезумевшего зверя, с огромными вытаращенными глазами. Обычно он вплетен в орнамент в напряженной позе: зверь играет, борется. Здесь нет былой стилизации и элегантности, изображение полно жизни, насыщено движением, гротескная фигура зверя тревожит и веселит. В ней нетрудно найти даже человеческие черты, и сопоставление морд «хватающего зверя» с некоторыми изображениями человеческих лиц, сохранившихся от той же эпохи, обнаруживает известное сходство.

«Хватающий зверь» — главное новшество и в изобразительном искусстве первого этапа эпохи викингов. Но основные черты этого стиля сохраняются с

⁴ *Shetelig H.* Classical Impulses in Scandinavian Art from the Migration period to the Viking Age. Oslo, 1949; p. 104; *Holmqvist W.* Germanic Art during the First Millenium A.D. — «Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar». Del 90. Stockholm, 1955, p. 58, ff.

вариациями и в последующее время. Появляются более сложные изображения с переплетающимися в узлы и хватающими друг друга зверьми, опять-таки производящими впечатление силы и напряженности. «Животный стиль» вытесняется из изобразительного искусства (да и то не совсем) только с торжеством христианства.

Среди искусствоведов нет согласия относительно того, откуда исходили импульсы, породившие новый стиль, так резко отличный от всего предшествующего. Его источники ищут в каролингской Франции, у кельтов, в Англии, на Востоке. Но спор не привел к решению проблемы: аналогичных или близких по характеру изображений в искусстве других народов Европы не обнаружено. Между тем никакие стилистические влияния извне не могут объяснить того, что охарактеризованные выше изображения стали излюбленным и весьма распространенным мотивом в искусстве Скандинавии, причем с самого начала эпохи викингов, если еще не в ее канун. Другие стилистические новшества в норманнском искусстве того времени более явно связаны с влияниями тех народов, с которыми столкнулись скандинавы. Таковы изображения львов, заимствованные из Франции. Первоначально северные мастера воспроизводили их неумело: звери выходили уродливыми, но в них была сила и в этом заключался производимый ими эффект. Затем появляется новое изображение «большого зверя» (может быть, льва), борющегося со змеем (так называемый Еллингский стиль). Подчас эти изображения тяжеловесны, но лучшие из них исполнены динамики и живости, фигуры зверей напряжены, как стальные пружины. Впечатление чудовищности оставляют резные головы зверей и драконов, которыми украшали штевни кораблей, столбы в домах, изголовья кроватей: диким оскалом разинутой пасти они должны были отпугивать злых духов. Многие другие изображения также были рассчитаны на то, чтобы произвести устрашающее впечатление. Под сильным внешним влиянием в скандинавском искусстве происходят глубокие сдвиги; но классические мотивы здесь перерабатываются и своеобразно преломляются. Шире, чем прежде, употребляются наряду с животными, растительные орнаменты; кое-где на время они даже берут верх. В XI в. фигура крупного зверя, борющегося со змеем, подвергается все большей стилизации, приобретает S-образную форму, члены зверя сливаются с телом змея⁵.

Общая черта скандинавских стилей эпохи викингов, при всем их разнообразии, — это огромная жизненная сила, впервые внезапно выявившаяся на самой заре норманнской экспансии и не иссякавшая почти до конца этого периода. Некоторые этапы развития изобразительного искусства скандинавов характеризуются вспышками варварской грубости, но развитые северные стили IX—XI вв. (Усебергский, Еллингский и др.) замечательны гармоничностью, а их творцы славятся высоким мастерством.

Животная орнаментация этого времени пронизана языческими верованиями и магическими представлениями. Известные нам изображения обычно не преследовали лишь развлекательную цель; они должны были помогать в жизненной борьбе, отгонять злые силы, привлекать удачу, использовались в культовых отправлениях. Искусство непосредственно переплеталось с практической деятельностью человека. И то, что в искусстве эпохи викингов совершались глубокие сдвиги, свидетельствует, очевидно, о не менее существенной ломке традиционных взглядов, об изменениях в духовной жизни общества. И содержанием, и быстрой сменой стилей скандинавское искусство той поры выражает новый «дух времени», характерное для определенных слоев населения активное, меняющееся отношение к себе и к миру. У людей возникли новые запросы, которые, видимо, не могли удовлетворить прежнее анемичное и лишившееся силы искусство, сложившееся за много веков до того и

⁵ *Holmqvist W. Viking Art in the Eleventh Century. «Acta Archaeologica», v. XXII. København, 1951, p. 1, ff.*

выродившееся в эпоху, когда и сама жизнь была менее наполнена потрясениями и динамизмом.

Большой подъем изобразительного искусства — лишь один из показателей глубоких сдвигов в мироощущении и мироотношении норманнов, происшедших накануне эпохи викингов и в течение ее. Другим, не менее ярким симптомом их духовного подъема, связанного с ломкой традиционного строя жизни, явился расцвет поэзии. Норвегия и в особенности Исландия — родина скальдов. Мы не знаем всех скандинавских скальдов этой эпохи, но и число тех, чьи имена известны, достигает нескольких сотен. Если же вспомнить, что исландский народ в то время насчитывал всего несколько тысяч человек, то «численность поэтов на душу населения» окажется исключительно высокой.

В период, непосредственно следующий за эпохой викингов, в XII и XIII вв., в Исландии происходит беспрецедентный в тогдашней Европе подъем культуры, выразившийся и в появлении замечательных повествовательных произведений — саг, и в оформлении эдических песен о богах и героях огромного культурно-исторического содержания, и в творчестве выдающихся историков, среди которых наиболее известны Ари Торгильссон и Снорри Стурлусон. Главное же — поэтическое творчество этого периода в Исландии было достоянием не узкой элиты общества; оно питалось народными корнями и находило широкий отклик, вызывало напряженный интерес у всех исландцев, независимо от их общественного положения и образованности. В определенном смысле исландская культура XII и XIII вв. была общенародной культурой, что было обусловлено, конечно, и особенностями социального строя Исландии, не перешедшей окончательно на стадию классового общества. Но в большой мере эта культура исландцев уходит в прошлое, обращена к нему, как правило, из него получает и свое содержание, и человеческие идеалы. В центре внимания исландцев того времени — эпоха викингов. Часто время с 930 по 1030 г. в истории Исландии называют «эпохой саг», в них воспевается жизнь предков исландцев, заложивших основы их общества. Не будем обсуждать вопрос о причинах духовной ориентации исландцев XII и XIII вв. на свое прошлое, а только отметим — подъем исландской культуры в этот период был подготовлен в эпоху викингов.

Очевидно, IX—XI вв. — время, характеризующееся в истории скандинавских народов не только внешней агрессией, внутренней колонизацией и становлением монархии, но и большим оживлением их духовной жизни. Расцвет творчества скальдов приходится именно на это время. Скальды — не профессиональные поэты в современном смысле слова. Скальд обычно был воином, дружинником конунга или другого хавдинга, подвиги которого он воспевал; но скальд мог быть моряком, бондом, заниматься торговлей и т.д. Среди сочинителей стихов мы найдем мужчин и женщин, старых и молодых, людей знатных и даже конунгов и простых бондов. Все интересовались поэзией, любили ее, и очень многие проявляли склонность к стихосложению. Собственно, правильно говорить не о том, кем еще мог быть скальд, а о том, что в определенной ситуации люди самого разного общественного положения и занятий могли обратиться к поэтическому творчеству, сочинить песнь. Поэзия была одним из нормальных, общепринятых способов выражения чувств, передачи сведений. Она не выделялась в особое занятие и не считалась редким даром избранных. Конечно, в те времена были и выдающиеся скальды, такие, как Эгиль Скаллагримссон или Сигват Тордарсон, песни которых служили образцом, пользовались широкой популярностью, бережно сохранялись в памяти. Они прославились среди потомков именно как большие поэты, но в своей жизни были викингами, дружинниками, домохозяевами и т.п. Например, Эгиль был выдающимся викингом X в., а Сигват являлся приближенным норвежского конунга Олафа Святого, а затем и его сына Магнуса Доброго и выполнял при первом из них дипломатические функции, а при втором — роль политического советника.

Любопытно, однако, что, попав в плен к противнику, Эйрику Кровавой Секире, Эгиль смог спасти жизнь лишь при помощи хвалебной песни «Выкуп головы», что Сигват составил отчет о своей миссии к шведскому двору в стихотворной форме и что важную речь политического содержания, обращенную к конунгу Магнусу, он изложил в виде «Откровенной песни», в которой обратил внимание молодого государя на опрометчивость его внутренней политики и на опасные ее последствия; по свидетельству Снорри, речь Сигвата оказала соответствующее воздействие.

В том, что речи государственного значения и дипломатические отчеты облекались в поэтическую форму, скандинавы не находили ничего необычного. Когда норвежский конунг Харальд Хардрода влюбился в русскую княжну Елизавету Ярославну, он сочинил в ее честь песнь. Другой раз Харальд, желая конфисковать земельные владения у противника, также сформулировал свое решение в виде висы (стихотворения). В важные моменты жизни исландцы и норвежцы, как, видимо, и другие скандинавы, обычно прибегали к стихотворному изложению своих мыслей и чувств. Но они охотно развлекались сочинением стихов и в обыденной обстановке. Тот же Харальд Хардрода, встретив в море рыбака, вступил с ним в стихотворный поединок. Скальдические стихи подчас импровизировались, и способность к импровизации была распространена. Повсюду — в поле и на пиру, в разгар боя и на тинге — могла быть сочинена или исполнена песнь.

Способность сочинять стихи ставилась древними скандинавами в один ряд с другими навыками и искусствами: с умением плавать, скакать верхом, играть на музыкальном инструменте, кузнечным ремеслом, стрельбой из лука, ездой на лыжах и т.д. Стихосложение было признаком ловкости и умения.

Скальды — дружинники конунгов — обычно пользовались большим почетом. В одной из песен говорится о скальдах Харальда Прекрасноволосого: «По их одеждам и по их золотым кольцам видно, что они свои люди у конунга. У них красные меховые плащи с красивыми полосами, обвитые серебром мечи, сотканые из колец рубашки, золоченые перевязи, шлемы с вырезанными на них фигурами, наручные кольца, которые Харальд подарил им». Скальдов сажали на почетную скамью в пиршественной палате конунга. К их советам прислушивались, а сочиняемые ими хвалебные песни высоко ценили, ибо считалось, что восхваление скальдом хавдинга не просто увеличивает его славу среди людей, но умножает его удачу, счастье. Слово, по тогдашним представлениям, обладало магической силой: доброе, хвалебное слово имело положительное влияние на того, к кому оно было обращено, тогда как хула могла произвести самое губительное действие. Потому-то государи и другие вожди щедро одаривали воспевавших их скальдов и старались привлекать их ко двору. Со своей стороны скальды откровенно домогались королевских подарков и в своих стихах нередко просили и даже требовали их. И они при этом были движимы не простым корыстолюбием. Богатство, полученное в дар от хавдинга, связывало с ним получателя внутренними духовными узами; в этом богатстве материализовалось счастье, удача хавдинга, к которой в результате дара приобщался и тот, кто его получил. А поскольку счастье хавдинга считалось более полным и совершенным, чем счастье других, менее знатных людей, то получение богатства в подарок именно от конунга или ярла было особенно желанным⁶.

Отношение викингов к золоту, серебру, чужеземным монетам, драгоценностям, красивым одеждам, украшенному оружию независимо от того, достались ли они в дар или в виде добычи, было особым. Захват богатств и удача в воинских делах не только увеличивали благосостояние и могущество викинга: он заботился о своей славе и о славе рода. А приумножение славы и почета, которыми пользовались человек и его род, означало, по тогдашним представлениям, рост их удачи, «души рода», воплощавшейся в его главе и переходившей из поколения в поколение. Подвиги и добыча питали «душу рода», увеличивали его счастье и

⁶ Grdnbech V. The Culture of the Teutons, v. I—II. London — Copenhagen, 1931.

внутреннее благополучие; род удачливого викинга был богат счастьем. Для того чтобы обеспечить счастье рода и сохранить его в материализованном виде — в форме добытых драгоценностей, их подчас зарывали в землю. Археологи, обнаруживающие все новые клады, предлагают разные объяснения их большого количества. Например, шведский ученый С. Булин высказывал предположение о том, что скандинавы прятали серебро и монеты в периоды внутренних неурядиц, нападений врага (сопоставление датировки монет, найденных в кладах, с сообщениями хронистов и саг о политических событиях, по-видимому, свидетельствует о росте кладов во времена смут и войн)⁷. Другие ученые, указывая на то, что клады так и не были вырыты ни их владельцами, ни потомками, склонны объяснять это особой целью их сокрытия. Как гласила легенда, верховный бог скандинавов Один повелел, чтобы каждый воин, павший в битве, являлся к нему с богатством, которое было при нем на погребальном костре или спрятано им в земле.

Вероятно, в действительности имелись разные причины, по которым скандинавы зарывали свои богатства в землю. О том, что драгоценности прятали навечно, свидетельствуют саги. Отец скальда Эгиля Скаллагрим утопил в болоте сундук с серебром, а сам Эгиль, получив два полных серебром сундука от английского короля Этельстана, незадолго до своей смерти спрятал их с помощью рабов, которых он убил затем, чтобы никто не знал о местонахождении клада. Буи Толстый, предводитель викингов из Йомсборга, смертельно раненный в морской битве, прыгнул за борт вместе с двумя ящиками, полными золота. Для этих людей благородные металлы и другие богатства представляли ценность прежде всего не как средства обмена, а сами по себе. Они упорно не желали упускать из своих рук захваченные драгоценности и видели в них воплощение личного и родового благополучия.

Не менее важными для обеспечения удачи и счастья семьи были слава, общественное уважение и память о подвигах и славных деяниях, совершенных ее представителями. Скандинавы очень заботились о своих родословных, передавали из поколения в поколение родовые саги, охотно слушали рассказы о прошлом рода. Исландская историческая традиция, равно как и литература, основывалась преимущественно на родовых преданиях. «Добыча» и «слава» — два главных корня, питавших «душу рода» у древних скандинавов. Поэзия была одним из важных средств приумножения славы викингов.

Фактическое содержание песен скальдов довольно однообразно. Чаще всего — это воспевание подвигов конунгов и хавдингов, их щедрости, повествование о битвах и походах. Конкретной информации стихотворение скальда обычно содержит немного. Но его песнь имеет весьма сложное и строгое построение, с переплетающимися между собой фразами и насыщена своеобразными метафорическими оборотами — кеннингами. Упор в поэзии скальдов делается не на содержание, а на форму, которой стремились придать максимальную изысканность. Однако скальды не столько изобретали собственные образы, сколько пользовались традиционными условными обозначениями, подчас не связанными с содержанием стиха. Кеннинги вскоре приобрели стереотипный характер и крайнюю вычурность.

Искусство древнего скандинавского стихосложения в большой мере заключалось в умении умножать число кеннингов. Наиболее распространенными были кеннинги: битвы («вьюга копий», «встреча мечей», «звон оружия»), воина («ясень битвы»), конунга («раздаватель колец», «правитель встречи мечей»), корабля («морской конь»), моря («дорога китов»), золота («огонь моря», «огонь воды», «пылающий голос жителей пещеры»), меча («змея битвы», «звнящая рыба кольчуги»), крови («волна битвы», «море меча», «пиво ворона», «напиток воина»), трупа («пища волка»), ворона («лебедь пота шипа ран»: «шип ран» — меч, а «пот меча» — кровь), огня («враг дома», «горе ветвей», «зло дерева»), неба

⁷ Bolin S. Ur penningens historia. Stockholm, 1962, s. 51, ff.

(«дом ветров», «корабельный сарай бури») и т.п. Нередко кеннинги были очень сложными. Таков, например, один из бесчисленных кеннингов человека: «расточитель янтаря холодной земли кабана великана», где «кабан великана» — это кит, «земля кита» — море, «янтарь моря» — золото. Человека можно было назвать «метателем огня выюги ведьмы луны коня корабельных сараев», ибо «конь корабельных сараев» — корабль, «луна корабля» — щит, «ведьма щита» — секира, «выюга секир» — битва, «огонь битвы» — меч.

При крайней вычурности и запутанности скальдические кеннинги вводят нас в мир звенящих мечей и обгаренных кровью секир; кораблей, увешанных по бортам разноцветными щитами и мчащихся по бурным волнам под раздутыми северным ветром парусами; воинов, охваченных жаждой славы и богатства; конунгов, которые повелевают дружинами, раздают своим воинам оружие и кольца и устраивают для них пиры, — в мир викингов. Но в этом мире, неотъемлемыми аксессуарами которого были вороны и волки, пожирающие трупы, и обильно льющаяся кровь, вместе с тем высоко ценилась поэзия («напиток бдина», «мёд великанов») и слагались песни («прибой дрожжей людей костей фьорда»).

Часть кеннингов ныне непонятна. Но современникам их смысл был ясен: эти кеннинги, подчас связанные с мифологией и религиозными представлениями, порождали у древних скандинавов определенные ассоциации. Видимо, сложная структура песен скальдов и наличие в них условных оборотов объясняются магической ролью, которую выполняла эта поэзия. Стихотворение могло укрепить душу воспеваемого, но могло и повредить. Известно, например, что за песнь, сочиненную в честь исландцев скальдом Эйвиндом, каждый бонд внес монету, и из собранных денег была отлита серебряная пряжка для поэта. Существует предположение, что особенности размеров скальдических стихов обусловлены языком магии. Не случайно Снорри считал творцом скальдического искусства Одина. В одной саге рассказывается, как от хулительного стихотворения, произнесенного скальдом, на ярла, против которого оно было направлено, напал ужасный зуд, в палате его стало совершенно темно, оружие, сорвавшись со стен, где оно было по обыкновению развешано, стало само убивать приближенных ярла. В поэзии скальдов очень сильны пережитки магической функции слова. Конунги старались держать при себе по несколько скальдов, и о редком из норвежских государей и ярлов той поры не сохранилось хотя бы одной панегирической песни. Вместе с тем существовали особые «хулительные песни», которые сочинялись с целью погубить тех, о ком они говорили. По исландским законам сочинителю и исполнителю хулительных стихов грозил штраф или даже объявление вне закона. Поэзия и магия, слово и действие представлялись неразрывно связанными. Здесь мы опять-таки сталкиваемся с верой в прямую, непосредственную действенность искусства, отражающей присущий скандинавам эпохи викингов дух активности и борьбы.

Исследователи поэзии скальдов отмечают, что в развитии размеров, которыми пользовались скандинавские поэты, произошел скачок. Этот переход от архаических размеров к более сложным (к скальдическому «дроттквету») совершился в связи с превращением безличного продолжателя поэтической традиции, не признававшего себя автором, в сознательного творца стихотворной формы, какими являлись уже древнейшие из скальдов⁸. Такой скачок совершился к началу эпохи викингов. Возникает вопрос: не отражает ли этот переход к личному авторству в поэзии более широких сдвигов в сознании скандинавов кануна эпохи викингов, сдвигов в направлении известного развития индивидуальных черт человека, начавшегося освобождения его самосознания от господства коллективных, родовых представлений, в которых до того растворялось его мышление? В стихах скальдов

⁸ Стеблин-Каменский М.И. Происхождение поэзии скальдов. «Скандинавский сборник», III. Таллин, 1958, с. 181, ел.; Lie H. Skaldestil-studier. — «Maal og minne» Oslo, 1952.

постоянно подчеркивается личный характер их поэзии. Вспоминается одна черта изобразительного искусства начального периода эпохи викингов: изучая резьбу на деталях корабля, саней и других деревянных предметах из погребения в Усеберге, норвежский исследователь Х. Шетелиг пришел к выводу, что это произведение нескольких весьма различных между собою мастеров, работавших в разных стилях. Шетелиг называет этих мастеров «старым академиком», «барочным мастером», «импрессионистом», мастером, работавшим под влиянием каролингского искусства, и т.д.⁹. И хотя вопрос о мастерах Усеберга продолжает вызывать споры¹⁰, индивидуальность творчества этих резчиков по дереву стоит вне сомнения.

Таким образом, начало эпохи викингов характеризуется появлением у скандинавских народов индивидуальных творцов как в поэзии, так и в области изобразительного искусства¹¹. Индивидуальное их творчество было ограничено формой: изобретательность резчиков проявлялась в орнаментации при воспроизведении традиционных фигур зверей и чудовищ; искусство скальда — в бесконечном варьировании трафаретными кеннингами безотносительно к смысловому содержанию стихотворения и в строгих, по сути дела неизменных рамках принятого размера. Тем не менее сама эта гипертрофия формы служила, по выражению М.И. Стеблин-Каменского, средством преодоления безличной традиции творческим самосознанием индивидуального автора¹².

Сдвиги в сознании, которые нашли воплощение в художественных ценностях, созданных поэтами, художниками и резчиками, отражают духовную жизнь определенного слоя скандинавского общества эпохи викингов. Мастера и певцы были связаны прежде всего с конунгами и другими хавдингами, для них создавали свои произведения — украшали корабли, сочиняли хвалебные песни, вырезали изображения и надписи на поминальных камнях. Не нужно, однако, забывать, что искусство стихосложения и произведения скальдов были широко популярны. Точно так же и произведения резчиков и орнаменталистов, хотя и создавались нередко по заказу хавдингов, питались, несомненно, бытовавшими в народном прикладном искусстве мотивами, и одновременно служили художественными образцами, которые находили многочисленных продолжателей в среде бондов.

Перемены в материальном существовании скандинавских народов, вызвавшие настоящую потребность в новых землях, жажду добычи, необходимость в постоянном обмене и т.д. и подготовившие их экспансию IX—XI вв., порождали у них вместе с тем новые жизненные установки, пробудили их к активности. Как это обычно присуще варварским народам, первым и нормальным выражением их активности были агрессивность и воинственность. Но одновременно их активность выливается в широкие переселения и в оживление торговли. Это своего рода пробуждение сил народа выявлялось в самых различных формах, во всех сферах жизни, в частности и в искусстве. Отсюда — многообразие стилей, живость восприятий, напряженность и сила художественных произведений.

Рост индивидуального самосознания скандинавов нашел свое выражение и в рунических надписях, проливающих свет на многие стороны жизни этой эпохи. Руны появились на Севере за много веков до эпохи викингов, однако с ее началом совпали важные изменения в письменности: на смену древнему алфавиту — «старшим рунам» пришел новый — «младшие руны». Произошло упрощение письма: вместо прежних 24 знаков стало 16, причем, как полагают, эта перемена связана и со сдвигами в фонетике древнескандинавского языка. Не являются ли эти изменения

⁹ *Shetelig H. Classical Impulses in Scandinavian Art.*, p. 105, ff.

¹⁰ *Lindqvist S. Osebergmastarna. «Tor».* Uppsala, 1948, s. 9—27.

¹¹ *Стеблин-Каменский М.И.* О некоторых особенностях стиля древнеисландских скальдов. — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», 1957, т. XVI, вып. 2, с. 151.

¹² *Стеблин-Каменский М.И.* Происхождение поэзии скальдов, с. 184, сл.

еще одним показателем важных сдвигов в духовной жизни скандинавских народов, которыми ознаменовалось начало их экспансии? Именно к эпохе викингов относится большинство рунических надписей; наиболее богата ими Швеция. Но рунические письмена норманнов встречаются и далеко за пределами Скандинавии: в Англии, на острове Мэн, на территории нашей страны; неразборчивая руническая надпись оставлена варягами на плече статуи льва в Пирее. Рунические надписи немногословны и скупы, но в них скандинавы IX—XI вв. говорят с нами непосредственно.

Чаще всего надписи сообщают имена знатных людей и воинов, в память о которых они были высечены на камнях, и авторы их — обычно сородичи — подчеркивают благородство происхождения и славу этих людей, иногда и такие их качества, как щедрость, гостеприимство. Камни воздвигались детьми в память о родителях, отцами — в память о сыновьях. Многие надписи высечены от имени жен и дочерей — женщина занимала в этом обществе достойное положение. Среди умерших, упоминаемых в рунических надписях, очень велико число неженатых молодых людей: они погибли на чужбине в викингских походах или утонули в море. Но нередко имеются указания на торговые цели поездок в другие страны. Высокое общественное положение лиц, чьи имена встречаются в надписях, часто подчеркивается изображениями и орнаментом, которым украшены рунические камни. Здесь и звери, и птицы, и человеческие фигуры, и мифологические сцены, и корабли. По-видимому, изображения нередко раскрашивались, но краска не сохранилась. Больше всего надписей от языческой поры, во многих содержится обращение к богу Тору с призывом освятить руны. Упоминается и богатство, приобретенное воинами в походах, в том числе деньги, полученные от Кнуда в Англии, корабли, дружины, ими возглавлявшиеся, ополчения народа, которыми они командовали. Нередки надписи, сделанные дружинниками в память о хавдингах и конунгами — о своих верных сподвижниках. Некоторые камни с надписями служили как бы титулами собственности: в них упоминаются земли и усадьбы, принадлежащие отдельным лицам, имена тех, кто имел право их наследовать, причем среди наследников встречаются и женщины. Подобные камни ставились и на границах владений.

Руны часто употреблялись в магических целях. Знание их было привилегией сведущих людей, знати, и рунические надписи на богато орнаментированных и раскрашенных камнях утверждали в глазах современников и потомков авторитет, высокое социальное положение, славу и богатство знатных родов викингов и могучих бондов. В отличие от поэзии скальдов, рисующей преимущественно дружинные и «придворные» круги общества, рунические надписи свидетельствуют о большом и возросшем к концу эпохи викингов общественном влиянии верхушки бондов — зажиточных владельцев усадеб, связанных с торговлей и войной¹³.

Пожалуй, особенно ярко духовную культуру скандинавов этой эпохи характеризуют погребения. В связанных с ними обычаях находили непосредственное выражение представления о смерти и загробном мире, т.е. центральные идеи религии. Вместе с тем погребения представляют массовый материал, относящийся к различным социальным слоям, ибо на территории скандинавских стран обнаружены и частично изучены многие десятки тысяч могил и захоронений. Бесспорно норманнских погребений за пределами Скандинавии известно сравнительно немного; вещи скандинавского происхождения, которые подчас встречаются в могилах в Англии, Ирландии, Франции или на территории СССР, — далеко не всегда доказательство норманнской принадлежности погребенных.

¹³ *Ruprecht A. Die ausgehende Wikingerzeit im Lichte der Runeminschriften. Gottingen, 1958 (Palaestra, Bd. 224), S. 113—122.*

Изучение погребений дало возможность археологам сделать ряд важных наблюдений. В Норвегии в течение VII и VIII вв. происходило постепенное упрощение обрядов захоронений, которое, возможно, уже отражало христианское влияние. Можно было бы предположить, что после начала норманнских походов в другие страны, когда контакты скандинавов с христианским населением Европы неизмеримо усилились, эта тенденция в приближении языческих форм погребений к христианским должна была получить новые импульсы. Однако наблюдается прямо противоположное: начало эпохи викингов характеризовалось возвратом к чисто языческим формам погребений. Вместе с покойником в могилу или на погребальный костер старались положить как можно больше вещей, которые считались необходимыми в загробном мире. Мы уже рассказывали о кораблях из курганов в Гокстаде и Усеберге, готовых к «отплытию» в царство мертвых, о захоронениях хавдингов с их рабами, о необычайно богатом снаряжении, найденном во многих могилах викингов. Ни от одной эпохи не сохранилось такого обилия вещей, найденных в погребениях, как от эпохи викингов. Археологи отказываются объяснять это обстоятельство одним лишь ростом численности населения, не могут они удовольствоваться и ссылкой на богатства знати. Языческая реакция, ознаменовавшая начало эпохи викингов и нашедшая свое выражение, в частности, в погребальных обрядах, охватила все слои общества: среди находок в могилах того времени поражают даже не столько украшения и драгоценности, сколько количество простых вещей, находившихся в повседневном употреблении. Это сильное и всеобщее возрождение язычества и сопротивления религиозному влиянию, шедшему из тех стран, на которые нападали норманны, отражает, по мнению норвежских ученых, рост самосознания норвежцев¹⁴. Культ предков и заботы о загробном существовании заняли видное место в кругу их представлений и религиозной практики.

В Дании христианское влияние в тот период было сильнее и языческая реакция, видимо, не носила столь всеобщего характера, как в Норвегии. Тем не менее язычество сохраняло корни в Скандинавии до конца эпохи викингов. Адам Бременский в 70-е годы XI в. описывал языческие празднества, совершавшиеся каждый девятый год в главном святилище Швеции, Старой Уппсале, и сопровождавшиеся приношением в жертву людей и животных: по девяти голов от каждого рода живых существ мужского пола вешали на деревьях в священной роще. О подобных жертвоприношениях в Зеландии, в местности Лейре, рассказывает и немецкий хронист Титмар Мерзебургский (начало XI в.): здесь тоже через каждые девять лет, по его словам, убивали по 99 человек и столько же коней, собак и петухов для того, чтобы «примирить богов с теми бесчинствами, которые совершали». На остатках ковров, которые сохранились в погребении в Усеберге, видны стилизованные изображения людей, повешенных на деревьях. Имеются сообщения о принесении викингами пленных в жертву своим богам. Так, датский предводитель Рагнар Лодброк, атаковавший северное побережье Франции, приказал принести в жертву богам 111 захваченных воинов Карла Лысого. Когда же вскоре после этого датчанам стала грозить чума, их предводитель Хорик отпустил часть пленных, вернув им захваченную добычу, с тем чтобы задобрить бога франков.

Наиболее общее впечатление, создающееся при знакомстве с погребальными обрядами скандинавов того времени, — это необычайное многообразие их форм. Погребения в курганах и под небольшими насыпями встречаются бок о бок с погребениями без насыпей. Погребения в простых могилах перемежаются с погребениями в камерах, выложенных камнем. Наряду с погребениями в кораблях и лодках известны погребения, в которые клали часть ладьи, разрубленной на части;

¹⁴ *Shetelig H. Prehistoire de la Norvege. Oslo, 1926, p. 216—217.*

нередки погребения под камнями, выстроенными в форме контура корабля. В одних случаях покойника снабжали всей утварью, считавшейся необходимой для продолжения в загробном мире земной жизни, мужчин хоронили с оружием, орудиями труда, лошадьми, собаками и т.п., женщин — с их рукоделием и домашним скарбом; в других случаях погребали без каких-либо вещей; практиковались как погребение трупов, так и сожжение. Нередко встречаются погребения по христианским обрядам — в могилах находят нателные кресты, и вместе с тем есть погребения, в которых наряду с крестом можно найти языческие символы (например, амулет, изображающий молот Тора). Частично различия в погребальных обрядах объясняются социальной принадлежностью погребенных: ясно, что захоронения в больших курганах, в ладьях или захоронения с богатой утварью могли практиковаться лишь в среде знати. Вместе с тем погребения вовсе без вещей могли быть могилами не бедных людей, а принявших крещение. Захоронения, в которых встречаются вместе предметы языческого и христианского культов, интересны в качестве свидетельства перехода от старой религии к новой, не совершавшегося внезапно и подчас дававшего своеобразный синкретизм верований. Многообразие погребальных обрядов обнаруживает отсутствие единства верований на территории всей Скандинавии: в разных странах и областях существовали свои религиозные представления, в том числе и представления о судьбе человека по окончании земного бытия. Из топонимики известно, что культ некоторых божеств не был распространен повсеместно. Многообразие форм захоронений, серьезные различия в погребальных обрядах не могут быть полностью упорядочены наукой при помощи установления их хронологии, географического размещения или атрибуции племенной принадлежности погребенных. В одно и то же время в одной местности население подчас практиковало разные формы захоронения своих покойников. Напрашивается предположение: общепринятых и единых представлений о потустороннем мире, о том, что происходит с человеком после смерти, и какой род существования будет он вести в царстве мертвых, — у скандинавов в эпоху викингов не существовало. Но поскольку идея загробной жизни — это одна из центральных идей религии, то возникает и другое предположение: языческие верования в ту эпоху, несмотря на временное их большое оживление, вообще находились в состоянии разброда. Религия предков, видимо, больше не давала непреложного ответа по крайней мере на некоторые самые существенные вопросы, возникавшие перед человеком.

Относительно стройная система мифологии и религиозных верований, которую выводят многие историки древненорманнской культуры на основе изучения песен «Старшей Эдды» и исландских саг, вряд ли может быть отнесена к эпохе викингов. Скорее, это продукт позднейшего переосмысления разрозненных и противоречивых представлений, причем переосмысления, совершавшегося уже в период господства христианства, наложившего свой отпечаток на скандинавский эпос. Язычество в этот период сохранялось преимущественно в эпосе, перестав быть живой религией. Судить по сагам и эддическим песням, сохранившимся в записи XIII в., о скандинавском язычестве было бы неосторожно. Эпоха викингов, начало которой ознаменовалось большим духовным подъемом, напряженностью языческой религиозной жизни, вместе с тем характеризовалась разрушением традиционных верований и представлений, кризисом привычного мировоззрения скандинавов.

Разложение общинно-родовых отношений, получившее новые мощные толчки в период викингской экспансии, в конечном счете привело к краху язычества. Христианское влияние, шедшее в Данию и Швецию из Германии, в Норвегию из Англии, нашло поддержку в самой Скандинавии, его проводником стала укреплявшаяся и нуждавшаяся в идеологическом обосновании королевская власть. Тем не менее язычество медленно уступает свои позиции христианству, и даже в

песнях о богах оно еще выступает в качестве духовной традиции, дающей мощные стимулы фантазии средневековых исландцев.

Как уже отмечалось, в отличие от поэзии скальдов, которая сохранилась в первоначальной форме, песни о богах и героях, — «Старшая Эдда» — не восходят непосредственно к эпохе викингов. В большинстве своем ко времени их записи в XIII в. эти песни уже бытовали в устной традиции на протяжении многих поколений, подвергаясь изменению, переработке и переосмыслению. Поэтому-то изучение духовной жизни скандинавов IX—XI вв. при помощи анализа эддических песен чревато ошибками и анахронизмами. Датировка эддических песен неясна и спорна, в любом случае они известны нам в позднейшей форме. Но вместе с тем есть все основания утверждать, что поэтический эпос скандинавов по своему содержанию восходит к героической поре их истории, к которой неизменно обращались исландцы последующих веков. Попытки некоторых археологов¹⁵ датировать песни «Старшей Эдды» при помощи упоминаемых в них вещей (оружия, украшений) неубедительны, но о том, что мифы, лежащие в основе многих песен, были распространены в Скандинавии уже в эпоху викингов, свидетельствуют как многочисленные изображения сцен из мифологии на камнях с руническими надписями, на дереве, оружии, тканях, относящихся к этой эпохе, так и стихотворениях скальдов, в которых нашли широкое отражение мотивы эддических сказаний.

Древняя религия скандинавов¹⁶, насколько о ней можно судить по наскальной живописи и данным археологии, основывалась на поклонении силам природы. Эта ее черта сохранилась в памяти о «старших» богах — ванах. Ньерд, Тир, Улль, Фрейр, Фрейя были богами плодородия и изобилия, неба, солнца, морской стихии. К началу эпохи викингов в религиозных представлениях скандинавов произошли некоторые сдвиги. Отдельные божества, прежде олицетворявшие силы природы, приобрели антропоморфные черты. Главное место в скандинавском пантеоне перешло от ванов к асам. Согласно легенде, между асами и ванами произошла война, закончившаяся соглашением и обменом заложниками. От ванов в качестве заложников асам были даны Ньерд, Фрейр и его сестра Фрейя. Видимо, в этой легенде нашел отражение конфликт двух религий, а может быть, и какие-то столкновения между племенами¹⁷. Так или иначе, ваны не потеряли своей популярности, и культ Фрейра в эпоху викингов был широко распространен в Скандинавии. Особенно важное место в этом культе занимали мотивы плодородия. Адам Бременский рассказывает, что в капище в Старой Уппсале стояли изображения Тора с молотом, бдина с оружием и Фрейра с фаллусом. Летописец воздерживается от описания культа этого бога. Но найдена статуэтка фаллического божества, возможно Фрейра. Фрейр давал людям мир и благоденствие, ему приносили жертву «для мира и урожая».

Постепенно складывается представление об асах, как о семье богов, живущих, подобно людям, в своей усадьбе Асгард. Они воюют с враждебными родами великанов и чудовищ, захватывают добычу и заложников, похищают женщин, пируют. Главой рода асов был Один. Он правит другими богами, как отец правит родом. Играл ли он эту роль в эпоху викингов, Неясно. Однако черты хавдинга, инициатора битв и покровителя воинов, видимо, были присущи бдину уже в то время. По верованиям скандинавов, умершие попадали в Хель — мрачное царство мертвых, где царят холод, печаль, где все бездеятельны. Но воины, павшие в бою, считались избранниками бдина. Они одни получали доступ в Валхаллу — огромный чертог Одина. Туда плыли на кораблях или ехали на конях, и о наличии таких

¹⁵ *Nerman B. Rigsbula 16:8 dvergar a oxlum, arkeologiskt belyst.* — «Arkiv for nordisk flologi», 69, 1954; *Nerman B. Volospa 61:3 gullnar toflor; Tva unga Eddadikter. Arkeologisk belysning av brymskvida och Atlamal.* — «Arkiv for nordisk flologi», 78, 1963.

¹⁶ *Vries J. de. Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. I — II.* Berlin, 1956—1957.

¹⁷ *Briem Olafur. Vanir og aesir.* Reykjavik, 1963.

представлений, помимо погребений, свидетельствуют многие рисунки на камнях. На некоторых из них видна валькирия, которая встречает всадника, подъезжающего к Валхалле, в руке у нее кубок. Статуэтки, изображающие богато одетых женщин (предположительно валькирий) с кубками, и фигурки всадников были популярны: они найдены в Бирке, Хедебю и других местах. Викинги, принятые бдином в Валхаллу, пируют в украшенном золотом зале. Каждый день они покидают дворец и вступают в сражение между собой, но затем вновь возвращаются к пиршеству и возлияниям. Когда наступит конец света, Один пойдет в бой во главе своего воинства. По преданию, датский вождь Рагнар Лодброк носил перед своим отрядом знамя с вышитым на нем изображением ворона бдина, который якобы крылом указывал воинам направление похода (отсюда прозвище Рагнара: *brög* — знамя, *lod* — судьба). В честь бдина совершались возлияния «за победу» на пирах.

Но Один в глазах скандинавов был не только военным вождем, зачинщиком битв и сеятелем раздоров. Он — и вечный странник, никогда не остающийся на одном месте, старец в надвинутой на глаза шляпе, в голубом плаще, склонный к перевоплощениям и мистификации. Верхом на восьминогом коне Слейпнире (конь почитался скандинавами как священное животное), в сопровождении волка и воронов, зовущихся «Память» и «Мысль», он постоянно охотится, как бы олицетворяя дух беспокойства и тяги к странствиям, овладевший скандинавами в эпоху викингов. Он же — покровитель торговли. Наконец, Один — воплощение высшей мудрости, он считался источником магии и поэзии («меда бдина»). Чтобы стать всеведущим и получить знание рун, бдин принес самого себя в жертву, повесившись на мировом дереве, пронзив себя копьем, и отдал глаз в обмен на внутреннее зрение — мудрость.

Мнение некоторых ученых о том, что Один был божеством знати, военного класса, тогда как бог грома и молнии, рыжебородый силач Тор, являлся богом землевладельцев¹⁸, вряд ли верно. Языческий культ в Скандинавии оставался общим для всех приверженцев, независимо от их социального положения. Показательна необычайно широкая популярность Тора, имя которого родители охотно давали детям, надеясь на его покровительство. Такие имена, как Торольф, Торфинн, Торgrim, Торир, Тора, Торгейр и т.п. — их насчитывается много десятков, — носили равно и знатные, и бонды. Амулет, изображающий молот Тора, можно найти в самых богатых погребениях. Его изображение скандинавские правители чеканили на своих монетах. Нередко викинги шли в бой, призывая на помощь Тора, ибо он тоже был богом-воителем. Вооруженный своим молотом, Мьелльниром, он сражался с великанами и чудовищами, защищая от них Мидгард — мир людей. Норвежские и вслед за ними ирландские конунги считали себя его потомками, викингов иногда называли «народом Тора». Имена Одина и Тора сохранились в скандинавских (а отсюда и в английских) названиях дней недели (швед, *onsdag* — день бдина, среда, *torsdag* — день Тора, четверг, *fredag* — день Фригг, жены бдина, пятница).

Но хотя Один и Тор равно были наиболее почитаемыми богами скандинавов, все же можно предположить, что в образе бдина викинги с большей полнотой находили воплощение своих идеалов, нежели в образе Тора, бдин несравненно более противоречив, многогранен, сложен и аристократичен, чем простодушный молотобоец Тор. Если в последнем воплотился культ физической силы, то могущество Одина заключалось скорее в мудрости, всеведении, хитрости. Качества, приписываемые бдину, — это качества, которыми в глазах тогдашних скандинавов должен был обладать удачливый вождь. В генезисе культа Одина остается много неясного (так, не выяснено его отношение с носителем злого начала в скандинавской мифологии — Локи)¹⁹, но существенно подчеркнуть одно обстоятельство. В эпоху

¹⁸ Vart folks historie, I. Oslo, 1962, s. 373, 374.

¹⁹ Strom F. Loki. Ein mythologisches Problem. Goteborg, 1956.

викингов, как мы видели, наряду с развертыванием военной активности скандинавов, их агрессивности, наблюдался большой духовный подъем, который выразился в расцвете поэзии и изобразительного искусства. В Одине также можно видеть олицетворение обеих сторон жизни народов Севера: бог войны одновременно был и покровителем скальдов, источником вдохновения, колдуном.

Религия скандинавов не была проникнута моральным пафосом, нравственные понятия добра и зла в абстрактной форме были им чужды. Но вместе с тем эта религия придавала напряженность жизни. Все поведение человека подчинялось одному требованию, принципу: способствовать благу своего рода. Трусость, недостойные поступки могли повредить родовому счастью; неотмщенная обида, причиненная самому человеку или кому-либо из его близких, ложилась не только темным пятном на его честь, — она грозила разрушить душу рода, переходившую от предков к потомкам. И эта угроза была несравненно большей в глазах скандинава, чем страх смерти, которую он презирал. Поэтому каждый шаг, каждый поступок имел определенное значение. Человек был преисполнен чувства ответственности за будущее рода, частью которого он являлся, частица души которого жила в нем. Но по этой же причине он постоянно ощущал в себе присутствие силы рода и знал о поддержке, которую в случае необходимости он получит от него.

В плавании, в далекой стране скандинавы не могли рассчитывать на такую поддержку. Но, нуждаясь в ней, они создавали подобие родовой группы, делаясь побратимами друг друга, обмениваясь нерушимыми и скрепленными кровью клятвами верности, вступая в защитные гильдии и союзы воинов.

Разложение общинно-родового строя, ускорившееся в эпоху викингов, переселение в другие страны, разрушение прежней замкнутости и изолированности жизни, открытие новых миров — от Африки до Гренландии — неизбежно вели к подрыву и старой родовой идеологии, и синтеза ее — язычества. Войны, торговля, колонизация сопровождалась установлением постоянных и тесных контактов с культурой народов, исповедовавших христианство. Для достижения успеха в чужой стране викинг, купец, переселенец должны были заручиться поддержкой господствующего в ней бога, ибо, по их представлению, божества, которые правили у них на Родине, вне Скандинавии силы не имели. Скандинавы принимали христианство в Ирландии, Англии, Франции, в других странах, но по возвращении домой вновь совершали возлияния и жертвоприношения в честь Одина, Тора, Фрейра, чтили предков, насыпали курганы и ставили камни в память об умерших. Христианское учение о грехе и искуплении оставалось чуждым их сознанию. Христа они воспринимали как могучего витязя, правителя многих народов. Таким он и изображен на знаменитом еллингском камне. Христос представлен здесь в позе распятого, но мастер, который высек его фигуру, изобразил скорее воина с распростертыми руками, чем страдальца.

Часто скандинавы меняли религию, убедившись в могуществе Христа, в удачливости поклонявшихся ему людей²⁰. Саги упоминают скандинавов, придерживающихся, как тогда говорили, «смешанной веры»: обращаясь за помощью к богу христиан, они не порывали с язычеством. Таков был исландский хавдинг Хельги Тошый: он верил в Христа, но на море прибегал к помощи Тора. Когда в 1000 г. альтинг принял закон о переходе всех исландцев в христианство, одновременно было оговорено, что допускается тайное отправление языческих обрядов и употребление конского мяса и крови, а также выбрасывание новорожденных. Языческие жрецы — годи — становились нередко священниками, но интересовались при этом, смогут ли они обеспечить место в раю для такого количества сородичей и друзей, сколько может вместить построенная ими церковь. Синкретизм скандинавов

²⁰ Bay S.A. Bonde og viking. Tender, 1954, s. 185—186.

этого времени проявлялся и в том, что бок о бок с предметами языческого культа в могилы нередко клали кресты. Все это, равно как и упомянутый выше разнбой в погребальных обрядах, — симптомы глубокого кризиса язычества.

Вместе с тем это был и социально-политический кризис: за сохранение старой веры в скандинавских странах обычно держалась родовая знать, которая издавна контролировала языческий культ и видела в нем гарантию своего могущества и независимости от конунга-объединителя, тогда как последний вместе с поддерживающими его слоями населения добивался установления своего единовластия, находившего оправдание в христианском монотеизме. Как раз в эпоху викингов разворачивается в странах Севера ожесточенная борьба между королями и родовой знатью, вылившаяся в конфликт между христианством и язычеством.

В песнях «Старшей Эдды» обитатели скандинавского Олимпа выступают не только вполне очеловеченными — в них подчас содержится насмешка над старыми богами и весьма низкая их оценка. В одной из песен о богах, известной под названием «Перебранка Локи», асам приписываются все низменные страсти, пороки и неблагоприятные поступки. Забияки, воры, прелюбодеи, развратники, клятвопреступники, злословы — эти боги далеко не являлись в глазах своих почитателей образцами высокоморального поведения. Такова картина, отражающая влияние христианства, но она возникла не вдруг.

Дискредитация асов началась задолго до XIII в. Недаром скандинавские источники говорят об отдельных викингах, которые не верили в богов и полагались только на «собственную силу». Конечно, неверно видеть в них каких-то вольнодумцев и атеистов. Скорее то были люди, переживавшие духовный перелом вследствие распада традиционных общественных связей и освящавших их языческих представлений. Подобные сообщения, как и поэзия скальдов, свидетельствуют, видимо, о становлении человеческой индивидуальности. Люди, порывавшие с родиной и не принадлежавшие более к тесно сплоченным родовым коллективам, которые в значительной мере поглощали личность и растворяли ее в себе, нередко поставленные вне закона, не могли не столкнуться со сложными и подчас неразрешимыми проблемами²¹. Индивид в известной мере обособлялся от родовой группы, но в то же время не был способен достичь внутреннего самоопределения и утвердиться как личность. В условиях жизни, полной опасностей и превратностей, когда вслед за удачей и победой могло прийти жестокое поражение, а смерть подстерегала на каждом шагу, широкое распространение получили фаталистические взгляды. Возникла вера в безличную силу, правящую миром, в судьбу, которой подвластны и люди, и сами боги. Впоследствии, в «Прорицаниях вёльвы», эта вера в судьбу примет форму предсказания всеобщей гибели мира в результате космической битвы асов с чудовищами, которая приведет к гибели богов.

В творчестве скальдов нашли отражение смятение человека того времени, переоценка ценностей, утрата веры в прежних богов. Скальд Халльфред, приближенный норвежского конунга Олафа Трюггвасона, который принуждал его креститься, не хотел отказываться от приверженности бдину, за что получил прозвище «Трудного скальда». В одной из его песен нашла выражение внутренняя борьба, вызванная сохранением привязанности к старой вере, с одной стороны, и необходимостью следовать увещаниям конунга — с другой. В конечном счете побеждает воля государя. Халльфред, как и многие дружинники скандинавских королей, переходили в христианство по требованию своих повелителей, ибо в них в большей мере, чем в богах, видели источник своего благополучия — и материального и духовного. Современники говорили, что нужно верить в того бога,

²¹ Turville-Petre E.O.G. *Myth and Religion of the North*. London, 1964, p. 263, ff.

которому поклоняется конунг Олаф Трюггвасон, ибо он был удачлив и обладал всеми доблестями хавдинга.

В религии всегда есть как бы два уровня: высший — учение о богах, то, что называется «богословием», и низший — культовые, обрядовые формы, действия, символика и ритуалы, священные предметы. Сила традиции в наибольшей мере присуща этому второму слою религиозных представлений и актов, которые играли значительную роль в общественной жизни скандинавов. Вера во всемогущество асов разрушалась, их место постепенно начали занимать Христос и дева Мария, наделяемые при этом некоторыми качествами старых богов, тогда как традиционные обряды проявляли еще огромную живучесть. Язычество сохранялось не как система взглядов и идеология, а как суеверие и комплекс ритуалов. Из сферы официальной жизни его вытеснило христианство, но в частной жизни людей оно оставалось важным элементом.

К началу эпохи викингов, как и по большей части на протяжении ее, скандинавские народы оставались варварами: они еще не перешли на стадию классового общества, хотя переход к нему, начинавшийся и до этой эпохи, ускорился под влиянием походов в другие страны. Но что такое варвар? Можно ли представлять себе скандинава только таким, каким его изображают западноевропейские хронисты: безжалостным убийцей и грабителем, охваченным лишь жадой добычи и лишенным каких-либо сдерживающих начал и моральных качеств? Несомненно, норманны были безжалостны к врагам и, тщательно защищая сородичей, не уважали и не ценили чужой жизни. Среди викингов был распространен обычай насаживать на копья младенцев в захваченных поселениях. Ненавистного противника, попавшего к ним в руки, викинги нередко подвергали особенно изощренным мучениям: рассекали ему спину, выворачивали ребра и вытаскивали легкие. Готовность пролить чужую кровь выражалась и в родовой мести, процветавшей у них на родине еще столетия спустя. Но каков был нравственный облик феодалов Запада, сражавшихся против северных варваров, намного ли они отличались по части милосердия, любви к ближнему, отношению к чужому имуществу и т.п.? В Англии с одного попавшего в плен норманна была содрана кожа и ее прибили к дверям церкви Христа, проповедовавшего милосердие. Известно, что осуждение викингов в западных хрониках объясняется главным образом их язычеством. О викингах говорили, что они «не оплакивают ни своих грехов, ни своих мертвых». Если бы они молились Христу, католические хронисты многое бы им простили.

Конечно, скандинавы того времени — это варвары со всеми присущими варварам внутренними качествами: жестокостью, мстительностью, диким нравом, неумеренностью, хитростью, вероломством, безудержным женолюбием и жадой грабежа. Но вместе с тем они более всего ценили в людях мужество, презрение к опасности, чувство собственного достоинства, самодисциплину, верность другу и вождю, гостеприимство. Этими чертами они наделяли героев своей поэзии и мифологии.

Стремясь подчеркнуть дикость викингов, франкские и английские хронисты изображают их рослыми блондинами, великанами, обладающими недюжинной физической силой. И в сагах более позднего времени, идеализирующих прошлое исландцев, викинги обычно рисуются необыкновенными людьми. Об основателе Нормандии Роллоне рассказывали, что он всегда сражался пешим, потому что его тяжести не мог выдержать ни один конь. Когда герои саг гnevаются, то тело их раздувается и лопаются одежда. Среди викингов особенно выделялись так называемые берсерки — воины, которые в разгар битвы и при виде врага впадали в такое неистовство, что издавали нечленораздельное рычание, кусали щит и сбрасывали с себя кольчуги и верхнюю одежду, сражаясь обнаженными до пояса; берсерк считался воином, находившимся под покровительством бдина, и был

неуязвим и силен, как волк, медведь или бык. Хавдинги стремились привлечь в свои дружины таких кровожадных и опьянявшихся битвой людей²². Но и сообщения саг, и рассказы западных летописцев, несомненно, преувеличивают силу и варварский облик викингов. Изучение найденных в погребениях скелетов свидетельствует о том, что в среднем в ту эпоху люди обычно были несколько ниже ростом, чем теперь. Многие страдали от ревматизма и туберкулеза, а зубы их были поражены кариозом.

Неточны и показания иностранцев об одежде скандинавов, ходивших, по их словам, чуть ли не в шкурах. Жители Севера, по справедливому замечанию одного историка, считались лучшими скорняками своего времени²³. Домотканое сукно даже играло у них роль денег. Остатки одежды из шерсти, льна и шелка, а также изображения и статуэтки людей свидетельствуют о том, что и мужчины, и женщины одевались — при наличии средств — со вкусом и строго следовали тогдашним модам. Особенно велик был спрос на иностранные одежды, фризские платья, франкские и английские плащи; проникли на Север и византийские и славянские моды. Женщины носили длинные, до пят, платья, обычно без рукавов и с вырезом на груди. Мужчины одевались в блузы и длинные или короткие брюки типа гольфов. Верхней одеждой служил плащ. Известна любовь скандинавов к украшениям, пряжкам, подвескам, брошкам, кольцам. Судя по немногочисленным изображениям людей, сохранившимся от эпохи викингов, воины носили длинные волосы, заплетали бороды (вспомним прозвище датского конунга Свейна — Вилобородый). Женские прически были неодинаковы для незамужних и замужних: девушки носили волосы, свободно лежавшие на спине и плечах; после выхода замуж волосы связывали в пучок. Арабский хронист рассказывал, что в Хедебю ресницы красили все — и женщины и мужчины и, по его словам, это очень им шло. Тщеславие воинов находило особое удовлетворение в обладании богато украшенным и дорогим оружием и кольцами из золота и серебра.

Говоря о варварстве викингов, не следует представлять их бескультурными грабителями, способными лишь на разрушение. Действительность была неизмеримо сложнее и противоречивее. Бесспорно, что в IX—XI вв. скандинавами двигала жажда добычи. Однако они не только воевали и занимались пиратством, но и торговали, заселяли и возделывали новые земли, открывали неизвестные до них страны. Вместе с серебром и рабами, тканями и оружием они привозили на родину новые идеи и представления, новые впечатления о дальних странах Востока и Юга, Запада и Севера и новые художественные и технические навыки. Подъем изобразительного искусства и скальдической поэзии, начавшийся еще до походов викингов, свидетельствует о напряженной духовной жизни скандинавских народов. В эпоху викингов были заложены основы того нового расцвета скандинавской культуры, который произошел в XII и XIII вв. прежде всего в Исландии и нашел свое выражение в песнях о богах и героях, в многочисленных сагах об исландцах, о королях, о дальних странствиях. Вклад Исландии того времени в европейскую и в мировую культуру огромен. Велико своеобразие творчества скандинавов, народного по своим истокам и Духу. Но важно еще раз подчеркнуть, что содержание и комплекс представлений, которые воплотятся в произведениях исландской культуры средневековья, — прямое наследство духовной традиции времен викингов.

²² Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Bd. I. Kobenhavn, 1956, s. 501—502.

²³ *Oxenstierna E.* Sa levde vikingarna, s. 7.

Заключение

Походы норманнов — последний этап исторической драмы, вызванной столкновением в Европе двух миров — варварства и цивилизации. Как и варвары, завоевывавшие Римскую империю, норманны подчиняли себе отдельные области в странах Запада, заселяли их, оказывали свое воздействие на их общественный и политический строй. Но в конечном счете не норманны вышли победителями в этом конфликте. Захваченные и колонизованные ими области со временем были включены в состав феодальных государств, на которые они нападали. Страдавшие от норманнских набегов народы после долгой борьбы нашли в себе силы для того, чтобы их отразить. Более того, это столкновение двух миров положило конец северному варварству. Северная Европа и в дальнейшем продолжала отличаться от передовых стран средневековья и несколько отставать от них в своем развитии, тем не менее это развитие было отныне частью общеевропейской эволюции. Когда эпоха викингов закончилась, в Дании, Швеции и Норвегии уже возникали крупное землевладение и зависимое крестьянство, торжествовали королевская власть и католическая церковь. Вследствие усилившегося экономического общения с другими странами, под влиянием социальных институтов, материальной и духовной культуры, религии более развитых европейских народов скандинавы скорее перешли к новому строю жизни, включились в орбиту европейской цивилизации.

Вопрос о роли походов викингов в процессе ломки доклассового общества и формирования феодализма в скандинавских странах сложен и мало изучен. Очевидно, внешняя экспансия имела противоречивые последствия для внутренней истории Швеции, Норвегии и Дании. Приток в эти страны богатств, вымененных и награбленных на Востоке и Западе, несомненно, способствовал укреплению высших слоев общества и углублению социальной и имущественной дифференциации его. В эпоху викингов резко возросло количество рабов, которыми обладали богатые и могущественные люди, а отчасти и многие бонды. Все это, казалось бы, должно было способствовать скорейшему отмиранию родового строя. Но вместе с тем часть населения Скандинавии покидала родину, что не могло не замедлять шедших здесь социальных процессов. Было бы неосторожно видеть класс феодалов в скандинавской знати, усилившейся в IX — XI вв. вследствие пиратства, торговли и захвата рабов. Основой богатства этих хавдингов и стурманов оставалось движимое имущество, а не земля, не доходы от эксплуатации зависимых крестьян. Часть рабов наделялась участками. В их положении действительно можно найти некоторые черты сходства с положением феодально-эксплуатируемых крестьян, но неверно и игнорировать существенное различие между ними. Наоборот, как можно предполагать, распространение рабства, которое долгое время сохранялось в Скандинавии и после окончания походов викингов, явилось одной из причин того, что процесс феодального подчинения свободных бондов начался здесь относительно поздно и шел весьма медленно.

Знать, разбогатевшая и усилившаяся в походах в другие страны, в значительной своей части так и не превратилась в феодальных землевладельцев. Многие наиболее видные ее представители, пытавшиеся сохранить свою независимость, погибли в борьбе против королевской власти, которая проводила политику объединения страны. В состав сложившегося в конце концов класса феодалов наряду с потомками уцелевших старых стурманов вошли новые люди, связанные с королем, выходцы из незнатных родов, разбогатевшие бонды, высшее духовенство. К концу эпохи викингов на Севере Европы сохранялась многоукладность общественных форм, пестрота социального строя и существовали лишь зачатки феодализма. Проблема генезиса феодальных отношений в скандинавских странах еще далека от своего решения.

Нет достаточной ясности и в вопросе о времени складывания скандинавских государств. Хотя некоторые историки (в особенности шведские) относят это время чуть ли не к эпохе «Великих переселений», есть основание предполагать, что переход от стадии племенных союзов к раннефеодальному государству продолжался в Скандинавии еще в XI в. Социально-политические процессы, о которых идет речь, начались ранее эпохи викингов и закончились уже после ее завершения. Походы норманнов, оказавшие огромное, хотя и противоречивое воздействие на эти процессы, не определили их всецело.

Печатается по изд.: *Гуревин А.Я.* «Походы викингов». М., 1966.

НАЧАЛО ФЕОДАЛИЗМА В ЕВРОПЕ

Памяти Александра Иосифовича Неусыхина

Предисловие

Возникновению западноевропейского феодализма посвящена обширная литература. Научная и общественная актуальность этой темы понятна. Становление феодального общества в Европе — это и начало истории населяющих ее народов. Ныне, в период ломки старых социальных порядков и развития социализма, не может не быть велико внимание к эпохам смены общественных формаций. Раннее средневековье в истории Европы явилось тем моментом всемирной истории, когда завязался узел, в котором сплелись пути развития трех общественных форм — античного общества, общества варваров, зарождавшегося феодального общества. Естественно поэтому, что в период раннего средневековья должны были выявиться закономерности развития различных социальных форм. Все это делает эпоху раннего средневековья интересной для историка, философа, социолога, поучительной в теоретическом отношении.

Но хотя процесс становления феодализма многократно и с разных сторон изучался историками, в нем немало неясного. Чем глубже в предмет проникает мысль ученых, тем больше новых вопросов возникает перед ними. Новые проблемы требуют все новых и новых подходов к старым темам, рассмотрения их с иных точек зрения.

Проблема генезиса феодализма и связанный с нею вопрос о путях складывания феодально зависимого крестьянства представляет трудность и с источниковедческой, и с теоретической точек зрения. Даваемые историографией решения не всегда убедительны. Для дальнейшего изучения этих вопросов необходимо привлечь новый материал, почерпнутый не только из истории тех стран, которые обычно находились в центре внимания исследователей, но и из истории народов, остававшихся до недавнего времени вне поля их зрения.

Но дело не только, а может быть, и не столько в расширении круга источников и области, охватываемой исследованием. Трудности, возникшие перед современной историографией, в немалой мере вызываются, на наш взгляд, недостаточной ясностью применяемых ею понятий, без которых историки не могут обойтись и которые именно поэтому нуждаются в уточнении и углублении. Понятия исторической науки употребляются в обществе, к которому принадлежат сами историки; естественно, эти понятия соответствуют специфике современного историкам общества. Однако наука прилагает эти понятия к иным эпохам, и неизбежно должен возникнуть вопрос, в какой мере правомерна подобная операция, не нуждаются ли при этом общие категории в переосмыслении и насыщении исторически конкретным содержанием, отвечающим отношениям изучаемой эпохи? Нам придется вдуматься в такие категории, как «собственность», «богатство», «свобода», «зависимость», «индивид» и другие, — каков их смысл в контексте эпохи раннего средневековья?

Нередко бывает так, что историческое понятие, создавшееся в одной стране и отвечавшее отношениям определенного периода, переносится историками затем в другие периоды и применяется к иным формам социальных отношений. Но не вызывает ли такое расширительное употребление понятий деформации картины исторической действительности, рисуемой при посредстве этих понятий? Стало общепринятым писать и говорить о закреплении свободных общинников и о крепостных крестьянах Западной Европы в период раннего средневековья. К сожалению, обычно не задумываются над тем, аналогичны ли описываемые при помощи таких категорий отношения крепостничеству Восточной Европы периода XV—XIX вв., не привносим ли мы таким образом чуждые раннему феодализму порядки, сложившиеся в специфической обстановке конца средних веков.

«Прочистка» понятий, уточнение их с целью более правильного употребления при изучении истории возникновения феодализма совершенно необходимы.

Столь же важны содержание и характер применения наиболее общих философско-исторических категорий, которыми пользуется наука. Смещение логического аппарата науки с конкретно-историческим процессом и подмена первым последнего — важное препятствие на пути исследования. В результате из истории исчезают многоплановость и многообразие живого процесса, она схематизируется. В этой связи мы считаем целесообразным остановиться на вопросе о применимости понятия «классического» типа феодализма.

Кроме того, мы убеждены, что должен быть расширен самый круг вопросов, составляющих общую проблему генезиса феодализма. В советской историографии становление феодализма рассматривалось в первую очередь в аспекте вскрытия сдвигов в производительных силах, в отношениях собственности и социально-экономическом положении непосредственных производителей. Эта проблематика изучается и в нашей работе. Поскольку в основе освещаемых в книге вопросов лежит мысль о том, что феодализация заключалась прежде всего в смене одной системы социальных связей другой, было бы важно взглянуть на процесс перехода от варварского строя к феодальному и в свете таких наук, как социология и социальная психология. Изучение генезиса феодализма под указанным углом зрения предполагает постановку вопроса об отношении индивида и социальной группы, отношении отдельного человека и общества в целом. Как и всякий исторический процесс, генезис феодализма проходит через живых людей. Поскольку феодализм — это система отношений между людьми, следовательно, и изучение его возникновения и развития должно быть направлено на расшифровку социальных процессов в самой человеческой практике. Формирование новых связей между людьми вызывало сдвиги также и в их духовной жизни. Речь идет как об отражении социально-экономических процессов в сознании людей, так и о теснейшем переплетении и взаимодействии этих линий развития. Между тем вопросы развития общественного сознания в период раннего средневековья почти вовсе еще не ставились в науке, не ясны проблематика такого исследования, его методы и возможности, которые оно могло бы открыть.

Хотя названные проблемы очень сложны и слабо разработаны, книга рассчитана преимущественно на студентов-историков, а не на специалистов-медиевистов, знакомых с многообразными точками зрения, высказанными по каждому конкретному вопросу. Автор исходит из убеждения, что студент должен усваивать не только давно устоявшиеся и всесторонне обсужденные выводы науки, казалось бы, не вызывающие споров, — он должен иметь представление и о новых проблемах. Он должен знать, что в истории, как и в любой науке, имеется масса «белых пятен», подчас даже и тогда, когда «на картах» (в данном случае — в учебниках и пособиях) они закрашены. В науке не существует раз навсегда решенных вопросов. Ввести начинающего историка в самую гущу научных споров, натолкнуть его на размышления над проблемами, встающими перед исторической наукой, желательно и потому, что таким путем скорее всего можно воспитать в нем пытливость, необходимую ученому, и потому, что от молодого поколения историков и должно ожидать постановки новых вопросов, поисков нетрадиционных путей решения вопросов, унаследованных от старших поколений исследователей.

В книге не излагаются основные факты истории генезиса западноевропейского феодализма, приводимые в учебниках, поскольку предполагается, что читатель знает общую характеристику феодального строя и направление процесса его становления.

Книга не содержит также детального анализа исторических источников и обильных ссылок на специальную литературу; ссылки делаются преимущественно в тех

случаях, когда автор непосредственно полемизирует с иной точкой зрения либо когда он чувствует себя обязанным опереться на тот или иной научный авторитет. В книге рассматриваются лишь некоторые проблемы истории раннего средневековья¹.

¹ Уже после сдачи рукописи в набор вышел в свет сб. «Средние века», вып. 31 (1968), в котором опубликованы материалы научной сессии «Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной Европе», прошедшей в Москве в мае — июне 1966 г.

Введение

Феодализм: «модель» и историческая реальность

Феодальная формация характеризуется противоречием между крупной собственностью на землю и мелким производством крестьян, внеэкономическим принуждением, необходимость которого проистекает из этого основного противоречия, — поскольку крестьянин ведет самостоятельное хозяйство, то присвоение его прибавочного продукта возможно лишь путем применения насилия в той или иной форме. С этой системой производственных отношений сопряжены такие черты феодализма, как условный характер феодальной земельной собственности и иерархическая ее структура, а равно и иерархия господствующего класса. Такое понимание феодализма дает прочную научную основу для изучения конкретных вопросов истории средневековья.

Но когда мы переходим от самых общих абстракций и определений к применению их к конкретному исследовательскому материалу, то приходится признать, что нынешний этап изучения феодального строя в Европе характеризуется известной двойственностью, даже противоречивостью. Накоплен огромный новый материал; в круг исследования вовлечены многие явления, которые не были отмечены и оценены исторической наукой XIX и начала XX в.; ряд вопросов, казавшихся прежде бесспорно и окончательно решенными, пересмотрены и углублены. Современное знание о феодализме охватывает не только историю Франции, Англии, Германии, но и историю многих других стран, развитие которых ранее не принималось во внимание или было недостаточно изучено: Италии, Испании, стран Скандинавии, Византии, Руси, западных и южных славян. Вместе с тем в историческом прошлом «классических» стран средневековья заново изучены такие периоды, которые оставались относительно «темными», например ранние этапы истории Италии, англосаксонский период в истории Англии. В результате эти страны Запада перестали фигурировать в научной литературе как нечто однозначное и монолитное. Выяснилось, что в каждой из них существовали области, характеризующиеся значительным своеобразием социально-экономического уклада, различными историческими судьбами: таковы, например, во Франции — Бретань, Южная Франция, Нормандия, Лотарингия, в Англии — Денло, северные графства, Кент. Собственно говоря, многоликость социального строя на территории средневековой Европы не вырисовалась впервые перед современной наукой — о ней в той или иной мере было известно и прежде, — но, пожалуй, впервые это многообразие стало научной проблемой.

Вопрос осложняется тем, что хотя наука располагает сейчас несравненно большим, чем прежде, и хорошо изученным материалом по истории феодализма почти во всех странах Европы, понятийный научный аппарат, которым пользуются историки, остается по сути дела неизменным. Наши теоретические представления о феодализме по-прежнему опираются на обобщения, сложившиеся на предшествующей стадии развития историографии, и в основе их неизменно находится то изображение феодализма, которое вынесли историки преимущественно из изучения страны, считавшейся средоточием европейского феодализма, — Франции.

Когда мы говорим о прекарии, иммунитете, о монополии феодалов на землю, выразившейся в известном принципе «нет земли без сеньора», о рыцарстве как корпорации, о всеобщем господстве феодального права, о развитой иерархической лестнице вассалов и сеньоров, то по сути дела мы имеем в виду французский, а точнее говоря, северофранцузский феодализм в XI—XIII вв., ибо, обращаясь к общественным отношениям в других странах Европы того же периода, приходится отмечать отсутствие, недоразвитость или специфичность названных институтов.

Правда, необходимо при этом отметить, что в русской историографии классическое понимание феодализма получило несколько иную окраску, обусловленную, в частности, необходимостью передать по-русски ряд понятий западноевропейских. Так, эквивалентом западной *noblesse*, *nobility* стало дворянство, *Grundherrschaft* — вотчина, *Gutsherrschaft* — поместье, *servage*, *villainage* — крепостничество. Совершенно ясно, что эти понятия, возникшие в связи с развитием истории России, не являются точными и адекватными эквивалентами указанных западноевропейских институтов. Сколько бы мы ни оговаривали условность этих терминов в их применении к западноевропейской истории, они по давней традиции несут определенный отпечаток, наполнены специфически русским историческим содержанием и «освободить» их от него наука уже бессильна. Когда мы говорим о «закрепощении» крестьян во Франкском государстве, то независимо от того, что историк сознает существенные отличия этого процесса от закрепощения русского крестьянства в XV—XVIII вв., читатель воспринимает преподносимый ему материал по-своему, и удалить из создаваемой им мысленно картины чуждые раннему средневековью моменты оказывается невозможным: слова неразрывно слились с определенным, исторически заданным смыслом. При этом еще возникает вопрос: а всегда ли и сам историк отчетливо сознает двусмысленность применяемой им терминологии и избегает ли он всех связанных с нею опасностей?¹

Итак, едва ли можно сомневаться в том, что характеристика феодализма, которой мы пользуемся, строится на его признаках, встречающихся по большей части в истории одной страны, с добавлением отдельных черт его, позаимствованных из истории других стран. Все эти критерии феодализма сведены в логическую схему, своего рода «модель» так называемого классического феодализма. При применении же этой характеристики ко всем странам средневековья неизменно и совершенно естественно обнаруживается несоответствие действительных социальных условий, существовавших в других странах, тому общему представлению о феодализме, с которым историк подходит к их изучению. Есть, разумеется, нечто общее, на основании чего ученый говорит о феодализме, но он всякий раз сталкивается и с чертами «аномалии», несоответствия «норме», общему определению. Отсюда часто встречающиеся высказывания о «нетипичности», «недоразвитости», «незавершенности» феодализма, в разных странах Европы.

Каков действительный смысл подобных утверждений? Нам кажется, что мнение о французском феодализме как классическом связано с логической ошибкой. Если общая картина феодализма действительно сложилась на северофранцузском материале (строго говоря, на материале истории одного лишь Парижского бассейна), то такому определению феодализма и может соответствовать полностью только одна часть Франции. Но и здесь возникают трудности, ибо господство крупного барщинного землевладения, опиравшегося на серваж и функционировавшего в условиях преобладания натурального хозяйства, с развитой частной сеньориальной властью землевладельцев, ленной иерархией сеньоров и вассалов и при слабой власти короля, относится, собственно, лишь к ограниченному периоду в истории даже и самой Северной Франции. Но и на этой территории черты «незавершенности» феодальной системы переплетались с признаками ее трансформации даже и в X, и в XI, и в XII вв., не говоря уже о последующем периоде, характеризующемся рядом новых («неклассических») явлений.

Таким образом, теоретическое представление о феодализме есть «модель», сконструированная, однако, не столько на основе обобщения широкого круга данных, сколько путем возведения в норму конкретного материала, полученного прежде всего из изучения истории одной области Франции за не слишком

¹ См. ниже, гл. 1, §1 и гл. III, § 2.

определенный и краткий отрезок средневековья. Ясно, что в результате подобной операции область Франции, расположенная между Луарой и Рейном, становится «классической» страной феодализма, а все другие страны, к которым прилагается созданная таким образом «модель», в той или иной степени до нее «не дотягивают» и оттесняются в разряд стран с феодализмом «неклассическим», «нетипическим» и т.п.

Роль общих понятий, абстракций и теоретических моделей в науке трудно переоценить. Без них невозможно никакое научное познание. Однако, нам думается, медиевистика не вполне избежала опасности смешения «модели» с реальностью при конструировании картины феодализма. Эта «модель» «работала», в течение длительного времени она имела положительное познавательное значение, поскольку при ее помощи удавалось охватить значительное количество фактов и установить универсальность феодализма в Европе. Но вместе с тем в процессе этих исследований вскрылось и нечто иное, а именно — глубокое своеобразие общественного строя каждой из стран. Мало того, наукой выявлены и повторяющиеся черты, которые встречаются, скажем, в Англии и в Швеции, в Норвегии и на Руси, но которых мы не найдем во Франции. На основе общепринятого определения феодального строя эти черты своеобразия историки расценивают как признаки «недоразвитости», «незавершенности» феодальной системы в данной стране: в ней не досчитываются некоторых признаков, предусмотренных определением, повторяющиеся же, но не характерные для Северной Франции черты не получают должной оценки и оттесняются на задний план, ибо считаются «нетипичными» — ведь их нет в «классической» модели.

Вот конкретный пример несоответствия фактов теории. В процессе становления франкского феодализма прекарий и коммендация играли огромную, можно сказать, определяющую роль. Между тем ни в саксонский период истории Англии, ни в Скандинавии, ни на Руси, ни в Византии мы подобных институтов не найдем. Становление феодализма протекало здесь иначе. Зато колоссальное значение в процессе феодализации во всех перечисленных странах имело явление, известное на Руси под названием «окняжения»: дани и приношения, угощения и кормления всякого рода, взимавшиеся еще племенными вождями со свободных соплеменников или с покоренных народов, со временем эволюционировали частично в государственную подать, частично — в феодальную ренту, а само население, их платившее, превращалось в зависимых людей государя либо того магната, дружинника или церковного учреждения, которые присваивали право сбора этих угощений и платежей². Этот процесс выразился в Англии в королевских пожалованиях бокленда, в скандинавских странах — в институте вейцлы, в Древнерусском государстве — в системе полюдья и княжеских погостов. В Византии, где историки этого развития были, разумеется, иными, чем в других названных странах, в которых феодализм развивался на основе трансформации родового строя, государственная рента-налог, взимаемая с париков, превращалась в феодальную ренту. Эти явления давно известны, но место их и значение в генезисе феодализма в соответствующих странах трудно было научно определить, так как «классической» картине генезиса феодализма они не отвечали. В результате возникали серьезные трудности при понимании путей формирования зависимого крестьянства в целом ряде стран Европы.

С отмеченным сейчас явлением тесно связано и другое: образование господствующего класса феодального общества, его структура и его отношение с центральной властью. Ибо при возникновении феодальной ренты из дофеодальных «кормлений» подчас не создавалось условий для интенсивного развития частной власти феодалов и глубокой социально-правовой деградации свободных крестьян, не

² См. ниже, гл. I, §1, гл. III, §1.

порывались все нити, соединявшие их с государством. Короче говоря, складывался иной тип феодализма по сравнению с феодализмом «классическим». Но в рамках господствующей в науке теоретической «модели» феодального строя этот иной тип не может получить полного признания. Он все еще воспринимается как нечто не характерное и не отвечающее полностью признакам феодализма, как некая аномалия, в лучшем случае — как побочный вариант, ответвление от «столбовой дороги» истории средневековья.

Таким образом, принятая теория феодализма не отражает ряда существеннейших черт социального строя, широко распространенных за пределами Франции. Конечно, теоретическая картина не может, да и не должна отражать всего богатства реального эмпирического мира, но в данном случае речь идет о том, что принятая теория феодализма исключает такие его черты, которые на значительной части территории Европы являлись ведущими и конститутивными. Применение традиционной теории феодализма к нефранцузскому материалу ведет к недооценке своеобразия социального строя в «неклассических» странах средневековой Европы. Историкам, руководствующимся этой «моделью», приходится повсеместно выделять те признаки феодализма, которые ею предусмотрены; иные же его черты, не предполагаемые «моделью» или даже противоречащие ей, именно поэтому отбрасываются как несущественные или не могут получить должной оценки: они кажутся незакономерными и второстепенными явлениями.

Но теоретическая картина, «модель» вырабатываются в науке не таким образом, что определенный частный случай по известным причинам возводится в общую норму, с которой затем как с эталоном сопоставляются все другие варианты; «модель» конструируется как связанная система признаков, заимствуемых подчас из разных реальных образований, принадлежащих к одной группе и потому движущихся по общим законам; созданный научной мыслью идеализированный объект функционирует согласно этим законам и воплощает черты, принадлежащие в той или иной степени всем разновидностям данной группы; будучи свободна от специфичных признаков, затемняющих действие общего принципа, «модель» служит средством раскрытия в частных явлениях наиболее существенного и закономерного. Если же за общую «модель» взят образец, представляющий по сути дела лишь частный случай, то такая «модель» перестает действовать и из средства познания превращается в препятствие для адекватного уяснения существа общественных отношений, не соответствующих принятой теории. Не произошло ли именно так с «моделью» феодализма, которой пользуются историки?

Ныне историки все вновь и вновь убеждаются в том, что гетерогенность социальных форм в докапиталистические эпохи была исключительно велика, и подведение всех древних обществ под однозначное определение рабовладельческого строя либо отнесение всех обществ средневековья к феодальному типу встречается с непреодолимыми трудностями. Неотъемлемой чертой всех докапиталистических обществ, вышедших за пределы первобытной общины, является многоукладность социальных форм. Это явление не раз отмечалось исследователями, но, как правило, не получало должной оценки. Многоукладность, или разноукладность, наличие двух или более общественных форм в рамках одного общества, обычно принимается за признак его переходного состояния. Следовательно, предполагается, что на высшей стадии развития общественной формации явления многоукладности исчезают или, по крайней мере, теряют свое значение, отступают на задний план и могут не приниматься всерьез во внимание. Так ли это на самом деле? Не допускаем ли мы в данном случае такого упрощения действительной картины докапиталистических формаций, которое мешает нам правильно понять самую ее сущность?

Раннефеодальное общество было многоукладным, это общепризнано. Наряду с остатками рабовладения и колоната позднего Рима мы находим в Европе в первые

столетия после его падения родоплеменной уклад варваров, а также общинные отношения, которые, кстати сказать, по целому ряду причин нельзя рассматривать только как пережиточную форму общинно-родового строя. Во-первых, потому, что соседская община средневековья существенно отличается от первобытно-родовых общин по самой своей основе (ибо она не опирается на коллективную собственность на землю), а во-вторых, потому, что марковый строй средневековой деревни в значительной мере складывается вообще не в процессе трансформации более ранних типов общины, а в результате совершенно иного развития — внутренней колонизации, превращения небольших поселений и хуторов в деревни, т.е. к результату роста производительных сил и увеличения численности населения. Картина социальной многоукладности раннесредневекового общества не будет полной, если мы не учтем немалой роли «патриархального» рабства у варваров. Между тем, в нашей литературе многоукладность раннефеодального общества нередко заслоняется изображением интенсивного взаимодействия всех перечисленных форм общественной жизни, приводящего к торжеству феодализма. Не таков ли смысл тезиса о синтезе позднеримских порядков с социальными отношениями варваров? Этот синтез (обычно не исследуемый конкретно) изображается как сближение обоих укладов и их слияние, порождающее феодализм.

Такой синтез и в самом деле имел место в ряде стран Европы, но далеко не всюду он шел успешно или быстро³. Главное же состоит в том, что и к концу периода раннего средневековья в Европе социальная многоукладность изжита не была. Наряду с зависимым крестьянством и феодальными землевладельцами мы почти повсеместно находим более или менее значительные остатки слоя свободных мелких собственников либо даже широкую их массу, составляющую основную часть населения страны. Соответственно и свободная община не исчезает повсеместно. Аллод нигде, даже во Франции, не вытеснен феодалом окончательно и полностью. Очень долго сохраняется рабство в разных видах и модификациях: дворцовые слуги и холопы, пленные и покупные рабы, вольноотпущенники и кабальные люди не были лишь незначительной прослойкой сельского населения. Черты многоукладности в известной мере можно обнаружить и в недрах самого феодального уклада. Зависимое крестьянство феодальной эпохи никогда не составляло класса, единого по своему имущественному положению, социально-правовому статусу, по роли в политической и общественной жизни. Оно было разбито на многочисленные разряды, характеризующиеся разными формами зависимости, различными видами эксплуатации. Многие особенности положения разных социальных разрядов средневекового крестьянства генетически восходят к раннефеодальному и даже к еще более раннему времени.

В период «классического» средневековья социальная многоукладность феодального общества не только не исчезает и не сглаживается, она еще более усиливается и приобретает новые черты. Принципиально новым было возникновение и развитие мелкотоварного уклада, связанного с ростом городов и городского населения. Признавая наличие его элементов и в обществе раннего средневековья, все же придется отметить подчиненное значение торговли и денежного обращения для становления социальной структуры раннефеодального общества. На втором этапе истории феодализма город начинает играть все более важную роль и во все большей степени влияет на социально-экономическую структуру в целом. Несомненна связь городского средневекового общественного уклада с феодальными производственными отношениями, но столь же несомненно и то, что городской уклад средневековья не может быть полностью понят как феодальный.

³ См. дискуссию о характере романо-германского синтеза в сб. «Средние века», вып. 31, 1968 (доклад А.Д.Люблинской и прения по нему).

Средневековый город имел качественно иную, нежели феодализм, основу — и производственную, и общественную.

Со своей стороны город способствовал возникновению в недрах феодального общества социальных форм, которые знаменовали новый этап в развитии самого феодализма, а затем стали перерастать его рамки. Это не обязательно означало зарождение капитализма, но под покровом феодальных юридических категорий начинали возникать отношения, по сути своей противоречившие феодальным, например, аренда, наемный труд в ремесле и сельском хозяйстве. В дальнейшем некоторые из этих явлений станут симптомами раннекапиталистического развития; пока же это, скорее, формы уклада, связанного и переплетающегося с феодальным, но нефеодального по своей природе.

Вряд ли правомерно все формы социально-экономических отношений, встречающиеся в средние века, но не отвечающие нашим представлениям о феодализме, обязательно заносить либо в рубрику «пережитки дофеодального строя», либо в рубрику «зародыши капитализма». Наряду с такими несомненно переходными формами, характерными для предшествующих или для последующих обществ, в средние века имели место и постоянно сопутствовавшие феодализму общественные уклады. Но не только в этом дело: и в тех укладах средневековья, которые можно считать пережитками более ранней стадии общественного развития, следовало бы видеть не одно лишь их происхождение. Ибо, дав тому или иному социальному явлению средневековья определение пережиточного, мы ведь равным счетом ничего еще не объяснили. Самое существенное заключается в другом: каковы значение и место этих форм в рамках феодализма? Какую функцию они выполняют в системе средневекового общества? Совершенно ясно, что такие «пережиточные» формы, как свободное крестьянство или рабство, получали в феодальной социальной структуре новую окраску, меняли свой облик, включались в эту структуру и играли в ней определенную роль. Но вместе с тем они накладывали на систему феодального строя свой отпечаток и существенно его модифицировали.

Итак, наша мысль состоит в том, что средневековое общество от начала до конца, на любой стадии характеризуется (подобно обществам древности) глубокой многоукладностью и пестротой социальных и хозяйственных форм и что эта перманентная его многоукладность — при постоянной смене укладов и их соотношения и взаимодействия на протяжении всего средневековья — является неотъемлемой и существенно важной его чертой. Более того, мы склонны полагать, что развитие феодального общества выражалось прежде всего в изменении соотношения различных укладов. Для разных феодальных обществ даже на ограниченной территории только одной Европы было характерно различное сочетание социальных укладов. Отсюда исключительная пестрота форм общественной жизни, с которой сталкивается историк, переходящий от изучения Германии или Франции к изучению Италии или Скандинавии и т.п. и даже рассматривающий одну страну, сравнивая социальную структуру разных ее областей: Прованса и Иль де-Франса, Саксонии и Баварии, Новгородской земли и Киевского государства. Социальная многоукладность средневековья — один из источников многотипности феодального развития.

Богатство общественно-экономических форм средневекового мира дополняется гетерогенностью политического строя, не уступающей, пожалуй, многоликости государственных форм древности. Хотя монархия была наиболее распространенной и естественной в условиях земледельческого, крестьянского общества формой государства, наряду с ней мы наблюдаем и город-республику, или тиранию, и теократическое государство; пережиточные институты «военной демократии» («крестьянские республики» в Дитмаршене, Швейцарии и в Скандинавии) соседствуют с империей, претендующей на всемирное господство;

сама феодальная монархия обнаруживает весьма различные формы: от непрочного союза вассальных герцогств и сеньорий, ведущих фактически самостоятельное существование, и шляхетской вольницы до централизованных норманнских королевств в Англии, Южной Италии и Сицилии и абсолютных монархий конца средневековья.

Мысль о многоукладности средневекового общества как имманентно присущей ему черте может встретить возражение: многоукладность действительно имела место, но не следует преувеличивать ее значения и забывать за многоликостью форм общественной и политической жизни общую всему средневековому миру его феодальную природу. Верно, не нужно ее забывать, и, называя это общество феодальным, мы тем самым исходим из предположения о ведущей роли феодального уклада. Но столь же ошибочно при констатации феодальной природы средневекового мира забывать об указанной многоукладности и недооценивать ее значения для существования и развития этого мира, затушевывая ту многоликую и не поддающуюся однотонной стилизации социальную среду, в которой выкристаллизовывались и над которой на определенном этапе доминировали феодальные структуры, ибо многоукладность — не второстепенная черта феодального мира, а характерный и в высшей степени важный признак всякого докапиталистического классового общества.

Многотипность социально-экономического развития и многоукладность общественных отношений, характерные для древности и средневековья, связаны с неравномерностью исторического процесса в эти эпохи. Народы мира шли разными путями, и темпы их движения были очень различны. Одни общества развивались относительно быстро, структура иных характеризовалась большей консервативностью и даже застойностью. Неравномерность хода истории принадлежит к важнейшим движущим силам исторического развития. Эта неравномерность приводит к тому, что классовые общества возникают первоначально в отдельных частях мира, где сложились наиболее благоприятные для их генезиса условия. Затем эти социальные формы «кругами расходились» на более широкие пространства, охватывая народы, отстававшие в своем развитии. В тех случаях, когда уже существовала достаточно подготовленная почва для распространения классовых отношений у этих народов, они вступали на новую стадию развития; когда такой почвы не было, органический переход не совершался, но тем не менее могло произойти усложнение их социальной структуры, ускорялось ее разложение либо возникал новый общественный уклад. Всякого рода влияния, завоевания, заимствования одним народом общественных форм, сложившихся у другого народа, опасно не только преувеличивать, но и недооценивать. Нередко именно подобные внешние воздействия оказывались решающими для судеб целых групп народов. Достаточно вспомнить о значении римского завоевания в социальной трансформации многих народов, у которых отсутствовал классовый строй. Справедливо ли объяснять феодальное развитие любого народа одними внутренними причинами? Эта точка зрения прямо никем не формулируется, но фактически она лежит в основе всей интерпретации исторического материала⁴. Конечно, у самых различных народов, объединенных в Франкскую империю или живших по соседству с нею, имелись в той или иной мере собственные предпосылки для генезиса классового общества, но можно ли отрицать ту роль, которую сыграло франкское завоевание и влияние франкских социально-правовых институтов в процессе перехода этих народов на новую стадию развития? Определенные формы

⁴ См., например, очерки генезиса феодализма у разных германских народов, у западных и южных славян, в Византии и в романских странах в «Истории средних веков» (М., 1964): повсеместно пружинами этого развития неизменно выступают сдвиги в производстве и собственности, внешние же факторы лишь завершают имманентно идущие процессы.

феодалных отношений, вне сомнения, были распространены из некоторых центров на окружавшую их периферию. Прекарий и иммунитет не были «изобретены» в Германии, то были предметы франкского «импорта», нашедшие «спрос» в медленно перестраивавшемся германском обществе, развитие которого в результате франкского влияния ускорилось и изменило свои формы. Сеньориальная иерархия и ленная система не утвердились в Англии до Нормандского завоевания, хотя какие-то эмбриональные формы и той и другой могут быть обнаружены в англосаксонском обществе еще и в первой половине XI в. Оформление феодальных отношений в скандинавских странах произошло под сильнейшим воздействием феодальной Европы и католической церкви.

Разумеется, нужно говорить не об одностороннем влиянии, а о взаимодействии, — все эти процессы были чрезвычайно сложны. Любопытно, в частности, что норманны, на родине которых переход от доклассового общества к феодализму шел очень медленно, быстро воспринимали франкские феодальные институты, действовавшие в завоеванных ими странах, развивали их дальше и передавали другим народам. Но в результате влияния более развитых государств в отстававших странах складывались аналогичные порядки. Опять-таки происходила известная унификация феодальных учреждений, распространялись римское право, латинский язык, воплощавший определенный комплекс понятий и представлений; важнейшую роль в этом процессе создания европейской феодальной общности выполняла церковь.

Таким образом, становление и развитие феодализма не происходило изолированно в разных странах, и на присущую каждому из средневековых обществ многоукладную социальную структуру — в ее неповторимом местном варианте и даже во многих местных вариантах (в рамках областей) — накладывалась общая феодальная форма, до известной степени затушевывавшая гетерогенность этой структуры, но ни в коей мере не снимавшая, не упразднявшая ее.

Что же означала эта многоукладность и многоликость социальных форм? По-видимому, она была признаком общества, классовая структура которого не достигла и не могла достигнуть такой степени зрелости и завершенности, как это имело место в обществе капиталистическом. Ни рабство, в любой его форме, ни феодальная зависимость — опять-таки в бесконечных ее модификациях, как синхронных, так и стадийных, — не являлись такими системами производственных отношений, которые были бы способны подчинить себе всю массу непосредственных производителей и повсеместно коренным образом преобразовать и унифицировать отношения собственности и производства.

В самом деле, все докапиталистические классовые общества строятся на мелком производстве. Поэтому в них не совершается полностью и целиком отрыв непосредственного производителя от средств производства, соединение его со средствами производства сохраняется, а при определенных условиях и усиливается, и ведение хозяйства остается в руках самого производителя. Таким образом, существуют условия для преобладания или, по крайней мере, частичного сохранения мелкой собственности. В докапиталистических формациях невозможно революционизирование процесса производства господствующим классом, имеющее место при капитализме. Ни система рабства, даже в периоды своего наивысшего развития, ни система феодального принуждения не могут привести к столь радикальной перестройке всей совокупности общественных отношений, какая произошла в капиталистическом обществе. Эти системы проникают в их толщу, но не перестраивают их сверху донизу. Поэтому в обществах с рабовладельческими и феодальными отношениями существует общинный уклад, остаются до конца не изжитыми родовые и патриархальные связи, длительно сохраняются институты племенного строя. Переплетение всех этих традиционных и архаических укладов со

вновь складывающимися отношениями эксплуатации, основанной на той или иной форме внеэкономического принуждения (рабство, илотство, колонат, крепостничество, другие виды личной зависимости и неполноправности), и с определенными элементами товарного производства, достигающего в отдельных случаях весьма значительного развития, и давало в итоге социальную многоукладность любого общества, которое вышло из стадии первобытного строя.

Соотношение различных укладов и взаимодействие их могут широчайшим образом модифицироваться. Их можно тем не менее как-то классифицировать и выделить основные группы структур, характеризовавшиеся определенными формами общины, разными видами отношений собственности, преобладающим типом эксплуатации, остротой классовых антагонизмов.

Критериев разграничения и классификации различных типов социальных структур можно предложить несколько. Но мы хотели бы остановиться на следующих двух основных типах общественных отношений: типе личностных отношений, при котором отношения между людьми — материальные, производственные, социальные — осуществляются в непосредственной форме, и типе вещных отношений, когда общественные отношения людей опосредуются отношениями вещей-товаров. Последний тип господствует в капиталистическом обществе; в предшествующих обществах он существует, но, как правило, не определяет структуры социальных связей, переплетаясь с системой отношений личностных и даже отесняясь ею на второй план. Необходимо отметить, что эти два типа общественных отношений — личностные и вещные — равноправны в том смысле, что один из них не является производным от другого или подчиненным ему; важно подчеркнуть это потому, что нередко полагают, будто личностные отношения — разновидность вещных, и личные формы связи якобы лишь «маскируют» экономические отношения. Между тем Маркс неоднократно указывал на то, что законченную форму вещные отношения приобретают только в буржуазном обществе. «В меновой стоимости общественное отношение лиц превращено в общественное отношение вещей, личная мощь — в некую вещную мощь. Чем меньшей общественной силой обладает средство обмена, чем теснее оно еще связано с природой непосредственного продукта труда и с непосредственными потребностями обменивающихся, тем больше еще должна быть сила той общности, которая связывает индивидов друг с другом — патриархальное отношение, античное общество, феодализм и цеховой строй... Каждый индивид обладает общественной мощью в форме вещи. Отнимите эту общественную мощь у вещи — вам придется дать ее одним лицам как власть над другими лицами»⁵. Отсюда следует, что межличностные отношения много древнее вещных и никак не могут быть к ним сведены. Скорее наоборот, в вещных, материально-экономических связях можно распознать фетишизированную форму все тех же личностных отношений; ведь известно, что отношения собственности, по Марксу, не что иное, как отношения между людьми, общественные отношения.

В обществе с развитыми вещными отношениями, где имеет место глубокое и всестороннее общественное разделение труда, развиты ремесло, торговля, могут получить развитие и отношения частной собственности, и имущественно-классовая поляризация, и социальные антагонизмы; в нем придется предположить динамический тип социальной структуры, подверженной относительно быстрым изменениям, внутренним сдвигам и катаклизмам. Напротив, неразвитость вещных отношений, преобладание непосредственных межличностных социальных связей в обществе неизбежно сопровождаются патриархальностью, традиционностью всех отношений и доминированием общинного, корпоративного момента над

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 100. '

частнособственническим. Вряд ли в каком-либо докапиталистическом обществе (исключая бесклассовую стадию) можно предположить господство в чистом виде системы непосредственных межличностных отношений. В той или иной мере они всегда связаны с отношениями вещными. Одной из существеннейших сторон многоукладности всех докапиталистических социальных структур и является определенная форма переплетения указанных двух типов социальных связей: личностных и вещных.

Своеобразие феодальных социальных структур также выражается в сложном сочетании обоих типов общественных связей. Они обнаруживаются в ленных (фьефных) отношениях: земельное пожалование создает материальную основу для отношения вассала и сеньора, но это отношение никогда не сводится к экономической форме; его сущность не в меньшей мере заключается в отношениях личной верности и службы. Двойственна, хотя и по-иному, зависимость крестьянина от феодала: она выражается, с одной стороны, в наделении крестьянина землей и в ренте, лежащей на земле, с другой же стороны, — в личной подвластности крестьянина сеньору, в политической и судебной власти последнего, во внеэкономическом принуждении, которое применяет к крестьянину феодал, реализуя свою земельную собственность. Сущность феодальной собственности на землю — это власть феодала над людьми, ее населяющими; под вещной, экономической формой скрывалось личное отношение⁶. Средневековое государство в свою очередь является переплетением вещного и личного начал: власть государя есть прежде всего власть сюзерена, верховного сеньора, связанного узами личного господства и покровительства со своими вассалами и подопечными; вместе с тем в его руках постепенно концентрируются права сбора налогов, чеканки монеты, военная, судебная и законодательная власть, иные формы политического верховенства.

Сочетание личного и вещного типов общественных связей в рамках феодальной системы бесконечно варьирует как в плане синхронии (в разных странах и областях, для разных категорий населения это сочетание различно), так и в плане диахронии (соотношение личного и вещного принципов изменяется с развитием общества). В общей форме можно наметить направление, в котором происходило изменение в соотношении этих начал. По мере развития товарного уклада вещные отношения начинают оказывать все возрастающее воздействие на традиционные, основанные на личном моменте социальные связи. Крестьянское держание приближается к договорной аренде, внеэкономическая сторона зависимости крестьянина оттесняется чисто рентным отношением. Связь между сеньором и вассалом также все более наполняется экономическим содержанием: фьеф начинает сводиться к ренте-плате за службу; личная служба коммунтируется; рыцарство заменяется наемничеством; сеньориальные права становятся объектами купли-продажи, отчуждаются. Тем не менее на любой стадии развития феодального общества наблюдается как многоукладность его, так и сочетание и переплетение обоих типов социальных связей. Без этого сочетания нет феодализма.

Феодальная система, возникшая как отрицание античного социального строя с его развитым товарным производством и превращением непосредственного производителя в вещь, в свою очередь отрицается капитализмом — наивысшей формой вещных, экономических отношений. Но сама феодальная формация в высшей степени специфична. Поэтому познание средневекового общества не может быть аналогичным изучению общества, построенного на законченной системе товарного производства. Необходимо найти способы исследования исторической реальности феодальной системы исходя из отмеченных выше ее специфических отличий.

⁶ См. ниже, гл.1, §1.

Одной лишь социально-экономической характеристики средневекового общества оказывается недостаточно для проникновения в его тайну. Требуется построение полной типологии общественных связей, принимавших экономические, политические, идеологические и иные формы. При этом следует обнаружить взаимообусловленность и взаимодействие различных форм социальных связей: совокупная их система и образует конкретно-исторический структурный тип общества. Таким образом историк сможет построить целостную функциональную социально-культурную «модель».

Оставаясь в рамках средневековья, мы обнаружили бы целый ряд таких «моделей». Подобная «модель» не может подменить собой «модель» общественной формации: она должна занять свое место в иерархии теоретических «моделей», которыми оперируют историки, как определенный подтип в рамках более широкого формационного типа.

Если к изучению генезиса феодализма в Западной Европе подойти в свете проблемы многоукладности средневекового общества, то мы сможем увидеть в раннефеодальной социальной структуре мощный «дофеодальный» (варварский) субстрат, на котором эта структура в значительной мере, собственно, и возникла. Трансформация варварского общества, шедшая в Европе под влиянием позднеримских порядков, и дает феодализм. Но раннефеодальный строй не отрицает, не изживает варварства полностью, они как бы сосуществуют, переплетаясь и взаимодействуя.

Возникновение феодальных отношений в странах, являвшихся в древности главными очагами рабовладельческой системы, происходило, на наш взгляд, менее органично. К сожалению, очень слабо исследован вопрос о том, в какой мере генезис феодализма в Италии, Испании, Южной Галлии был возможен без внешнего воздействия; под последним мы имеем в виду не столько первоначальные завоевания этих римских провинций варварскими племенами (ибо, как известно, ни готы, ни бургунды не смогли радикально изменить здесь общественные порядки), сколько последующее подчинение их франкскому господству и нашествия завоевателей, пришедших из более продвинутых в феодальном отношении частей Европы.

Поскольку в дальнейшем нас будет интересовать возникновение феодальной системы как процесс отрицания общественной системы варваров, то эта социологическая проблема лучше всего может быть рассмотрена на материале истории народов средней и северной частей Западной Европы. Такое ограничение не может не сделать ограниченными и выводы, к которым мы придем. Мы отчетливо знаем, что предлагаемые в книге понимание аллода и сходных с ним форм землевладения, концепция богатства, трактовка процесса феодализации не могут быть в равной мере применены ко всем типам раннефеодальных обществ в Европе, — эту оговорку читатель должен постоянно иметь в виду.

Глава 1

Проблема собственности в раннее средневековье

§ 1. Аллод и феодал

Среди «вечных» категорий исторической науки особое место занимает собственность. Познавательное значение этой категории огромно. Не поставив проблемы собственности, историк не в состоянии ничего понять в изучаемом им обществе. Отношения собственности выражают сущность производственных отношений, поэтому-то вопрос о характере собственности, господствующей в обществе, встает перед историком одним из первых. Но всегда ли мы пользуемся понятием собственности с должной осмотрительностью? Какое исторически конкретное содержание в него вкладывается? Отвечает ли содержание этого понятия реальности изучаемой эпохи?

Понятие собственности может быть расчленено на две основные категории: частная собственность и коллективная собственность. В рамках каждой из них возможны дальнейшие подразделения. Первый тип предполагает различие между полной и неполной частной собственностью (а также личной собственностью). Второй тип дифференцируется сообразно субъекту коллективной собственности: родовая, племенная, общинная и т.п. Но самое содержание понятия «собственность» обычно не внушает сомнений, оно представляется достаточно ясным и само собою разумеющимся. В юридическом смысле под собственностью понимают право владения некоторым объектом, распоряжения им, свободного отчуждения, в соответствии с известной римской формулой «*jus utendi et abutendi*». Иначе говоря, собственность выступает в виде категории вещного права, которая в определенных обществах распространяется не только на вещи, но также и на людей, трактуемых как вещи.

Применимость такого понимания собственности к буржуазному обществу не внушает сомнений. Однако широко распространено убеждение в том, что любое антагонистическое классовое общество основывается на частной собственности на средства производства. При этом уточняется, что рабовладельческое общество характеризуется также и частной собственностью на рабов, а феодальное общество — «неполной» частной собственностью на крепостных. В любом случае самое понятие «собственность» трактуется, по существу, однозначно. Правда, затем начинаются некоторые трудности. Например, приходится отмечать особый характер римской частной собственности на землю, («квиритская» собственность). Что касается феодальной собственности на землю, то часто высказывается мысль о «расщепленной» собственности, предполагающей, с одной стороны, право пользования (*dominium utile*), с другой — верховную собственность (*dominium directum*). Право пользования принадлежит держателю, вассалу, верховная собственность — сеньору. Кроме того, встает вопрос о монополии господствующего класса на землю при феодализме, о сословном характере собственности, об условности прав феодала на землю, сопряженной с его обязательством выполнять требования ленного договора. Тем не менее, несмотря на все эти оговорки и уточнения, феодальная собственность продолжает мыслиться как разновидность частной собственности.

Если понимать частную собственность как средство эксплуатации непосредственных производителей, как условие присвоения их прибавочного труда обладателями средств производства, то это понятие безусловно применимо ко всякому антагонистическому классовому обществу. Но ведь в понятие собственности входит не только это — самое общее — содержание; собственность понимается как экономическое богатство и как источник богатства, и именно под таким углом зрения рассматривается историками земельная собственность (как и всякая другая

разновидность собственности) в древности и в средние века, вообще в докапиталистических формациях. В какой мере справедливо подобное понимание собственности применительно к раннесредневековому обществу Европы? (В конце средних веков, при разложении феодализма собственность, естественно, все более приобретает буржуазное содержание.)

При изучении вопроса о собственности в средние века, на наш взгляд, очень важно было бы учитывать, что целью производства как в сельском хозяйстве, так и в ремесле было прежде всего самообеспечение непосредственного производителя, воспроизводство его самого как члена общины, корпорации, а равно и обеспечение его феодального сеньора. Получение прибыли, стяжание, накопление богатств были чужды большей части членов этого общества; исключение составляли церковь, ростовщическо-купеческая прослойка городского населения и часть дворянства, однако преимущественно уже в эпоху «зрелого» и позднего средневековья, а не на заре его. В период же раннего средневековья господствующему классу богатство нужно было в первую очередь как средство потребления, удовлетворения личных и сословных потребностей, а не как источник накопления и обогащения.

Но начнем по порядку. В доклассовом обществе человек, возделывавший землю и пользовавшийся плодами ее, представлял собою органическую часть своего природного окружения; земля, по выражению Маркса, была такой же естественной предпосылкой его деятельности, как и части его тела или органы чувств, она была как бы его «удлиненным телом»¹. Право собственности возникает лишь тогда, когда субъект права противопоставляет себя объекту права. В данном же случае человек не относился к земле как к чему-то внешнему и постороннему ему самому. Земля была условием его существования, но о каких-либо исключительных правах на пространства земли еще не могло быть и речи, во всяком случае, до тех пор, пока не приходили в столкновение два коллектива (племени, поселения), претендовавшие на одну и ту же землю. Тем более не могло возникнуть представления о возможности распоряжения землей и отчуждения ее. Пользование землей индивидом было обусловлено принадлежностью его к коллективу. Полного обособления прав отдельных лиц или семей на участки произойти в этих условиях не могло.

В этом смысле, казалось бы, есть основания говорить о коллективной собственности на землю у варваров, расселившихся в Европе, о том, что общине принадлежала «верховная собственность» на используемые ее членами пашни и угодья. Однако применительно к эпохе раннего средневековья этими понятиями необходимо пользоваться крайне осторожно. В самом деле, мы судим об общине варваров преимущественно ретроспективно, на основании данных, относящихся к эпохе развитого и позднего средневековья (сообщения древних авторов на этот счет крайне туманны и малодостоверны и вызывают самые противоречивые толкования в литературе, данные археологии почти неприменимы для решения вопросов, касающихся собственности, а записи обычного права и другие письменные источники раннего средневековья содержат лишь отрывочные сведения, по которым очень трудно реконструировать облик общины). Зато хорошо известно, что в результате «великих расчисток» XI—XII вв. произошла массовая внутренняя колонизация, сопровождавшаяся созданием больших деревень со строгими аграрными распорядками. В возникших таким путем сельских общинах не могло не соблюдаться четкое разграничение прав отдельных крестьян на землю, прав сеньоров и крестьян, находившихся под их властью, как и разграничение прав различных феодальных сеньоров между собой. Имеются ли, однако, достаточные основания для того, чтобы такие распорядки более позднего времени относить к эпохе варварства и раннего средневековья, когда община представляла собой гораздо более аморфный

¹ См.: Маркс К. *Формы, предшествующие капиталистическому производству*. М., 1940, с. 17, 24, 29.

коллектив? Нужно иметь в виду преимущественно лесной пейзаж тогдашней Средней и Северной Европы. Сплошь и рядом люди селились не большими компактными массами, а маленькими группами из нескольких семей либо отдельными семьями поодаль друг от друга. Разобщенные подчас большими расстояниями, отдельные хозяева возделывали обособленные участки². Они были связаны между собой пользованием неподеленными угодьями, необходимостью защиты земель от посягательств посторонних лиц, потребностью в совместном поддержании порядка, соблюдении обычаев, отправлении культа. Наиболее примитивные общины объединяло также родство, общность происхождения. Но в производственном отношении древнегерманская община не представляла собой коллектива. Сравнивая ее с восточной и римской общиной, Маркс считал нужным подчеркнуть ту особенность, что она существовала «лишь в форме сходов членов общины»³.

В тех случаях, когда несколько хозяев пользовались участками, расположенными бок о бок, неизбежно складывались распорядки, которым все должны были подчиняться, но эти распорядки не создавали какого-либо особого права коллективной собственности, столь же чуждого сознанию варваров, как и право частной собственности на землю.

Таким образом, собственность здесь означала лишь «отношение трудящегося (производящего) субъекта (или воспроизводящего себя субъекта) к условиям его производства или воспроизводства, как к своим», и эти условия производства были не результатом труда земледельца, а его предпосылкой. Собственность в указанном смысле сводилась к присвоению условий субъективной деятельности производящего индивида и осуществлялась «только через само производство»⁴. Понятие «общее владение» (*Allmende, almenningr*) могло полностью развиться, по-видимому, лишь тогда, когда стали индивидуализироваться права отдельных владельцев на принадлежавшие им участки земли, поскольку вместе с этим возникала потребность в разграничении общего и частного.

Проблемы земельной собственности имеют огромное значение при исследовании процесса зарождения и развития феодализма. Согласно широко распространенному в нашей историографии мнению, рост имущественного неравенства и сопровождавшее его развитие частной собственности, приобретение общинниками права частной собственности на их наделы послужили главнейшей причиной превращения этих общинников из свободных и самостоятельных хозяев в феодально зависимых крестьян — держателей земли от крупных землевладельцев. В центре исследования социальной истории этого периода оказывается вопрос об аллоде. Если на раннем этапе своего существования аллод представлял собой нераздельное и неотчуждаемое владение большой семьи, то затем, по мере ее распада, аллод превращается в индивидуальное владение и мыслится как неограниченная частная собственность, как свободно отчуждаемый «товар». С возникновением аллода-товара и связан процесс становления крупного землевладения, ибо, согласно упомянутой точке зрения, именно отчуждение аллодов, утрата их мелкими собственниками и переход земель в руки собственников крупных и привели к торжеству феодального строя землевладения. Таким образом, вторжение стихии товарных отношений в сферу земельной собственности (наряду с насилием и другими факторами) породило аграрный переворот во Франкском государстве: как и

² См.: *Steinbach F.* Gewanndorf und Einzelhof. «Festschrift für Al. Schulte», 1927, S. 49, ff.; *Abel W.* Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1962, S. 14—15; *Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen. I—II.* Konstanz-Stuttgart, 1964.

³ См.: *Маркс К.* Формы, предшествующие капиталистическому производству. М., 1940, с. 14, 16.

⁴ Там же, с. 27, 29.

во всяком обществе, строящемся на частной собственности и господстве товарных ценностей, и здесь мелкое землевладение было вытеснено крупным⁵.

Такова в самых общих чертах схема, лежащая в основе представлений о процессе становления феодализма. Необходимо отметить, что не все историки безоговорочно разделяют эту схему. А.И. Неусыхин, считая «основной причиной превращения свободных аллодистов в держателей вотчинных наделов» лишение их собственности на их наделы, вместе с тем предполагает, что крестьяне могли терять аллоды полностью или частично и что аллодисты «в ходе этого процесса лишаются земли *как собственности*, но не как необходимого условия хозяйствования», нередко сохраняя в своем владении бывший аллод. Таким образом, происходит «неполное отделение» крестьянина от земли, утрата им собственности на нее с одновременным его прикреплением к ней в качестве держателя⁶. Эти уточнения чрезвычайно важны, поскольку свидетельствуют о специфичности процессов, ведущих к генезису феодального землевладения. Тем не менее, и А.И. Неусыхин считает необходимым подчеркивать свободу распоряжения аллодами и утерю их общинниками как предпосылки феодального развития.

Мы полагаем, что эта точка зрения нуждается в проверке. В какой мере она находит подтверждение в исследовании источников? Не переносит ли она в период раннего средневековья картину развития крупного землевладения за счет поглощения мелкого крестьянского хозяйства, которое происходило в Новое время? Краеугольным камнем всей этой схемы служит идея о том, что переход к феодализму ознаменовался развитием частной собственности на землю.

Оправдана ли подобная точка зрения?

В Римской империи вплоть до времени ее завоевания варварами существовала частная земельная собственность. Германцы, расселяясь среди покоренного населения бывших римских провинций, захватывая часть принадлежащих ему земель, перенимали соответствующие производственные и юридические порядки, знакомились с институтом частной собственности. Однако и те исследователи, которые считают аллод товаром, не находят полной аналогии между аллодом и поздне римскими отношениями собственности. Аллод — не римская *possessio* или *proprietas*, это особый институт, специфика которого столь значительна, что вряд ли его вообще можно представлять себе в виде товара или частной собственности. Крупный специалист по ранней истории германской земельной собственности А. Гальбан-Блюменшток, определяя значение аллода в жизни франка, писал: «Земля кормит человека, но не обогащает его». Он обнаружил, что индивидуализация владельческих прав на землю у франков ограничивалась непосредственными практическими потребностями, сама же по себе земля не имела никакой цены и первоначально отчуждение ее было невозможно⁷. Как мы видели, А.И. Неусыхин, присоединяясь к тезису о превращении аллода в товар, подчеркивает глубокую специфичность аллода по сравнению со свободно отчуждаемой частной собственностью.

В период раннего средневековья не существовало, да и не могло существовать земельного рынка, как и свободной купли-продажи недвижимой собственности. Это не означает, что землю вообще невозможно было отчуждать. Картулярии и другие источники свидетельствуют о том, что переход земельных владений из рук в руки был широко распространен, но он совершался при соблюдении целого ряда условий,

⁵ См.: «История средних веков». М., 1964, с. 60—61; «История средних веков», т. 1. М., 1966, с. 114—115.

⁶ Неусыхин А.И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, с. 19, 20, 22, а также примеч. 14 на с. 22—23.

⁷ Halban-Blumenstock A. Entstehung des deutschen Immobiliareigenthums. Bd. I. Innsbruck, 1894, S. 360—363.

знакомство с которыми, как нам кажется, делает сомнительным представление о франкском аллоде как товаре.

По мнению А.И. Неусыхина, наиболее полно разработавшего вопрос об аллоде и его эволюции, в недрах так называемой земледельческой общины пахотный надел был владением патриархальной большой семьи, состоявшей из трех поколений, за пределы которой он не отчуждался. Верховная собственность на пахотную землю принадлежала общине, не вмешивавшейся, однако, в распределение участков между хозяевами. Таким образом, им принадлежало пользование при отсутствии права собственности на землю. В большой семье устанавливается порядок наследования земли, закрепляющий права на нее за определенными членами семьи. Первоначально этот порядок был очень ограничен: права наследования могут осуществляться лишь в пределах большой семьи. Затем, с распадом больших семей у франков, наделы переходят в индивидуально-семейное владение. Но «Салическая Правда», содержащая первое по времени упоминание аллода, еще отражает старый порядок владения и наследования исключавший свободное распоряжение участком. В частности, землю не могут получать женщины, и отсутствие в семье мужчин-сыновей или братьев умершего хозяина приводило к возвращению надела в распоряжение общины — верховной собственницы всех земель деревни. Переход аллода — объекта пользования большой семьи в наследственное достояние малой семьи ведет к превращению надела в отчуждаемую собственность. Возникновение частной земельной собственности означает завершение трансформации земледельческой общины в соседскую общину-марку, в которой коллективная собственность на угодья сочетается со свободной индивидуальной собственностью на пахотные земли.

Таким образом, А.И. Неусыхин склонен выделять в истории земельной собственности у франков два основных этапа и, соответственно, разграничивать «неполный аллод» — наследственное неотчуждаемое владение семьи (*terra salica*, *hereditas aviatica*) и «полный аллод», разумея под последним частную собственность на землю. В связи с этим разграничением А.И. Неусыхин отмечает также и градуированность прав владения на разные виды недвижимости в общине⁸. Он показывает длительность перехода от ранней формы аллода к поздней и сохранение даже при «полном аллоде» пережитков предшествующей стадии. Тем не менее, и по мнению А.И. Неусыхина, аллод в конце концов все-таки становится «товаром», объектом свободного отчуждения.

Нужно отметить, что ранняя форма аллода нашла лишь очень скудное отражение в исторических памятниках. Мы полагаем поэтому, что для понимания характера аллода следовало бы сопоставить его с родственными ему земельными институтами. Нами изучены два таких института: англосаксонский фольклэнд и норвежский одаль.

О фольклэнде также известно немного, но и это немного дает основание считать его неотчуждаемым владением семьи, в отличие от бокленда (бокленд — земля, которой владели на основании жалованной грамоты), на который его обладатель, по крайней мере формально, имел право собственности (в результате пожалования этого права королем)⁹. Конечно, далеко не случайно историки,

⁸ См.: Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства как класса ранне-феодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956, с. 10—14, 17—20, 31, 105, 110—117.

⁹ Согласно формулярам грамот, по которым земли жаловались в бокленд, их владельцы приобретали право неограниченной частной собственности. Но это право в известном смысле было фикцией, порожденной заимствованием фразеологии римского права. На самом деле владелец бокленда не мог неограниченно им распоряжаться: если король даровал бокленд церковному учреждению, то оно владело им по праву «мертвой руки»; дружинник же короля (гезит, тэн), пожалованный боклендом, был обязан исполнять военную и иную службу в пользу короля, и нарушение им присяги верности

изучающие историю Англии до 1066 г., не располагают документами, которые оформляли бы отчуждение фолькланда: соглашения подобного рода не заключались. П.Г. Виноградов убедительно доказал, что фольклэнд — земля, которой владели по «народному праву», не представлял собою объекта купли-продажи¹⁰. Судя по записям обычного права VII в., эти земельные владения первоначально находились в обладании больших семей, и в источниках еще можно обнаружить пережитки прав домового общества на землю. Однако и после распада больших семей фольклэнд не стал свободно отчуждаемой собственностью. Несмотря на выделение индивидуальной семьи из домового общества, сородичи, ранее составлявшие этот коллектив, по-видимому, сохраняли известные права на землю.

Хотя фольклэнд не превратился в частную собственность, в Англии шел тем не менее процесс феодального подчинения мелких земледельцев. Подчинение англосаксонских крестьян власти феодалов обычно происходило без уступки ими прав на свои наделы в пользу господ; крестьяне оказывались под властью церкви и тэнов вместе со своими землями, независимо от того, насколько их права на эти наделы приблизились к аллодиальным.

Что же касается норвежского одаля¹¹, то, будучи, подобно аллоду и фолькленду, наследственным земельным владением, он на протяжении всего средневековья не превращался в свободно отчуждаемую собственность. Как раз на примере одаля особенно хорошо видна тесная, неразрывная связь земельного владения с обладавшей им семьей.

На наиболее ранней стадии, которую удастся разглядеть в источниках, одаль представлял собой собственность патриархальной семейной общины, состоявшей из трех поколений родственников. Эти сородичи вели общее хозяйство. Никакой свободы распоряжения землей, разумеется, не было. Право одаля заключалось в полноте наследственного обладания землей в составе коллектива родственников и строилось на сознании нерасторжимой связи земли с владевшей ею семьей. Долгое время отчуждение одаля могло носить характер лишь заклада или временной передачи земли в чужие руки, но не окончательного перехода всех связанных с землей прав к новому ее собственнику. При продаже одаля владелец был обязан предложить его прежде всего своим сородичам и имел право отдать его на сторону лишь после того, как они откажутся взять эту землю. Но и впоследствии сородичи прежнего владельца в течение длительного срока сохраняли право выкупа отчужденного владения.

Переход от коллективного землевладения больших семей к индивидуально-семейному владению происходил в Норвегии лишь постепенно. Сначала, при сохранении владения большой семьей, производились временные разделы земли между индивидуальными семьями, входившими в эту семью. Окончательные разделы семейных общин стали частыми с VIII—IX вв. Но одаль тем не менее не превращался в свободно отчуждаемое владение, и все существовавшие прежде ограничения сохранялись и впредь. Признаком одаля по-прежнему оставалась тесная, наследственная связь земли с семьей. Право одаля, т.е. право неотъемлемого, полного обладания землей, могло быть распространено и на приобретенную землю;

влекло за собой лишение его права на бокленд. Таким образом, бокленд — вовсе не частная собственность; это — раннефеодальный институт.

¹⁰ Vinogradoff P. Folkland. E. H. R., vol. III, 1893; его же: Исследования по социальной истории Англии в средние века. СПб., 1887, с. 244—251.

¹¹ По некоторым толкованиям, термины «odal» (od-al) и «allodium» (al-od) родственны и имеют общий корень. Однако такая этимология не общепризнанна. Видимо, близок к термину «odal» термин «ethel» (edel), связывающий понятия старины и благородства. В любом случае мы склонны видеть в одале не исключительно скандинавское явление, а скорее разновидность общегерманского института, сохранявшегося на Севере дольше, чем у других германских народов, поземельные отношения которых испытали на себе более сильное воздействие римского права.

но право одаля признавалось за таким владением не сразу, а лишь после того, как на протяжении нескольких поколений (от трех до пяти) земля находилась в непрерывном обладании семьи. В XIII в. эти условия были несколько смягчены, но тем не менее нужно было обладать землей не менее 60 лет для того, чтобы приобрести на нее право одаля¹².

Сопоставление одаля с «ранним», или «неполным», аллодом, возможно, позволило бы лучше понять некоторые черты этого франкского института. Обычно полагают, что запрещение передавать аллодиальное владение по наследству женщинам (*Lex Salica*, 59) свидетельствовало о неполноте превращения его в частную собственность малой семьи, тогда как разрешение дочери унаследовать землю при отсутствии в живых брата («Эдикт Хильперика») якобы завершало подобное превращение. Однако это рассуждение далеко не безупречно. Ведь и норвежское право в конце концов допустило женщин к наследованию одаля, что вовсе не приводило еще к его трансформации в свободно отчуждаемую частную собственность. Во-первых, лишь женщины, находившиеся в тесном родстве с прежним владельцем одаля, пользовались правами наследования земли, причем родственники мужского пола сохраняли право выкупить у таких женщин их одаля. Точно также и «Эдикт Хильперика», позволивший женщине наследовать землю, не предоставлял ей равных с мужчинами прав: дочь могла получить отцовскую усадьбу лишь в тех случаях, когда не было в живых ее братьев. Таким образом, эдикт устанавливал не равенство прав на землю дочерей и сыновей, а преимущественные права на наследственные владения прямых потомков перед более дальними родственниками и соседями.

Во-вторых, все ограничения, которые обычное право налагало на отчуждение одаля, оставались в силе и тогда, когда право одаля было предоставлено некоторым ближайшим родственникам. Но ведь подобные ограничения сохранялись и в отношении аллода. Свободы распоряжения им так и не возникло. Без согласия сородичей владелец не мог его отчуждать. По наблюдениям Ж. Дюби, этот коллективный контроль над распоряжением аллодом во Франции со временем даже усиливался¹³. То же самое наблюдалось и в Германии. В этом смысле представляет интерес «экономическая биография» семьи некоего фриза, исследованная А.И. Неусыхиным. Несмотря на распад большой семьи и дробление ее земельных владений между выделившимися из нее индивидуальными семьями, эти владения на протяжении поколений сохраняли свою аллодиальную природу — и все это в обстановке интенсивного процесса феодализации, охватившего в X в. северные области Германии!¹⁴ Другие исследователи также отмечают, что свободы распоряжения земельным владением не знают не только «варварские Правды», но и более поздние формулы и завещания. Еще Г. Брукнер определенно подчеркивал, что дарения земель во франкском государстве в VIII—IX вв. не свидетельствовали о наличии у дарителей неограниченного права распоряжения этими владениями и не давали такой свободы отчуждения и получателям дарений. Называя земли, являвшиеся объектом дарений, «собственностью», Брукнер утверждал, что то была «ограниченная собственность»¹⁵. Наблюдения Бруннера получили в дальнейшем новые подтверждения: выяснилось, что дарение земли даже в пользу церковных и

¹² Подробнее см.: Гуревич А.Я. Англосаксонский фольклор и древнорвежский одаля (опыт сравнительной характеристики дофеодалных форм землевладения). В сб.: «Средние века», вып. 30, М., 1967.

¹³ См.: Duby G. La société aux XI et XII siècles dans la région mâconnaise. Paris, 1953, p. 272, 273, 305.

¹⁴ См.: Неусыхин А.И. Судьбы свободного крестьянства в Германии..., с. 275, сл., с. 308, сл.

¹⁵ Brunner H. Die Landschenkungen der Merowinger und der Agilolfinger. В кн.: H. Brunner. Forschungen des deutschen und französischen Rechtes. Stuttgart, 1894, S. 8, ff. 21, ff. 33 — 39; ср. G. Frommhold. Der altfränkische Erbhof. Ein Beitrag zur Erklärung des Begriffs der terra salica. Breslau, 1938, S. 28, 30, 31, 33—34.

монастырских учреждений не вело к утрате всех прав бывших владельцев на подаренные земли; они сохраняли с переданными владениями связь, запрещали монастырю отдавать их в держание кому-либо другому и обладали правом выкупа этих земель¹⁶.

Несомненно, между упомянутыми тремя формами земельных владений — аллодом, фольклендом и одалем — существовали различия. В частности, и возможности их отчуждения были неодинаковыми. Они были большими применительно к франкскому аллоду, чем к фолькленду и тем более к одалю, что отчасти можно объяснить относительно сильным влиянием римского права во Франкском государстве. Тем не менее внутреннее родство этих институтов очень глубоко, и основные признаки наследственного земельного владения семьи повторяются в каждом из них. Все эти виды землевладения возникли в варварском обществе и пережили трансформацию при переходе к феодализму. Первоначально они были связаны с патриархальной большой семьей, являясь основой ее хозяйства. И для одаля, и для фолькленда, и для аллода характерна тесная, мы бы сказали, интимная связь семейной группы с землей. Даже тогда, когда термин «*alodium*» применялся к земле, находившейся в держании, он, по-видимому, сохранял прежнее значение «наследственная земля»¹⁷.

Естественно, в институте одаля это единство видно с наибольшей отчетливостью. Понятие «одаль» означало не только «семейное владение», но и «родина», «отчина». В усадьбе, расположенной на земле одаля, семья *жила* на протяжении поколений, еще с языческих времен, в этой земле находились могилы предков. Еще во второй половине XIII в. в норвежском праве употребляется термин «*haugodal*», который обозначал право одаля, восходившее ко временам, когда совершались погребения в курганах. Словом, вся жизнь семьи протекала в этом владении, на которое поэтому было принято смотреть как на неотъемлемую принадлежность семьи или рода. При таком отношении к земельному владению оставалось мало места для применения к нему категорий товара, отчуждения, купли-продажи.

Таким образом, необходимо разграничивать понятия «семейная собственность на землю» и «частная собственность на землю»; первое понятие предполагает особо тесную, неразрывную связь семьи с земельным владением, второе — неограниченную свободу распоряжения землей. Иначе говоря, отношение к земле в первом случае существенно иное, чем во втором. Первая форма не индивидуализирована в такой мере, как вторая. И это естественно, — ведь и сам индивид в период раннего средневековья еще не являлся обособленной личностью, он был теснейшим образом слит с семейной группой.

При анализе отношений собственности в «дофеодальном» обществе существенное значение приобретает вопрос о дарениях. Особый интерес представляет институт даров, существовавший, по-видимому, у всех народов на стадии доклассового общества. Дар устанавливал тесное отношение между дарителем и получателем его, которое имело далеко не одно лишь материальное содержание. Передача подарка соединяла участников этого акта внутренними духовными узами, создавая своеобразную взаимную связь и даже зависимость. Это отношение отражало распространенное среди варваров представление о сопричастности индивида и принадлежащего ему имущества и свидетельствовало об отсутствии в их сознании четкой грани между человеческим существом и объектом

¹⁶ См.: Мильская Л. Т. Светская вотчина в Германии VIII — IX вв. и ее роль в закреплении крестьянства. М., 1957, с. 171, сл.; Романова Е. Д. Прекарий на землях Сен-Галленского аббатства в VIII — IX вв. В сб.: «Средние века», вып. XV, 1959, с. 70-72.

¹⁷ См.: Olivier-Martin Fr. Histoire du droit français des origines à la Revolution. Paris, 1951, p. 78.

его владения, о не-отдифференцированности отношения человека к самому себе и к богатству, являвшемуся как бы продолжением его собственного существа.

Эти наблюдения¹⁸ показывают невозможность рассмотрения отношений собственности в «дофеодальном» и раннефеодальном обществах только в плане чисто материальном, в плане вещных отношений. Понятия владения, присвоения, дарения непосредственно вводят нас в сферу межличных отношений, основывавшихся на родстве, племенной принадлежности. Область экономических отношений и категорий оказывается теснейшим образом переплетающейся с областью идеальных представлений, религиозных верований, социально-этических традиций и норм.

Конечно, было бы ошибочным смешивать подлинное существо общественных порядков, их материальное содержание с идеологизированными представлениями общества об этих порядках, с той их фетишизацией, которая сама порождалась специфическим бытием этого общества. Но не менее ошибочным и антиисторичным было бы игнорировать указанные представления, ибо они не оставались только в субъективном плане иллюзий, но находили материальное воплощение в человеческой практике. В частности, эти идеи и представления лежали в основе права, которым руководствовались варвары в своей жизни и которое регулировало их социально-имущественные и иные отношения.

Категории купли-продажи в «чистом виде» как простой товарной сделки, в первую очередь в отношении недвижимости, земли, варвары, по-видимому, еще не знали. Разумеется, дарения, широко практиковавшиеся в раннефеодальном обществе, существенно отличались от германских даров. Как правило, дарение в христианскую эпоху оформлялось письменным документом, формуляр которого генетически восходил к римскому частнособственническому праву. Но в какой мере реальное содержание дарения соответствовало букве грамоты? Это сложный вопрос. Отметим лишь два взаимно противоречивых момента. Церковь, стремясь окончательно закрепить в своем владении полученные в виде дарений земли, была заинтересована в последовательном проведении принципа неограниченной частной собственности. Однако в действительности дарители подчас сохраняли связь с переданными ими владениями. Землями, подаренными светским владельцам, и впоследствии нельзя было свободно распоряжаться без ведома и согласия лиц, их подаривших.

Отмеченные особенности отношения к земле свободных общинников в «дофеодальный», а отчасти и в раннефеодальный период необходимо иметь в виду, когда мы рассматриваем проблему втягивания этого слоя общества в феодальную зависимость. Предпосылкой феодального подчинения мелких свободных землевладельцев были не их разорение и пауперизация, следовательно, не экспроприация их как собственников (подобно тому как это происходило в эпоху «первоначального накопления капитала»), хотя, разумеется, и эти процессы имели место, а скорее их апроприация — подчинение свободных общинников вместе с их наделами власти крупных землевладельцев. Апроприация совершалась различными методами, но она была, по-видимому, универсальным явлением повсюду, где шел процесс феодализации.

Среди различных форм превращения мелких землевладельцев в зависимых крестьян наиболее характерной и распространенной во Франкском государстве был «прекарий возвращенный». Согласно буквальному тексту грамоты, в основе этого вида прекария лежало отчуждение права собственности на землю мелким владельцем в пользу духовного или светского магната; в результате этого акта мелкий землевладелец превращался в держателя участка. Важно было бы, однако, подчеркнуть, что фактически никакого отчуждения, строго говоря, не совершалось,

¹⁸ См. ниже, § 2.

то была лишь юридическая форма, в которую облекался акт, имевший существенно иное содержание. Формуляр грамоты был дан римским правом. На самом же деле происходило подчинение мелкого землевладельца магнату, превращение его из свободного и независимого субъекта в зависимого человека, подзащитного магната, вследствие чего и земля крестьянина оказывалась под властью его сеньора, включалась в сферу его господства. Таким образом, не происходило отрыва земледельца от его участка, он по-прежнему самостоятельно вел свое хозяйство, но в силу складывавшихся в раннефеодальный период общественных условий имел возможность сохранить в своих руках эту землю, лишь вступив под покровительство сеньора¹⁹.

Наиболее существенное в прекарной сделке, на наш взгляд, — именно акт личного подчинения крестьянина; распространение же на его землю права собственности сеньора — следствие признания личной зависимости.

Необходимо также подчеркнуть, что магнаты, стремившиеся поставить под свою власть возможно большее число мелких землевладельцев, добивались при этом в первую очередь не увеличения собственных доходов. Известно, что платежи, возлагавшиеся на прекаристов, как правило, были умеренными, барщинные повинности не были характерны для этой категории держателей; экономические выгоды для сеньоров они представляли небольшие и не в них состояла суть отношений между прекаристом и магнатом. Главным стимулом, побуждавшим магнатов подчинять себе крестьян и другие категории населения, было стремление упрочить свое общественное положение, расширить сферу власти, распространить, насколько возможно, свое личное могущество. Последнее же зависело, по глубокому наблюдению Маркса, не от размеров доходов крупных землевладельцев, а от числа их подданных²⁰. Уместно напомнить и другое соображение Маркса: «...если в какой-нибудь общественно-экономической формации преимущественное значение имеет не меновая стоимость, а потребительная стоимость продукта, то прибавочный труд ограничивается более или менее узким кругом потребностей, но из характера самого производства еще не вытекает безграничная потребность в прибавочном труде»²¹.

М. Блок, подчеркивая, что «было бы совершенно неверным видеть в отношениях сеньора и его подданных только экономическую сторону, как бы велика она ни была», замечает: «Конечно, не один франкский, а позднее и не один французский барон ответил бы так же, как и шотландский горец, когда его спросили, какой доход приносит ему его земля: «Пятьсот человек»²².

Следовательно, не чисто вещный момент лежал в основе создания отношений феодальной зависимости крестьян от сеньоров в период раннего средневековья, а личное отношение непосредственной зависимости, отношение господства и подчинения. Поземельные отношения собственности были неразрывно связаны с этим личным отношением: власть сеньора над личностью подданного находила свое продолжение в его власти над землей, имевшей для него ценность постольку, поскольку она была заселена крестьянами и другими вассалами.

¹⁹ См. ниже, гл. III, § 1.

²⁰ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 729: «Во всех странах Европы феодальное производство характеризуется разделением земли между возможно большим количеством вассально зависимых людей. Могущество феодальных господ, как и всяких вообще суверенов, определялось не размерами их ренты, а числом их подданных, а это последнее зависит от числа крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство». Именно в этой связи Маркс, имея в виду «буржуазные предрассудки» современной ему исторической литературы, переносившей на средние века представления о капиталистическом обществе, бросает замечание: «Быть "либеральным" за счет средневековья чрезвычайно удобно» (там же, примеч. 192). Вспомним мысль Маркса о «емкости желудка» феодала как факторе, существенно лимитировавшем уровень эксплуатации крестьян.

²¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 247.

²² Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., ИЛ, 1957, с. 121.

Конечно, это не значит, что земля не представляла для феодала материальной ценности. Он нуждался в доходах, получаемых с населявших ее крестьян, — без этих доходов он не мог бы быть феодалом и исполнять рыцарскую службу, вести воинственный образ жизни. Боевое снаряжение рыцаря, кольчуга, меч, конь стоили чрезвычайно дорого, и для того, чтобы принимать участие в войнах в качестве полноценных боевых единиц, рыцарям требовались значительные средства. Поэтому рыцарь не мог не быть землевладельцем, получателем ренты. В разных странах вырабатывалась норма землевладения, которая считалась своего рода «минимумом», способным дать обеспечение рыцарю. В Англии такой нормой служили пять гайд земли, и дружинник короля, имевший владение меньшего размера назывался «безземельным». Во Франкском государстве конную службу профессионального воина мог исполнять лишь человек, обладавший не менее чем четырьмя мансами.

Но существенно подчеркнуть следующее: земля рассматривается в этом обществе не только как источник доходов; владение богатством (земельным в первую очередь) было для феодалов орудием достижения цели, лежащей вне сферы чисто имущественных отношений.

Это обстоятельство свидетельствует о глубоком отличии феодальной земельной собственности от буржуазной, вообще от частной собственности в прямом смысле слова²³. Частная собственность — товар может сложиться лишь в условиях развитого товарного производства, будь то денежное хозяйство античности либо высшая форма товарного производства — капитализм. В этих условиях земля становится объектом чисто вещных, экономических отношений. В средние века, в особенности в раннее средневековье, понятие свободной частной собственности не приложимо к земле — ни тогда, когда она принадлежит мелкому земледельцу, ни тогда, когда она вместе с ним подпадает под власть крупного землевладельца. В обоих случаях налицо теснейшая, неразрывная, органическая связь земледельца с участком, на котором он живет и трудится. В индивидуальных случаях эта связь могла быть порвана, но как связь социальная, как отношение к земле класса общества, она окончательно порвалась лишь на заре капитализма. В этом смысле Маркс называет средневекового крестьянина, подвластного феодалу, «традиционным владельцем земли»²⁴. При переходе от первой из упомянутых форм — мелкого землевладения ко второй — крупному землевладению — эта связь не нарушается и существенно не меняется: под контролем феодала находились как земля, так и человек, ее возделывающий, причем, подчеркнем еще раз, суть этого отношения заключалась именно во власти сеньора над личностью земледельца, вследствие чего его власть распространялась и на его участок. Можно сказать: земельная собственность феодала была опосредована его властью над крестьянином, собственностью на его личность. Сущность отношения присвоения, говорил Маркс о феодализме, состояла в отношении господства²⁵. *Dominium* — и собственность, и власть, и господство.

То же самое наблюдается и при тех вариантах развития феодализма, при которых прекарий не имел места или не играл столь существенной роли, как во Франкском государстве. В Англии в раннее средневековье профилирующей формой крупного землевладения был бокленд. Здесь под покровом римского института частной собственности устанавливалось совершенно иное отношение. Формуляр королевской грамоты гласил, что король жаловал монастырю или тэну землю в полную и ничем не ограниченную собственность. На самом же деле передачи земельной собственности не происходило, так как король обычно жаловал земли, не

²³ См. замечания *С.Д. Сказкина* в книге «Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века». М., 1968, ч. 1 гл. V.

²⁴ *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч., т. 25, ч. II, с. 361.

²⁵ См.: *Маркс К.* Формы, предшествующие капиталистическому производству, с. 36.

принадлежавшие к его патримонии. На правах бокленда по большей части передавались деревни или округа со свободным населением, которое было подчинено королю как главе племени или монарху, но не как крупному землевладельцу. Существо пожалования в бокленд состояло в передаче королем духовному учреждению или дружиннику прав, которыми он сам обладал по отношению к жителям этой территории: права сбора кормлений и податей, права суда и взимания штрафов. Следовательно, король жаловал, собственно, власть над людьми, а не земельное владение, иммунитет, а не поместье. Между владельцем прав бокленда и населением переданной ему территории устанавливались личные отношения зависимости, подданства, подвластности. Кэрлы, сидевшие на этих землях, не утрачивали вследствие королевского пожалования прав фолькланда на свои наделы. В результате пожалования создавалось такое положение, когда на одну и ту же землю возникало право бокленда, принадлежавшее магнату, и сохранялось право фолькланда у крестьян. Но ни то, ни другое право, строго говоря, не было правом частной собственности: фолькланд представлял собой принадлежность крестьянина и его хозяйства, бокленд — власть его обладателя над крестьянами. Затем происходило феодальное «освоение» территории, оказавшейся под властью владельца бокленда в силу пожалования; он мог завести здесь барскую запашку, заставить крестьян исполнять новые повинности, т.е. максимально реализовать свою власть над ними.

Своеобразную разновидность этого способа подчинения мелких землевладельцев власти господ представляет развитие института норвежской вейплы, имеющей полную параллель и в других скандинавских странах. Бонды были обязаны за свой счет угощать и снабжать продовольствием, фуражом и транспортом конунга и его свиту во время их систематических разъездов по стране. Первоначально эти угощения были добровольными, но со времени объединения Норвегии под властью одного государя, дружина которого разрослась, они стали превращаться в обязательные поставки и дани. Речь шла о личном отношении подданства бондов королю. Однако в сагах превращение «пиров»-вейцл в обязательную повинность населения изображается как насильственное «отнятие одаля» королем Харальдом Прекрасноволосым у всего населения страны. Понятия «власть», «управление» и «собственность» (одаль) постоянно смешиваются в источниках того времени: они были неразличимы для средневековых скандинавов, и это в высшей степени показательно.

В дальнейшем короли стали жаловать своим приближенным-лендрман-ам право сбора угощений и кормлений, которым они пользовались. Термин «лендрман» буквально значит «обладающий землей человек», поэтому его часто переводят: «землевладелец», «крупный землевладелец» или «земельный господин». Но на самом деле лендрман был не собственником земли и не господином над землей, а человеком, обладавшим определенными правами по отношению к бондам, жившим на этой земле. Его могущество коренилось не в земле, а во власти над крестьянами. Лендрман не обладал правом собственности на пожалованную землю: эти пожалования в Норвегии всегда давались лишь на время и не имели наследственного характера. Лендрман мог «кормиться» за счет бондов и управлять ими от имени короля, но феодалом в обычном понимании он не был.

Сколь ни велики были различия в положении крестьян во Франции, Англии и Норвегии, мы наблюдаем в них нечто общее. В любом случае, идет ли речь о франкских прекаристах церкви и монастырей, или об англо-саксонских крестьянах, находившихся под властью владельца бокленда или о скандинавских бондах, обязанных устраивать вейцлы королю либо его дружиннику, в основе этих отношений лежал прежде всего элемент личного подчинения непосредственных производителей могущественным людям, обладавшим над ними властью. Крупное

землевладение в раннее средневековье по существу своему — управление людьми, сидящими на земле, личная власть над ними, власть судебно-административная, военная, сопряженная со сбором даней, рент, податей (из даней-кормлений со временем развивались как феодальная рента, так и государственная подать).

Для понимания системы социальных отношений, характерной для средневекового общества, было бы полезно и поучительно познакомиться с тем, что оно само о себе думало. Такую возможность отчасти предоставляет терминология исторических источников, тот словарь, которым пользовались люди средневековья в своем социальном общении.

Очень интересно проследить применение понятий «владение», «богатство». Так, слово «владение» в древнеанглийском языке наряду с понятием «богатство» означало и понятия, характеризующие личные качества обладателя этого богатства: «счастливый», «гордый», «могущественный», «благородный», «доблестный», «удачливый». Слова же, которое обозначало бы богатство исключительно как чисто хозяйственное, вещественное явление, в древнеанглийском языке вообще не было²⁶. Богатство в сознании людей варварского общества — показатель личной или родовой чести и доблести. Экономическая сфера деятельности человека непосредственно связана с этическими ценностями этого общества. Точно так же и в древнеисландском языке указанные понятия объединяются в один пучок значений. В немецком языке слово «eigen» первоначально относилось, по-видимому, лишь к лицам («свой», «собственный», т.е. принадлежащий к семье, к роду, либо — «подчиненный», являющийся чьей-либо собственностью, т.е. раб), и обозначение этим словом понятия «собственность» (Eigentum) пришло вместе с дальнейшим развитием отношений зависимости между людьми²⁷.

И в феодальном обществе понятия «бедный» и «богатый» имели не одно экономическое содержание и свидетельствовали не только об имущественном положении человека, но также (а может быть, и прежде всего) о его социальном статусе. *Pauper* не значило просто «бедный»; это — мелкий, незначительный человек, не пользующийся влиянием, не обладающий властью, не занимающий должности, не владелец лена. Антитеза *pauperes* — не «богатые», а «могущественные», «знатные» (*potentes, honorati*). *Pauperes* в этом обществе — *minus potentes, privati homines*²⁸.

В англосаксонских законах X и начала XI в. деление общества на «богатых» и «бедных» постоянно перемежается с противопоставлением «знатного» (*nobilis*) «незнатному» (*ignobilis*). В текстах законов на английском языке, содержащих упоминания «богатых» и «бедных», при последующем переводе на латынь вместо этих терминов появились *nobiles* и *ignobiles*, обнаруживая сословный характер понятий «бедность» и «богатство»²⁹.

Судя по исландским и норвежским сагам, скандинавское общество в XII—XIII вв. делится на «больших», могущественных людей и людей «маленьких», незначительных, причем, с точки зрения авторов саг, богатство или бедность не выступают в качестве определяющего признака отнесения к первой или ко второй категории. Здесь опять-таки обнаруживается «сословный» критерий богатства. В аграрном обществе могущественным и знатным мог быть лишь крупный

²⁶ *Eadig, saelig* — богатый, счастливый, *wlouc* — богатый, гордый, *rice* — богатый, могущественный, *ar* — честь, благополучие, владение, *sped* — богатство, удача, доблесть. *Leisi E. Aufschlussreiche altenglische Wortinhalte. «Sprache — Schliissel zur Welt». Dusseldorf, 1959. S. 316.*

²⁷ См.: *Mezger F. Zur Friihgeschichte von Freiheit und Frieden. «Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreis der germanischen Philologie». Berlin, 1956, S. 15 — 16.*

²⁸ *Bosl K. Potens und pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im friihen Mittelalter und zum «Pauperismus» des Hochmittelalters. в кн.: Bosl K. Fruhformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Miinchen — Wien, 1964, S. 109, 113, 116.*

²⁹ См.: *Гуревич А.Я. Английское крестьянство в X — начале XI в. В сб.: «Средние века», вып. 9, 1957, с. 116-117.*

землевладелец, богатый собственник. Но понятие экономического богатства не выступает в этом обществе вполне отдифференцированным от категорий социального престижа и личной власти.

Было бы неверным противопоставлять внеэкономическое принуждение феодальной собственности как нечто постороннее ей или во всяком случае не входящее в самое ее существо. При такой постановке вопроса феодальная собственность представляется в виде полной частной собственности на землю, чисто вещного, экономического права, и, таким образом, стирается всякое различие между собственностью феодальной и собственностью буржуазной, или римской. Феодальная собственность не только предполагает внеэкономическое принуждение, но и включает его в себя в качестве составной, конститутивной части, ибо феодальная собственность представляла собой не право свободного распоряжения какой-либо территорией, а власть над людьми, живущими и трудящимися на этой земле. По мысли Маркса, в феодальную эпоху высшая власть в военном деле и в суде была атрибутом, т.е. существенным свойством земельной собственности³⁰. Внеэкономическое принуждение не было лишь средством выкачивания из крестьян прибавочного труда, точно так же как само крупное землевладение не служило феодалу только источником обогащения и доходов. Внеэкономическое принуждение было неотъемлемым признаком власти сеньора над своими подданными.

Приведенные выше соображения об особенностях феодальной собственности — и вообще собственности на землю в средние века — теснейшим образом сопряжены с пониманием средневекового общества как такого, в котором доминирует тип непосредственных, личных социальных связей. Забвение или недооценка этого решающего, на наш взгляд, обстоятельства ведут к одностороннему пониманию существа феодальных производственных отношений. Нередко историки сводят отношения между феодалами и крестьянами к борьбе за ренту: первые стремятся любыми средствами ее увеличить, вторые — понизить или закрепить ее на определенном уровне. Не вызывает никакого сомнения, что в период зрелого феодализма эта борьба имела место и чрезвычайно обострялась по мере развития товарного производства, когда создавался достаточно емкий рынок для сбыта сельскохозяйственных продуктов. Именно в XIII—XIV вв. в Западной Европе начинаются великие крестьянские восстания. Но правомерно ли перенесение представлений о производственных отношениях развитого и позднего феодализма на раннее средневековье? Стремилась ли феодальная элита этого периода к увеличению гнета над крестьянами и выжиманию из их хозяйств максимума возможного? Не отсюда ли мысль о том, что только упорная борьба крестьян ограничивала неуемные аппетиты сеньоров и сохраняла необходимый продукт крестьянского хозяйства от их посягательств и самые эти хозяйства от разорения?

Социальные антагонизмы раннефеодального общества имели иную природу. Крестьяне боролись в тот период прежде всего против своего подчинения власти господ, за сохранение личной свободы, подчас и старой веры. Вопрос о величине ренты не мог еще выступить на передний план и приобрести решающее значение для отношений между крестьянами и господами.

Давно установлено, что величина ренты, взыскивавшейся феодальными господами с крестьян, как правило, не зависела от размеров крестьянских наделов. Обычно не существовало единого общего уровня эксплуатации крестьян не только в масштабах страны, но и в пределах области, даже одной сеньории: формы и размеры ренты бесконечно варьировали. Единообразие рент, взимаемых феодалом с крестьян, населявших одну деревню, было кажущимся: одинаковые платежи и повинности должны были платить крестьяне, имевшие наделы неодинакового размера и качества

³⁰ См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 344.

и семьи различного состава³¹. Следовательно, «уравниловка» в повинностях на деле приводила к крайней пестроте уровней обложения, к тому, что в одних случаях феодал мог присваивать весь прибавочный продукт крестьянина, а в других — лишь часть его. В основе этих отношений мы не найдем фактора экономического регулирования и хозяйственной целесообразности. На ранних этапах развития феодализма традиция и всякого рода привходящие обстоятельства, подчас весьма далекие от хозяйственных нужд и интересов, играли большую, а иногда и решающую роль в установлении способов эксплуатации.

Личный статус держателя, его происхождение, способ его втягивания под власть господина, форма его зависимости определяли его отношения с феодалом и характер его эксплуатации. Именно личные, внеэкономические моменты выступают здесь на первый план. Экономические формы эксплуатации ими опосредованы, являются как бы производными от них. Поэтому в поместных кадастрах и политиках раннего средневековья фиксируются, наряду с повинностями и платежами, которые собирали землевладельцы, имена держателей и даже членов их семей. Феодалу было далеко не безразлично, кто сидит на его земле, сколько людей и какие именно люди ему подчинены, каковы их личный и общественный статус, форма зависимости.

Складывавшаяся в тот период феодальная собственность имела особый характер. Она принципиально отличалась от частной собственности буржуазного общества. Нет ничего более неправильного, чем представлять себе феодала в виде полного, неограниченного собственника своей земли³². Он не был таковым ни в своих отношениях с крестьянами, сидевшими на его земле, ни по отношению к вышестоящему сеньору.

Зависимый крестьянин — непосредственный владелец земли, на которой он ведет свое хозяйство, и его права на надел должен был признавать его господин. Маркс неоднократно отмечал, что феодальным правом на землю в средние века обладали не одни феодалы, но и крестьяне³³. Отсюда следует, что необходимо в полной мере учитывать всю специфику феодальной собственности на землю. Источником и необходимым, и прибавочного продукта служил труд крестьянина, и феодалы, присваивая прибавочный продукт-ренту, должны были считаться с тем, что крестьяне владели участками земли, в их руках находилось ведение хозяйства, они были собственниками необходимого продукта и орудий производства. Поэтому сгон крестьян с земли, предпринимавшийся господствующим классом в позднее средневековье в Англии и отчасти в некоторых других странах, воспринимался как прямое насилие и нарушение крестьянских прав. На протяжении всего предшествующего периода существования феодальной системы эти права крестьян на землю всерьез под сомнение не ставились. В странах же, где не было насильственной ликвидации владельческих прав крестьян, последние сумели превратить их в буржуазное право частной собственности, как это произошло во Франции в результате буржуазной революции 1789—1794 гг. или в Норвегии при распродаже коронных и дворянских земель в XVII и XVIII вв.

«Расщепленная» собственность, при которой «верховное распоряжение» землей принадлежит якобы феодалу, а правом пользования наделен крестьянин, — фикция юридического мышления нового времени, чуждая как исторической действительности, так и правосознанию средневековья. Понятия «власть», «присвоение», «владение» подходят к этим отношениям гораздо больше, чем

³¹ См.: Серовайский Я.Д. К вопросу о возрастании ренты при феодализме. «Ученые записки Казахского госуд. университета им. С.М. Кирова. Серия историческая», т XXXI, вып. 3, 1957, с. 95.

³² Между тем в нашей литературе (в частности, в учебниках и пособиях по политической экономии и марксистской философии) закрепился тезис о «полной собственности» фе сдала на средства производства: феодал как бы приравнивался к рабовладельцу или к капиталисту!

³³ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 730.

понятия «полная» или «частная собственность», «верховная собственность», «монополия на землю» и т.п. Для феодальных отношений существенно было установление и поддержание личной зависимости крестьян от сеньора в самых различных ее формах: от «сословной неполноправности» до крепостничества в полном смысле этого слова. В последнем случае именно потому, что личная зависимость была столь полной, что было можно говорить о праве собственности господина на крепостного, это право распространялось и на землю. Но комплекс отношений, который мы обычно обозначаем терминами «крепостничество», «крепостное право», реально складывается впервые в позднефеодальном обществе, когда личные отношения все более «овеществлялись», приобретая товарную природу. Ведь формы феодальной зависимости крестьян в период раннего средневековья, сколь суровыми они ни становились, строго говоря, не выражались в крепостничестве. Крепостное право — это специфическая форма зависимости и эксплуатации крестьян, которая развилась в условиях растущей товарности сельскохозяйственного производства и укрепляющегося самодержавия. «Второе издание крепостного права» в Восточной Европе в XV—XVIII вв., собственно, было первым и единственным в европейской истории³⁴.

В то время как крепостной (подобно римскому колону) прикреплен к земле поместья, причем это прикрепление проводится в жизнь не одним лишь его господином, но и государством (без достаточно централизованного государства закрепощение вообще неосуществимо), зависимый крестьянин в Западной Европе периода раннего средневековья не был прикреплен к держанию, которое он мог даже оставить, он был связан с личностью сеньора, зависимость от последнего сохранялась и в этом случае, ибо его «тело» по-прежнему принадлежало его старому господину. Эта связь называлась «телесной», «по плоти и кости», она представляла собой систему личных отношений. М. Блок, подчеркивая эти черты французского серважа, пишет: «Мы имеем довольно много определений серважа, сделанных судьями или юристами; до XIV века ни одно из них не упоминает среди характерных признаков этого состояния прикрепления к земле в какой бы то ни было форме»³⁵. Не менее сильно выражена личная природа связи зависимого с господином и в германской *Leibeigenschaft*: «тело» крестьянина принадлежит сеньору, а не прикреплено к участку, как у крестьян категории *Horige*.

Будучи прикреплен к земле, бесправный крепостной, в силу полной своей подвластности помещику, мог быть продан и без участка, «на вывод». Между тем в изучаемый нами период зависимый крестьянин, выполнявший повинности и плативший ренту, не мог быть произвольно лишен надела. Английский юрист Бракстон называл «привилегией» вилланов то, что их нельзя было удалить с земли.

Когда зависимость крестьян от господ была относительно слабой, отчетливо видно, что феодал не имел права собственности на землю крестьянина. Таково, например, положение английских сокменов и других «свободных людей», находившихся под покровительством и судебной властью лордов: признавая в них своих господ, сокмены владели своими участками, уплачивая чисто номинальный чинш, и имели право «уйти вместе со своей землей» или продать ее.

В основе отношений в среде феодалов, между сеньорами и вассалами, мы опять-таки обнаруживаем прежде всего не отношения земельной собственности, но личные отношения. Последние, как правило, транспонировались на землю, но

³⁴ К сожалению, понятие «закрепощение» применяется к Западной Европе периода раннего средневековья очень широко, даже и в серьезной научной литературе. См., например, *Конокотин А.В.* Очерки по аграрной истории Северной Франции в IX—XIV веках. Иваново, 1958. Ср. цит. выше работы А.И. Неусыхина и Л.Т. Мильской.

³⁵ Блок М. Характерные черты французской аграрной истории, с. 137. Ср.: *Deleage A.* La vie rurale en Bourgogne jusqu' au debut du onzieme siecle, Mucon, 1941, I.1, p. 584.

никогда не сводились к поземельному отношению. Сеньориально-вассальная связь всегда была некоей формой отношений личной верности и покровительства, обмена услугами. Более того, отношение между вассалом и сеньором могло существовать вообще без пожалования земли. Уже генезис сеньориально-вассальных отношений свидетельствует о том, что они возникали сплошь и рядом как чисто личные отношения покровительства, службы, верности. Таковы были связи между вождем и дружинниками, приносившими вождю присягу верности и служившими ему не за земельный бенефиций, а на условии получения доли в захваченной добыче, за оружие, коней и пиры, которые вождь устраивал для своей дружины. Таковы были и отношения между королями и их подданными, получавшими от королей пожалования в виде даней и кормлений; так складывалась «вассальная зависимость без фьефов или фьефы, состоявшие только из даней»³⁶. Далее, дружинники могли получать землю в вознаграждение за уже оказанные услуги, как это происходило во Франкском государстве при Меровингах, до бенефициальной реформы Карла Мартелла; следовательно, отношение вассала к своему господину основывалось на личной коммандации, а земельное дарение не являлось условием выполнения службы.

Могут возразить, что все перечисленные формы отношений не являются, строго говоря, полностью феодальными именно потому, что в основе их еще не лежал принцип условного земельного пожалования³⁷. Но в таком случае под понятие лена не подойдут и многие формы сеньориально-вассальных отношений периода «классического» средневековья. Таковы, например, феоды, состоявшие из доходов разного рода (*feodum de bursa*, нем. *Kammerlehen*); пожалования на праве феодов церквей, аббатств, десятин и других церковных поступлений. Французские февдисты — феодальные юристы применяли выражение *fiefs en l'air* («воздушные фьефы») к феодам, не состоявшим из материальных вещей³⁸. Понятие «феод» распространялось на должности, сферы господства, юрисдикцию и другие верховные права и регалии. В отличие от большинства историков XIX в. и тех историков XX в., которые считали поземельный феод первоначальным, ряд современных исследователей (Г. Миттайс, Ф.Л. Гансгоф, В. Эбель) придерживаются мнения, что служебные лены (*honores*) представляли собой самостоятельный тип феода, независимый от земельного пожалования³⁹. «Расширительное» применение понятия «феод» в средние века имело место не только в правовой сфере (лен-графство, лен-княжество, судебный лен и т.д.), но и за ее непосредственными пределами. В лен могли быть пожалованы право горной разработки и должность палача, он мог состоять из виселицы и из городских прав; были ленники, державшие... публичные дома. «Ленное сознание» средневекового человека распространяло эту систему правоотношений на самые неожиданные (для нас!) объекты и связи. Представление об отношении человека к Богу мыслилось как отношение вассала к сеньору; рыцарь-миннезингер просил свою даму пожаловать ему свое сердце в лен. Всякое земельное владение представлялось леном, его нужно было от кого-то держать. Когда реального сеньора не оказывалось, аллод — фактически независимую земельную собственность — именовали «солнечным леном».

³⁶ Marx K. Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century. London, 1899, p. 76.

³⁷ Суженное понимание бенефиция, которое отстаивали П. Рот, Г. Бруннер и другие историки, уже давно встретило основательные возражения со стороны ряда ученых. См.: A. Dopsch. Benefizialwesen und Feudalität. В кн.: Dopsch A. Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Aufsätze. Zweite Reihe. Wien, 1938. Ср. также: Бессмертный Ю.Л. Система внутриклассовых отношений среди сеньоров Северной Франции и Западной Германии в XIII в. В сб.: «Средние века», вып. 30, 1967, с. 151, сл.

³⁸ См.: Ganshof F.L. Qu'est-ce que la féodalité? Bruxelles, 1957, p. 131—133.

³⁹ См.: Ebel W. (über den Leihganken in der deutschen Rechtsgeschichte. «Studien zum mittelalterlichen Lehenwesen» (Vorträge und Forschungen, V. Bd.) Lindau und Konstanz, 1960, S. 12, ff.

Идея, что «нормальной» формой феода является земельное пожалование и что все другие его формы — не «подлинные», сложилась только в XIII в.⁴⁰ Но в этот период появляются и широко распространяются разнообразные виды «фьефов-рент», при которых сеньор жаловал своему служилому человеку не землю, а доход с нее либо доход от торгового местечка, пошлины всякого рода, доходы от мельничных и иных сборов, короче говоря, денежные поступления⁴¹. «Фьеф-ренту» рассматривают в известном смысле уже как форму разложения «классического» лена — земельного пожалования. Но нечто подобное мы наблюдаем и в странах, в которых такие лены (в узком смысле слова) не получили распространения, например в Скандинавии. Пожалование вейцлы представляло передачу права сбора доходов с населения в виде угощений или продуктовых платежей без передачи самой земли под власть получателя пожалования. Специфичны были пленные пожалования на Руси.

Вообще нужно отметить, что установить реальную грань, отделяющую дань от феодальной ренты, чрезвычайно трудно, а в ряде случаев даже и невозможно. Трудность, на наш взгляд, коренится в том, что и в основе отношений данничества, и в основе вассальной зависимости было нечто общее. Это общее заключалось, разумеется, не в отношениях собственности на землю, а в обладании властью над людьми. Такой властью пользовался государь или князь, собиравший дани и угощения с населения, которым он управлял; ею пользовался и сеньор, повелевавший своими вассалами. В одних случаях эта власть могла носить личный характер и не сопровождаться установлением поземельно-ленной зависимости подданных от господина, в других случаях такая зависимость создавалась.

Вышеизложенное дает основание для того, чтобы предположить: ленное пожалование в виде земли было лишь одной из разновидностей сеньориального пожалования вассалу, одной из многих возможных форм вознаграждения его за верность и службу, но вовсе не единственной и строго обязательной формой. Представление о том, что феодальное пожалование непременно должно было быть пожалованием земли, оправдано только при принятии за единственную «законную модель» феодализма его «классического» (французского) варианта. Но, как мы видели, даже и в рамках этого варианта встречаются всякого рода «аномалии» и несоответствия привычной «модели».

Итак, вассальное отношение могло сопровождаться земельным пожалованием, но могло существовать и без него — при пожаловании власти над населением, либо собираемых с него доходов без передачи земли, либо при пожаловании доходов неземледельческого происхождения. Решающим для конституирования феода являлся не объект пожалования, — как мы могли убедиться, он бывал самым различным, — а принадлежность получателя феода к рыцарству, к благородному сословию. Важна была не столько форма пожалования, сколько самый факт существования военного класса за счет эксплуатации сельского населения, какую бы конкретную форму эта эксплуатация ни принимала. И везде, где мы находим в средние века военный класс, возвышающийся над основной массой крестьянского населения, мы обнаруживаем и зависимость крестьянства от господ-воинов, эксплуатирующих его труд и управляющих обществом. Нет никаких убедительных оснований противопоставлять земельную форму сеньориального пожалования всем остальным, ибо любому из этих пожалований присуще одно общее для них качество, которое и является определяющим, а именно — наделение вассала личной властью над крестьянами, в силу чего он и получал возможность их эксплуатировать. Естественно, в аграрном обществе периода раннего средневековья тенденция к

⁴⁰ См.: *Mittels H. Lehnrecht und Staatsgewalt*. Weimar, 1933, S. 130, ff; *Ebel W. Über den Leihgedanken...*, S. 15, ff.

⁴¹ См. подробнее: *Бессмертный Ю.Л.* Изменение структуры межсеньориальных отношений в Восточной Франции XIII в. Сб.: «Средние века», вып. 28, 1965, с. 55, сл.

обеспечению рыцарства доходами с земли была наиболее мощной. Нормандские сеньоры, отказываясь от подарков в виде драгоценностей, оружия и коней, которые им предлагал герцог, требовали земель: обладание землями сделало бы для них возможным содержать многочисленных рыцарей⁴². Фьеф, пожалованный рыцарю, представлял для него ценность постольку, поскольку на земле фьефа сидели крестьяне, переходившие под его власть и принужденные в силу этого платить ему ренту. Следовательно, не земля сама по себе, а крестьяне, населявшие ее, были необходимы для выполнения рыцарем военной службы.

Важнейшим и неотъемлемым признаком вассальной зависимости была преданность вассала сеньору, устанавливавшаяся при посредстве присяги верности. В основе своей это личное отношение покровительства и служения, — без той или иной формы коммандации и сюзеренитета нет феодальных отношений.

Таким образом, феодализм не может быть сведен к аграрным отношениям. Последние являются его основой в указанном выше смысле: военный класс общества, связанный узами взаимных личных обязательств, господствовал над классом крестьян, причем это классовое господство, верховенство дворянства *in corpore* обязательно и неизбежно принимало формы личного господства отдельных членов высшего сословия, объединенных и иерархию, над зависимыми от них крестьянами.

Поэтому личный характер в средние века имели не только общественные отношения, но и отношения политические: публичная власть принимала форму частноправового отношения, при котором подданные государя оказывались на положении его вассалов, а самая власть приобретала характер патримониальный. Вся история Франции вплоть до XV в. представляет историю объединения страны вокруг королевского домена, включения ее частей в состав владений короля. Его верховенство как государя на протяжении веков в той или иной мере оставалось фикцией, и прерогативы носителя публичной власти постоянно нарушались. Реальными же были власть и влияние, которых ему удавалось добиться как сеньору. Римско-германский император был обладателем высшего земного титула, носителем идеи универсальной империи, однако действительной властью он пользовался преимущественно в собственных владениях.

Средневековое феодальное государство — это прежде всего союз сеньоров и их непосредственных подданных, подчинивших себе остальное население. Такое государство строится не на абстрактном принципе территориального суверенитета, но на системе вассальных договоров. У феодального государства еще нет и не может быть точных границ: оно охватывает совокупность личных отношений между определенными индивидами — князьями, баронами, рыцарями, между их семьями и родами. Поэтому пределы средневекового государства меняются в зависимости от личных судеб тех или иных владетелей, от заключаемых ими династических, брачных и наследственных сделок, от конфликтов между ними. Было бы не оправданной натяжкой объяснять возникновение в XII в. державы Плантагенетов, объединившей ряд областей Франции с Английским королевством, торговыми связями или иными материальными предпосылками, на которых складываются государства Нового времени: династические комбинации отторгли от Франции богатейшие обширные провинции и надолго поставили их под власть королей Англии, и лишь напряженная борьба «выправила» эту «аномалию», вернув Аквитанию и соседние области в состав Французского государства, но на это потребовалось три столетия!

Когда говорят о «поместье-государстве», обычно имеют в виду обладание сеньором публичной властью над населением его поместья. Но, может быть,

⁴² См.: Block M. La societe feodale. Les classes et le gouvernement des hommes. Paris, 1940, p. 247.

правильнее было бы говорить о государстве-сеньории: если поместье и имело некоторые признаки государства, то государство в еще большей мере обладало чертами феодальной сеньории, опиравшейся на личные связи между сеньором и вассалами. Не отсюда ли — трудность реального разграничения между признаками базиса и надстройки применительно к средневековому социальному строю, относительность и дэтих понятий, столь определенных и недвусмысленных в буржуазном обществе? Политика и экономика всегда взаимно обусловлены, но в современном обществе их тем не менее нетрудно логически расчлениить. Иначе дело обстоит в обществе феодальном, где вопрос о собственности был вместе с тем вопросом о власти и, наоборот, политическое господство сливалось с отношениями собственническими.

Понятия и терминология средневековья в этом смысле очень симптомтичны. Землевладельца сплошь и рядом именовали «господином земли», имея в виду не господство его над территорией, а власть над населением. Понятие «сеньория» объединяло в себе понятие господства над людьми и верховенства в пределах определенной территории. Территориальный князь — это государь, властвовавший над подданными населявшими его княжество. С другой стороны, возникала идея, согласно которой король являлся собственником всей земли своего государства. Государям раннего средневековья не было чуждо отношение к своему королевству как к наследственному владению; они его делили между сыновьями, видели в нем свою вотчину. Однако «собственность» короля на его королевство, разумеется, не имела ничего общего с правом частной собственности, она реально расшифровывалась как суверенитет, т.е. опять-таки была сеньоральной властью над вассалами, свободными крестьянами, горожанами, духовенством и другими подданными.

Лишь на стадии зрелого феодализма государство из союза определенных лиц, связанных сеньориально-вассальными отношениями, постепенно перерастает в совокупность учреждений: королевской курии, сословного представительства, местных собраний. Тем не менее и в этих учреждениях момент личных связей и зависимостей держался очень упорно. Например, в английском парламенте представительной была лишь палата общин, тогда как верхняя палата заполнялась персонально приглашенными лордами, связанными с королем не только подданством, но прежде всего вассальными узами. Эти принципы — публичного верховенства и частнопроводного подчинения — сосуществовали, переплетаясь, на протяжении столетий. В период раннего средневековья первый принцип отступал на задний план по сравнению со вторым. Так, при Каролингах реальное могущество королей опиралось прежде всего на сеньориальное господство над их прямыми вассалами и бенефициариями, над теми лицами и слоями населения, которые искали их частного покровительства; публичная же власть все более ускользала от короля, ее узурпировали, превращая во власть частную, местные владыки, графы, епископы и другие феодалы. Публичная власть, не перераставшая в частную, становилась, по сути дела, фиктивной, номинальной. Такой была императорская власть последних Каролингов, и империя — идейно-политическое наследие античности, возрожденная было Карлом Великим, — распалась уже при его внуках. Политическая раздробленность в эпоху раннего феодализма — не признак слабости государства, а естественный союз вассалов и сеньоров, опиравшийся на систему личных связей, преобладавшую в том обществе форму социальных отношений. Слабым это государство представляется при сравнении его с формой государства Нового времени, неотъемлемым признаком которого является централизация. Но это не признак, присущий феодально-средневековой политической организации.

Разумеется, в этой форме государства королевская власть долгое время обладала ограниченными возможностями и реальными правами. Общество состояло

из обособленных и замкнутых в себе небольших самодовлеющих групп. Слабость сцепления их между собой — признак большой их внутренней сплоченности: жизненные силы этих групп действуют преимущественно «вовнутрь», а не «вовне». Попытки укрепления королевской власти обычно шли по обеим линиям: по пути утверждения как публичного суверенитета короля, так и его сеньориальных полномочий. Генрих II Плантагенет, стремясь ослабить свою зависимость от вассалов, ввел «щитовые деньги», дававшие ему возможность опереться не на вооруженные силы баронов и рыцарей, а на наемное войско; одновременно он реформировал народное ополчение. Король как бы стремился эмансипироваться от ставших стеснительными путей личных связей со своими вассалами, ослабить их роль в управлении государством. Тем не менее и при нем, и при его преемниках сеньориальная власть короля продолжала сохранять свое значение. Недаром «Великая Хартия вольностей» по преимуществу регулировала отношения между феодальным сюзереном и его вассалами — личными подданными (а также между баронами и их субвассалами).

Нам пришлось затронуть вопрос о феодальном государстве только потому, что он оказался непосредственно связанным с вопросом о характере феодальной собственности. Эта собственность не может быть понята только как социально-экономическая категория, она была вместе с тем и категорией социально-политической, поскольку включала в себя отношения вассальной зависимости и политического господства.

К концу средних веков, когда все более возрастала роль экономических факторов развития, личный аспект социальных отношений стал отступать на задний план. Соответственно изменялось и содержание земельной собственности: она приближалась к окончательному превращению в свободную частную собственность, в одних случаях — в руках дворянства, в других — в руках непривилегированных, крестьян или бюргеров. Однако до тех пор, пока сохранялся феодальный строй, оставались и ограничения собственности. В Англии, в стране, где трансформация аграрных отношений на буржуазный манер шла быстрее и радикальнее, чем в остальной Европе, новое дворянство, по сути своей уже класс буржуазных собственников, тем не менее смогло утвердить свое право частной собственности на землю только после победы революции XVII в. и отмены рыцарского держания — вассальных обязательств дворян-землевладельцев по отношению к короне. Известно, какое видное место занимал вопрос о ликвидации сеньориальных прав, т.е. о превращении ограниченной феодальной собственности в свободную, частную буржуазную собственность, во Французской революции конца XVIII в., но здесь это превращение совершилось не в интересах дворянства, как в Англии, а в интересах буржуазии и крестьян.

В предшествующие же эпохи структура землевладения сохраняла «политическую» и «эмоциональную», «сентиментальную» окраску (Маркс), и эта невычлененность сферы экономической из сферы политики, морали, религии, связанность ее ритуалом и господствовавшими в обществе мифологическими системами — характерная черта всех докапиталистических формаций.

Мы рассмотрели здесь не только раннефеодальный период, но и бегло период развитого феодализма, для того чтобы отчетливо выявить особый характер собственнических отношений при феодализме и тенденцию их развития. При всех различиях между разными этапами феодальной формации непосредственные личные связи между людьми оставались здесь в той или иной мере преобладающим типом социальных отношений. Этот тип связей пронизывает все стороны их общественной жизни и налагает неизгладимый отпечаток на самые различные институты. Мы считали необходимым сконцентрировать внимание именно на личных связях —

важном факторе складывания ранних форм собственности, потому что без учета этого фактора, как и без исторического подхода к понятию «собственность», невозможна характеристика любого из докапиталистических обществ. Обычно феодальное общество рассматривается в сопоставлении с буржуазным. Но многие существенные стороны феодализма выступают более отчетливо при изучении его в ряду других докапиталистических обществ, в которых тип личных социальных связей доминировал.

§2. Богатство и дарение в варварском обществе

Как уже было упомянуто выше, одна из помех на пути к глубокому пониманию структуры и функционирования общества эпохи раннего средневековья состоит в том, что историки не всегда сознают, в какой мере понятия, которыми они пользуются при его изучении и которые они естественно и, может быть, невольно заимствуют из современности, не соответствуют самой сущности социальных отношений в обществах удаленных от нас эпох. Прямой перенос в эти общества таких понятий, как «частная собственность» или «демократия», мешает понять сущность господствовавших в тот период отношений собственности или системы управления. Попытки рассмотрения этого общества преимущественно под углом зрения его экономического развития также могут повлечь за собой серьезные искажения, если не учитывать того решающего обстоятельства, что система социальных связей в этом обществе строилась на иных основаниях, нежели в Новое время. Вновь подчеркнем, что социальные отношения в эпоху раннего средневековья не были фетишизированы товарным производством и обменом¹.

Поэтому, возможно, было бы целесообразно при изучении средневекового общества, в особенности на ранних этапах его истории, прибегать к сопоставлению его не только с современным обществом, но и с доклассовыми социальными структурами, ибо оно, несомненно, имеет с ними некоторые общие черты. Разумеется, это сопоставление допустимо лишь в определенных границах. Раннефеодальное общество — не первобытное, в нем зарождаются антагонистические классы, социальное разделение труда, система родоплеменных отношений сменяется системой отношений господства и подчинения, вассального договора и службы. Но вместе с тем между доклассовым и раннефеодальным обществом существует определенное сходство. Всем доклассовым и раннеклассовым структурам присуща относительная нерасчлененность социальной практики, ярчайшим показателем которой были отсутствие или неразвитость классов. В силу того что общественные связи сохраняли здесь характер непосредственных, личных отношений между людьми, индивид — в той мере, в какой применительно к этому обществу можно говорить о выделении индивида в рамках социальной группы², — не был отчужден от своей деятельности: такое отчуждение происходило в развитом классовом обществе, достигая законченной формы при капитализме. Вне этого контекста невозможно уяснить ли одной из сторон социальной жизни эпохи раннего средневековья.

«Модель» общества, основанного на господстве непосредственных общественных связей, дает нам этнография. Изучая сохраняющиеся кое-где еще поныне архаические общества (австралийцев, североамериканских индейцев, племен Тропической Африки), ученые наблюдают эту «модель» в «живом виде». Многие признаки доклассовой структуры, вне сомнения, присущи не только народам и племенам, изучаемым этнографами: сходные черты некогда имели и другие народы, давно уже перешедшие на более высокую ступень развития. Поэтому осмотнительное применение этой «модели» в историческом исследовании, возможно, принесло бы пользу. Ведь и у отсталых племен, наблюдаемых этнографами XIX и XX вв., и у европейских народов раннего средневековья существовал родовой строй с присущими ему институтами, сколь бы своеобразными в каждом конкретном случае они ни были. Это обстоятельство делает, как нам кажется, оправданным рассмотрение общества раннего средневековья под указанным углом зрения.

Применительно к собственности в доклассовом обществе приходится в полной мере учитывать ее специфику. Во-первых, как уже говорилось, право

¹ См. сб. «Проблемы истории докапиталистических обществ». Кн. 1. М., 1968.

² См. Гл. II.

собственности здесь — не юридический титул, а выражение тесной связи владельца с предметом владения. В вещи, принадлежащей человеку или группе людей, заключена, по тогдашним представлениям, какая-то частица самих этих людей. В подобном отношении отражается общее сознание нерасчлененности мира людей и мира природы. Право собственности в доклассовом обществе не состояло в праве неограниченного обладания и свободного распоряжения. Владение имуществом предполагало его использование, неупотребление воспринималось как нарушение права владения. Поэтому право собственности было вместе с тем и обязанностью.

Во-вторых, в доклассовом обществе «распоряжались» собственностью по-особенному. Имущество сплошь и рядом не представляло собой богатства в современном понимании, не было средством накопления и экономического могущества. Наряду с обладанием здесь на первый план как важнейший признак собственности выступает отчуждение. Вся собственность, за исключением самого необходимого для жизни, должна постоянно перемещаться из рук в руки. Богатство выполняло специфическую социальную функцию. Заключается она в том, что отчуждение имущества способствует приобретению и повышению общественного престижа и уважения, и подчас передача собственности могла дать больше влияния, нежели ее сохранение или накопление. В этом отношении чрезвычайно показательна запись беседы европейца с оленеводом-юраком. Иностранец предлагает ему продать оленя. Юрак отказывается. Иностранец говорит: «Но ведь у тебя три тысячи оленей, к чему тебе столько?» Юрак: «Олени бродят, и я гляжу на них. А деньги мне придется спрятать, я не смогу ими любоваться»³.

В этом обществе существовал сложный и детально разработанный ритуал распоряжения имуществом. Огромная роль, которую у варваров играли отчуждение и обмен, по мнению этнологов, не может быть удовлетворительно объяснена одними экономическими причинами⁴. Постоянное перемещение вещей из рук в руки было средством социального общения между людьми, вступавшими в обмен: в форме обмена вещами (как и брачного обмена женщинами между группами) воплощались, драматизировались и переживались определенные фиксированные общественные отношения. Поэтому обмен вещами сплошь и рядом был нерациональным, если рассматривать его под углом зрения их материальной стоимости. Ценность имел не сам по себе предмет, передававшийся из рук в руки, ее имели те лица, в обладании которых он оказывался, и самый акт передачи ими имущества.

Такого рода обмен был далек от товарного обмена позднейших обществ. Здесь нет товарного фетишизма, заслоняющего прямые отношения между людьми обращением товаров, здесь вещи служат средством социального общения.

Данные о характерных чертах собственности у первобытных народов мы привели в связи с тем, что хотели бы обратить особое внимание на древнегерманский институт дарений. Как известно, дарения и сходные формы передачи имущества играли огромную роль в развитии раннефеодальных отношений в Европе. Исследователи рассматривают их как акты, наполненные определенным социальным содержанием, как формы перехода собственности из рук мелких владельцев в руки земельных магнатов и господ, в особенности же — как средство обогащения церкви за счет мирян и превращения ее в крупнейшего земельного собственника. Таким образом, при анализе дарений интерес сосредоточивается на материальной, экономической стороне сделок.

³ Steiner F. Notes on Comparative Economics. «The British Journal of Sociology», vol. V, №2, 1954, p. 118.

⁴ См.: Herskovits M.J. The Economic Life of Primitive Peoples. N.Y. — London, 1940, p. 133; Thurnwald R. Economics in Primitive Communities. Oxford, 1932, p. 107, 171, 176, 177, 179; Malinowski B. Argonauts of the Western Pacific. London, 1922, p. 516; Radin P. The World of Primitive Man. N.Y., 1953, p. 118, 126, 130—133.

При этом обычно не учитывается, что в средневековом дарении соединились и переплелись два по сути своей различных института: *donatio* римского и церковного права и древнегерманский институт дара, имевший существенные особенности. В то время как римская *donatio* опиралась на понятие частной собственности, подлежавшей свободному и окончательному отчуждению, практика обмена подарками у германцев исходила из совершенно иных представлений. Разумеется, это не какой-то специфически германский институт, сходные формы мы обнаружим у самых разных народов на стадии доклассового общества.

Поэтому для лучшего понимания этого института целесообразно остановиться на наблюдениях, сделанных выдающимся французским этнологом и социологом М. Моссом и обобщенных в его «Очерке о даре»⁵. Мосс опирается на обширный материал, почерпнутый из исследований культур-антропологов и этнографов, работавших среди аборигенов Америки, Океании и Австралии, и из исторических трудов, посвященных древностям народов Европы и Азии. Он отмечает черту, являющуюся универсальной для всех этих первобытных народов: обмен и договоры у них принимали характер обмена подарками. По форме эти дары были добровольными, по существу же — строго обязательными. Достаточно напомнить о знаменитом потлаче у индейцев тихоокеанского побережья Северной Америки: на празднествах роды и племенные группы обменивались дарами, устраивали пышные угощения и пиры для другой стороны, старались во что бы то ни стало превзойти ее своей щедростью и гостеприимством. При этом они не останавливались перед расточением всех своих запасов пищи и богатств, не заботясь о будущем пропитании. Нередко это состязание в расточительстве и пренебрежении к богатствам сопровождалось прямым истреблением имущества. Такие же явления можно наблюдать и у других народов на соответствующей ступени развития.

Мосс видит в основе института потлача заботу о поддержании и повышении престижа племени. Дары и угощения могли способствовать установлению дружеских отношений и мира. Но такого рода гостеприимство было недалеко от агрессивности: туземцы подчас вовсе не стремились доставить удовольствие тем, кого они одаривали и угощали, — напротив, они всеми возможными средствами старались их унижить, подавить своей щедростью. Угощение было сопряжено здесь с соперничеством и легко могло перейти в открытую борьбу. Потлач и был одной из форм борьбы между вождями. Любопытно и странно для человека Нового времени то, что ущерб соперникам стремились причинить таким необычным путем: уничтожая не их пищевые запасы, а отдавая им или истребляя собственное имущество. Существо этого своеобразного состязания составляла идея, что дар, который не возмещен равноценным даром, ставит одаренного в унижительную и опасную для его чести, свободы и самой жизни зависимость от дарителя. Утверждая собственный престиж, добивались победы над соперниками. Это объяснялось тем, что передаваемые вещи не считались инертными и мертвыми: они как бы содержали частицу того, кто их подарил. В результате между дарителем и одаренным устанавливалась тесная связь: на последнего налагались обязательства по отношению к первому.

Таким образом, обмен дарами имел в глазах этих людей магическую силу. Он представлял собой одно из средств социальных связей, наряду с браками, взаимными услугами, жертвоприношениями и культовыми действиями; во всех этих формах также осуществлялся обмен между племенами, семьями и индивидами либо между людьми и божествами. Обмен дарами служил средством поддержания регулярных контактов в обществе между составлявшими его группами. Это общение — путем взаимных визитов и устройства празднеств, неизменно сопровождавшихся дарами и

⁵ См.: М. Mauss. *Essai sur le don. Forme et raison de l'echange dans les societes archaïques*. В кн.: *Mauss M. Sociologie et anthropologie*. Paris, 1950.

угощениями, — принимало форму института «give and take». Богатства в архаическом обществе не столько имело утилитарное значение, сколько являлось орудием социального престижа. Оно давало прежде всего личную власть и влияние. Вождь не мог продемонстрировать своего богатства, не раздавая его; на тех, кого он одаривал, он посылал «тень своего имени», расширяя тем самым свое могущество. «Настоящие вожди всегда умирали бедными», — говорили индейцы⁶. Понятие ценности было проникнуто магически-религиозными и этическими моментами. Экономическая деятельность была обставлена ритуалами и мифами, являлась неразрывной составной частью социального общения.

Имеют ли вышеприведенные наблюдения силу только применительно к племенам, изучаемым этнографией, или же могут быть распространены в какой-то мере и на интересующие нас варварские общества Европы эпохи раннего средневековья? Мосс убежден в последнем. Характерно, что свое исследование он открывает цитатой из «Речей Высокого» — одной из наиболее известных песен древнескандинавского цикла «Старшей Эдды» Действительно, мы читаем здесь: «на дар ждут ответа» (145); и выше:

*Не знаю радушных
и щедрых, что стали б
дары отвергать;
ни таких, что, в ответ
на подарок врученный,
подарка б не приняли (39).*

И еще:

*Надобно в дружбе
верным быть другу, одарять за подарки (42)⁷.*

Такого рода высказывания могли бы быть приняты за общие сентенции и афоризмы «житейской мудрости», каких немало в «Речах Высокого»⁸ и которые не следует понимать в строго юридическом смысле, если бы не повторение этих же максим уже в качестве правовых норм в норвежских и шведских средневековых областных законах. В норвежском судебнике Гулатинга принцип требования равноценной компенсации за полученный дар сформулирован следующим образом: «Каждый имеет право [отобрать] свой подарок, если он не был возмещен лучшим платежом: дар не считается возмещенным, если за него не дано равного»⁹. Понятие «laun», употребляемое в норвежских и шведских законах, в исландских сагах и поэзии, означало «вознаграждение», «возмещение за дар». В формуле, которую должен был произносить отец при «введении в род» своего незаконнорожденного сына (т. е. при наделении его всеми правами наследника и члена семьи), в числе терминов, обозначающих права, приобретаемые этим усыновленным, упомянута пара аллитерированных терминов gjald oc gjof¹⁰. Дарение и возмещение за него («антидар») мыслятся здесь тесно связанными. Подобные предписания содержатся и в судебныхниках Швеции¹¹. Они находят параллель в лангобардском launegild — платеже, возмещавшем полученное дарение (или символическом возмещении).

⁶ Аверкиева Ю.П. Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев северо-западного побережья Северной Америки. М., 1961, с. 128.

⁷ «Старшая Эдда», под ред. М.И. Стеблин-Каменского. М. — Л., 1963. с. 19, 28.

⁸ Идея дарения, важности его для социального поведения и благополучия человека проходит красной нитью через «Речи Высокого».

⁹ Gulathings-Lov, 129. Norges gamle Love, I. Christiania, 1846.

¹⁰ Gulathings-Lov, 58.

¹¹ См.: *Amira K. v. Nordgermanisches Obligationenrecht*. I. Bd., Leipzig, 1882, S. 506, ff.; A. Holmback och E. Wessen. Svenska landskapslagar. I. Ser., Haft 3. Stockholm, 1933, S. 173—174; V. Ser., Uppsala, 1946, S. 128, Haft 3.

Здесь нельзя не упомянуть отмеченную лингвистами близость понятий «брать» и «давать» в индоевропейских языках. Слово «do», по наблюдению Э. Бенвениста, первоначально могло приобретать либо значение «брать», либо значение «давать», в зависимости от грамматической конструкции, в которой оно употреблялось. Этот глагол означает лишь факт взятия, однако синтаксисом определялось, какой именно смысл имеется в виду: «брать» или «давать». Оба понятия были органически между собой связаны. Э. Бенвенист видит в этой близости полярных значений отражение принципа взаимности, проявлявшегося в обмене дарами, предоставлении гостеприимства, принесении присяг верности и в обмене услугами, и считает приведенный им лингвистический материал иллюстрацией к исследованию М. Мосса¹². Расширяя круг примеров, данных Э. Бенвенистом, мы хотели бы указать на то, что и в древнескандинавском языке понятия «брать» и «давать» могли обозначаться одним глаголом «fa», причем значения и здесь дифференцировались как по контексту, так и грамматически¹³.

Очевидно, мы сталкиваемся здесь с явлением, имевшим широчайшую распространенность у самых различных народов мира на доклассовой или раннеклассовой стадии развития. Обмен дарами, услугами, пирами был существенным аспектом общественных связей в коллективах и социальных образованиях, строившихся на личностной основе.

О том, что правило обязательного возмещения дара действовало на практике и что люди в ряде случаев остерегались принимать безвозмездно чужое имущество, боясь, оказаться в зависимости от дарителя, свидетельствуют исландские саги. Знатные лица, переселяясь в Исландию, отказывались принять участки земли от первопоселенцев, не расплатившись с ними. Так, первооткрыватель острова Ингольф Арнарсон предложил своей родственнице Стейнуд Старой одно из принадлежавших ему владений, но она предпочла дать ему за землю дорогой расшитый плащ английского производства и пожелала, чтобы ее приобретение считалось покупкой, — «так ей казалось безопаснее в отношении расторжения [договора]». Многие переселенцы в Исландию предпочитали отнять землю силой, чем получить ее в дар от другого. Показателен мотив, которым руководствовался при этом переселенец Халькель. Прибыв в Исландию, он провел первую зиму у своего родственника Кетильбьярна. Тот предложил ему часть своей земли. «Но Халькелю показалось унижительным брать землю у него», и он вызвал на поединок некоего Грима из-за его владений. Грим принял вызов и пал в единоборстве, а Халькель стал жить в его владении. О случаях насильственного захвата земли в период, когда в Исландии было очень легко приобрести владение у первопоселенцев, «Книга о заселении Исландии» сообщает неоднократно. В то время как Семунд нес огонь вокруг своего владения (таков был способ присвоения земли в период заселения Исландии), Skefili без его разрешения взял себе часть этой земли, совершив соответствующий обряд, и Семунду пришлось примириться с захватом. Пока Эйрик собирался обойти всю долину, чтобы установить над ней свои права, его опередил Онунд: он послал из лука зажженную стрелу и тем самым присвоил расположенную за рекой землю¹⁴. Исландец Кьяртан Олафссон получил от норвежского конунга Олафа Трюггвасона плащ с его плеча, но спутники Кьяртана «не проявили радости по этому поводу. Они полагали, что Кьяртан таким образом кое в чем признал над собой власть конунга»¹⁵. После некоторых колебаний Кьяртан принял, по настоянию конунга, крещение,

¹² См.: E. Benveniste, Don et échange dans le vocabulaire indoeuropéen. В кн. *Benveniste E. Problèmes de linguistique générale*. Paris, 1966. p. 317—326.

¹³ См.: *Vries J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch*. Leiden, 1957—1961, S. 108.

¹⁴ *Landnamabók Íslands*. Einar Araorsson bjó til prentunar. Reykjavík, 1948, bís. 54, 59, 207, 211.

¹⁵ «Сага о людях из Лаксдала», гл. 40 («Исландские саги», под ред. М.И. Стеблин-Каменского. М., 1956, с. 345).

получил от него новое пурпурное одеяние и богато украшенный меч и стал его приближенным.

Вряд ли можно сомневаться в том, что за институтом дарений у скандинавов скрывались по сути дела те же самые представления, что и у туземцев, о которых пишет Мосс. Еще до Мосса датский исследователь В. Грёнбек, рассматривая принцип возмещения дара у скандинавов языческой поры, высказал мысль, что, согласно представлениям той эпохи, любой дар налагал на его получателя обязательства по отношению к подарившему. В основе благодарности принявшего дар лежало сознание, что через посредство полученного имущества он мог оказаться неразрывно связанным с дарителем. Но подобная связь не всегда была желательна, она могла быть унижительна для одаренного (что явствует и из приведенного выше материала), ибо в случае если дарение не сопровождалось компенсацией, получивший его оказывался во власти давшего¹⁶.

Таким образом, институт дарения, требовавшего компенсации, и у скандинавов имел как юридическую, так и социально-этическую сторону, разграничение между которыми можно проводить лишь условно. Ведь и жертвы богам приносили, исходя из принципа «do ut des».

Связь между дающим богатство и получающим его — один из ведущих мотивов поэзии скандинавских скальдов, воспевавших щедрость конунгов и верность дружинников, которые служили им за розданное золото, оружие и другие ценности. Такое пожалование привязывало дружинника к господину нерасторжимыми узами и налагало на него обязанность соблюдать верность вплоть до самой смерти.

Жажда серебра, столь сильная у скандинавов эпохи викингов, будет непонятна, если не принять в расчет их религиозных верований. Скандинавы познакомились с драгоценными металлами в то время, когда еще не могли использовать их в качестве средств обмена: продукты на севере либо обменивались непосредственно одни на другие, либо средствами обмена выступали скот, домотканое сукно и другие изделия. Долгое время благородные металлы и монеты применялись у них преимущественно в виде украшений. Но вместе с тем у скандинавов складывается взгляд на золото и серебро как на такой вид богатства, в котором материализуются счастье и благополучие человека и его семьи, рода. Тот, кто накопил много ценных металлов, по их представлениям, приобрел средство сохранения и приумножения удачи и счастья. При этом золото и серебро сами по себе, безотносительно к тому, в чьих руках они находятся, не содержат этих благ: они становятся сопричастными свойствам человека, который ими владеет, как бы «впитывают» благополучие их обладателя и его предков и удерживают в себе эти качества.

Поэтому сподвижники и дружинники знатных людей и вождей домогались от них даров — золотых гривен, наручных и нашейных браслетов, мечей, надеясь получить таким путем частицу удачи и счастья, которыми были «богаты» предводители. Неприкрытая жажда драгоценностей и звонкой монеты, проявляемая окружением знати, не может быть объяснена простой жадностью и стремлением обогатиться: она связана с определенными языческими представлениями. Недаром обладатель подаренных ему ценностей не отчуждал их, не стремился купить на них иные богатства, например землю¹⁷, — он искал вернейшего способа их сохранить¹⁸.

¹⁶ См.: *Gronbech V. The Culture of the Teutons. Vol. II. London—Copenhagen, 1931, p. 6, f., 16, f., 54.*

¹⁷ Трудно согласиться с высказывавшимся в историографии мнением, что захваченные во время походов викингов драгоценные металлы якобы использовались знатью для приобретения земель. Во-первых, как мы далее покажем, деньги находили здесь совершенно иное применение. Во-вторых, земля в скандинавских странах была в тот период далека от превращения в товар, который можно было бы покупать и продавать. См. выше, § 1.

¹⁸ Королевские подарки иногда передавались, но в известных нам случаях герой, получивший браслет или драгоценности от чужеземного государя, был рад вручить этот дар своему господину или

Необычайное обилие кладов с драгоценными металлами, монетами и другими богатствами, найденных на скандинавском Севере и относящихся к периоду раннего средневековья, давно уже поражало историков и археологов. Высказывалось предположение, что население прятало свои богатства в землю, стремясь укрыть их от врага. Шведский ученый С. Булин, который видел в обилии кладов свидетельство развитого денежного обращения на Севере в X—XI вв., даже полагал, что датированные (при помощи найденных монет) клады особенно часто закапывались в периоды смут и войн¹⁹. Это вполне возможно. Остается, однако, неясным: хотели ли владельцы кладов спрятать свои богатства для того, чтобы впоследствии ими воспользоваться или же они зарывали их навечно? В первом случае, видимо, укрывали богатство, во втором — нечто иное, то, что могло пригодиться скорее в загробном мире.

Конечно, причины запрятывания кладов могли быть разными. Но обратимся к свидетельству саг. Скаллаgrim, отец знаменитого исландского скальда Эгиля, перед смертью утопил в болоте сундук с серебром. Сам Эгиль в конце своей жизни точно так же распорядился двумя сундуками серебра, полученными от английского короля: вместе с двумя рабами он отвез их и зарыл в землю, а рабов умертвил, с тем чтобы никто никогда не мог найти клад²⁰. В обоих случаях серебро прятали перед смертью. Богатый норвежец Кетильбьярн после переселения в Исландию тоже спрятал в горах свое серебро, умертвив рабов, которые помогли ему при этом. Вождь знаменитых викингов из Йомсборга Буи Толстый, смертельно раненный в морской битве, прыгнул за борт корабля, на который ворвались его враги, и захватил с собой в морскую пучину два ящика с золотом²¹. Согласно легенде, Один повелел, чтобы каждый воин, павший в битве, являлся к нему в Валхаллу вместе с богатством, которое было при нем на погребальном костре или спрятано было им в землю²².

В источниках нет указаний на то, что клады прятали на время и затем выкапывали их. Ни саги, ни рунические надписи об этом не говорят²³. Есть полное основание утверждать, что, скрывая в земле богатства, скандинавы обычно стремились сохранить их с тем, чтобы взять с собой в загробный мир, подобно тому как при переселении в мир иной им нужны были оружие, предметы обихода, кони, собаки, корабли, слуги, которых зарывали в курган вместе с покойным вождем или другим знатным человеком. Но благородных металлов в могилу не клали, предназначение их было особое; серебро и золото, спрятанные в землю, навсегда оставались в обладании их владельца и его рода и воплощали в себе их удачу и счастье, личное и семейное благополучие²⁴.

покровителю, которому он был обязан верностью. См. англосаксонский эпос («Beowulf», 2146 ff; «Widsith», 90 ff).

¹⁹ См.: *Bolin S. Ur penningens historia*. Stockholm, 1962, s. 51, ff. Ф. Веркаутерен с большим основанием полагает, что обилие кладов в бассейне Балтики служит доказательством слабой ориентированности на торговлю экономики стран этого района. См.: *Vercauteren F. Monnaie et circulation monetaire en Belgique et dans le Nord de la France du VI au XI siècle*. «Moneta e scambi nell'alto medioevo». Spoleto, 1961, p. 310.

²⁰ См.: «Сага об Эгиде», гл. 58, 85 («Исландские саги», с. 184, 249—250).

²¹ См.: *Jomsvikinga saga*, cap. 33, ed. by N. F. Blake. London, 1962, p. 38.

²² См.: *Heimskringla. Ynglinga saga*, VIII. kap. Bjarni Adalbjarnarson gaf ut. Bd. I. Reykjavik, 1941.

²³ Правда, в истории норвежских королей рассказывается о том, как король Харальд Серый плащ заставил скальда Эйвинда отдать ему большое золотое кольцо, которым владел его отец и которое долго пролежало в земле. Однако остается неизвестным, было ли это сокровище найдено случайно или спрятано в землю и затем вырыто. Здесь же сообщается как о недостойном поступке, что король Харальд и его братья из жадности прятали в земле свои сокровища. *Heimskringla. I. Haralds saga grafeldar*, I. kap.

²⁴ Вспомним о наследственных сокровищах Нифлунгов, утопленных в Рейне. «Гренландская песнь об Атти», 26—27 («Старшая Эдда», с. 139—140). У викингов был обычай запрятывания близ своих усадеб кладов, состоявших из мелких золотых пластинок, по-видимому, посвященных богу Фрею.

Таким образом, в течение долгого времени деньги представляли для варваров ценность не как источник богатств, материального благосостояния, а как своего рода «трансцендентные ценности», нематериальные блага. Разумеется, в высшей степени симптоматично, что воплощением таких ценностей сделались именно серебро и золото — материальные ценности тех народов, у которых их позаимствовали варвары. Сами языческие представления, которые оказались у них связаны с благородными металлами, послужили определенным шагом в освоении ими идеи богатства, в приобщении к цивилизации, хорошо знавшей ходовую, земную цену денег. Тем не менее сделанные выше наблюдения помогают понять специфический характер жажды добычи и богатств, которая овладела скандинавами в период экспансии викингов.

Во время нападений на другие страны викинги захватывали значительные богатства. Знать обладала роскошным оружием, украшениями, пышными одеждами, сокровищами, рабами, стадами скота, кораблями. Но что касается накопления богатств и превращения их в средство эксплуатации зависимого населения, то здесь придется сделать существенные оговорки. Богатства, попавшие в руки викингов, широко ими тратились. Имущество, которым обладала родовая и военная знать, давало ей возможность поддерживать свой социальный престиж на должной высоте. Среди главнейших доблестей знатных людей на одном из первых мест стояли щедрость и гостеприимство. О знатных и влиятельных людях скандинавские источники неизменно говорят, что они были благородны, богаты, дружелюбны, щедры на угощения, обладали широкой натурой. При этом речь идет не только о каких-то врожденных качествах знати (они предполагались), но об обязательном для ее представителей образе жизни, о линии поведения, уклонение от которой погубило бы их репутацию и авторитет²⁵. Понятия «*vjnsaell*» (счастливый в друзьях, любимый многими) и «*vingjof*» (дружеский дар) широко распространены в сагах. Выражение «*leysa menn ut med gjdfum*» (отпускать гостей с подарками) было в сагах своего рода *termjnis technicus*. В годы правления щедрого на пиры и угощения, удачливого конунга в стране, естественно, царил мир, родился скот, земля приносила хорошие урожаи, в море ловилась рыба. Такого конунга называли *arsaell* — благополучный для урожая, благоприятствующий изобилию²⁶.

Знатный человек должен был устраивать богатые пиры, делать подарки всем приглашенным. Память о щедрых предводителях передавалась из поколения в поколение. В «Книге о заселении Исландии» рассказывается о сыновьях знатного человека Хьяльти: они являлись на тинг в таких одеждах, что «люди думали, что это пришли Асы» (языческие боги скандинавов). На поминки отца они созвали всех хавдингов Исландии и других людей, всего числом 12 сотен (т. е. 1440 человек, ибо скандинавы считали на «большие сотни» по 120), «и все выдающиеся люди ушли с пира с подарками»²⁷. То была самая большая тризна в Исландии. Вторая подобная тризна, с приглашением 9 сотен (1080 человек), включая опять-таки всю знать, была устроена сыновьями богатого и знатного Хаскульда, и здесь также «все знатные мужи получили подарки»²⁸. Даже в голодные неурожайные годы, когда не хватало зерна, норвежские предводители продолжали пировать и по-прежнему содержали множество слуг, чтобы не ударить лицом в грязь и не допустить умаления своей славы и влияния. Ценой больших затрат и даже идя на риск осложнения своих отношений с конунгом, они добывали зерно и солод, необходимые для устройства пышных пиров. Например, знатный норвежец Асбьярн Сигурдарсон имел обыкновение, как и его отец, устраивать ежегодно по три пира для большого числа

²⁵ См. главу II.

²⁶ *Heimskringla. Ynglinga saga*, IX, X, XI, kap.

²⁷ *Landnamabok Islands*, bis. 214, 215.

²⁸ «Сага о людях из Лаксдаля», гл. 27 («Исландские саги», с. 310—311).

приглашенных и даже в неурожайные годы не желал отступать от этого правила. Он не остановился перед нарушением запрета, наложенного королем на вывоз зерна, солода и муки из богатых хлебом областей Норвегии в терпящие нужду районы. В «Хеймскрингле» говорится, что обычай устраивать три пира в год восходил к языческому времени, но был сохранен Сигурдом и Асбьярном и после принятия ими христианства²⁹. Таким образом, совершенно отчетливо видна связь обычая устраивать пиры с языческой верой: на пирах поднимали кубки в честь Тора, употребляли конину, произносили клятвы.

Обладание богатством представляло для родовой знати прежде всего средство поддержания и расширения своего влияния в обществе. Пир, празднество, на значение которого в общественной жизни архаического общества указывают Мосс и другие этнологи, играл, как видим, огромную роль и в жизни средневековых скандинавов. Показательно, что намного позднее, после принятия норвежцами христианства, когда языческие пиры были строжайше запрещены, в «Законы Гулатинга» было внесено постановление: все бонды обязаны устраивать ежегодные пиры и выставлять каждый от своего хозяйства определенное количество солода; только наиболее бедные люди могли уклониться от участия в этих совместных возлияниях пива, остальным же за отказ грозили штраф и даже конфискация имущества. Отличие от языческого пира заключалось лишь в том, что вместо возлияний в честь Асов теперь поднимали кубки с посвящением Христу и деве Марии; выражение же «для урожая и мира», упоминаемое в этом постановлении «Законов Гулатинга», восходило ко времени язычества³⁰. Если применительно к скандинавам и невозможно говорить о чем-либо, подобном потлачу, то щедрые раздачи подарков или обмен ими, а также самовосхваления на пирах были обычным явлением. Близость пира и обмена дарами — несомненна³¹.

Вожди постоянно устраивали угощения для своих дружинников и приближенных. Собственно, дружинники конунга, когда они не находились в походе, проводили время в его усадьбе за пирами и застольными беседами. Так было и у германцев времен Тацита, и у скандинавов эпохи викингов, и много позже. Пиршественная горница была центром дома знатного человека. Пир и тинг — важнейшие узлы социальной жизни германской знати, из которых первый едва ли не был главным. Особое значение пира в жизни скандинавов подчеркивается и в постановлении «Законов Фростатинга», гласящем: «В трех местах — в церкви, на тинге и на пиру — все люди одинаково должны пользоваться неприкосновенностью»³². Пир оказывается здесь в одном ряду с двумя другими важнейшими центрами социального общения, причем с такими, как церковь — место общения с богом и тинг — орган поддержания правопорядка и осуществления правосудия.

Подданные со своей стороны приглашали покровителей и вождей на пиры, одаривали их, рассчитывая на поддержку и возвратные дары. Более того, основной формой общения были поездки вождя по стране и посещение пиров, которые должны были устраивать сообща все бонды в его честь. Как уже отмечалось, кормления-вейцлы в раннее средневековье служили основным источником доходов конунгов, а затем стали использоваться и для содержания их приближенных и служилых людей, которым они жаловали право сбора продуктов и даней; добровольные угощения и приношения превращались в подати и ренты. На связь института вейцлы с обычаем отвечать дарением на подарок или угощение указывает, по нашему мнению, термин

²⁹ Heimskringla. Olofs saga helga, CXVII. kap. Reykjavik, 1945.

³⁰ Gulathings-Lov, 6, 7.

³¹ Ср. нем. schenken и einschenken. J. Grimm. Über schenken und geben. В кн.: *Grimm J. Kleine Schriften*. 2. Bd., Berlin, 1865.

³² Frostathings-Lov, IV, 58. Horges gamle Love, I.

dreckulaun (от drecka, «пить», «устраивать пир», и launa, «вознаграждать», «возмещать»), употребляемый в «Законах Гулатинга»³³: так обозначалось земельное дарение, пожалованное королем за устроенный в его честь пир; dreckulaun приравнивался к другим видам неотчуждаемой земельной собственности, в частности к heidlaun — также пожалованию со стороны вождя. Вейцла стала со временем одним из важнейших источников развития феодальных отношений на Севере Европы.

Другой формой социальных связей у средневековых скандинавов, в которой опять-таки проявляется принцип «give and take», был распространенный в среде знати обычай fostr, barnfostr — отдачи детей на воспитание менее знатным. При этом между отцом ребенка и воспитателем — fostri (fostrfadir) устанавливалась тесная, квазиродственная связь, включавшая некоторые элементы зависимости и покровительства: тот, кто получал отпрыска знатного рода на воспитание, как бы внутренне приобщался к «удаче» и «счастью» этого рода и мог рассчитывать на его поддержку. В этом отношении интересна исландская «Сага о Хенса-Торире». Торир, быстро разбогатевший, но незнатный человек, просил годи Арнгрима дать ему на воспитание сына, рассчитывая на его дружбу и покровительство; при этом он предложил Арнгриму половину своего имущества³⁴. Точно так же Торд Годди предложил знатному исландцу Хаскульду взять на воспитание его сына Олафа и за это обещал оставить воспитаннику все имущество после своей смерти. «Положение Торда Годди стало гораздо лучше с тех пор, как Олаф стал жить у него»³⁵. Согласно легенде, норвежский конунг Харальд Прекрасноволосый, желая поставить короля англосаксов Этельстана в зависимость от себя, послал ему на воспитание своего сына от рабыни. Исландский историк Снорри Стурлусон при этом замечает: «Люди считали, что унижительно воспитывать чужого ребенка»³⁶. Но принятие ребенка на воспитание могло служить также и средством умиротворения враждующих семей³⁷. «Ведь того, кто берет себе чужого ребенка на воспитание, всегда считают менее знатным (minni madr), чем тот, чьего ребенка он воспитывает», — с такими словами исландец Олаф предложил своему брату Торлейку взять его сына к себе на воспитание в компенсацию за то, что он получил отцовские сокровища. Торлейк согласился, сказав, «что это почетное предложение, и таким оно и было»³⁸. Но в данном случае Олаф, взявший сына Торлейка на воспитание, на самом деле, разумеется, не был менее знатен, чем Торлейк. Как и в вышеприведенном примере с королями Англии и Норвегии, здесь важен был самый акт принятия на воспитание³⁹. Процедура усаживания приемного сына на колени унижала того, кто ее производил, по сравнению с отцом этого ребенка.

Политические, социально-этические, экономические моменты тесно переплетались в сознании и практике скандинавов, получая своеобразную религиозно-магическую окраску. Только при учете всех этих сторон можно правильно понять и средневековое общество, и систему господствовавших в нем ценностей и идеалов, и побудительные стимулы общественного поведения тогдашнего человека. За экономическими отношениями здесь всегда можно распознать непосредственные, личные отношения людей. Если можно говорить о форме фетишизации социальных связей в этом обществе, то придется говорить не о

³³ Gulathings-Lov, 270. Этот скандинавский институт в эпоху викингов был перенесен и в Англию.

³⁴ См.: «Hoensa-Thoris saga». Hrsg. von W. Baetke. «Altnordische Textbibliothek». Neue. 2. Bd. Halle (Saale), 1953, 2, S. 33—34.

³⁵ «Сага о людях из Лаксдаля», гл. 16 («Исландские саги», с. 281—282).

³⁶ Heimskringla. I. Haralds saga ins harfagra, XXXIX. kap.

³⁷ См. «Сага о Ньяле», гл. 94, («Исландские саги», с. 605).

³⁸ «Сага о людях из Лаксдаля», гл. 27 («Исландские саги», с. 311).

³⁹ Ср. Косвен М.О. Аталычество. «Советская этнография», 1935, № 2; Гарданов В.К. «Кормильство» в Древней Руси. «Советская этнография», 1959, № 6.

«товарном фетишизме», характерном для общества буржуазного, а о религиозно-магической фетишизации реальных человеческих отношений.

Такая фетишизация общественных связей находила свое проявление и в своеобразном понимании отношения между вещью и ее обладателем. На объект владения переходит частица личности его владельца. Известны имена мечей, которые служили скандинавским героям, имена кораблей конунгов и викингов, их коней, в них воплотились определенные качества их хозяев, не всякий мог пользоваться таким оружием или конем, обладавшими магическими свойствами.

Скандинавский материал, на наш взгляд, особенно ясно демонстрирует, сколь необходимо такое историко-социологическое исследование, которое было бы ориентировано на целостный охват общественных явлений. Общеизвестные щедрость и гостеприимство варваров и других народов на стадии доклассового общества, нередко сохраняющиеся и впоследствии, — это не просто факт, который достаточно констатировать, — это явление, нуждающееся именно в социологическом объяснении⁴⁰.

Постановка, казалось бы, частного вопроса о дарении у скандинавов привела нас к необходимости затронуть многие другие — и очень существенные! — стороны их общественной жизни. Тут и вопрос об отношении к богатству, и проблема личной верности дружинника вождю, и формы кормлений, из которых в процессе складывания классового строя развивались крупное землевладение, с одной стороны, и податная система — с другой. Вместе с тем вопросы, касающиеся собственности и власти оказались непосредственно сопряженными с вопросами этическими и религиозными.

Анализируя систему общественных связей, историк естественно расчленяет все эти вопросы и подвергает их раздельному исследованию. Однако при этом он не может забывать, каково было в исторической действительности соотношение различных ее сторон, он должен постоянно иметь в виду социальное целое, неразрывную и тесную связь выделенных им аспектов живой реальности, ибо, будучи взяты обособленно, при забвении того социального контекста, из которого их вычленила мысль историка, эти явления будут неверно поняты и, главное, конструируемое из них целое будет весьма мало походить на подлинное общество изучаемой эпохи. Это общество представляло собой системное единство, и, углубляясь даже в мельчайшие детали, исследователю очень важно не потерять сознания социальной целостности, взаимосвязи и взаимодействия ее элементов. Даже в том случае, когда исследователь не преследует цели воспроизведения системного единства — общества в целом, эта мысль не может не присутствовать в его сознании как своего рода «сверхзадача», на которую в конечном счете ориентируется его частное исследование.

Избранный нами аспект рассмотрения скандинавского «дофеодального» общества — обмен дарами — непосредственно ведет нас к проблематике этических ценностей, общественных идеалов, представлений о мире, присущих людям этого общества. Он вводит нас в круг религиозных верований и социально-психологических установок, возникших у скандинавов в процессе их общественной жизни. Следовательно, это проблема культуры, изучаемая под углом зрения социальных связей, характерных для данного общества.

Пирь, празднества, обмен дарами в варварском обществе — неотъемлемая и очень важная составная часть системы общественной коммуникации, средств социального общения. Все эти акты носили подчеркнуто, демонстративно

⁴⁰ Еще раз подчеркнем: параллели между первобытными народами, изучаемыми этнографией, и европейскими народами периода раннего средневековья нельзя вести слишком далеко; последующее развитие Европы, совершавшееся в обстановке взаимодействия между населявшими ее народами и в условиях синтеза с античной цивилизацией, серьезно ослабило архаические черты строя варваров.

формальный характер, регламентируя поведение человека в обществе. При посредстве этих актов утверждалось и в наглядной форме реализовалось социально-психологическое единство общественных коллективов. Иными словами, исследование института дарений оказывается связанным внутренней логикой с проблемой «индивид и общество»⁴¹.

В отличие от индустриального, буржуазного общества, основанного на обмене товарами, материальными стоимостями, которые ценятся этим обществом как таковые, в обществе доиндустриальном наблюдается широкий обмен личного рода услугами и ценностями, имевшими не только материальную стоимость: взаимными дарами и подношениями, женщинами и воспитанниками, пиршествами и кормлениями, покровительством и службами. Эти явления с наибольшей ясностью вскрываются при изучении первобытных обществ; однако в форме, несколько завуалированной новыми наслоениями, личностная основа социальных связей может быть обнаружена, как мы полагаем, в обществах более развитых. Эти, по-видимому, универсальные черты социальной действительности мы обнаружим и в феодальных институтах: в отношениях сеньоров и вассалов (где, как уже говорилось, главное состояло в личном покровительстве и службе, верности, пожалование же земли было производным), во всей социальной стратификации (учение о функциональном разделении труда, о делении общества на *oratores*, *bellatores* и *laboratores* и оправдание его религиозной санкцией в интересах господствующего класса)⁴².

⁴¹ См. Гл. II.

⁴² См. Гл. III.

Глава II

Индивид и общество в раннее средневековье

§1. Обычай и ритуал по варварским Правдам

Наша задача — рассмотреть некоторые черты, характеризующие человеческого индивида в варварском обществе и формы его отношений с обществом. Индивид немислим вне общества, многие основные черты его сознания и поведения представляют собой общественный продукт, обусловлены системой социальных связей, присущей данному типу общественной структуры. Но из этого еще не следует, что, определив тип структурного целого, выяснив способ производства, систему собственности и строящуюся на ней систему общественных отношений, мы тем самым достаточно полно и глубоко исследовали это общество. Необходимо рассмотреть формы «включения» индивида в социальное целое, отношения между ними. Эта постановка вопроса приведет нас затем к попытке выяснить, в каких формах происходило отражение социальных связей в сознании варваров, каковы были те системы представлений, в которых члены общества осознавали себя как таковые.

Непосредственное отношение человека к земле, в которой он находил прямое продолжение своей собственной природы и к которой он еще не относился лишь как субъект к объекту, внешне ему противостоящему, было функционально связано с его непосредственными отношениями в обществе: с тесными, органическими отношениями с сородичами, соплеменниками, подзащитными, зависимыми людьми, а позднее — в раннефеодальном и феодальном обществах — также и с личными отношениями господства и подчинения.

Вследствие этого раскрытие отношения индивида и общества приобретает особую значимость.

Исследователь социальной структуры, обходящий эти вопросы, может быть, невольно исходит из одной из двух предпосылок. Первая сводится к тому, что человек всегда, на любой стадии своей истории, «равен самому себе», вследствие чего мы не совершаем ошибки, представляя людей отдаленной от нас эпохи такими же, как и мы, — в том смысле, что личность в любом случае идентична и ее отношения с миром строятся на одних и тех же основаниях. Разве не эта предпосылка, например, лежит в основе мнения о том, что поведение людей эпохи раннего средневековья в той же мере и в такой же форме определялось экономическими соображениями и побуждениями, как и поведение современного «*homo oeconomicus*»? В самом деле, в рассуждениях о том, что крупные землевладельцы той эпохи всегда стремились увеличить размеры феодальной ренты, а зависимое крестьянство с самого начала своего существования как класса боролось за освобождение, нетрудно усмотреть взгляд, согласно которому обладание земельной собственностью имеет лишь экономический смысл, что стремление к свободе имманентно присуще человеку и т. п. Высказывалась даже мысль о том, что, если бы не классовая борьба крестьян, сопротивлявшихся эксплуатации, феодальны низвели бы их до положения рабов, превратившись сами в рабовладельцев, — такова якобы была «повседневная угроза», висевшая над средневековым крестьянством¹. Насколько исторически оправдан такой подход, это особый вопрос; в любом случае мы видим здесь проблему, а не аксиому.

Другое, противоположное предположение определяется сознанием коренного отличия людей раннего средневековья от современных. Человек раннего средневековья, согласно такой точке зрения, не был личностью в прямом смысле слова: ее становление начинается — но лишь в ограниченной степени — в рамках

¹ См.: Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964, с. 255.

средневекового города; в эпоху Возрождения человек раскрепощается от всеобъемлющего средневекового конформизма. Что же касается более раннего времени, то перед историками, собственно, не встает вопрос о человеческой личности и они ограничиваются соображениями о силе родовых и семейных коллективных уз и связанной с ними традиции, о застойности и консервативности общества, жившего в рамках натурального хозяйства². Но ответ ли это? Правомерно ли представление о полном подчинении индивида коллективу, о растворении его в группе, к которой он принадлежал? Очевидно, этот вопрос нужно исследовать, а не решать априорно.

По-видимому, то обстоятельство, что проблема человеческой личности и ее места в «дофеодальном» и в раннефеодальном обществах не изучается, в немалой мере объясняется трудностями, которые неизбежно встали бы перед такого рода исследованием. Прежде всего, каковы те источники, анализ которых дал бы возможность поставить эти вопросы? Ведь положение человека в обществе, как правило, изучается по литературным памятникам. Но для Европы первых столетий средневековья произведений поэзии, хроник, как и созданий изобразительного искусства, явно не достаточно для того, чтобы получить внятные ответы на эти вопросы.

Другой путь, по-видимому, нужно искать в исследовании памятников массового творчества — в народной поэзии, сказаниях, мифологии, произведениях прикладного искусства. Здесь моменты личного творчества, прошедшие через механизм массового восприятия и воспроизведения, опосредованы коллективным творчеством, как бы деперсонализированы, им придана сила традиции, превратившей их во всеобщую эстетическую ценность.

Изучение подобных произведений можно вести не с целью раскрытия их непосредственного содержания, подчас довольно ограниченного, но с целью анализа их художественной формы, того «языка» искусства, который был заранее задан средой их творцам. Так, в исландской скальдической поэзии постоянно повторяются своего рода метафорические обороты-кеннинги; для современного читателя они лишены всякой образности и могут быть лишь расшифрованы подобно ребусам. В изобразительном искусстве скандинавов той поры неизменно встречаются некоторые основные мотивы «звериного стиля»: сплетающиеся между собой части тел загадочных, гротескных животных, изображаемых столь же «ненатуралистично», как и персонажи скальдических песен. Для скандинавов эпохи викингов кеннинги и детали орнамента образовывали в своей совокупности семантический фонд, из которого поэты и резчики черпали материал для размещения его по строгим законам стихосложения в «сотах» хвалебных песен в честь конунгов или на щитах и оружии, штевнях кораблей и камнях с руническими надписями. Поэзия и искусство скандинавов наполнены символами, выражавшими их идеи о мире и человеке. Творческие возможности мастера ограничивались преимущественно формой: он мог по-своему, в меру собственной изобретательности, варьировать эти символы, пересказывая факты действительности, рассказывая о походах и битвах, о подвигах вождей и их щедрости. Дело в том, что его авторство, по тогдашним представлениям, распространялось лишь на форму, но не на содержание песни³. Можно предположить, что такое, с современной точки зрения, ограниченное понимание авторства отражало более общие жизненные установки людей эпохи викингов и, в частности, понимание ими возможностей индивидуального поведения, проявления личности, т.е. отношения индивида и социального целого.

² См. полемику по этому вопросу между автором и Н.П. Соколовым в сб. «Средние века», вып. 31, с. 70-71, 72-76.

³ См. М.И. Стеблин-Каменский. О некоторых особенностях стиля древнеисландских скальдов. «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», т. XVI, вып. 2, 1957.

Но не одни лишь памятники культуры (в традиционном ее понимании) должны быть исследованы для решения проблемы «индивид и общество». Собственно, в любом историческом источнике при соответствующем к нему подходе мог бы быть найден материал, проливающий свет на эту проблему. Чем шире охват источников, тем более убедительным было бы ее решение.

К категории памятников, в которых в более непосредственной форме запечатлена массовая деятельность, следует первую очередь отнести варварские Правды западноевропейских народов и племен раннего средневековья. В Правдах в целом фиксируется не законодательная инициатива государей (хотя ее следы в ряде судебных явлений видны, но именно потому эти следы обычно удается выделить и изучать отдельно от остального содержания Правд), а прежде всего и по преимуществу народный обычай. Его особенностью была чрезвычайная традиционность, неизменяемость; к нормам обычая относились как к нерушимым, подчас сакральным установлениям, которые пользовались тем большим авторитетом, чем древнее они казались. «Старина» обычая придавала ему силу. Разумеется, в действительности обычай не оставался неизменным, с течением времени он трансформировался, но механизм этих изменений был особого рода. До момента записи обычай хранился в памяти соплеменников, знатоков права, излагавших содержание его на народных собраниях и судебных сходах. При этом содержание обычая исподволь обновлялось, отражая перемены в жизни племени, но очень существенно то, что перемены совершались по большей части помимо сознания людей, и в их памяти обычай оставался все тем же. Отношение общества к обычаю было таково, что радикальные изменения в принятой норме не допускались. Да и традиционный образ жизни варваров, менявшийся более на поверхности, чем по существу, исключал какие-либо серьезные сдвиги в праве. Обычное право — право консервативное.

Поскольку обычное право, отражаемое в ранних германских юридических записях, в основном сложилось и функционировало в варварском обществе, естественно, что его нормы были обязательны и общезначимы для всех его членов.

Социальный опыт варваров — по преимуществу коллективный опыт племени. Народное, племенное право устанавливало формы поведения, обязательные для всех соплеменников и воспринимаемые ими как саморазумеющиеся стандарты, отклонение от которых исключалось.

При анализе варварских Правд мы сталкиваемся по преимуществу не с частными моментами, степень распространенности которых никогда не известна историку, а с общепринятыми и повсеместно повторявшимися явлениями. При немалых особенностях отдельных Правд запечатленное в них обычное право имеет общую основу.

Эти черты Правд не могут не привлечь внимания исследователя, занятого поисками памятников, которые дали бы ему возможность поставить проблемы социологии «дофеодального» общества.

Содержание германских судебных книг хорошо известно. Оно многократно и детально исследовано историками и юристами, занимавшимися древнегерманским правом и его учреждениями. Н.П. Грацианский, А.И. Неусыхин и их ученики вскрыли важнейшие стороны социальной структуры варварского общества, опираясь в своем анализе опять-таки на материал Правд. Характернейшей особенностью исследования народных судебных книг советскими историками можно считать внимание к динамике социальных изменений, вполне понятное в свете общей проблемы генезиса феодализма, которая стоит в центре внимания марксистской историографии, изучающей эпоху раннего средневековья.

Но, спрашивается, можно ли обнаружить человеческого индивида при анализе таких памятников, как варварские Правды? Нет, конечно. Но можно сделать другое:

изучить те нормы, которым следовал человек варварского общества и при посредстве которых он «включался» в общественную структуру. Можно попытаться установить отношение индивида к этим нормам и таким путем подойти к вопросу об отношении его к самому обществу, к вопросу о степени поглощенности индивида коллективом и о возможности проявления личности, обособления индивида в коллективе.

Нижеследующее представляет собой попытку наметить методику такого исследования и показать возможность ее применения к варварским Правдам. Нам хотелось бы указать на новые вопросы, которые, очевидно, можно задать этим источникам в свете интересующей нас проблемы «индивид и общественная структура». Самое же решение этой проблемы возможно, повторяем, лишь на основе исследования многих видов источников.

Какова предполагаемая методика подобного исследования? Необходимо выделить в источниках какие-то объективные моменты, обладающие повторяемостью или объединяющиеся сходством своей природы и общественной роли, ими выполняемой. Только при соблюдении этого методологического требования полученные выводы могли бы иметь научную значимость и доказательную силу. Нам кажется, что варварские Правды представляют исследователям такую возможность, в должной мере еще не оцененную и не использованную. Для того чтобы изучить социальные нормы «дофеодального» общества, нужно выявить и систематизировать все данные о процедурах, ритуалах, формулах, символических действиях, которые применялись в обществе и выражали «узлы» социальных связей, характерных для этого общества. Важно по возможности установить, какую функцию выполняла каждая процедура и все они как система, ибо эти многообразные символические акты, вне сомнения, объективно складывались в относительно связную систему и лишь перед взором современного исследователя выступают в виде разрозненных фрагментов.

Для изучения такой системы нужно было бы подвергнуть детальному анализу каждую из Правд в отдельности. Только затем можно было бы сопоставлять материал разных Правд. Однако прежде чем приступать к подобному углубленному фронтальному исследованию, мы считаем возможным рассмотреть — в сугубо предварительном порядке — сведения о нормах варварского права, почерпнутые из нескольких правовых записей, из Правд разных племен. Допустимость такого общего рассмотрения, на наш взгляд, может быть оправдана тем, что все судебники как определенная разновидность исторических источников обладают общими чертами.

Одной из наиболее примечательных особенностей этих памятников было то, что индивидуальный, субъективный момент нашел в них минимальное выражение. Правды фиксируют обычаи, складывавшиеся поколениями и мало изменявшиеся — во всяком случае под воздействием сознательной инициативы — именно потому, что они были обычаями: в силу традиции эти нормы считались нерушимыми, если не священными⁴. Отсюда — неполнота и фрагментарность постановлений Правд, ибо многообразные обычаи не поддаются сплошной фиксации, да в этом и не было необходимости. Отсюда же и противоречивость отдельных положений, которые подчас фиксировались в то время, когда они уже утрачивали свою действенность.

⁴ При этом нужно, однако, иметь в виду, что самый акт записи обычая, сохранявшегося до того лишь в памяти его знатоков, «законоговорителей», «лагманов» (как их называли в Скандинавии), знаменовал начало процесса обособления обычного права от народа. Ибо до тех пор пока оно опиралось на устную народную традицию, оно могло — при всем пиетете его творцов и носителей перед стариной («пошлиной») — изменяться, исподволь, может быть, бессознательно, отражая наряду со старым и новые моменты. Фиксация же части обычного права в судебныхниках (полностью обычаи никогда не записывались) придавала ему окончательный, впредь неизменяемый вид. К тому же запись судебныхников почти повсеместно производилась по инициативе королевской власти, к которой со временем переходила и законодательная функция (сначала это были добавления и исправления Правд, а затем и самостоятельные законы).

В записях правовых обычаев сконденсирован социальный опыт варварских племен. В традиционной форме норм народного права отливается социальная деятельность, принимавшая характер постоянно воспроизводимых стереотипов поведения, обязательных для всех членов общества. Нововведения выделить в Пrawdах обычно относительно нетрудно, и можно очертить круг объективных явлений, нашедших в Пrawdах адекватное, не подвергшееся искажению отражение. Другая очень важная черта записей обычного права, уже упомянутая выше, — это то, что они, не будучи памятниками сложившегося классового общества, закрепляют нормы, общие для всех соплеменников (что вовсе не исключает возможности их социального анализа, выявления тенденций классовой дифференциации, обособления групп, включавшихся затем в классы феодального общества, и т.п.). Наконец, важно подчеркнуть, что Пrawdы содержат нормы и обычаи, имевшие силу для значительной части населения раннесредневековой Европы, ибо историки растхажают большим количеством таких записей, и возможно их сравнительное изучение и вычленение в них как общего, так и специфического, неповторимого.

Мы привыкли подходить к исследованию Пrawd с определенным кругом вопросов: структура семьи, собственности, личных и имущественных прав представителей разных социальных разрядов населения, изменения в их положении; эти и подобные вопросы связаны с общей проблемой генезиса феодализма. Историки-юристы изучают по Пrawdам древнегерманское право, характерные для него процессуальные нормы, общие принципы судопроизводства, отдельные правовые институты («правовые древности»). И такой подход, при всей его ограниченности и «юридизме», по-своему правомерен, он помогает уяснить историю права. Помимо этого, знакомство с характерными для варварского общества правовыми процедурами привлекает интерес читателя к древнему быту, нравам, а подобный интерес всегда включается в более широкий интерес к истории.

Все варварские Пrawdы, несмотря на разное время их записи (с конца V в. и вплоть до XII—XIV вв., когда были составлены последние из скандинавских областных судебников) и неодинаковые исторические условия, в которых они были произведены (фиксация обычного права у германских народов происходила на разных стадиях их перехода от общинно-родовых отношений к феодальным), представляют собой — в общем и целом — памятники одного рода, с определенными общими чертами. Среди этих присущих им всем признаков нужно выделить один, с точки зрения нашего исследования, решающий, а именно: во всех судебныхниках запечатлелся, *mutatis mutandis*, общий стиль, или одинаковая структура, правового сознания — сознания, глубоко отличного как от римского правосознания, так и от во многом близкого к нему современного правосознания. Менее резкой гранью этот стиль мышления отделен от юридического мышления феодальной эпохи, но тем не менее и здесь можно установить достаточно определенные демаркационные линии. Само собой разумеется, за спецификой правового сознания, раскрывающейся в варварских Пrawdах, нужно видеть более общие черты мышления, свойственного людям той эпохи.

В самом деле, критерии, на основании которых обширная группа источников выделяется в особую категорию варварских Пrawd, или записей народного права, это, в первую очередь, не социально-экономические критерии, хотя нередко так представляется. Ведь для того чтобы установить, является ли данный источник памятником права «дофеодального» или раннефеодального общества, надобно сначала изучить его содержание. Да и вообще невозможно было бы утверждать, что все памятники, причисляемые к варварским Пrawdам, это записи права «дофеодального»: если и не целиком, то определенными своими «пластами» ряд этих источников относится уже к раннефеодальному общественному строю. Тем не менее, если имеется реальный признак, на основании которого тот или иной памятник

может быть причислен к записям обычного права, то этот признак следует искать, видимо, в структуре и характере такой записи. Во всех этих записях права мы найдем выраженные с разной степенью определенности некоторые характерные особенности.

Нормы права обычно не выступают в судебныхниках в виде абстрактных обобщенных постулатов, покрывающих широкую категорию явлений, а представляют собой конкретные юридические казусы, позаимствованные из жизни непосредственно и поэтому применимые лишь в строго аналогичных, вполне сходных случаях. Трудно согласиться с высказывавшейся в литературе мыслью о том, что эти казусы, в силу внесения их в текст судебногоника, как бы возводились в общую норму⁵; они именно не возводились в общую норму и оставались частными казусами, вследствие чего к ним прибегали только в тех случаях, когда возникала точно такая же правовая ситуация. В судебныхниках устанавливаются материальные возмещения за каждый отдельный, совершенно конкретно определенный проступок. В отличие от памятников уголовного права более поздних эпох, соответствующие разделы Правд разрастаются в обширные каталоги пеней и штрафов, никак не обобщенных и не подводимых под общую рубрику.

Например, алеманн, которому пробили голову, «так, что показался мозг», получал возмещение в 12 солидов. Но если один другому проломит череп так, что из него придется вынимать кость, звук падения которой на щит будет слышен через дорогу, то нужно уплатить 6 солидов⁶. Или: если человеку отрубят ногу, возмещение составит 40 солидов. Если же он может выйти за пределы поселка и дойти до своего поля с помощью костыля, возмещение будет равно только 25 солидам⁷. Казуистика и наивный формализм варварского права достигают максимума в подобных постановлениях, полных натуралистических подробностей.

Но даже и тогда, когда в судебныхниках фиксировалась действительно более или менее обобщенная юридическая максима, она записывалась в специфической, сугубо конкретной, более того — предметно-наглядной форме, с изображением всех второстепенных (с нашей точки зрения!) деталей, вплоть до слов, выражений, жестов, которые должны были сопровождать и составлять соответствующую процедуру.

Ознакомление с многочисленными описаниями судебных и других процедур приводит к предположению, что составители Правд не различали между главным и второстепенным: мельчайшие действия, формулы и выражения фиксируются столь же — и еще более — детально, как и существенная сторона этих актов, то, ради чего они, казалось бы, и совершались. Подобные описания подчас сбивчивы, содержат повторения, но составителям Правд явно важно зафиксировать все эти детали, ничего не упустив. По-видимому, различие между второстепенным и основным проходило для них не там, где его склонны проводить мы. Это смешение может быть понято как свидетельство незрелости правосознания, юридической «примитивности» народного права. Но такая оценка недостаточна, так как она исходит из совершенно чуждых варварскому обществу критериев и ничего, по существу не объясняет⁸.

⁵ См.: *Грацианский Н.П.* Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1960, с. 73.

⁶ *Pactus legis Alamannorum*. I, §1,4, cp. § 5. Cp. *Ibid.*, 2, § 1. Cp.: *Lex Sal.*, 17, §5: «Если какой-либо свободный так ударит свободного, что выступит кровь и оросит землю...» *Lex Rib.*, 2; *Lex Baju.*, 4, § 15,27; 5, § 8. *Pactus legis Alam.*, II, § 7: «Если кто-либо избьет свободную женщину так, что кровь не появится, уплатит 2 солида». См. там же подробную таксацию ран (глаз, ухо, рука, нога и т.д.).

⁷ *Ibid.*, II, 25. Cp. *Ed. Roth.*, 47; *Lex Rib.*, 68,1; *LexFris.*, 22,71, 74. Такие же подробные таксации ран содержатся в англосаксонских судебныхниках (*AEthelberht*, 33—72; *Alfred*, 44—77) и в «Саксонской Правде» (XI—XIII).

⁸ Обычное право первобытных народов не отвечает тем требованиям, которые предъявляет к праву сознание цивилизованных народов. Но это «примитивное» право вполне удовлетворяло потребности

Очевидно, все подробности имели глубокое символическое значение и были необходимы для осуществления права.

Сплошь и рядом изложение правового обычая в судебныхниках неразличимо сходно с короткой новеллой: перед нами разыгрываются реально изображенные, живые эпизоды из правового быта варваров, весьма напоминающие соответствующие рассказы исландских саг на эти же темы. В одной из областных Правд Швеции («Вестманналаг») читаем: «Жил человек в деревне, имел там землю. И вынужден был человек продать ее и продал четверть деревни при законных свидетелях и в законной форме», и т.д.⁹. Или вот как рисуется в «Алеманнской Правде» тяжба между двумя семьями (родами, патронимиями — в источнике употреблен не совсем ясный термин «генеалогия»): «Если возникает тяжба между двумя «генеалогиями о границах их земель и кто-либо скажет: «Вот здесь наша граница», а кто-либо другой, находясь в другом месте, скажет: «А вот здесь наша граница», — тогда в присутствии графа того округа они должны водрузить знак там, где, по мнению тех и других, проходит их граница, и затем они должны обойти кругом спорное пограничное место. После того как они обойдут эту пограничную территорию, они должны вступить на ее середину и в присутствии графа взять из этой земли то, что алеманны называют «кусоч дерна», воткнуть в него древесные ветви, а затем тяжущиеся генеалогии должны поднять эту землю в присутствии графа и передать ее в его руки. Он завертывает дерн в ткань, ставит печать и передает в руки верного человека вплоть до установленного дня судебного заседания. [В суде] происходит судебный поединок между двумя [лицами]. Приступая к поединку, [борющиеся] должны положить эту землю посредине [между собой] и прикоснуться к ней своими мечами, которыми они будут сражаться, затем пусть призовут бога в свидетели того, что он дает победу правому, и пусть начнут поединок. Тот из них, кто одержит победу, пусть и владеет спорным, а проигравший пусть заплатит 12 солидов штрафа за то, что осмелился возражать против права собственности другой [стороны]»¹⁰.

Такая конкретность и наглядность изложения материала в Правдах может быть расценена как свидетельство нерасчлененности правовых максим и художественного жанра; но самая эта неотдифференцированность разных отраслей духовного творчества варваров, несомненно, отражает особенности их мышления, склонного к конкретному, а не к абстрактному, к чувственно-осязаемому, а не к обобщенно-типизирующему восприятию и воспроизведению действительности. Об этой черте «примитивного» сознания говорит также противоречивость, неустойчивость правовой терминологии народных Правд.

«Примитивное» («архаическое», «варварское») сознание ни в коей мере не примитивно, но оно существенно отличается от современного рационалистического сознания иным способом расчленения и организации действительности, способом,

создавшего его общества и соответствовало сознанию людей, им руководствовавшихся. Разные формы права имеют в основе своей различные формы правосознания и могут быть правильно поняты лишь при рассмотрении их в контексте той социальной системы, в которой они имели силу. Кроме того, эту «примитивность» варварского права вовсе нельзя принимать за простоту и несложность или неразвитость: оно как раз было очень сложно, разветвлено, обладало особой внутренней логикой, и отдельные части его были между собой согласованы.

⁹ Vastmannalagenn, I. BB. 1.

¹⁰ Leges Alaman., 81. А.И. Неусыхин («К вопросу об эволюции форм семьи и земельного аллода у алеманнов в V—IX вв.». В сб.: «Средние века», вып. VIII, 1956, с. 57; мы позаимствовали, несколько уточнив, перевод этого титула из указанной статьи) подчеркивает архаичность процедуры и связанных с нею символов, отражающих, по его мнению, сакральный характер древнего обычного права. В «Баварской Правде» (XVI, 17) дана та же процедура, но отдельные ее элементы выступают в ее описании в ослабленной форме. А.И. Неусыхин (там же) видит в ней «отголосок той седой старины, обычаи которой так подробно расписаны в гл. 81 Алеманнской правды».

вряд ли менее логичным и последовательным, чем наш, и — главное! — вполне соответствовавшим потребностям общества, выработавшего народное право.

Наконец, следует отметить своеобразный формализм варварского права, выражавшийся в крайней приверженности ко всякого рода актам, процедурам и формулам, отступление от которых было равносильно отказу от права, уничтожению самой юридической нормы. Эта черта, присущая не только одному древнегерманскому праву, опять-таки непосредственно связана с особенностями мышления варваров. Некоторые судебные процедуры и обычаи кажутся теперь нелепыми и смешными. В норвежских «Законах Фростатинга», устанавливающих порядок организации посреднического суда, сказано, что члены его, представляющие ту и другую стороны, должны усесться неподалеку одни от других, но если окажется, что они не смогут дотронуться до представителей противоположной стороны рукой, то пусть двигаются вперед в сидячем положении, а если кто-либо из них поднимется на ноги, то суд считается недействительным¹¹.

К Правдам невозможно подходить с критериями и категориями, применяемыми к памятникам феодального и тем более буржуазного общества, и предполагать у варваров столь же разработанные и расчлененные понятия «собственности», «права», «свободы» и т.п., какими пользуемся мы при изучении этих Правд. Можно пойти дальше и утверждать, что исследователь варварского права сталкивается с особым типом мышления.

Действительно, как мы видели, «казуистичность» Правд, «неумение» их составителей построить общую норму оказываются при более глубоком анализе выражением конкретно-образного мышления. Рассказывая на народной сходке об обычаях отцов и дедов, а затем и фиксируя это право, частично оформляя его в виде Правды, его знатоки и «законоговорители» неизбежно представляли себе в полной конкретной реальности деяния и проступки, подлежащие каре, и все обстоятельства сделок и процедур, которые совершались в определенных случаях жизни. Каждый казус, о котором говорит Правда, как бы «разыгрывался» перед умственным взором «сведущих людей», диктовавших право писцам, а равно и в воображении их слушателей — участников судебных сходок, маллюсов, тингов. Поэтому невозможно было записать обычную норму, которая устанавливала бы, например, наказание за кражу вообще: нужно было представить себе конкретные обстоятельства кражи, реальный объект ее и т.д. В «Салической Правде», одной из наиболее архаичных записей варварского права, нет единого и общего постановления о наказании за кражу имущества; зато во многих титулах со всеми подробностями разбираются случаи кражи свиней, рогатых животных, овец, коз, собак, птиц, пчел, рабов, лодок, дичи, изгороди и т.д. Различаются кражи, совершавшиеся свободными и рабами; предусматриваются случаи, когда крали одно или нескольких животных, учитывая при этом, оставались ли еще другие или нет, и т.п. Детализация шла дальше. Невозможно было, скажем, внести в судебник постановление о краже свиньи: сразу же возникала потребность отметить возраст и пол свиньи, знать, супоросая она или нет, выяснить, откуда ее увели: из стада или из хлева, одну или с поросятами. Точно так же нельзя было ограничиться указанием кары за покражу ястреба: отмечены особо случаи кражи ястреба, сидящего на дереве, ястреба, сидящего, и кражи ястреба из-под замка. В том же титуле VII упоминаются отдельно кражи петуха, курицы, журавля, домашнего лебедя, гуся, голубя, мелкой птицы, хотя во всех этих случаях штраф был один и тот же — 3 солида.

Вместо нормы, каравшей за словесное оскорбление, упоминали то ругательство, которое действительно было когда-то кем-то произнесено, и возмещение, за него уплаченное. В титуле XXX «Салической Правды» перечислены

¹¹ Frostathings-Lov, X, 15.

следующие оскорбления, караемые одинаковым штрафом в 3 солида: «Если кто назовет другого уродом», или «грязным», или «волком», или «зайцем»; такой же штраф полагался в случае ложного обвинения человека в том, что он бросил в сражении свой щит. Недоказанное обвинение в доносах или во лжи каралось уплатой 15 солидов. Если свободную женщину кто-либо («мужчина или женщина») назовет блудницей «и не докажет этого», уплатит 45 солидов. В лангобардском «Эдикте Ротари» (381) читаем: «Если человек назовет другого *arga* (трусом) во гневе и не сможет этого отрицать, но признает, что сказал это во гневе, он должен присягнуть и сказать, что на самом деле не знает за ним трусости, и потом пусть уплатит 12 солидов в возмещение за это оскорбительное слово. Но если он будет упорствовать, пусть докажет это, если может, в поединке или обязательно уплатит возмещение, как сказано выше»¹². По норвежскому праву «полным возмещением» требовалось искупить оскорбление, заключавшееся в том, что один мужчина сравнивал другого с животным женского пола, или в обвинении мужчины в том, что «его употребляли как женщину». Если же его сравнивали с волком или лошастью, требовалось уплатить половинное возмещение¹³. Перечень оскорблений, караемых штрафом, интересен, помимо прочего, еще и как свидетельство о понятиях чести, существовавших в варварском обществе.

Детальность постановлений о карах за членовредительство в *Правдах* подчас порождает предположение о бессистемности и внутренней несогласованности и противоречивости этих титулов. Кажущуюся противоречивость можно обнаружить и в других постановлениях¹⁴. Однако, с точки зрения варваров, здесь была своя логика, и предельная детализация постановлений не порождала и не отражала путаницы в их сознании. Проявляющаяся в них конкретность и предметная образность мышления в одинаковой степени была характерна как для тех, кто хранил в своей памяти постановления обычного права, так и для тех, кто следовал предписаниям судебныхников.

Соответственно, и исследователю *Правд* приходится проявлять неослабное внимание к каждому постановлению, любому обороту речи, пытаясь восстановить ту картину реальности, которая, очевидно, представлялась уму составителей судебногоника. Выявляя нормы обычного права, за которыми скрывалась социальная действительность, историк должен иметь в виду, что сплошь и рядом (в разных *Правдах* — по-разному) эти нормы не осознавались варварами в общей и тем более в абстрактной форме. Учитывая, что в любой *Правде* всегда зафиксирован лишь фрагмент обычного права, но не все оно целиком, приходится задумываться над тем, почему именно данные, а не какие-либо иные стороны социальной жизни требовали записи, с точки зрения составителей судебногоника. Короче говоря, изучение записей народного права предполагает проникновение в «дух» этого права, в самое сознание варваров, и способ, которым записаны *Правды*, делает такую попытку отчасти возможной. Важнейшим методом исследования является здесь скрупулезный анализ терминологии. Особенно продуктивным он обещает быть в применении к судебникам, записанным на родных для варваров языках. Таковы англосаксонские и скандинавские *Правды*, в отличие от записанных по-латыни судебныхников континентальных германцев: латынь скрадывала многие оттенки мысли и делала невозможным адекватное и непосредственное выражение понятий, присущих варварскому обществу.

¹² Die Gesetze der Langobarden. Hrsg. *Beyrle van F.* Weimar, 1947, S. 154.

¹³ *Frostathings-Lov*, X, 35.

¹⁴ Cp. *Lex Salica*, XXIX, 1—2 с Add., 1—5. См. также § 3—8 (о возмещениях за отрубленные пальцы). В *Lex Salica*, XXXVIII, 3, сказано, что за кражу жеребца со стадом в 12 кобыл полагается штраф в 63 солида, а в § 4 читаем: «Если же стадо будет меньшее, именно до 7 голов, включая и жеребца, присуждается к уплате 63 солидов», т.е. того же самого штрафа.

Об образности варварского мышления¹⁵ свидетельствуют также и поговорки, нередко встречающиеся в некоторых записях обычного права и служащие в них в качестве выражений общих норм.

Раскрытие знаковых систем «дофеодального» общества, воплощающихся в варварских Пrawdах, требует от историка самого пристального отношения ко всем содержащимся в них сведениям о процедурах, в которые отливала социальная жизнь варваров. И действительно, мы сталкиваемся в варварских Пrawdах с обилием всякого рода юридических и иных обрядов и формул. По существу, каждая сделка, всякий важный поступок в жизни, например, вызов в суд, передача или раздел имущества, вступление в брак, уплата возмещения, дача свидетельских показаний, очищение от обвинений, требовали особой, раз навсегда установленной и строжайше соблюдаемой процедуры, ибо малейшее ее нарушение или отклонение от нее делали недействительным весь акт. Сама по себе подробность описания в Пrawdах процедур — свидетельство большой важности, которую им придавали. Вспомним хотя бы описания в «Салической Пrawdе» бросания горсти земли человеком, не имеющим средств для уплаты вергельда¹⁶, или обряда отказа от родства при посредстве разбрасывания сломанных ветвей «мерою в локоть»¹⁷, или порядка уплаты *teirpus'a*¹⁸, отпуска на волю рабов и литов «через денарий»¹⁹, процедуры «аффатомии»; в последнем случае предусматривался целый комплекс символических актов: здесь и вчинение в судебном собрании трех исков тремя людьми (возможно, это были иски символического значения), и бросание в полу стебля, и приглашение в дом гостей, которых в присутствии свидетелей угощали овсянкой, и произнесение клятв, и наличие щита, вообще игравшего важную роль во многих процедурах²⁰. В норвежских судебныхниках со всеми деталями изображены порядок «введения в род» незаконнорожденного сына, передачи земельной собственности, вызова истцом ответчика в суд²¹ и т.п. Вот, например, описание устройства третейского суда в норвежских «Законах Гулатинга»: «Участники посреднического суда должны расположиться перед дверью защищающегося, но не позади его дома. Он (истец) должен посадить своих судей на таком расстоянии от дома, чтобы ответчик мог поместить своих судей между дверью и судьями другого человека (исца) и чтобы оставалось достаточно места для проезда повозки с дровами между судьями и дверью...»²². В ряде Пrawd приводятся формулы, которые нужно было произносить в публичных собраниях для очищения от обвинений и по другим поводам. Так, при введении в род незаконнорожденного сына отец произносил формулу: «Я ввожу этого человека в права на имущество, которое я ему даю, на деньги и подарки, на сидение и поселение, на возмещение и вергельд и во все личные права, как если бы его мать была куплена за мунд» (т. е. если бы он был законнорожденным)²³.

Во всех этих случаях (и во множестве других) составители судебныхников придают огромное значение всем мельчайшим деталям; предусмотрены движения, слова и поступки участников процедур, даже их местоположение относительно друг друга, — короче, в записях права с точностью подробного сценария расписаны все

¹⁵ Возможно, эта черта мышления варваров сродни, если не аналогична, отмеченному этнографами чувственно-эмоциональному типу мышления современных «примитивных» народов. Исследователи отмечают вместе с тем точность определений и необычайную подробность в описании аборигенами видов растений и живых существ.

¹⁶ «Lex Salica, LVIII.

¹⁷ Lex Salica, LX.

¹⁸ Lex Salica, LX.

¹⁹ Lex Salica, XXVI.

²⁰ Lex Salica, XL VI.

²¹ Gulathings-Lov, 58,292; Frostathings—Lov, IX, I.

²² Gulathings-Lov, 37

²³ Gulathings-Lov, 58

действия, необходимые для успешного осуществления каждого из актов, регулировавших различнейшие стороны общественной жизни варваров.

Как выше упоминалось, в записях народного права встречаются упоминания об обычаях, которые уже утратили силу, были заменены новыми постановлениями. Тем не менее память о старинных обычаях бережно сохраняется в Пrawdах: отмененный на практике обычай сохраняется в памяти. В этом отношении судебники варваров подобны их сказаниям и мифам, повествованиям о древних временах. В неотдифференцированности правового обычая от мифа и от религиозного ритуала состоит еще одна особенность варварских Правд, связанная со спецификой «примитивного» мышления. Но эта неотдифференцированность того, что для нас представляет право, литературу, религию, а для варваров составляло нерасчлененное единство, в свою очередь есть частный случай нерасчлененности мышления и разных сфер социальной деятельности. Производство, семейные отношения, религия, различные формы духовной культуры находились в первоначальном синтезе. Не этим ли нужно объяснять сакральный характер юридических процедур, формул, имущественных, семейных и иных сделок?

В своем беглом обзоре некоторых особенностей варварских Правд мы обращали внимание не на содержание их постановлений, проливающих свет на социально-правовые и экономические отношения в варварском обществе, а преимущественно на «формальные» моменты: «казуистичность» постановлений, крайнюю формализованность правоотношений, роль ритуалов и сакральных формул при осуществлении права, приверженность традиции, «старине». Все процедуры и обряды, формулы, клятвы, а также детализированные представления о преступлениях и пенях-возмещениях, сведения о которых дошли к нам подчас в виде бессистемных и несвязных фрагментов, в варварском обществе, несомненно, составляли единство, выполнявшее роль своеобразной устойчивой формы, наполнявшейся каждый раз конкретным социальным содержанием. Указанные специфические черты варварских Правд, обычно оставляемые без внимания при их исследовании, более, нежели что-либо другое, дают возможность проникнуть в систему мышления варваров. Не принимая в полной мере в расчет особенности их духовной структуры, мы лишаемся возможности познать с должной глубиной и социальную структуру варварского общества, ибо мышление — в его исторически конкретном своеобразии — составляет неотъемлемую и важную составную часть общественной структуры.

Вот этот стиль мышления варваров можно обнаружить (нередко под чуждыми ему построениями или позднейшими наслоениями) во всех записях обычного права. Он чрезвычайно устойчив и консервативен. Именно в указанном аспекте варварские Правды нас сейчас и интересуют. «Архаическое» сознание варваров нашло свое выражение не только в Пrawdах, — мы обнаружим его и в народной поэзии и литературе, и в орнаментальном искусстве раннего средневековья, и во многом другом. Следы этого стиля мышления нетрудно найти и в гораздо более позднее время. Однако судебники должны быть рассмотрены особо, ибо, как уже было отмечено, в них иначе, чем в памятниках литературы и искусства, выступает отношение субъективного и объективного моментов: второй явно преобладает над первым, что делает исследование записей обычного права особенно перспективным для знакомства с общественным сознанием «дофеодального» общества, следовательно, и для выявления отношения между индивидом и обществом, для характеристики формируемого этим обществом индивида.

Нужно рассмотреть несколько ближе и подробнее упомянутые сейчас особенности варварских Правд как исторических памятников. При этом можно констатировать некоторые общие положения.

Во-первых, варварское право насквозь символично. Его отправление сопровождается применением всякого рода символов. В качестве подобных символов

могут употребляться самые разнообразные предметы: щит, ветвь, разламываемая палка, выбиваемый из рук денарий, гривна, кусок дерна, горсть земли, столбы, поддерживающие хозяйское сидение в горнице, боевое оружие, обувь, напитки, пища, кровь, огонь, волосы и многое другое. Необходимо сразу же оговориться, что символ в народном праве — не отвлеченный знак или условность и не простая замена действительного предмета его подобием. Так, передача куска дерна владельцем в руки другого лица означала отчуждение земельного владения. Но дерн не был только знаком владения, это и было самое владение. Показательно, что у многих народов, в том числе у англосаксов и скандинавов, обычай передачи дерна сохранялся даже тогда, когда дарение или продажа земли оформлялись грамотой: последняя рассматривалась как свидетельство о совершении акта, но для реального отчуждения владения нужно было буквально передать его из рук в руки. Норвежский *skeyting* (шведский *skotning*, от *skaut* — «пола») представлял собой обряд бросания в полу земли, собранной «из четырех углов очага, и из-под почетного сидения [хозяина в доме] и с того места, где пахотная земля встречается с лугом и где лесистый холм соприкасается с выгоном. И пусть он (владелец земли) представит тингу свидетелей того, что прах был взят как положено, наряду с другими, которые удостоверят покупку земли. Затем, если показания этих свидетелей будут сочтены удовлетворительными, участники тинга должны передать ему землю посредством поднятия оружия (*varnatac*). В каждом случае, когда покупающий и продающий согласны в том, что прах был взят должным образом, сделка считается состоявшейся, а равно и *skeyting*²⁴». Дерн играл в сознании и, соответственно, в кругу символов варваров очень большую роль. У скандинавов был распространен языческий обряд очистительного испытания *jardarmerm*: от земли отделяли полоску дерна и поднимали ее так, чтобы концы были прикреплены к земле, а под полосой мог бы пройти человек, подвергавшийся испытанию; он считался очистившимся от обвинения, если дерн на него не обрушивался. Совместное прохождение под дерном и смешивание крови с землей делали людей побратимами.

Земля, дерн и некоторые другие подобные же символы представляли собой часть, идентифицировавшуюся с целым. Другие символы (ветвь и т.п.) были связаны ассоциациями с теми явлениями, которые они символизировали (например, имущество). В любом случае мы имеем здесь дело с особым, отличающимся от современного типом символизации и, следовательно, с иным типом мышления, нуждавшегося в наглядном, чувственно-осознаваемом воплощении абстрактных понятий и способного их заменять самыми разнообразными реалиями²⁵.

Можно высказать предположение: не была ли связана склонность варварского сознания идентифицировать часть с целым, заменять общее частным и наглядным, с положением личности в «дофеодальном» обществе а именно — с неотдифференцированностью ее от коллектива, более того, с поглощенностью ее родом, общиной, большой семьей; вследствие этого индивид не мыслил себя отдельно от группы, его личный статус растворялся в статусе группы, к которой он принадлежал (см. ниже).

Эта черта мышления варваров постоянно проявляется в записях обычного права. В высшей степени показательно, что германские термины (частью латинизированные), нередко встречающиеся в латинских текстах Правд, по большей части обозначают правовые символы и процедуры: включение их в судебники

²⁴ Gulathings-Lov, 292. Процедура *varnatac* делала утверждаемую при ее посредстве сделку нерушимой.

²⁵ С подобным символизмом сталкиваются постоянно и историки древности. Эту черту мышления варвары разделяют со всеми народами, стоящими на доклассовой или на раннеклассовой стадии общественного развития.

диктовалось, по-видимому, как сознанием невозможности адекватно их перевести, так и нуждой дать всем понятное их обозначение²⁶.

Нормы права обычно связаны с определенными процедурами и как бы воплощаются в них: с действием, жестами, формулой и т.п. Процедура имеет не меньшее значение, чем сама норма. Именно в этом смысле и можно говорить о крайнем формализме или о ритуальности варварского права. Нарушение предписанного ритуала, отход от раз навсегда установленного процедурного шаблона сводит на нет действенность правовой нормы. В абстрактном виде, вне этой процедуры такая правовая норма не мыслится в варварском обществе. Более того, мы испытываем побуждение сказать, что процедура играет даже большую роль, чем сама норма. В самом деле, можно представить себе случай, когда акт установленного ритуала, влекущего определенные правовые последствия, приводит к этим последствиям несмотря на их противозаконность и нарушение нормы, которую акт должен был «оформлять». Именно это наблюдается при анализе титула XXVI «Салической Правды» «О вольноотпущенниках». Речь идет об отпуске на волю чужого лита или раба: злоумышленник освободил «через денарий, в присутствии короля» не принадлежавшего ему зависимого человека. Акт явно незаконный, уличенный преступник карается уплатой большого штрафа и возмещения. Но тем не менее отпущенный им лит или раб не может быть возвращен в свое прежнее состояние, и вопрос о возврате его «законному господину» даже не возникает; возвращаются ему лишь вещи лита и взыскивается возмещение за причиненный ущерб. Очевидно, процедура отпуска, сопровождавшаяся всеми формальностями и произведенная к тому же перед лицом главы племени, не может быть отменена, и ее последствия для статуса отпущенного на волю лита (или раба) неупразднимы²⁷, хотя налицо — злостное нарушение права собственности господина на принадлежавшего ему несвободного. Норма нарушена, но восстановить ее в данном случае невозможно, — и не только потому, что в отпуске на волю участвовал сам король, но прежде всего потому, что ритуальное действие вообще необратимо! Все сделки, заключенные при соблюдении соответствующих норм, считались нерушимыми.

Однако утверждение о том, что процедура важнее нормы, вряд ли было бы точным: предполагается при этом, что норма и процедура представляли собой две различные категории. В действительности же скорее нужно мыслить себе дело так, что юридическая норма не существовала без соответствующего символического сакрального акта, они составляли единство, которое в только что приведенном случае было нарушено. В абстрактном виде, вне этой процедуры, такая правовая норма невозможна в варварском обществе, и несоблюдение процедуры при совершении действий, которые требовали ее применения, каралось²⁸. Норма и процедура настолько срослись (правильнее сказать: не были расчленены и дифференцированы) в сознании варваров, что в записях обычного права сплошь и рядом излагаются вообще не нормы права, а те поступки и ритуалы, в которых эти нормы реализуются. По-видимому, сакральным характером формальных актов, применявшихся варварами, объясняется то, что каралось не только их нарушение, но и применение их без надобности.

Второе. Процедуры, зафиксированные в Правдах, в отличие от материальных сделок, которые они «оформляют», вряд ли могут быть вполне удовлетворительно и правдоподобно объяснены. Разумеется, возможны всяческие попытки их толкования. Так, предполагают, что разламывание и разбрасывание ветвей при отказе от родства

²⁶ Многие из этих терминов не ясны, не всегда понятна и процедура, ими обозначаемая, или символ, с ними сопряженный.

²⁷ Из «Рипуарской Правды» (Lex Rib., LXII, 2) явствует, что отпущенный через денарий раб приобретал вергельд в 200 солидов.

²⁸ Lex Salica, XXXVII, LI, § 1.

было связано с представлением о том, что родственные отношения подобны побегам растения²⁹. Высказывалось мнение, что процедура бросания горсти земли символизировала передачу дома тем лицам, в кого неплатежеспособный преступник бросает прах, собранный в четырех углах его жилища, а прыгание его через изгородь означает отказ от всех прав на усадьбу³⁰. Но все эти толкования спорны и недоказуемы. Почему при получении согласия на брак с вдовой жених должен предлагать сородичам ее умершего мужа именно три равновесных солида и один денарий и почему эта процедура³¹, как и процедура передачи имущества, должна совершаться в судебном заседании лишь после того, как три человека предъявят три иска³²? Почему принятие на собрании решения, которое должно было обладать нерушимой силой, выражалось в потрясании всеми его участниками оружием³³? Почему при ряде процедур было необходимо наличие щита³⁴? Почему кредитор, обращающийся за помощью к графу для взыскания долга у человека, упорно отказывающегося его возратить, должен был держать в руках стебель³⁵? Почему передаваемое в другие руки имущество символизировалось опять-таки стеблем, причем владелец бросал его в полу посредника, а тот затем в свою очередь бросал этот стебель в полу наследника? Почему лицо, передававшее имущество, должно было пригласить к себе в дом троих или более гостей и угощать их овсянкой, после чего они считались законными свидетелями, и затем другие три свидетеля были обязаны на публичном собрании рассказать обо всем этом и о том, что гости после угощения «благодарили его за прием»³⁶? Можно без конца задавать подобные же вопросы и строить более или менее остроумные и правдоподобные догадки по этому поводу.

Предлагаемые современным человеком объяснения судебных процедур и обычаев, принятых у варваров, неизбежно носят рационалистический характер; самая потребность найти какое-либо их истолкование, основанное на здравом смысле, есть неотъемлемая потребность нашего ума. Но, по-видимому, именно в этом заключено препятствие на пути к такому объяснению все упомянутые и многие иные процедуры и обряды, в иупоминаемые в *Правдах*, не возникали на основе рационально-логических связей того типа, которые создает наше мышление. Они органически связаны с сознанием, которое иначе воспринимало и осваивало мир, нежели сознание человека Нового времени.

Более продуктивным нам представляется объяснение применявшихся варварами обрядов, которое пытается связать их с сакральными представлениями, приметами, заклинаниями. Такое истолкование процедуры бросания горсти земли в

²⁹ Lex Salica, LX. Однако идет ли здесь речь о ветвях или о палках, остается неясным. Д.Н. Егоров («Сборник законодательных памятников древнего западноевропейского права». Вып. I, Киев, 1906, прим. 641) видит в *fustes alninus* «ольховые прутья»; Н.П. Грацианский дает перевод «ветки мерою в локоть» («Салическая Правда». М., 1950, с. 56); К.А. Экхард — «ольховые палки» (*Pactus Legis Salicae*. Berlin — Frankfurt. II, 1.1955, S. 343). Ср. *Heusler A. Institutionen des deutschen Privatrechts*. Leipzig, 1885, I, S. 76, ff. По Ж. Балону, *fustus alnius* символизировал «верность роду». *Balon J. Jus Medii Aevi*. 3. *Traite de Droit Salique*. T.I. Namur, 1965, p. 557.

³⁰ Lex Salica, LVIII.

³¹ Lex Salica, XLIV.

³² Существует предположение, что эти три первоначальных процесса были фиктивными, т.е. носили чисто процедурный характер. *Waitz G. Das alte Recht der salischen Franken*, 1846, S. 145. Г. Брукнер предполагает сакральный характер этой процедуры. См.: *Brunner H. Deutsche Rechtsgeschichte*. I. Leipzig, 1887, S. 146.

³³ Обычай потрясания оружием — *varpnatas*, восходящий еще к тацитовским временам, играл столь большую роль в скандинавских судебных порядках, что в заселенных норманнами областях Англии административные округа получили название *waepentakes*.

³⁴ Существует предположение, что щит был символом «властной судебной защиты». См. прим. 451 к изданию Д.Н. Егорова Lex Salica.

³⁵ Lex Salica, L. § 3.

³⁶ Lex Salica, XLVI.

«Салической Правде» дает Э. Гольдман. Опираясь на многочисленные параллели из истории права и быта варварских народов, он обнаруживает внутреннюю связь между отдельными элементами процедуры *ghrenecruda*: собиранием праха в четырех углах дома, бросанием горсти земли левой рукой через плечо с порога, принесением сакральной клятвы, повторением обряда сородичами, прыганием через плетень, использованием кола, лишением неплатежеспособного убийцы права на защиту своей личности³⁷. При таком подходе процедура *ghrenecruda* включается в широкий комплекс символических обрядов и языческих представлений, действительно присущих варварам.

Но дело даже не в том, что для нас правовые ритуалы германцев остаются неясными или вовсе необъяснимыми и приходится довольствоваться ссылками на традицию. Нет никакой уверенности в том, что и для самих участников этих актов в них было все вполне понятно и они могли бы раскрыть значение каждого из символов или символических действий. Напротив, возникает предположение, что в таком объяснении они вовсе не нуждались, более того, что такое рациональное объяснение на самом деле ничего бы им не объяснило. Эффективность нормативных ритуалов не была связана с их понятностью. Принципиально важным было то, что ритуал восходил к незапамятным временам, что им пользовались предки, что он не подлежал никаким переменам. Строжайшее следование всем детальным предписаниям было совершенно обязательным. Малейшее уклонение от стандарта было чревато неудачей, провалом всего акта³⁸. На этом представлении строилось, в частности, принесение присяги. При разбирательстве судебных дел соприсяжники и поручители должны были рассказать о всех процедурах, которые предшествовали началу процесса (о вызове на суд, об оповещении, об иске в присутствии определенного числа лиц перед домом ответчика и т.п.), и только после этого можно было перейти к следующим актам. Правосудие (правый суд) значило «правильный суд», а таковым считалась лишь та судебная тяжба, которую вели при строжайшем соблюдении всех процедур; в противном случае решение суда не приобрело бы силы.

Позволительно высказать сомнение в том, что цель судебного разбирательства заключалась лишь в установлении истины, т.е. в выяснении подлинных обстоятельств дела и вынесении соответствующего приговора. Функции соприсяжников, по-видимому, состояли прежде всего в оказании поддержки истцу или ответчику, причем эта поддержка обуславливалась не знанием истины и стремлением ее продемонстрировать в судебном собрании, а связями между соприсяжниками и человеком, который их привлекал к участию в тяжбе на своей стороне. Соприсяжниками являлись родственники, друзья или соседи, иными словами, люди, которые, конечно, могли быть осведомлены в обстоятельствах дела, но — главное — люди, связанные с этим человеком и, несомненно, заинтересованные в благоприятном для него исходе тяжбы. Соприсяжники не являлись непременно «свидетелями факта», они были «свидетелями доброй славы» того лица, на чьей стороне выступали в суде³⁹. Не знание истины, а верность ближнему заставляла этих людей давать показания и приносить клятвы. Целью процесса не было выяснение и доказательство фактов, они казались самоочевидными либо их очевидность проистекала из присяг, очистительных формул, ордалий. Здесь нет суда как инстанции, призванной устанавливать истину, но имеется процесс —

³⁷ См.: *Goldmann E. Ghrenecruda. Studien zum Titel 58 der Lex Salica. «Deutschrechtliche Beiträge»*. Hrsg von K. Beyerle. Bd. XIII, Heft I. Heidelberg, 1931.

³⁸ Р. Зом отмечает, что истец проигрывал процесс, если не употреблял требуемых правом выражений и не применял должным образом «судебного языка». Зом прямо связывает Малбергскую глоссу «Салической Правды» с формализмом древнегерманского судебного процесса. См.: *Sohm R. Die Frankische Reichs- und Gerichtsverfassung*. Leipzig, 1911, S. 568—569.

³⁹ См.: *Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права*. СПб., 1910, с. 594.

совокупность церемоний, совершаемых сторонами. В самом деле, функция суда у варваров состояла прежде всего в организации состязания между тяжущимися и в надзоре за тем, чтобы стороны строго и неуклонно соблюдали все «правила игры». Ведь и выполнение приговора возлагалось не на суд, а на самого истца. Мысль И. Хейзинги относительно того, что у древних народов судебная тяжба в значительной мере представляла соревнование в буквальном смысле слова, дававшее участникам его удовлетворение само по себе, независимо от его исхода, не лишена известных оснований⁴⁰. Любопытно, что у англосаксов члены судебного жюри (12 тэнов), при вынесении приговора оказавшиеся в меньшинстве, должны были уплачивать возмещение тем судьям, которые принадлежали к большинству⁴¹.

Своеобразное отношение варваров к истине лучше всего, пожалуй, обнаруживается в постановлении исландского альтинга, которым было введено христианство в Исландии (1000 г.). До этого на острове были как язычники, так и христиане, что грозило раздорами и междоусобицами; норвежский король настаивал на том, чтобы исландцы приняли христианство в качестве единственной религии, и уступка ему в этом вопросе должна была урегулировать отношения между Исландией и Норвегией. Решение альтинга гласило: все должны принять христианскую веру и посещать церкви; публичное принесение жертв языческим богам воспрещалось. Однако к жертвоприношениям в частных домах относились терпимо, если их совершали втайне; лишь в случае их раскрытия грозил штраф. Требовалось соблюдение декорума и подчинение правилам общепринятого религиозного поведения; является ли данный человек христианином по своим убеждениям и личным поступкам, о которых публично ничего не было известно, никого не касалось. Главное — соблюдение формы.

Таким образом, формализм и ритуальность варварского права были сопряжены с принудительностью следования всем нормам и предписаниям, отклонение от них было невозможно, оно было бы равносильно отказу от самих правовых норм, воплощавшихся в этих символических актах.

Третье. В той или иной мере нормативные предписания варварского правового обычая распространялись на все стороны жизни членов «дофеодального» общества. Самые различные жизненные отправления могли стать и действительно становились объектом правовой регламентации. Какой бы поступок не нужно было совершить варвару, было заранее известно, как подобает поступить, что сделать, какие слова произнести. В судебныхниках поэтому имеются в виду не одни лишь правонарушения. Варварскими Правдами регламентируются и раздел владения между наследниками, и распределение частей вергельда, полученного за убитого сородича, и порядок освобождения рабов, и формы, в которых производилось отчуждение имущества, и обычаи, связанные с заключением и расторжением брака. Но не в этом заключается особенность варварского права, а в способе регламентации народными судебниками самых различных жизненных отправлений: в них каждый раз дается (либо предполагается) не одна только общая норма или вообще не она, а практическая форма ее реализации — соответствующий акт. Так, например, в норвежских судебныхниках усыновление незаконнорожденного изображается в виде торжественной процедуры «введения в род»: отец должен устроить пир и зарезать трехгодовалого быка, содрать шкуру с правой передней ноги его, изготовить из нее ботинок, который он должен поставить подле большого пивного котла. Затем члены его семьи в определенной последовательности надевают ботинок, а также внебрачный сын, которого вводят в род. После этой процедуры отец произносит

⁴⁰ См.: *Huizinga J. Homo Ludens. A Study of the Play Element in Culture.* London, 1949, p. 78, ff.

⁴¹ III AEthelred, 13,2: «И тот приговор пусть имеет силу, который тэны единодушно постановили; а если они спорят между собой, то пусть имеет силу тот приговор, за который высказалось восемь из них, а те, которых одолели, уплатят им каждый по 6 полумарок».

формулу, согласно которой вводимый в род приобретает все личные и имущественные права, какими пользовались другие дети его отца; формула эта состоит из аллитерированных ритмических фраз и имеет, несомненно, сакральный характер. Во время процедуры «вводимый в род» (aettleidingr) держал на коленях малолетних детей своего отца от законного брака⁴².

Можно отметить одну черту, общую всем этим ритуальным процедурам, — их публичный характер. Бросание горсти земли производится в присутствии соприсяжников и сородичей, как ближайших, так и более дальних. Отказ от родства или уплата *geirus'a* совершаются в публичном собрании, перед лицом тунгина или центенария. Вызов на суд производится в присутствии свидетелей, с которыми истец приходит к дому ответчика. Присяга в суде — за редкими исключениями — произносилась с участием соприсяжников; «полной присягой» считалась присяга, приносимая 12 человеками, но бывали случаи, когда требовалось принести очистительную клятву вместе с несколькими десятками соприсяжников (до 72). Другие правовые акты также совершаются в публичных местах, при стечении народа или при непосредственном участии членов собрания, группы свидетелей, соприсяжников и т.п. Поэтому в «Законах Гулатинга» сказано: «Передача собственности, произведенная в церкви, в харчевне или на корабле с полным экипажем и настолько длинным, что его называют по числу скамей гребцов, имеет такую же силу, как если бы ее совершили на тинге»⁴³. Общее между тингом, церковью, харчевней и кораблем — лишь то, что везде сделка была публичной. Символический акт — всегда общественный акт, коллективное действие, происходящее на глазах у общества. Несомненно, что публичность была неотъемлемой составной частью правового акта, без нее он был немыслим, она придавала ему силу.

В бесписьменном обществе, каким оставалось варварское общество даже и в период записи Правд (не случайно большинство судебных актов было записано полатыни), соблюдение норм и сделок могло быть гарантировано только в том случае, если они выливались в символические процедуры, в публичные действия, производившие глубокое впечатление на всех их участников и откладывавшиеся в их памяти. Церемония выполняла здесь ту функцию, которую в более цивилизованном обществе выполняет документ. Но если функция была подобна, то роль, которую играла церемония в жизни варваров, была совершенно особой. В групповом характере акта, производившегося в торжественной обстановке, в особом (подчас священном) месте, наглядно выражалась принадлежность индивида к обществу.

Вряд ли можно сомневаться в том, что значение публичной процедуры заключалось не только в оформлении соответствующего правового акта (сделки, брака, судебной тяжбы, раздела имущества и т.д.), — ее совершение оказывало сильнейшее психологическое воздействие на ее участников. При посредстве торжественных символических актов утверждалось единство коллектива, зримо и наглядно (т. е. именно в форме, наиболее отвечающей сознанию и эмоциональным потребностям варваров) разыгрывалась своего рода ритуальная драма, воспитывавшая и усиливавшая в каждом из ее «актеров» чувство принадлежности к социальному целому.

Выше уже высказывалась мысль, что смысл процедуры не был понятен ее участникам и что они не нуждались в понимании его; главное заключалось в следовании старинной традиции. Но традиция в сознании варваров почти неизбежно принимала сакральный характер. Связь судебных и других правовых актов с языческой религией в ряде случаев отчетливо видна (несмотря на то что записи варварских судебных актов были произведены уже после принятия христианства).

⁴² Gulathings-Lov, 58; Frostathings—Lov, IX, 1.

⁴³ Gulathings-Lov, 292.

Священный характер места судебной сходки (у скандинавов место судебного собрания находилось по языческим верованиям, под особой охраной богов, и это представление сохранилось и в христианскую эпоху; правонарушения, совершавшиеся в том месте, где созывался тинг, расценивались как святотатство и карались особенно сурово), принесение присяг и клятв магического содержания, серия обрядов, в которых право и миф сливались воедино, выполнение судебных функций жрецами (годи в Исландии) — тому подтверждение. Магический характер древних правовых норм частично получил санкцию новой религии: таковы ордалии («Божий суд»); вместо клятв на оружии в судебныхниках упоминаются присяги, приносимые с возложением рук на Библию; договоры заключаются в церкви; при созыве тинга звонят в церковный колокол; наряду с традиционными правовыми санкциями в судебники включаются церковное покаяние и штрафы в пользу духовенства и т.д. Некоторые языческие процедуры были отменены, другие сохранились; таков, например, древний шведский обычай раздела владения при помощи бросания молота (*hammarskipt*), который связывают с ритуальной ролью молота как орудия бога Тора⁴⁴. Обычай норвежских бондов ежегодно устраивать пиры, необходимые для обеспечения мира, урожая и благополучия в стране, сохранился и в христианскую эпоху. Каждый домохозяин был обязан приготовить для такого пира определенное количество пива, уклонение от участия в пире каралось как антиобщественный проступок⁴⁵. Принадлежность к коллективу и верность его основополагающим принципам и традициям требовали регулярных наглядно ощутимых доказательств, и участие в судебных сходках, пирах, общих работах, религиозных празднествах было важнейшей частью этого социально-психологического механизма.

Следующая «умиротворительная присяга», применявшаяся исландцами, позволит ближе познакомиться с мышлением варваров, сливавшим воедино право и религию: «Была вражда между Н. Н. и Н. Н., но теперь она Улажена и возмещена деньгами так, как оценили оценщики и уплатили те, кто должен был платить, и тинг присудил и получатели получили все сполна в собственные руки, как и должно. Вы оба должны примириться и договориться за питьем и едой, на тинге и в собрании народа, в церкви и в доме конунга и везде, где только происходят сборища, и тогда вы должны быть так умиротворены, как если бы никогда ничего между вами не происходило. Вы должны обменяться ножами и кусками мяса и всеми вещами, как сородичи, но не как враги». Если же в будущем между ними возникнет ссора: «Это нужно возмещать деньгами, а не кровавить копье. Но тот из вас, кто нарушит заключенный мир и совершит убийство несмотря на принесенные обеты, тот пусть будет волком, гонимым и преследуемым везде, где люди охотятся на волков, христиане посещают церкви, язычники приносят жертвы в капищах, горит огонь, земля плодоносит, младенец зовет мать и мать кормит младенца, дети человеческие зажигают огонь, плывут корабли, блестят щиты, сияет солнце, падает снег, лаппы бегают на лыжах, растут сосны, сокол летит весь день, и попутный ветер у него под обоими крыльями, небо закругляется, мир заселен, ветер свистит, вода стремится к морю, люди сеют зерно. Он должен сторониться церковей и христиан, домов бога и людей, любого жилища, кроме ада. Теперь возьмитесь за Библию, положите на Библию деньги, которыми Н. Н. платит возмещение за себя и за своих наследников, рожденных и нерожденных, зачатых и незачатых, получивших имя и не получивших. Н. Н. пусть примет присягу, а Н. Н. пусть дает вечную клятву которая будет прочной, пока земля стоит и люди живут. Теперь Н. Н. и Н. Н. примирились и единомысленны,

⁴⁴ См.: G. Hafstrom. *Hammarskipt*. «Skrifter utgivna av Institute! for landshistorisk forskning». Ser.II, I.Lund, 1951, s. 126, ff.; *Piekarczyk S.* *Ospoleczenstwieireligii wSkan-dynawii VIII-XI w.* Warszawa, 1963, s. 131.

⁴⁵ *Gulathings-Lov*, 6. См. выше, гл. I, § 2.

где бы они ни встретились — на земле или на воде, на корабле или на лыжах, на море или верхом на лошади, за рулем или ковшом, на гребной скамье или на палубе, где придется; такие же примиренные во всем в обращении, как отец с сыном или сын с отцом. Теперь сложите вместе свои руки, Н. Н. и Н. Н.: соблюдайте клятвы по воле Христовой и всех людей, которые ныне слушают эту примирительную клятву! Да будет милость Божья тому, кто соблюдает клятву, но гнев его над тем, кто нарушает верную клятву!.. Добро вам, примирившиеся! А мы ваши свидетели, кто присутствует!»⁴⁶

Ряд выражений в тексте присяги: упоминание конунга, которого не знала Исландия, лаппов-саамов, живших на границах Норвегии, сосен (в Исландии почти не было лесов), то, что занятием людей, наряду с мореходством, считается земледелие, но не упомянуто скотоводство, — свидетельствует о том, что формула эта возникла в Норвегии, откуда попала в Исландию, по-видимому, еще в языческое время. На языческое происхождение клятвы, помимо некоторых конкретных явлений (достижение примирения «за питьем и едой»; обмен ножами и мясом; представление об изгнаннике, поставленном вне закона, как о волке; упоминание язычников и их храмов), указывает, как нам кажется, самая ее структура — аллитерированная ритмическая форма, характерная для древней скандинавской литературы. Христианские реалии (церковь, Христос, Божьи гнев и благословение ит.п.) — это скорее добавления. В этих закланиях отчетливо проступает представление о магической функции слова. Публичный характер клятвы совершенно очевиден; с ее гласностью и публичностью связана ее сила. Нарушитель ее становится врагом людей и исторгается из самого космоса, он более не человек и обречен на гибель.

Указанные сейчас черты, присущие нормам варварского права, — публичность и всеобъемлющий их характер — заслуживают особого внимания. Общество диктовало каждому своему члену определенную норму поведения. Общеобязательность соблюдения обычного права скреплялась еще и тем, что ответственность за неповиновение ему возлагалась сплошь и рядом не на индивида или не только на него одного. Древнее право имело дело, собственно, не с отдельной личностью, но с группой, к которой это лицо принадлежало: с родом, семьей либо с главой такой группы. В *Правдах* отчасти еще находит отражение принцип групповой ответственности за преступления, совершенные одним человеком. Он ясно выступает в случаях уплаты-получения вергельда, компенсации, шедшей от рода к роду. Наблюдающееся в *Правдах* перемещение тяжести уплаты виры с группы на отдельное лицо было результатом распада рода. Тем не менее принцип ответственности группы за своего члена не был изжит, и если обязанность платить вергельд ложилась на убийцу, то после исчерпания им всех собственных средств она перекладывалась на его сородичей. Кроме того, значительная часть свободного населения (не говоря уже о несвободных, а отчасти и о полусвободных) не несла полной ответственности за свое поведение перед обществом. В Скандинавии таких людей называли *umagar*: к этой категории относили несовершеннолетних, престарелых, больных, бедных, т.е. всех, кто не мог отвечать за себя самостоятельно и состоял под чьим-либо покровительством или нуждался в нем. Строго говоря, только взрослый мужчина, хозяин дома, глава семьи, был полноправным лицом. Он нес ответственность как за себя, так и за всех своих домочадцев и подопечных. Но и такой человек подчас нуждался в помощи, защите и содействии сородичей.

Человек «дофеодального» общества — человек группы, органического коллектива, в котором он родился и к которому принадлежал на протяжении всей жизни, и лишь будучи членом этого коллектива, он мог пользоваться правоспособностью. Более того, только в качестве члена группы он был человеком.

⁴⁶ *Islandisches Recht. Die Graugans*. Weimar, 1937, S, 191—192. См.: *Стеблин-Каменский М.И.* Культура Исландии. Л., 1967, с. 64.

Глубокий смысл имело убеждение германцев, что человек, нарушивший мир и примирительные клятвы и поставленный вне закона, переставал быть человеческим существом, становился волком, оборотнем.

Система обычного права, опиравшаяся на детально разработанный формализм и всеобъемлющую ритуализацию его норм, представляла своего рода механизм «включения» индивида в общество. Субъектом социальной деятельности здесь перед нами выступает скорее не индивид, а группа, к которой принадлежит индивид, выполняющий предписанные ему традицией функции, следующий категорическим императивам поведения.

§ 2. Человек и социальная группа в варварском обществе

Отмечая господство конформизма в варварском обществе, мы вместе с тем должны подчеркнуть, что ни на какой, даже самой примитивной ступени своего существования человек не был просто «головой в стаде» и не обладал «стадным сознанием». Как бы сильно ни был он интегрирован в коллектив, всецелого порабощения традицией и полнейшего его бессилия перед ней никогда не могло быть. Правильнее было бы предположить, что в «примитивном» обществе складывалось своеобразное — и подчас легко нарушавшееся — равновесие между общим, нормативным, обязательным для всех способом поведения и индивидуальным поведением, проявлением личной воли, нередко характеризовавшимся известными отклонениями от нормы. Первое — норма поведения — имело силу этического императива, второе — поведение индивида — было эмпирической реальностью¹. Несомненно, член варварского общества, как правило, следовал традиции, не размышляя, автоматически подчинялся освященному временем порядку. Для проявления личной инициативы в обществе с неразвитыми социальными отношениями оставалось немного места. Но личность все же имела определенные возможности обнаруживать себя. Вспомним хотя бы слова Тацита о том, что древние германцы выбирали вождей «по доблести» (в отличие от «королей», для которых была обязательна знатность происхождения), по-видимому, за выдающиеся личные качества (разумеется, воинские отличия в первую голову)².

А. Допш приводит эти слова Тацита как один из аргументов в пользу существования развитой индивидуальности у германцев. Справедливо протестуя против идущей от Я. Буркхардта теории об отсутствии индивидуальности у человека средних веков, Допш, однако, совершенно стирает грани, отделяющие людей этой эпохи от людей Нового времени, — вполне в соответствии со своей концепцией «вотчинного капитализма» в период раннего средневековья. Он пишет о «капиталистическом духе» во Франкском государстве и утверждает, что многие из тех связей, которые ограничивали человека в средние века, возникли лишь после эпохи Каролингов³. Допш предполагает, по-видимому, лишь альтернативу: либо полнейший, отрицающий всякую личность конформизм, либо безграничный индивидуализм буржуазного толка. Но подобная постановка вопроса антиисторична. Необходимо выявить реальную меру подчинения индивида коллективу и те возможности проявления им инициативы, которые при этом ему предоставлялись.

В *Правдах* мы наблюдаем индивида преимущественно в образе преступника, нарушителя нормы. Поэтому совершенно естественно, что в обществе вырабатывался механизм подавления подобных нарушений. Любое уклонение от нормы было равнозначно преступлению и каралось. В судебных книгах не раз как бы подчеркивается злой умысел, своеволие лиц, виновных в проступках. Очевидно, составители судебных книг не надеются на скорое и безболезненное умиротворение своевольных индивидов. Переселенец в чужую виллу, не получивший согласия на свое проживание в ней у всех местных обитателей, не покидает ее несмотря на трехкратное предупреждение и не хочет «слушаться закона», и лишь граф силой выдворяет его с того места, где он разместился⁴. Человек, взявший на себя обязательство, не желает вернуть долг и подвергается насильственной конфискации имущества; этот титул «Салической Правды» не предполагает тяжелого

¹ См.: *Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society*. Paterson, New Jersey, 1959 (Lond. 1926).

² *Тацит*. Германия, гл. 7.

³ См.: A. Dopsch. *Wirtschaftsgeist und Individualismus im Fruhmittelalter*. В кн.: *Dopsch A. Beitrage zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Aufsätze. Zweite Reihe*. S. 182, 184, 185.

⁴ *Lex Salica*, XL V.

материального положения или несостоятельности должника (как, например, в титуле «О горсти земли»), он говорит именно о нежелании должника выполнить обязательство⁵. В «Законах Гулатинга» подробно изображена тяжба из-за земельного владения, вызванная упорным нежеланием человека, держащего его в своих руках, вернуть землю законному ее собственнику. В одном случае даже предполагается, что захватчик не ищет никаких законных отговорок или юридических уверток (как это было обычно); он прямо заявляет: «Пока я жив, ты эту землю у меня не отнимешь!»⁶. Своеволие лиц, склонных к нарушению закона и обычных норм, предполагается в судебныхниках очень часто. Особый интерес представляют строжайшие запрещения браков между свободными и зависимыми (литами, рабами), подтверждающие наличие подобной практики⁷. Их трудно было бы объяснить хозяйственным и правовым упадком свободных, решившихся на такой мезальянс: в неравные браки скорее могло выливаться сопротивление обычаю, сковывавшему индивида в проявлении его личных склонностей и чувств. Первой формой обнаружения индивида оказывается его преступное своеволие — преступное с точки зрения общества.

Исследователи отмечали явную несообразность штрафов и возмещений, зафиксированных народными Правдами: за малейший проступок полагается суровое наказание, высокое материальное взыскание. Это противоречие — не кажущееся, ибо сравнение варварского права с правом феодального общества обнаруживает разницу: в период феодализма таких высоких, явно разорительных штрафов не взымали⁸. Поэтому возникает потребность как-то объяснить это несоответствие размеров штрафа и платежеспособности преступника в народных судебныхниках. По мнению Н.П. Грацианского, необычайная суровость наказаний, устанавливаемых Правдами, была выражением стремления имущих слоев феодализировавшегося общества защитить свою собственность от посягательств бедняков. Следовало бы, на наш взгляд, учесть то, что приверженность к старине вела к сохранению в раннее средневековье традиционных норм права, в том числе и системы наказаний, сложившейся еще в доклассовом обществе, где они падали на род, а не на индивида. Возможно, однако, что штрафы росли и вводились новые возмещения, ранее не существовавшие. Но нельзя всякий раз объяснять эти явления причинами, на которые ссылается Н.П. Грацианский⁹. Все-таки нужно помнить, что варварское право — это не классовое законодательство, оно до конца (т. е. до тех пор, пока производились записи обычного права) сохраняло в той или иной степени общенародный (общеплеменной) характер. Можно привести постановления Правд, которые легче было бы истолковать как выражение стремления защитить слабых и бедных от притеснений со стороны могущественных людей¹⁰. Но это не основание видеть в судебныхниках фиксацию воли одних лишь рядовых членов общества в ущерб знати. В крайней суровости и разорительности штрафов и возмещений, характерных для всех записей народного права, по-видимому, можно усмотреть тенденцию подавить своеволие, от

⁵ Lex Salica, L.

⁶ Gulathing-Lov, 265.

⁷ Lex Salica, XIII, § 7, 8,9, XXV, § 3,4, 5,6; Capit. I, tit. V; Lex Rib., LVIII, § 14-16, 18; Lex Burgund., XXXV, § 2, 3,

⁸ См.: гл. III, §1.

⁹ См.: *Грацианский Н.П.* Из социально-экономической истории..., с. 286, сл.

¹⁰ Таковы например, предписания, каравшие графов за творимые ими злоупотребления (Lex Salica, LI, § 2), или установление повышенных штрафов за похищение у хозяина всего скота, а не части его. Lex Salica, II, § 7,14-16, III, § 6,7; XXXVIII, § 3, 4. См.: *Неусыхин А.И.* Возникновение зависимого крестьянства..., с. 15, сл. В Правдах подчеркивается неприкосновенность жилища свободного человека. Нападение на норвежского бонда в его доме, совершенное ярлом, лендрманом и даже конунгом, наталкивалось на вооруженный отпор населения, и это сопротивление считалось законным. Frostathing-Lov, IV, 50—52. Cp. Ine, 6.

кого бы оно ни исходило, восстановить нарушенное равновесие между обществом и личностью, заявляющей о себе преступлениями и неуважением старинного права.

Речь идет не о целенаправленной политике законодателя, а о действии механизма «социального контроля», существующего в той или иной форме в любом обществе; этот механизм складывается у варваров скорее стихийно, чем сознательно, как ответ на преступные действия своевольных лиц.

Одним из критериев классификации преступлений, который отчетливо прослеживается во всем древнегерманском праве, было соответствие или несоответствие поведения индивида понятиям чести. Сами по себе убийство, членовредительство и некоторые иные проступки не считались несовместимыми с нравственными нормами. В обществе, где не существовало публичной защиты жизни и интересов человека и где господствовал принцип самозащиты рода, семьи и отдельного лица, указанные деяния были неизбежны; они рассматривались как преступления, карались вирами, возмещениями, штрафами, но не осуждались как бесчестившие тех, кто их совершил. Было, однако, необходимо, чтобы убийство или ранение не оставались тайными, чтобы они не были совершены таким образом, что попиралось личное достоинство лица, подвергшегося нападению, чтобы нападение не происходило в форме, противоречившей представлениям о личном мужестве и чести. Иначе говоря, преступления также должны были совершаться (если уж нельзя было их избежать, а подчас это было невозможно, опять-таки в силу общепринятого понятия чести рода, семьи и их членов, и тогда бесчестным считалось поведение лица, не прибегавшего к мести) согласно твердо установленным правилам. Наказание, следовательно, зависело не только от размеров нанесенного ущерба, но и от поведения преступника.

В древнегерманском праве существенную роль играло понятие публичности проступка. Законное убийство было деянием, совершенным при свидетелях, при свете дня, требовало проявления личного мужества, не сопровождалось бесчестными актами. Злостное убийство — это убийство из-за угла, ночью или нападение на безоружного, слабого, убийство многими одного, с надругательством над трупом, преступление, при совершении которого виновный обнаружил трусость. Кроме того, существовало понятие «равной мести»: нельзя было мстить обидчику неумеренно, несообразно размерам причиненного ущерба. Нарушитель этих стандартов преступал моральные нормы, лишался чести и подвергался моральному осуждению, равно как и суровому наказанию. Такого человека называли «подлым негодяем» (*nidingr*), его объявляли «вне закона», лишенным «мира», изгоняли из общества, всякий мог и должен был его убить, он более не считался человеческим существом (выше уже упоминались «оборотни»). Так появлялись преступные «индивидуалисты», люди, порвавшие все социальные связи и поставленные перед необходимостью жить, полагаясь исключительно лишь на свои собственные силы. То, что разрыв отношений с подобным злостным преступником считался в варварском обществе самым страшным наказанием, само по себе символично: человек без сородичей и друзей, не пользующийся никакой поддержкой, уже не человек, он мертв. Но, с другой стороны, в варварском обществе появлялись люди, в силу определенных обстоятельств принужденные порывать все привычные и необходимые для социальной жизни связи, идти на полный разрыв со своей средой и тем самым заявлять о своем своеволии.

Богатый материал по этим вопросам дают исландские родовые саги. Они рисуют стандарты поведения членов варварского общества. Вместе с тем в них можно проследить рост несоответствия реальной жизни традиционным моральным нормам и обычному праву и вызванную этим конфликтом «переоценку ценностей». Вряд ли случайным совпадением явилось то, что первопоселенцем в Исландии был Ингольф Арнарсон, бежавший из Норвегии вследствие объявления его вне закона,

что первооткрыватель Гренландии Эйрик Рыжий был убийцей, вынужденным покинуть Исландию. Наиболее предприимчивые и инициативные индивиды в то же время оказывались и нарушителями общепринятых норм.

Народные Правды возникают в тот период развития «традиционного» общества германцев, когда оно переживало состояние дезинтеграции, переставало существовать на новой основе и когда разрушались органические коллективы, посредством которых в него «включался» каждый индивид. Окончательное разрушение рода, распад большой семьи, перестройка общины из земледельческой в соседскую, переход от племенного устройства к территориальному — все это показатели далеко зашедшего процесса ослабления тех ячеек, которыми прежде поглощался отдельный человек. Следовательно, не могла не измениться мера обособления индивида в группе. Нужно попытаться как-то установить эту меру и уточнить, в каком именно смысле можно говорить о выделении индивида в рамках целого.

Прежде всего на ум приходит титул «Салической Правды» «О желающем отказаться от родства» — симптом указанного процесса. Вряд ли здесь имеется в виду разрыв индивида со всеми и всякими родственниками: скорее нужно предположить выделение индивидуальной семьи из большой семьи, обусловленное какими-то материальными причинами (например, нежеланием богатого человека поддерживать бессмысленную для него и обременительную связь с бедными родственниками), а может быть, и распрей. Но и разрыв традиционных связей производился в традиционной ритуальной форме (разламывание над головой ольховых палок мерою в локоть и разбрасывание их в четыре стороны), причем опять-таки в публичном собрании и в присутствии тунгина. Отрицание традиции было вместе с тем в определенном смысле и ее подтверждением¹¹.

Обилие в Пrawdах многочисленных предписаний, устанавливавших кары за различные преступления: членовредительство, убийство, кражу, поджог, грабеж, насилие, похищение свободных людей, потраву, оскорбление и многое другое, не может удивлять, — перед нами судебники, которыми пользовались при разборе дел о правонарушениях, и естественно, что именно эта сторона жизни «дофеодального» общества наиболее полно в них представлена. Конечно, правомерно видеть в некоторых из этих постановлений отражение роста неравенства в обществе, обнищания части его членов и стремления возвышавшейся и богатеющей другой его части поставить свою собственность под защиту закона. Но, может быть, справедливо было бы взглянуть на предписания Правд о преступлениях и наказаниях еще и с иной точки зрения.

Некоторые проступки, упоминаемые в судебниках, можно истолковать как проявление противоречия между индивидуальным поведением и нормами права. Тем самым здесь могло выразиться сопротивление всепоглощающему конформизму «традиционного» общества, объективный, может быть, не во всех случаях осознанный протест, который сам по себе свидетельствовал об ослаблении скреплявших это общество связей.

Сказанное, разумеется, ни в коей мере нельзя истолковывать в том смысле, что мы обнаруживаем в подобных явлениях «раскрепощение личности» и становление автономной человеческой индивидуальности. Не то время, не то общество! Речь идет о переходе от одной общественной системы к другой, следовательно, от одного способа «сочленения» индивидов в общество, характерного для родового строя с его органическими, естественно сложившимися коллективами, к иному способу подчинения человека социальному целому, который станет специфичным для феодального общества. Ибо люди, выходившие из разрушавшихся

¹¹ Ср. наблюдения М. Блока, касающиеся сходной процедуры *exfestucare*, связанной с расторжением вассального отношения в феодальную эпоху. *Block M. Les formes de la rupture de l'hommage dans l'ancien droit féodal*. В кн.: *Block M. Melanges historiques*. T.I, Paris. 1963. p. 189, ss., 193, ss.

родовых групп, включались в новые социальные ячейки — общины, защитные гильдии, соседства, мирки сеньориального господства и т.д.: потребность в защите, помощи и — прибавим — во внутренней социально-психологической интеграции в группу была глубоко присуща человеку раннего средневековья¹².

То, что в Правдах личность заявляет о себе преимущественно преступным своеволием, объясняется, по нашему мнению, не одной лишь спецификой судебных актов; мы допускаем возможность рассмотрения некоторых из этих фактов как свидетельство кризиса «традиционного» общества, когда баланс между нормой и реальностью все чаще нарушался и когда он мог быть восстановлен только насильственным путем, при помощи суровых наказаний. Но и раньше это равновесие не было устойчивым.

Подводя итоги обсуждению вопроса о возникавшем в варварском обществе конфликте между индивидом и социальным целым, нужно еще раз подчеркнуть, что полного подчинения индивида обществу, в смысле его всецелой поглощенности, никогда не существовало. Однако возможности воздействия личности на коллектив были в варварском обществе крайне ограничены.

Разумеется, приходится постоянно иметь в виду специфику наших источников, в которых социальная действительность могла найти лишь частичное, в немалой мере одностороннее отражение. Всегда остается вопрос: каково было соотношение норм права и реального поведения людей? Может возникнуть сомнение: была ли традиционность их поведения столь же велика, как и традиционность права?

Для того чтобы ответить на такие вопросы, нужны другие источники. В этом смысле совершенно исключительное значение приобретает исследование исландских родовых саг. Записанные позднее, чем Правды, саги тем не менее подобно им рисуют общество «дофеодальное». Но здесь способ его изображения иной; это рассказы о жизни и поступках индивидов, их семей и об отношениях между ними. Поскольку саги не были простым средством развлечения для средневекового исландского общества, но представляли в своеобразной реалистической, наглядной форме эталоны человеческого поведения, принятого в этом обществе, — в них можно найти ответы на поставленные нами вопросы. Такое исследование еще не произведено. Однако одно общее положение можно высказать: индивид в сагах обладает широкой возможностью для проявления своей инициативы, личной воли, в том числе и противозаконной. Вместе с тем большая часть его поступков заранее предопределена системой нравственных норм, условностей, стандартов, нарушение которых было практически немыслимо и решительно осуждалось обществом как аморальное, сурово каралось. Итак, налицо противоречия между правовыми нормами и действительностью. Тем более интересно, что даже нарушение правовых предписаний не было индивидуализировано, оно диктовалось строгими кодексами поведения. В ситуациях, требовавших моральных решений, перед индивидом обычно не вставал вопрос: как поступить? Ответ на создавшуюся ситуацию следовал почти автоматически. Саги являют нам своего рода «сценарии» жизненного поведения членов варварского общества.

Социальное целое не состоит из отдельных лиц. Общество представляет собой сложную систему групп разного объема, со своими структурными особенностями. Собственно говоря, индивид включается в группу и уже через нее — в общество. Но он входит не в одну только группу. Существует целая сеть и иерархия в определенных отношениях.

¹² См. гл. III, § 1.

Каковы же социальные группы и структуры варварского общества? Выяснение этого вопроса необходимо для понимания отношений между индивидом и обществом.

Мы можем выделить несколько категорий таких групп, различающихся по своей структуре и основе, на которой они функционируют.

Основными микроструктурами варварского общества были семья и другие родственные группы. Как известно, семья в этом обществе имела свои особенности. То была большая семья (домовая община), состоявшая из ближайших сородичей трех поколений, совместно живших и ведших одно хозяйство. В ее оболочке, а отчасти уже и вне ее существовала малая семья, постепенно выделявшаяся из домовой общины, но далеко еще не обособившаяся от нее полностью. Структура семьи-домохозяйства отличалась сложностью и разнородностью состава. В нее входили не одни только ближайшие родственники, происходившие от одного отца; наряду с ними мы найдем в ней и иных сородичей и свойственников, нахлебников и зависимых людей, рабов. В скандинавских памятниках все люди, входившие в домохозяйство, именуются «домочадцами», их число нередко было довольно велико. Естественно, что среди домочадцев не было равенства и роль их в хозяйстве была весьма неодинакова. Элементы отношений эксплуатации можно обнаружить в пределах большой семьи не только в связи с наличием в ней рабов, но и внутри круга родственников. В частности, немалую роль в крупных домохозяйствах играли незаконные дети, рожденные от наложниц и рабынь: не имея почти никаких прав, они использовались в качестве рабочей силы. Всякое сколько-нибудь крепкое хозяйство свободного человека обрастало связанными с ним или зависевшими от него хозяйствами маломощных и нуждавшихся в защите и помощи людей, как свободных, так и несвободных или полусвободных (вольнотпущенников). В известном смысле семья представляет в миниатюре картину варварского общества.

Семья в любой форме, большая или малая, представляла важнейшую реальную социальную группу, в которую входил индивид. Но наряду с семьей сохранялись и иные группы, строившиеся на родственной основе: пережиточные формы рода, патронимии, союзы, возникавшие вследствие брачных связей. В недрах этих родственных групп и протекала прежде всего жизнедеятельность членов варварского общества. Карнальные связи играли огромную роль в обществе, еще не перестроившемся на классовой основе. Все основные жизненные социальные отправления членов этого общества были связаны с принадлежностью их к кругу родства. Не включенный в родовую группу индивид был попросту немислим.

Наряду с родственными коллективами существовали коллективы, имевшие территориальную основу. К их числу следует причислить общину. «Земледельческая» община, опиравшаяся на коллективное землевладение, трансформировалась в общину соседскую — марку, представлявшую собой совокупность отдельных самостоятельных домохозяйств. Германская община была внутренне противоречивым коллективом с ярко выраженными центробежными тенденциями и антагонизмами. Мелкое производство, цементирувавшее семьи, обособляло их друг от друга. Тем не менее роль общины в социальной структуре была очень значительна. Помимо пользования угодьями соседей-общинников объединяли общие интересы самозащиты и поддержания правопорядка, отправление культа и празднества. К территориальным группам относились также округа управления и суда — сотни, области и т.п.

Члены «дофеодального» общества входили в этнические общности — в племя, союз племен. В этой связи существенно отметить, что даже при переходе к территориальному строю племенная общность не исчезала в течение очень длительного периода. Она сохранялась не только в номенклатуре этнической принадлежности и в топонимике, но и в сознании варваров. Самосознание их в

большой мере оставалось племенным. В самом деле, чем вызывалась необходимость фиксации обычного права? К такой фиксации прибегли прежде всего те племена, которые, завоевав римские провинции, переселились на их территорию. Возможность записи первых германских Правд создало наличие в варварских королевствах грамотных людей из покоренного романизованного населения. По повелению королей они и произвели запись германских народных обычаев. Однако этим обстоятельством объясняется только возможность фиксации обычного права, но не ее причины. Можно, конечно, сослаться на становление королевской власти, обнаруживавшей стремление узурпировать управление и регулирование общественных дел (с записью обычаев делалось невозможным их дальнейшее толкование знатоками права из народа — «законоговорителями», «лагманами»; отныне начиналось «отчуждение» обычного права от народа, его породившего), на усложнение общественной жизни, вызванное как обстоятельствами переселения и завоевания, так и внутренними противоречиями этого общества.

Но следовало бы, очевидно, отметить и другой фактор, который, возможно, был не менее важен: стремление варваров сохранить свою гомогенность перед лицом реальной угрозы поглощения их местным населением бывших римских провинций. Ведь во всех странах Европы, захваченных варварскими племенами и племенными союзами, германцы составляли меньшинство. Как правило, они не жили сплошными массами, обособленно от романизованного населения варварского королевства, а были рассеяны среди него. По-видимому, отсюда стремление противопоставить себя «римлянам», обнаруживающееся в ряде варварских Правд¹³. Отсюда же и попытки составить своды германского права как самостоятельного по отношению к римскому праву покоренного населения¹⁴. Племенное самосознание франков как нельзя лучше раскрывается в I Прологе к «Салической Правде» (VI в.), прославляющем доблести и превосходство «славного народа франков». Запись «Салической Правды» изображается здесь как одно из высших проявлений мудрости франков, стремления их к справедливости и миру. С племенным самосознанием варваров, очевидно, связан и персональный принцип действия их права: не все жители варварского государства, но лишь члены данного племени подчинялись предписаниям судебного права, у каждого племени существовало свое особое право. Этот принцип отступает на задний план в VIII—IX вв. под воздействием католической церкви и законодательства Каролингов (в Англии в конце IX в., при короле Альфреде).

Варвар входил, далее, в политическую общность, в складывавшееся варварское королевство, которое постепенно приобретало признаки государства. Политические объединения варваров на первых порах были весьма непрочными, они и в дальнейшем обнаруживали рыхлость своей структуры. Связи политические, помимо объединений в территориальные округа, о которых говорилось выше, осуществлялись преимущественно между локальными общинами и королем (князем, конунгом) непосредственно или через его служилых людей. Эта форма социальных отношений приобретает огромное значение по мере развития процесса классообразования. Король постепенно превращался в единственный или главенствующий фактор объединения разрозненных, живущих обособленной жизнью общин и тем самым подчинял их себе.

Наконец, социальными группами, в которые включались семьи и роды, были общественные разряды с особыми правовыми статусами: знать, свободные, полусвободные, зависимые. Эти разряды, именуемые в немецкой историко-правовой литературе *Stände*, представляли собой, собственно, не сословия, а особую форму

¹³ Lex Salica, XLI, 1: barbarus. quis lege Salico vivit... Cp. Lex Salica, XIV, §2; XVI Add. 3; XXXII, Add. 1,2; XXXIX, § 3; XLI, § 5,6, 7; XLII, § 4.

¹⁴ Другим средством противопоставления варваров населению покоренных провинций было арианство, широко распространенное среди варварских племен (прежде всего готов).

социальной стратификации, не встречающуюся в обществах с иной социальной системой. Основой этих разрядов не было имущественное положение, хотя оно и могло быть с ними определенным образом связано. Знатные, рядовые свободные, полусвободные, рабы различались между собой происхождением и правами, которыми они обладали или которых были лишены. Но эта система статусов дополнялась, а отчасти трансформировалась под влиянием отношений личной службы, зависимости, покровительства, которые начинали развиваться в недрах традиционной структуры варварского общества.

Вокруг короля спланивалась дружина, состоявшая из выходцев из различных слоев общества, по преимуществу, видимо, незнатных людей, искавших на королевской службе возможности выдвинуться, улучшить свое социальное положение. Дружина становилась важнейшим центром притяжения таких общественных элементов и вместе с тем — средством воздействия королевской власти на всю социальную и политическую структуру.

Один и тот же индивид принадлежал к нескольким общностям, по-разному в них включаясь. Соотношение этих общностей менялось. С одной стороны, наблюдаются исчезновение родов, распад больших семей, трансформация общинных связей, с другой — рост отношений территориально-соседских, отношений господства и подчинения. Отступление на задний план одних форм социальных связей неизбежно влекло за собой интенсификацию и распространение других. Опустевшие «гнезда» социальных связей заполнялись иными, причем новые отношения подчас строились по образцу старых: сеньор заступал место сородича¹⁵. Между разными системами общественных отношений существовала функциональная связь.

Любопытно, что процедуры и символические акты, о которых шла речь выше, в той или иной мере были связаны со всеми видами общественных структур или групп. Поэтому разложение старых групп, характерных еще для общинно-родового строя, не приводило к исчезновению этих актов и ритуальных действий: функционирование новых социальных образований регулировалось, по сути дела, тем же способом, хотя конкретные процедуры могли и изменяться или на смену старым стандартам поведения приходили новые. «Символизирующим» и широко применяющим символы было и феодальное общество, но смысл и понимание символов в нем, очевидно, были иными, чем в обществе варварском. Любой предмет и поступок в феодальном обществе приобретали социальную ценность постольку, поскольку воспринимались как знак, как символ общественных отношений или «иного мира».

«Дофеодальное» общество, не будучи классовым, вместе с тем не характеризовалось и всеобщим равенством. Особенно существенно наличие в нем таких специфических социальных групп, как четко отграниченные один от другого слои знати, рядовых свободных, полусвободных, рабов. Принадлежность к обществу выражалась в обладании определенными правами и обязанностями (правами-обязанностями, ибо, как справедливо подчеркивает А.И. Неусыхин, для доклассового общества характерно неразрывное единство прав и обязанностей, их непосредственная связь¹⁶). Различия между представителями общественных слоев были не только, а подчас, может быть, и не столько экономическими, сколько социально-правовыми, связанными с происхождением и статусом лица, точнее, той группы, к которой оно принадлежало. Так, знатный мог быть и не богаче незнатного, но статус их был различен. Это различие в статусе выражалось в вергельдных градациях, сплошь и рядом чрезвычайно резких (упомянем хотя бы огромный разрыв в размерах вергельдов нобилей и свободных у баваров и саксов или деление

¹⁵ См. гл. III, § 1.

¹⁶ См.: *Неусыхин А.И.* Возникновение зависимого крестьянства..., с. 32, сл., 128 и др.

англосаксонского общества на людей с вергельдами в 200,600 и 1200 шиллингов), в системе других возмещений и штрафов, охранявших имущественные и личные права лиц разного статуса или налагавшихся на них, в значимости присяги и свидетельства, в иных проявлениях правовых возможностей, в ограничениях браков между представителями разных групп (браки между свободными и несвободными или полусвободными были запрещены повсеместно, у саксов же, по словам хрониста, не допускались и браки между нобилями и фрилингами¹⁷). Различия в происхождении знати, рядовых свободных и зависимых нередко осознавались в «дофеодальном» обществе как сакральные: божественной родословной королей и знатных родов противопоставлялось низменное происхождение остального населения племени. В этом отношении заслуживает внимания осмысление социального строя древней Скандинавии в «Песне о Риге», примыкающей к песням «Старшей Эдды». В ней выражена своеобразная мифологическая социология «дофеодального» общества, объясняющая происхождение знати — ярлов, свободных — кэрлов и рабов в виде восходящей линии творения их божеством Ригом (Одином?)¹⁸. Социальные различия выражались и во внешних признаках: в одежде и причёске (вспомним сообщения Тацита об одежде германской знати, длинноволосых мальчиках, упоминаемых «Салической Правдой», значение причёски у готов), в оружии и в занимаемом на собрании месте.

Социальные градации «дофеодального» общества отчасти уже изучены, показана их связь с процессами, которые трансформировали его и в конце концов привели к смене его обществом раннефеодальным. Хотелось бы лишь указать на ту сторону «дофеодальной» структуры, которая связана с осознанием самими членами общества их статуса и с той ролью, которую играло это сознание в функционировании общества.

Как уже упоминалось, в основе всех судебных актов лежал не территориально-государственный принцип, а принцип персонального права: каждого человека судили по «его закону», в зависимости от племенной принадлежности и от личного статуса¹⁹. Строго говоря, социальный статус лица (исключая людей, занимавших пост на службе короля) был не личным, а наследственным и родовым. Быть знатным — нобилем, эделингом, эрлом, хольдом, ярлом, херсиром, конунгом — или рядовым свободным — франком, фрилингом, ариманном, кэрлом, бондом — значило принадлежать к определённому роду, вести свое происхождение от знатных предков, в одном случае, и от незнатных, но свободных — в другом. Права человека устанавливались на основании его происхождения, родословной. Проявляемый варварами напряженный интерес к генеалогиям и родовым связям — не просто естественный интерес к прошлому, он прежде всего имел практическое значение. Знатный человек — знаменитый, именитый, прославленный благодаря своим предкам и сородичам. Следовательно, в основе социального статуса лица лежал родовой статус. Личность и в данном случае не мыслилась обособленно от группы, к которой она органически принадлежала. Разграничение «дофеодального» общества на знать, рядовых свободных и зависимых в известной мере условно, ибо ни в среде знати, ни в среде незнатных на самом деле не было равенства. Были роды более и менее знатные; эти градации, подчас не доступные взору исследователя, были вполне реальны и очевидны для членов общества, в котором существовала детально

¹⁷ Высказывание на этот счет Рудольфа Фульдского см. в кн. *Неусыхин А.И.* «Возникновение зависимого крестьянства...», с. 171. Однако справедливость этого сообщения хрониста сомнительна.

¹⁸ См.: «Старшая Эдда», с. 159-164.

¹⁹ *Lex Rib.*, 31, § 3, 4; 61, § 2. См.: *Brunner H.* Deutsche Rechtsgeschichte. I, S. 260, ff, 281; *Schroder R.* — *Kunfberg E.* v. Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 6. Aufl. Berlin und Leipzig, 1929, S. 249, ff.

разработанная шкала благородства и доблести²⁰. Наличие в каждой из Правд более или менее четкой и единообразной шкалы вергельдов не должно вводить нас в заблуждение. Такое единообразие было скорее нормой, нежели осуществлялось на практике. Хорошо известно, что вира сплошь и рядом устанавливалась в каждом отдельном случае не на основе этой шкалы или не только на ее лишь основе, а с учетом конкретных условий и особенностей положения рода или семьи убитого и ее взаимоотношений с семьей убийцы: у лангобардов — *secundum qualitatem, generositatem, nobilitatem personae, id est in angargatthungi*²¹; в средневековой Норвегии существовали особые оценщики, определявшие размеры вергельда согласно происхождению лица²²; у исландцев величина возмещения устанавливается в ходе переговоров между враждующими семьями и при участии посредников (о чем свидетельствуют и вышеприведенная формула клятвы о соблюдении мира, и исландские родовые саги); у саксов нобиль, виновный в продаже другого нобилля за пределы страны, в случае его возвращения обязан был дать ему компенсацию «в таком размере, который сможет его удовлетворить»²³. При этом принималось во внимание и положение данного лица в его собственном роде, ибо члены одного рода не были равноценны²⁴.

Таким образом, вергельд был скорее показателем индивидуальной оценки социального статуса члена данного рода, нежели простым признаком принадлежности к социальному слою в целом (может быть, правильнее было бы сказать, что он был и теми другим). Вергельд, как и другие возмещения, — не только компенсация за понесенный ущерб: его уплата и получение были теснейшим образом связаны с сознанием социального престижа семьи. Наряду с легко объяснимым стремлением потерпевшей стороны получить максимальное возмещение — как материализованный признак родовитости — мы можем обнаружить в ряде случаев готовность и даже стремление представителей виновной в правонарушении стороны уплатить высокое возмещение. Таков принцип «активной градации» (*Aktivstufung*), выразившийся в том, что размеры пеней устанавливались не по происхождению пострадавшего, а в зависимости от родовитости виновного, вследствие чего знатные лица должны были платить более высокие возмещения за совершенные ими преступления²⁵. В законе англосаксонского короля Этельреда прямо обосновывался принцип неодинаковости наказаний для лиц разного социального статуса: «И чем могущественнее человек среди мирян или чем выше общественный разряд (*had*), к которому он принадлежит, тем более высокие возмещения должен он платить и тем дороже оплачивать свои проступки, ибо поскольку сильный человек (*maða*) и слабый (*unmaða*) не равны, они не могут нести равные тяготы...»²⁶. Нечто подобное

²⁰ См.: *Lex Bajuv.*, III 1: «О родах (*genealogiae*), именуемых *Huosi, Trozza, Fagana, Naheligga, Anniona*: они — первые после Агилольфингов, как из герцогского рода, двойная им положена честь, а посему взимать им и виру двойную. За Агилольфинга же до герцога взимать виру вчетверо, ибо они — высшие князья между вами... Герцогу же, в силу того что он герцог, воздавать большую честь, нежели прочим родичам его; посему прибавлять третью часть сверх того, что платится за его родичей».

²¹ *Ro*, § 14, 48, 74, 75, 141, 378.

²² *Landslov*, IV, 12.

²³ *Lex Saxon*, XX.

²⁴ У варваров существовали, кроме того, еще и возрастные классы: в зависимости от возраста изменялся размер виры. Так было, например, у готов. *Lex Wisigothorum Antiqua*, VIII, 4, 16.

²⁵ *Lex Saxon*, XXXVI: нобиль за кражу платит 12 солидов, свободный — 6, лит — 4 солида; *Capit. Saxon*, III: «угодно было всем саксам, чтобы в тех случаях, когда франкидолжны платить по закону 15 солидов, саксы из рода но бил ей платят 12, свободные — 5, литы — 4 солида»; *Capit. de partibus Saxon*, XIX: за несвоевременное крещение младенца штрафы нобилля 120 солидов, свободного 60 и лита 30 солидов; там же, XX: за нарушение брачных запретов штрафы нобилей 60 солидов, свободных — 30, литов — 15 солидов.

²⁶ VI *Æthelred*, 52. Cp. *Alfred*, 18; *Ine*, 51; VII *Æthelred* 2. § 4.

наблюдалось у скандинавов, когда незнатные предпочитали уплачивать повышенные возмещения пострадавшим с тем, чтобы доказать свое благородное происхождение²⁷.

В возмещениях и пенях, которыми «обменивались» варвары, нужно видеть материальное выражение социальной оценки, даваемой ими самим себе и другим. Самосознание рода или семьи нуждалось в общественном признании. Этот момент необходимо учитывать при объяснении необычайно высоких вергельдов и штрафов, фиксируемых в варварских Правдах. В расчет брали не реальную платежеспособность преступника, а статус людей и семей, которых эти возмещения должны были охранять.

Самосознание представителя той или иной семьи опиралось, естественно, не на одно лишь чувство принадлежности к ней и понимание ее знатности, родовитости или полноправия. Самооценка связана и с относительной оценкой, т.е. с оценкой самого себя и своей группы по отношению между группой «мы» и группами «они», «другие». Социальные группы, не представлявшие разных классов общества и ни в коей мере не совпадавшие с имущественными прослойками (согласно «Фризской Правде», были свободные люди, впадавшие в литскую зависимость от нобилей, свободных и даже от литов)²⁸, опирались на ясное осознание разделявшей их социальной дистанции. Только учитывая это обстоятельство, можно правильно понять «военную демократию» варварских племен, не перенося на нее совершенно чуждые тому обществу современные представления о равенстве, демократии и свободе.

Личная свобода, которой обладала основная масса членов «дофеодального» общества, первоначально заключалась в их полноправии. Но вместе с тем это полноправие не содержало представления о неограниченности правовых возможностей носителей свободы. Обладание статусом свободного налагало ограничения — те только в том смысле, что реальным содержанием личной свободы была совокупность определенных прав-обязанностей, но и постольку, поскольку человек данного статуса должен был вести себя соответственно своему статусу и происхождению, и никак иначе. *Noblesse oblige*...

Людям «дофеодального» общества присуще обостренное чувство социальной дистанции, связанное с постоянной оценкой самих себя относительно других и с оценкой этих других. Понятие знатности, родовитости всегда воспринималось как понятие относительное: А более родовит, чем Б, род В знатнее рода Г, брак между представителями двух семей считается достойным, так как обе семьи одинаково знатны, или, наоборот, брак нежелателен или недопустим, будучи унижительным для одной из сторон в силу ее более высокого происхождения, чем другая. В тех случаях, когда источники достаточно подробны и в особенности когда их терминология отражает богатство понятий, употребляемых в обществе (например, у скандинавов), можно восстановить целую иерархию понятий большей или меньшей родовитости, знатности, отношения к свободе.

В норвежских судебныхниках мы встречаем следующие обозначения знатности: *konungborinn* (из рода конунгов), *lendr madr*, *lendborinn* (рожденный от лендрмана), *haulldr madr* (человек, обладающий правом хольдов, *hallz rett*), *odalborinn madr* (рожденный с правом одаля), *beztr madr* (лучший человек); обозначения полноправия и свободы: *fullu borirm* (обладающий полноправием от рождения), *thegn*, *trialdr madr* (свободный), *arborinn*, *aettborinn madr* (родовитый); обозначения неполноправности: *karlmadr*, *reccs thegn*, *dreng madr*; зависимых: *thyborirm madr* (рожденный в рабстве);

²⁷ Из грамот Сен-Галленского картулярия явствует, что знатные лица приобретали право выкупа своей земли, подаренной аббатству, за гораздо более высокую плату, чем мелкие собственники, иногда — даже за сумму, равную по величине их вергельду. *Ganahl K.H. Hufe und Wergeld. «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung».* 53. Bd, 1933.

²⁸ *Lex Fris*, XI, § 1. См. там же, гл. 1, § 21.

leysingi, frialsgjafi (вольноотпущенник), thymslamadr (состоящий в послушании), thraell, man manna (раб). Этот перечень терминов, отражавших разные оттенки и градации личных прав, неполон. Помимо них встречаются относительные обозначения статуса — по отношению или по сравнению с Другими лицами: iamborinn (iafnborinn) madr (человек одинакового происхождения), iamrettesmadr (обладающий равными правами), halfrettesmadr (человек с половинными правами), betrfedrungr (человек лучшего статуса, чем его отец). В норвежском праве, кроме того, были такие специфичные обозначения незаконнорожденных, лишенных полноты наследственных прав, как hrisungr и hornungr. «Законы Фростатинга» разъясняют смысл этих понятий: «Если человек ляжет со свободной женщиной в лесу и сделает ей сына, он будет называться hrisungr (сделанный в кустах)... А если человек ляжет со свободной женщиной в одном из домов в усадьбе и сделает ей а, то он будет называться hornungr (сделанный в углу)»²⁹. Все население страны в целом обозначалось выражением thegn og thraell — «свободный и раб». Саги, пожалуй, еще более богаты социальной терминологией.

Варварскому сознанию чуждо представление о человеке вообще; не то чтобы такая абстракция была ему недоступна — она не имела реального смысла. Человек — это всегда конкретный представитель определенной социальной группы, общественного статуса, присущего данной группе, и от этого статуса зависит общественная оценка человека. Можно пойти дальше и сказать, что статусом определялись не только его социальный вес (выражаемый в материальных возмещениях, правовых возможностях и других осязаемых признаках), но и моральная оценка. От людей разного статуса ожидали подходящих их статусу поведения, образа мыслей, личных достоинств. Благородство, воинская доблесть, щедрость, мудрость — это признаки родовитого, знатного человека, достойного своих знаменитых предков. Рассчитывать на наличие таких выдающихся качеств у простых людей незнатного рода было труднее, не потому что они были их начисто лишены, но эти качества не составляли их неотъемлемого отличительного признака. Статус таким образом, был тесно связан и с этической ценностью его носителя. Совершенно несомненно, что наличие подобной моральной оценки человека было немаловажным фактором формирования его личности. Ожидание доблестей и благородства от одних и отсутствие такого рода надежд в отношении других воспитывало соответствующим образом членов разных общественных групп, было стимулом и даже императивом поведения. Человек должен был вести себя сообразно своему статусу, недостойное поведение его воспринималось обществом как нечто неслыханное.

Встречающиеся в источниках обозначения знатных людей, как «лучшие», «добрые», «первейшие» и т.п., содержали в себе, наряду с указанием на могущество и привилегированное положение в обществе, и моральную оценку; точно так же не были ее лишены и противоположные обозначения: «мелкие люди», «низшие», «неблагородные», «незначительные»³⁰. В исландских сагах, в изобилии содержащих характеристики знатных и богатых людей, подобная моральная оценка их является, как правило, сама собою разумеющейся. Хотя в действительности общество уже делится на богатых и бедных, в сагах зажиточность не рассматривается в качестве определяющего признака для отнесения человека к той или иной социальной группе: такие критерии следует искать скорее в «могуществе» «больших», «сильных» людей и в «незначительности» «маленьких» людей. Могущественный человек благороден, богат друзьями, гостеприимен, смел, доблестен. Человек же незнатного происхождения редко мог сравниться со знатым не только своими богатствами, но и личными качествами. Дети знатных мужей, рожденные от вольноотпущенниц и

²⁹ Frostathings-Lov, X, 47.

³⁰ Pactus legis Alam, XIV, 6—11 (minoflidus, medianus): Lex Burg, II, 2 (minor, mediocris).

рабынь, уступают в моральном отношении своим братьям, матери которых были свободны. Никто не предполагает, что они могут обладать теми же доблестями, что и их благородные сородичи. Исландские источники — саги, записи обычного права — обнаруживают богатую гамму определений знатности и свободы. Сознание социальной дистанции столь развито, что она могла существовать даже в пределах одного рода и одной семьи: сын мог приобрести большую родовитость, чем его отец, и, наоборот, социальный статус потомка мог понизиться.

Повышенное внимание к установлению и соблюдению социальной дистанции отчетливо проявляется во всех народных Правдах в многочисленных и детализированных титулах о вергельдах, возмещениях и всякого рода правах представителей разных слоев общества. Подобные градации имеют для них исключительно важное значение. Ведь при их помощи определялось положение в обществе каждой семьи, любого индивида. Человек без статуса совершенно немыслим в «дофеодальном» обществе, во всех случаях, когда статус неясен или неизвестен» его спешат установить, — идет ли речь о живом или мертвом человеке, об отце незаконнорожденного ребенка или об иноплеменнике. Тяжелейшими наказаниями в таком обществе были лишение статуса, т.е. лишение свободного права на возмещение, объявление его вне закона, наконец, порабощение. Такой человек полностью выпадал из системы статусов, а следовательно, и социальных связей и, как уже упоминалось, вообще переставал считаться человеческим существом.

Варварское право, по-видимому, не терпело никакой неопределенности в вопросах, связанных с положением человека в обществе, ибо неизвестно было, как надлежит относиться к такому человеку неясного статуса. Стремлением исключить все подобные сомнительные случаи и продиктована значительная часть содержания судебныхников. Так, например, в англосаксонских Правдах проблемы социальной стратификации доминируют. Условие ведения судебной тяжбы и вообще применения норм права — установление социального статуса заинтересованных лиц, а равно и привлекаемых ими соприсяжников и свидетелей; ведь от их статуса зависели ход процесса и все действие права. Нередко для подтверждения своего статуса требовалось перечислить ряд предков. Так, хольдомодальманом в Норвегии считался человек, три или даже пять поколений предков которого владели родовой землей, и при доказательстве в суде прав на оспариваемое владение необходимо было перечислить этих предков. Выше мы уже приводили предписание норвежских законов XIII в., согласно которым владелец земли был обязан перечислить всех предков, обладавших по отношению к ней правом одаля, вплоть до языческих времен (буквально — «до одаля времени курганов»). Однако в Правдах обычно не упоминается процедура установления статуса (исключение, пожалуй, составляют случаи, когда дело касается чужаков) — очевидно, он и так был известен участникам судебного собрания. И действительно, жители одного округа и даже просто соплеменники должны были лично знать друг друга, знать происхождение и общественное положение всех людей, присутствовавших на сходке. Это значило, что вполне конкретные представления о социальной дистанции, существовавшей между различными членами племени или жителями данной местности, постоянно присутствовали в их сознании, были как бы неотъемлемой чертой их мышления.

С этим связан вопрос о понятии чести. В литературе многократно подчеркивалось, что среди многочисленных «истинно германских» доблестей честь занимала особое место. Оставляя в стороне идеалистическую и националистическую трактовку этого вопроса многими немецкими и скандинавскими историками, писавшими о древних германцах³¹, нужно признать, что в центре морального кодекса германцев и, в частности, скандинавов (ибо о них лучше известно из источников)

³¹ См., например, *Geffcken H. Der germanische Ehrbegriff. Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. N.F. I. Jahrg. 1896/97.*

стояли категории чести и славы. Здесь было бы излишне и неуместно широко обсуждать эту особую проблему³². Мы упомянули ее лишь постольку, поскольку она проливает свет на интересующий нас вопрос об отношении личности и общества в «дофеодальный» период. С понятием чести сталкивается и исследователь варварских Правд³³. Нет, конечно, никаких оснований видеть в обостренном чувстве чести и в сознании моральной необходимости ее защищать какую-то врожденную отличительную особенность германцев: то же самое можно было бы найти и у других варварских народов в периоды переселений и завоеваний, когда повышается их агрессивность и воинственность. Это чувство чести, питавшееся как принадлежностью к роду, так и чувством личного достоинства, являлось формой осознания индивидом своей личности. Конечно, это «родовая личность» и родовая честь: оскорбление, нанесенное одному человеку, ложилось пятном на всю его родню. Но опять-таки неправильно было бы недооценивать в этом отношении и индивидуальный момент: на данного сородича возлагалась обязанность очиститься от позора и тем самым защитить честь коллектива; каждый член рода, заботясь о его чести, неизбежно должен был болезненно реагировать на любые посягательства на свое личное достоинство. Институт родовой, семейной чести был своеобразной школой воспитания чувства личного достоинства индивидов.

Вряд ли можно сомневаться в том, что повышенное чувство чести культивировалось в первую очередь знатью. В этом слое родовые традиции вообще держались гораздо дольше, чем среди родовых свободных.

Таким образом, мы обнаруживаем основные детерминанты человеческой личности в «дофеодальном» обществе. Первый — это социальная структура в целом. В обществе, не расчлененном на антагонистические классы, этот общий момент играл чрезвычайно большую роль в формировании индивида, большую, чем в классовом обществе. Дуализм «земледельческой» общины, коренившийся в противоречии между коллективным и индивидуальным началами, неизбежно должен был отражаться и на отношении личности и общества. С одной стороны, можно говорить о подчинении индивида коллективу — племени, общине, роду, большой семье, об известной степени поглощенности его индивидуального сознания сознанием группы. С другой стороны, однако, нужно помнить о господстве мелкого, обособленного производства, об антагонизме, то и дело грозившем вспыхнуть между родами и соседями; в этих условиях человеку приходилось полагаться прежде всего на свои собственные силы.

Как уже было сказано, в аграрном обществе, основанном на натуральном хозяйстве, существовало специфическое отношение человека к природе: особенно тесная с нею связь³⁴. Полностью отдифференцировать себя от естественной среды человек был не в состоянии не только в раннее средневековье, но и много позднее. Видимо, эта черта присуща в той или иной мере всякому доиндустриальному обществу. В таких условиях личность получает некоторые черты, отличающие ее от личности, формирующейся в обществе городском или промышленном. В частности, в литературе высказывалось мнение, что средневековый человек вследствие ограниченности средств ориентации в мире отличался повышенной нервной возбудимостью, неустойчивостью психики, «визуальной отсталостью» (преобладанием слуховых и осязательных восприятий над зрительными) с рядом вытекавших отсюда важных последствий³⁵. Многие из этих предположений кажутся

³² См.: Лотман Ю.М. Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах киевского периода. «Труды по знаковым системам», III. Тарту, 1967, с. 101—103.

³³ См, например, *Lex Salica*, XXX.

³⁴ См. гл. I, §1.

³⁵ См.: Bloch M. *La societe feodale*. I—II. Paris, 1939—1940; *Febvre L. Le probleme de l'incroyance au XVI siecle. La religion de Rabelais*. Paris, 1947; *Huizinga J. Le declin du Moyen Age*. Paris, 1932; *Mandrou R.*

правдоподобными, но они нуждаются во всесторонней проверке; пока они не обоснованы достаточно широкими исследованиями источников, самая методика подобного исследования еще не разработана. По нашему убеждению, в настоящее время пора перейти от общих рассуждений о психологии людей минувших эпох и более или менее остроумных догадок к разведке в области приемов изучения исторических памятников, приемов, которые могли бы привести к получению относительно объективных результатов.

Можно высказать предположение, что в доклассовом обществе человеческая личность еще не подверглась воздействию процесса «отчуждения», которое в той или иной мере характеризует человека в обществе классовом и связано с общественным разделением труда. В «дофеодальном» обществе человек был не только «трудящимся субъектом», но и воином, и членом народного собрания, и участником судебной сходы. Подобное сочетание в его лице различных общественных функций было следствием слабой их дифференцированности³⁶. Относительная нерасчлененность социальной деятельности придавала личности определенную цельность. Но эта многосторонность содержания общественной практики варвара была вместе с тем и признаком ее бедности и неразвитости. Человеческая личность еще не была сконцентрирована в самой себе, как была распылена и ее деятельность.

Поэтому-то столь важен был и второй детерминант личности в «дофеодальном» обществе — принадлежность индивида к семье или к роду и, при посредстве этой органической группы, к определенному социальному разряду. Различия между общественными слоями заключались, конечно, не только в их юридических признаках (в этом плане они проецируются в *Правдах*); они шли глубже, постоянно проявляясь в их материальном положении, в быту, социальных навыках, обычаях, по большей части ускользающих от исследователя. Но если невычлененность человеческой личности из социальной структуры (в той мере и форме, в какой это наблюдается на данной стадии) можно, по-видимому, отнести к специфическим условиям существования человека в доклассовом обществе, то обусловленность его положения социальным разрядом — через принадлежность к «малой группе» — не есть особенность одного лишь этого общества: здесь мы сталкиваемся с явлением более универсальным. Нужно только принимать во внимание характер и степень этой обусловленности. Учитывая указанные моменты, можно в какой-то мере приблизиться к уяснению места человека в обществе и тех возможностей, которые это общество создает для его развития. Тем самым мы несколько ближе подходим к уяснению и самой общественной структуры.

В плане изучения отношения личности к «дофеодальному» обществу было бы весьма существенно исследовать вопрос о переходе варваров от язычества к христианству. Смена религии была тесно связана с переходом от варварства к цивилизации, следовательно, и с разложением доклассовой социальной структуры. Но все это — особая тема³⁷.

Изложенное, разумеется, не решает поставленных нами вопросов. Мы хотели лишь наметить возможные пути их исследования и подчеркнуть значение проблемы «личность и общественная структура».

Если же попытаться подвести самые предварительные итоги уже проделанной работы, то, по-видимому, можно было бы высказать следующие предположения.

В варварском обществе включение индивида в социальное целое осуществлялось через посредство серии или иерархии «малых групп» разного объема

Introduction a la France moderne (1500—1640). Essai de psychologic historique. Paris, 1961; Barbu Z. Problems of Historical Psychology. N. Y., 1960; Goff J. Le La civilisation de l'Occident medieval. Paris, 1965.

³⁶ См. гл. III.

³⁷ См.: Piekarczyk S. Barbarzyncy i chrzescijanstwo. Warszawa, 1968.

и состава. При этом человеку предоставлялись очень ограниченные, минимальные возможности для выбора жизненного пути, способа поведения. Еще в меньшей степени от него зависело вхождение в группу. Перед нами — родовая личность, воспитывавшаяся в категориях строго нормативного поведения, постоянно подчинявшаяся стандарту. В известном смысле можно даже говорить о ритуализации человеческого поведения. Средствами подобной ритуализации и регламентации служили, во-первых, система процедур, в которые неизбежно отливало общественное поведение; во-вторых, этические побудители, понятия чести, родовой славы, строгий кодекс моральных запретов и предписаний; в-третьих, система правовых санкций и принуждения, находящая наиболее выпуклое отражение именно в судебныхниках; в-четвертых, система социально-правовых статусов и социальных дистанций, теснейшим образом связанная с моральными нормами и правовыми санкциями. Все эти моменты в своей совокупности образовывали механизм социального контроля, подчинявший человека и его группу интересам общества в целом.

Тем не менее не существовало полного растворения индивида в группе. Складывалось определенное равновесие общества и индивида. Микроструктура «дофеодального» общества, по-видимому, выполняла двойственную функцию: с одной стороны, она подчиняла входившего с нее индивида обществу, с другой — в какой-то мере создавала условия для проявления его индивидуальности. Но возможности для развития индивида оставались крайне ограниченными всей системой социальных связей, равно как и отношением общества и природы. Особенно важно в этом смысле то, что были минимальными возможности закрепления и передачи, воспроизведения индивидуального творчества. Поэтому и культурное развитие варварского общества совершалось до крайности медленно, доминировали моменты традиционности. Это общество, скорее воспроизводящее себя на прежней основе, нежели изменяющееся. Недифференцированность, высокая мера слитности доклассового общества прямо связаны с нерасчлененностью социальной практики индивида.

Изучение избранного нами круга исторических источников позволяет, даже и при более интенсивном их анализе, сделать лишь ограниченные наблюдения. Для рассмотрения той же самой проблемы под другим углом зрения необходимо, как уже упоминалось, привлечь памятники литературы, искусства, мифологию, религию.

Черты общественного сознания, которые удастся раскрыть при исследовании Правд, по большей части характерны не только для варваров, но и для «архаического сознания» вообще. Положение личности в «дофеодальном» обществе, рисуемое по судебникам, также вряд ли специфично для одного этого периода; могут возникнуть многочисленные и подчас оправданные аналогии с другими доклассовыми и раннеклассовыми обществами, с другими эпохами истории.

Следовательно, необходимо привлечь также и источники иного рода, которые дали бы возможность осветить нашу проблему в другом аспекте. Лишь в результате комплексного исследования удалось бы, возможно, раскрыть те черты человеческой личности и ее отношения с социальной структурой, которые типичны для переходной эпохи от родового строя к феодализму³⁸.

³⁸ Но мы не исключаем возможности того, что и в результате всестороннего (насколько это допускает имеющийся в распоряжении историка материал) изучения проблемы «индивид и общество» применительно к «дофеодальному» периоду мы не получим ответа, который ясно обнаружил бы специфические черты общественного сознания. Не окажется ли, что во всех доиндустриальных обществах (во всяком случае, в достаточной мере архаичных) будут вновь и вновь обнаруживаться приблизительно сходные структуры сознания, формы поведения, способы включения индивида в социальное целое? И в этом случае значение подобного исследования было бы в высшей степени велико.

Глава III

Некоторые аспекты процесса феодализации

§ 1. От свободы к зависимости

Понимание процесса феодализации определяется оценкой его предпосылок. Мы считали необходимым в этой связи рассматривать особенности структуры варварского общества, сосредоточивая внимание на системе социальных связей и на отношениях собственности. Как мы видели, варварское общество отличалось чрезвычайной консервативностью своей структуры и почти полным отсутствием внутренних факторов развития. Механизм его функционирования допускал по преимуществу лишь повторение и воспроизведение раз навсегда установившейся формы общественных отношений, затрудняя их внутреннюю трансформацию и спонтанный переход к иной системе. Отношение человека к возделываемой им земле в варварском обществе характеризовалось неразрывным единством его с участком; земля не была простым объектом владения, скорее она являлась предпосылкой существования человека, частью его собственной природы. Земельный надел крестьянина не представлял собой его частной собственности; под эту категорию нельзя, без значительных натяжек, подвести ни англосаксонский фольклэнд, ни скандинавский одалъ, ни даже франкский аллод. Полнота обладания участком — не основание для того, чтобы считать права обладателя частнособственническими. Вообще отношение варваров к богатству имело особый характер: материальные ценности не только, а подчас и не столько служили источником дальнейшего обогащения, сколько выступали в качестве орудия социального общения, достижения, поддержания и повышения общественного престижа, внеэкономического могущества.

Разграничение понятий, на котором мы настаиваем, далеко не сводится к замене выражения «частная собственность» выражением «полнота обладания». Вопрос гораздо более серьезен. Ведь из приравнивания аллода к частной собственности, к товару обычно следует вывод, имеющий решающее значение для понимания всего процесса превращения свободных земледельцев в зависимых держателей. Не секрет, что тезис об аллоде-«товаре» в советской медиевистике опирается на известное высказывание Ф. Энгельса, содержащееся в незаконченной и при жизни его не опубликованной рукописи «Франкский период». По его мнению, в противоположность азиатским народам и русским, у которых не образовалась частная собственность на землю, вследствие чего «государственная власть проявляется в форме деспотизма», на завоеванной германцами территории наделы пахоты и луга превратились в аллод, в свободную собственность, — отсюда, по мысли Энгельса, идет развитие феодализма, общественного, государственного строя, разлагающего государство и в своей классической форме уничтожающего всякий аллод¹. Феодализм, по словам Энгельса, возникает именно на основе аллода. «Аллодом создана была не только возможность, но и необходимость превращения первоначального равенства земельных владений в его противоположность. С момента установления аллода германцев на бывшей римской территории он стал тем, чем уже давно была лежавшая рядом с ним римская земельная собственность, — товаром. И таков уж неумолимый закон всех обществ, покоящихся на товарном производстве и товарном обмене, что распределение собственности делается в них все более неравномерным, противоположность между богатством и бедностью становится все резче и собственность все более концентрируется в немногих руках, — закон, который при современном капиталистическом производстве достигает, правда, своего наиболее полного развития, но отнюдь не только при нем вообще

¹ См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 496—497.

вступает в силу. Итак, с того момента, как возник аллод, свободно отчуждаемая земельная собственность, земельная собственность как товар, возникновение крупной земельной собственности стало лишь вопросом времени»².

Земля, продолжает Энгельс, была главнейшим видом богатства в аграрном обществе Европы раннего средневековья. «Господствующим классом, который постепенно складывался здесь сростом имущественного неравенства, мог быть лишь класс крупных землевладельцев, формой его политического господства — аристократический строй. Поэтому, если мы увидим, как на возникновение и развитие этого класса неоднократно и как будто даже преимущественно оказывали влияние политические средства, насилие и обман, то мы не должны забывать, что эти политические средства только содействуют усилению и ускорению необходимого экономического процесса»³.

Эти слова Энгельса хорошо известны, они очень часто приводятся в наших учебниках и исследованиях по истории раннего средневековья (обычно с изъятием фразы о «законе всех обществ, покоящихся на товарном производстве»). Тем не менее на разборе некоторых выдвинутых здесь положений необходимо остановиться. Энгельс, естественно, опирался на те сведения, которые он мог почерпнуть из современной ему западноевропейской, преимущественно немецкой историографии. В частности, мысль о том, что аллод был равноценен римской частной собственности — *Possessio* и, подобно ей, представлял собой свободно отчуждаемую собственность, Энгельс мог заимствовать у П. Рота, на которого он часто ссылается⁴. Однако ученые, книги которых Энгельсу приходилось использовать, не предложили достаточно глубокого объяснения описываемых ими явлений из истории раннего средневековья. Восполняя этот пробел, Энгельс ограничился рассуждением общего порядка. Но выдвинутое им построение небезупречно.

Прежде всего, Энгельс приравнивает аллод к римской частной собственности. Между тем германский аллод и римская земельная собственность, несомненно, разные институты. Аллод — форма владения, обусловленная принадлежностью к общине, тогда как римская земельная собственность была принадлежностью граждан, подданных римского государства. Римское частное землевладение сложилось в совершенно ином обществе, нежели аллод. Аллод, как подчеркивалось выше, не был товаром, свободно отчуждаемой собственностью, а общество, в котором он складывался и развивался, не покоилось на товарном производстве и обращении товаров, ибо ни франкское, ни какое-либо иное общество в раннесредневековой Европе не характеризовалось развитием товарного производства и обмена; напротив, оно было в основе своей натурально-хозяйственным. Товарный обмен — реальность этой эпохи, но он не определял структуры общества. Поэтому во франкском обществе невозможны были ни свободная игра рынка, ни перераспределение собственности в соответствии с тем законом, на который ссылается Энгельс. Все попытки Допша и его последователей доказать, что эпохе раннего средневековья были знакомы развитые товарно-денежные отношения, давно обнаружили свою несостоятельность.

Соответственно, и возникновение крупного землевладения нуждается в конкретно-историческом объяснении, и простой ссылки на игру экономической стихии, приводящей ко все более неравномерному распределению земли в обществе, к обогащению собственников и обнищанию и разорению крестьянства, совершенно недостаточно. Политические средства и насилие, упомянутые Энгельсом в качестве

² Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 497.

³ Там же, с. 497—498.

⁴ См.: Roth P. Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert. Erlangen, 1850, S. 104—105, 207—208, 436, f. См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 498, 500, 501, 507, 508, 513.

спутников этого экономического процесса, видимо, имели здесь совсем иной смысл и значение, чем в период «первоначального накопления капитала», когда они действительно были лишь формами проявления экономического процесса капиталистического развития в недрах разлагавшегося феодального общества.

Логика вышеприведенного построения Энгельса понятна. Констатируя процесс феодального подчинения свободных людей, шедший во Франкском государстве, он делает вывод: «Прежде чем свободные франки могли сделаться чьими-либо держателями, они должны были каким-нибудь образом потерять аллод, полученный ими при занятии территории, должен был образоваться особый класс безземельных свободных франков»⁵. Разорение свободных франков, вызванное непосильными войнами, которые непрерывно вели короли, грабежами, нападениями внешних врагов, насилиями магнатов и вымогательствами церкви, привело к тому, что «свободное крестьянское сословие» исчезло относительно быстро⁶. Но весь вопрос заключается в том, действительно ли свободному крестьянину было необходимо потерять свой аллод и разориться для того, чтобы затем превратиться в зависимого держателя?

Развивая эти мысли Энгельса, некоторые медиэвисты идут так далеко, что в аллоде и его судьбах признают «системообразующий фактор», т.е. «фактор, составляющий логический и исторический центр всей системы, приводящий ее в движение, задающий ей историческое направление»⁷. На наш взгляд, здесь необходимо вспомнить о важнейшей идее Маркса о сущности «первоначального накопления капитала» как процесса, впервые в истории человечества приводящего к массовому отрыву непосредственных производителей от средств производства и прежде всего — от земли. Маркс подчеркивал, что «свободная частная собственность на землю — факт совсем недавнего происхождения». Юридическое представление о свободной частной собственности «появляется в древнем мире лишь в эпоху разложения органического общественного строя, а в современном мире лишь с развитием капиталистического производства»⁸. Тесное, органическое соединение работника с землей, наделение его средствами производства — основа всех докапиталистических формаций. Это соединение могло быть разрушено только на заре капитализма. Об этом неоднократно писал и сам Энгельс⁹. В.И. Ленин также подчеркивал, что землю в товар впервые превращает капитализм, порывающий с сословностью землевладения¹⁰. Исходя из сделанного ранее анализа отношений землевладения в переходный период от доклассового общества к феодализму, а также из изложенных сейчас общих соображений, мы должны согласиться с основными критическими замечаниями М.В. Колганова относительно точки зрения Энгельса на аллод и процесс превращения свободных общинников в зависимых держателей¹¹.

Возникновение феодализма в Европе — в высшей степени сложный процесс, в котором происходило взаимодействие общественных порядков античности с социальными отношениями варваров. Но как понимать это взаимодействие? Нередко

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 502.

⁶ См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 19, с. 338, 502-503; т. 21, с. 151-153.

⁷ Барз М.А., Сказкин С.Д. История средневекового крестьянства в Европе и принципы ее разработки. «Вопросы истории», 1967, § 4, с. 68.

⁸ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 165 и примеч. 26.

⁹ В.И. Ленин специально выделяет возражение Энгельса Г. Джорджу, который писал об универсальности экспроприации масс населения: «Исторически это не вполне верно... В средние века не освобождение (expropriation) народа от земли, а, напротив, прикрепление (appropriation) его к земле было источником феодальной эксплуатации». Ленин В.И. ПСС, изд. 5, т. 3, с. 184, примеч. Ср.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 348-349.

¹⁰ См.: Ленин В.И. ПСС, т. 3, с. 310.

¹¹ См.: Колганов М.В. Собственность. Докапиталистические формации. М., 1962, с. 326 и далее.

в нем видят сближение обеих общественных систем: в римском обществе развивается колонат — предпосылка феодальной зависимости, растет экзимирированное крупное поместье; в варварском обществе приобретает большое значение эксплуатация зависимых людей (патриархальное рабство), усиливается общественное неравенство, зарождается частная собственность; после переселения варваров на территорию бывшей Империи обе эти линии развития сливаются и дают в дальнейшем феодализм.

Однако понятие римско-германского синтеза, как нам кажется, нуждается в уточнении. Нужно признать, что попытки найти феодализм или хотя бы его элементы в позднеримском обществе не были убедительны. Колонат, при внешнем сходстве с зависимостью средневековых крестьян, — не феодальная зависимость, а специфическая форма позднеабсолютельческих отношений; отношение колона к средствам производства коренным образом отличается от отношения к ним средневекового крестьянина. В позднеримском поместье трудились не феодально зависимые держатели, и оно, в отличие от средневековой вотчины, не представляло собой организационную форму присвоения феодальной ренты. С другой стороны, вряд ли содержит элементы феодализма и варварское общество; патриархальное рабство может развиваться в более зрелую форму рабовладения, так же как и в феодальную зависимость крестьян. Варварское общество — не обязательно «дофеодальное»: оно могло быть и «добрабовладельческим». Оно могло быть и тупиковым.

Иногда указывают на то, что как в позднем римском обществе, так и в обществе варваров укрепляется мелкое хозяйство; в дальнейшем на мелком производстве будет основываться феодальное общество. Но ведь и рабовладельческое общество основывалось на индивидуальном производстве. В обществах «восточного типа», при всех глубоких их отличиях от античного или феодального общества, производство также мелкое. Собственно, благоприятные условия для развития крупного производства впервые создает капиталистический строй, экспроприирующий мелкого производителя. Все предшествующие ему формации так или иначе опираются на мелкое, индивидуальное хозяйство.

Представим себе на момент, что мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе ни античного общества, ни общества древних германцев; смогли бы мы дать обоснованный прогноз, пойдут ли они в дальнейшем по пути феодализма? По совести говоря, — нет. Но поскольку историки пророчествуют о прошлом, то, зная, что после Великих переселений народов в Европе развился феодализм, они, естественно, ищут именно его предпосылки в предшествующем состоянии Римской империи и варварских племен.

Хотелось бы обратить внимание и на другое обстоятельство. В тех странах Европы, которые в древности входили в Римскую империю и характеризовались развитыми рабовладельческими порядками и в которые переселилось относительно небольшое число варваров, в период раннего средневековья феодальное развитие идет медленно. В них не возникает устойчивых форм государства, сохраняются отношения земельной аренды, которые без известных натяжек трудно причислить к феодальным держаниям, долго не изживается рабство. Затяжной процесс феодализации наблюдается и в странах преимущественно германского пути развития, где римский элемент был слаб или влияние его ничтожно. Здесь длительно сохранялись порядки «военной демократии» и было устойчиво свободное крестьянство. Лишь там, где синтез позднеримских и варварских порядков был более «уравновешенным», где оба элемента выступали «соразмерно», феодализм развивался быстрее и наиболее интенсивно и принял «классический» облик. Все это известно. Но какие выводы можно извлечь из наличия указанных вариантов генезиса феодализма в Западной Европе?

Очевидно, последний («франкский») вариант оказался наиболее благоприятным для развития феодализма потому, что при нем германские социальные порядки, пришедшие в столкновение с римскими, не разрушались сразу и полностью (как в первом, «романском», варианте), но подверглись постепенной и интенсивной перестройке, тогда как в «германском» варианте (Саксония, Скандинавия, Англия до 1066 г.) они оказались слишком устойчивыми и трансформировались с трудом, да и то в большой мере под влиянием соседних государств, дальше них продвинувшихся в направлении к феодализму.

Мы полагаем, что под синтезом нужно понимать не сближение вступающих во взаимодействие систем, а рождение качественно нового общественного строя в результате столкновения этих весьма несхожих между собой социальных систем¹².

Позднеримская общественная система зашла в тупик и переживала глубокий распад. Но крушение античного общества не вело к феодализму, — оно было показателем противоречий между реальными социальными группами и грандиозной империей, предъявлявшей к ним непомерные и невыполнимые требования, следствием чего было полная утрата империей всех своих жизненных сил.

Варварское общество вряд ли плодотворно рассматривать только как переходное от общинно-родового строя к феодализму. Скорее стоило бы обратить внимание на его самобытность. Это общество уже не первобытнообщинное; по выражению А.И. Неусыхина, оно «общинное без первобытности»¹³. Общинный же строй на своей последней стадии, но еще без частной собственности и классов — состояние не одного «дофеодального» общества, а в высшей степени распространенная социальная форма, далеко не всегда, однако, превращающаяся в классовое общество. Там же, где такое развитие происходит, от множества различных факторов зависит, пойдет ли это развитие по направлению к рабству, к феодализму или к какому-либо иному классовому строю.

Если мы станем на такую точку зрения, то следует предположить, что возникновение феодализма в Европе не было вызвано внутренней трансформацией позднеримского общества и не явилось прямым продолжением эволюции социального строя варваров. Мы вообще мало что знаем об эволюции германских племен до их переселений на территорию Империи. Структура этих племен мало изменялась. Нет оснований видеть в описаниях германских порядков у Тацита и других римских авторов констатацию каких-либо новых, незадолго до того возникших общественных институтов. Точно так же нет никаких причин полагать, что в первые века нашей эры у германцев наблюдался заметный прогресс в производстве; установлено, что земледелие не было для них новшеством¹⁴. Перед нами — скорее общественная структура, достигшая определенной формы и законсервировавшаяся в ней. Дальнейшее развитие само по себе, по имманентным законам этой структуры, по-видимому, не шло или шло крайне медленно. На протяжении веков до Великих переселений варвары Европы стояли приблизительно

¹² Сейчас речь не идет о длительном культурном взаимодействии Рима и варваров, отрицать которое было бы нелепо.

¹³ Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья). «Вопросы истории», 1967, № 1, с. 76.

¹⁴ Назовем лишь некоторые из новейших исследований о земледелии в древней неримской Европе: Kohte H. Die volkerkundliche Agrarforschung im Rahmen der Ethno-historie. «Ethnographisch-archaologische Forschungen». 4. Teil, 1—2. Berlin, 1958; Jankuhn H. Ackerfluren der Eisenzeit und ihre Bedeutung für die frühe Wirtschaftsgeschichte. «Berichte der Römisch-Germanischen Kommission», 37/38, 1958; idem. Vorgeschichtliche Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. «Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie». 9. Jahrg., 1. Heft, 1961; Otto K.-H. Deutschland in der Epoche der Urgesellschaft. Berlin, 1960.

на одной и той же стадии. Возникновение союзов племен не было чем-то неслыханно новым и не вело к созданию прочных политических образований.

Примером может служить общественный строй саксов до завоевания Саксонии Карлом Великим. Здесь варварское общество достигло, по-видимому, того предела, дальше которого его развитие — по одним лишь внутренним причинам — не идет. Деление племени на знать (эделингов), свободных (фрилингов) и зависимых (литов) застыло, крайне обостряясь и принимая чуть ли не характер каст; достаточно напомнить, что вергельд эделинга в 12 раз превышал вергельд фрилинга. Роль знати в общественном строе саксов была исключительно велика, нобили даже выступают в «Саксонской Правде» в качестве основных носителей правовых норм (в то время как во всех других «варварских Правдах» таковыми являются рядовые свободные). Многие фрилинги, подобно литам, находились под патронатом нобилей и других свободных. Тем не менее в господствующий класс знать не превратилась. Перед нами — традиционная социальная структура застойного характера. Формирование классов феодального общества началось и быстро пошло в Саксонии лишь после франкского завоевания, которое нанесло этой архаической, зашедшей в тупик структуре сокрушительный удар¹⁵.

Генезис феодализма начинается у варваров только после расселения их на завоеванной территории Империи. Здесь они очутились в новых для себя условиях. Они оказались в положении завоевателей и должны были организовать свое господство над населением занятых ими стран. В процессе переселений и размещения на новых территориях старая племенная основа общественного строя варваров была подорвана, ее сменил территориальный строй. По обеим этим причинам стало неизбежным возникновение государства. Ярчайшим показателем краха традиционного строя жизни варваров явилась относительно быстрая их христианизация. Напротив, те племена, которые не переселялись целиком на новые территории (саксы, скандинавы, славяне), долгое время сохраняли старую социальную структуру и противились христианизации, приняв ее лишь несколько веков спустя.

Что касается римско-германского синтеза, то нужно признать: воздействие античного наследия на Европу происходило во все возрастающем объеме на протяжении всего средневековья. Можно даже сказать, что европейская цивилизация средних веков в немалой мере явилась продуктом приобщения варваров к античности. Освоение античного наследия продолжалось и в эпоху Возрождения, и в эпоху классицизма. Но как раз в начальный период средневековья этот синтез, по-видимому, был не более, а менее значительным и мощным, чем в последующие периоды. Дело заключалось не столько в нем, сколько в крахе традиционной системы социальных отношений варваров при столкновении с новыми требованиями, которые предъявила к ней жизнь в новых материальных, политических и культурных условиях.

Выходом из этого кризиса варварского общества на романизованной почве и явилась феодализация. На протяжении нескольких столетий, следующих после падения Римской империи и расселения в ней варваров, в Европе возникает новая социальная система, характеризующаяся господством рыцарства и духовенства над зависимым крестьянством.

Именно в этой связи приобретает значение вопрос о причинах превращения основной массы варваров, расселявшихся на территории Западной Европы, из

¹⁵ Подробную характеристику общественного строя саксов (однако с иными выводами) см. в кн.: Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства..., гл. IV.

свободных в зависимых. В нашей научной и учебной литературе¹⁶ распространено мнение об утрате крестьянами земельной собственности и переходе ее в распоряжение церковных и светских господ; разорившиеся крестьяне были принуждены закрепощаться, вступать в зависимость от богатых и знатных. Однако даже если бы мы согласились с тем, что аллод со временем стал «товаром», объектом свободного отчуждения, то и тогда мы констатировали бы в лучшем случае лишь возможность его утраты крестьянином. Этим еще далеко не решается вопрос о причинах реализации такой возможности.

В литературе обычно подчеркивается экономическая неустойчивость крестьянского хозяйства, сильно страдавшего от стихийных бедствий (неурожаев, падежа скота и т.п.), от нехватки рабочей силы и инвентаря, от сокращения размеров земельных наделов. Но ведь от этих неблагоприятных явлений крестьяне не были застрахованы в любую историческую эпоху, — страдали они от них и после того, как переходили под власть феодалов, — тем не менее перечисленные отрицательные факторы, которые, если судить по литературе, порождали разорение широкой массы свободного крестьянства, странным образом не имели столь же губительных последствий для держателей, сидевших на землях крупных собственников.

Указывают и на другие причины утраты независимости свободными общинниками: насилия, чинимые магнатами, всячески злоупотреблявшими властью с целью подчинить себе крестьян. Нельзя недооценивать важности этого фактора. Однако вряд ли насилие могло служить определяющим моментом в процессе феодализации. Оно ускоряло исторический процесс, начавшийся по каким-то другим причинам, но не определяло его.

К указанным факторам разорения крестьянства обычно прибавляют еще опустошения сельской местности в результате непрекращавшихся войн и усобиц. Наконец, упоминают непосильные штрафы, ложившиеся со времени распада родовых связей на отдельных лиц. Известно, однако, что война разоряла крестьян на протяжении всего средневековья и поэтому не может быть отнесена к числу специфических явлений, присущих именно периоду становления феодализма. Что же касается штрафов, то вряд ли можно предположить столь значительное распространение преступности, чтобы судебные наказания могли существенно повлиять на экономическое положение массы населения.

В совокупности все перечисленные явления, на первый взгляд, производят внушительное впечатление. О том, что они действительно имели место, свидетельствуют источники. В капитуляриях, формулах и грамотах сообщается о разорении мелких собственников, о притеснениях магнатов, злоупотреблениях знати и чиновников. Хроники красочно рисуют междоусобицы и войны, сопровождавшиеся разорением сельского населения. Может показаться, что под давлением этих факторов широкие слои крестьян разорялись или стояли перед перспективой разорения, вследствие чего и вынуждены были отдаваться под покровительство феодалов, закрепощаться и закабаляться. Однако тезис о массовом обнищании и разорении свободного крестьянства как об основной причине его феодального подчинения представляется нам искусственным и неубедительным. Подобными ссылками на игру экономических сил невозможно заменить конкретный социологический анализ реального исторического процесса. Не отрицая действительности всех указанных неблагоприятных для крестьянства факторов, мы не можем видеть в них основной, глубинной причины превращения большинства свободных общинников в держателей земель от церкви и светской знати. Это скорее

¹⁶ См.: Полянский Ф.Я. Экономическая история зарубежных стран. Эпоха феодализма. М., 1954, с. 42—50; Семенов В. Ф. История средних веков. М., 1961, с. 41—42, 53; «История средних веков», т. I. М., 1966, с. 115-117, 122-123, 132-133, 135.

волны на поверхности, симптомы подспудного процесса, обусловленного более основательно.

Неверно было бы приписывать феодализацию и развитию производительных сил. Несомненно, в феодальную эпоху, взятую в целом, произошел большой прогресс в экономике по сравнению с античностью. Но из констатации этого факта нередко делается заключение, что и переход от общественных отношений древности к средневековому феодальному обществу вызывался прогрессом производительных сил, якобы «переросших» рабовладельческую систему хозяйства и «требовавших» новых, соответствовавших им производственных отношений. На самом деле период раннего средневековья характеризовался упадком производства во всех областях: и в ремесле, вернувшись на несколько веков к состоянию, значительно более примитивному, чем ремесло античное, и в сельском хозяйстве, где многие земли запустели в период кризиса империи и еще более после варварских завоеваний. Упадок городов, сокращение торговли, в особенности внутренней, усиление натуральнохозяйственных тенденций — все это показатели регресса экономической жизни Европы в первые столетия средневековья.

Расчистки в лесах, произведенные в римскую эпоху, после варварских завоеваний вновь зарастали лесом. Началась длительная, упорная, но зачастую мало успешная борьба за восстановление прежних пахотных площадей. Англосаксонский поэт метко назвал пахаря «врагом леса». Возникают новые, так называемые «лесные деревни». Тем не менее сокращение площади пахотной земли продолжалось на протяжении всего франкского периода. Впечатляющую картину обезлюдения деревень в этот период М. Блок завершает выводом: «Итак, в конечном счете борьба с природой закончилась провалом»¹⁷.

Сравнение с античностью допустимо преимущественно для тех частей Европы, которые входили в состав Римской империи, т.е. для стран бассейна Средиземного моря. Относительно сельского хозяйства в этих странах установлено, что в эпоху античности уже был достигнут максимум развития аграрного производства, который вообще возможен при доминировании индивидуального хозяйства. В начале средних веков здесь наблюдается упадок. Затем положение постепенно выправилось, и в XI — XIII вв. агрикультура поднялась приблизительно до того уровня, на котором она находилась на рубеже н.э. — в период расцвета рабовладельческого мира¹⁸. Система сельского хозяйства и состояние агротехники оставались в Южной Франции и Италии в средние века в основном такими же, как и в предшествующую эпоху; в природно-географических условиях Средиземноморья этот «потолок» мог быть превзойден лишь при переходе от мелкого производства к крупному, т.е. в Новое время.

На это могут возразить, что, несмотря на кажущуюся одинаковость состояния сельскохозяйственного производства в античности и в средние века в странах Средиземноморья, на самом деле производительные силы переживали значительный прогресс и качественное обновление, так как производительные силы — это не только техника, но и сами производители, и если в древности основной фигурой в производстве был раб, то в средние века — крестьянин, ведущий самостоятельное хозяйство. Однако подобное возражение вряд ли можно было бы считать основательным, и даже если его принять, то нужно объяснить, почему при одних и тех же средствах и орудиях производства, при одинаковой в основном технике в древности эксплуатировали рабов, а в средние века — зависимых держателей.

¹⁷ Блок М. Характерные черты французской аграрной истории, с. 44.

¹⁸ См.: «The Cambridge Economic History of Europe», vol. I. Cambridge, 1942, p. 118, f. 127, 168; Block M. Les caracteres originaux de l'histoire rurale francaise. T. II. Supplement etabli par R. Davergne d'apres les travaux de l'auteur. Paris, 1956, chap. II; Абрамсон М.Л. О состоянии производительных сил в сельском хозяйстве Южной Италии (X—XIII вв.). В сб.: «Средние века», вып. 28, 1965, с. 36—37.

В других, менее романизованных странах Европы в период раннего средневековья производство также долго не уходило от уровня, на котором стояло в древности. В некоторых областях внедряются более прогрессивные методы обработки земли, новые сельскохозяйственные культуры, постепенно распространяется тяжелый колесный плуг, в качестве рабочей силы начинают применять наряду с волами лошадей, пускают под обработку залежные земли, осушают болота; но все это началось не сразу же после варварских завоеваний, а несколькими столетиями позже, главным образом с X—XI вв. Эти сдвиги не предшествуют генезису феодализма, а происходят уже в феодальном обществе¹⁹. Феодализация же разворачивается в обществе с отсталыми (по сравнению с состоянием их в античном мире) производительными силами, в обстановке аграризации городов, упадка или стагнации сельскохозяйственного производства. Прибавим к этому еще и интеллектуальный застой, сопровождавший переход от античности к средневековью: прежняя, античная цивилизация агонизировала, средневековая, новая — еще не возникла.

Переселение варваров на римские территории отчасти приводило их в соприкосновение с новыми для них формами агрикультуры (огородничество, виноградарство, садоводство), дало им некоторые более совершенные сельскохозяйственные орудия, но коренным образом не изменило их хозяйственной деятельности. Впечатление о крутом повороте в экономической жизни германцев после завоевания римских провинций создается лишь в том случае, если придерживаться мнения об их «полукочевом» образе жизни в предшествующий период. Но такое мнение — миф. Выше было упомянуто, что германские племена издавна были земледельческими. Переложная система, представление о которой складывается при чтении Цезаря и Тацита, возможно, и имела место у отдельных племен, но не была распространена в Германии повсеместно. В ее северных областях уже в последние столетия до н.э. существовало оседлое земледелие²⁰. Прежней оставалась после Великих переселений и организация производства: мелкое хозяйство.

Таким образом, нет оснований искать причины феодализации, начавшейся в Европе после варварских завоеваний, в подъеме или в качественных сдвигах в производстве. Наоборот, именно аграризация Западной Европы, нарушение или ослабление экономических связей между ее областями, господство натурального хозяйства создали условия, благоприятствовавшие процессу феодализации.

Наряду с попытками объяснить возникновение феодального строя экономическими причинами известное распространение получил взгляд, согласно которому феодализм вырастает из военного строя. Еще Г.Бруннер подчеркивал значение тяжеловооруженной кавалерии у франков в генезисе нового социально-правового порядка. Полемизируя со своими предшественниками, Бруннер утверждал, что не ленный строй послужил основой рыцарской конной службы, а, наоборот, потребность в рыцарской коннице, вызванная нападениями на Франкское

¹⁹ См.: *GrandR., Delatouche R.* L'agriculture au Moyen Age de la fin de l'empire Romain au—XVI siecle. Paris, 1950, chap. VI; *Duby G.* L'economie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident medieval. T. I. Paris, 1962; *Сказкин С.Д.* Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века, ч. 1, гл. I. Сп. «AA.G.Bijdragen» 12. Wageningen, 1965, p. 38.

²⁰ *Giffen E. van.* Prehistoric Fields in Holland. «Antiquity» 2, 1928; *Bishop C.W.* The Origin and Early Diffusion of the Traction Plough. «Antiquity», 10, 1936; *Steensberg A.* North West European Plough-Types of Prehistoric Times and the Middle Ages. «Acta archaeologica», VII, 1936; *Kerridge K.* Ridge and Furrow and Agrarian History. *EcHR*, IV, N 1, 1951; *Curwen E.C., Hatt G.* Plough and Pasture. The Early History of Farming. New York, 1953; *Hall G.* The Ownership of Cultivated Land. «Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historiskfilologiske Meddelelser». XXVI, 6. Kobenhavn, 1939; *idem.* Prehistoric Fields in Jylland. «Acta archaeologica», II, 1931; *idem.* Oldtidsagre. «Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Arkaeologisk-Kunsthistoriske Skrifter». II, Nr 1. Kobenhavn, 1949.

государство норманнов, славян, аваров и арабов, стимулировала возникновение ленного строя²¹. Не так давно Линн Уайт, развивая теорию Бруннера, выдвинул утверждение, что создание рыцарской конницы явилось решающим моментом в процессе перехода к феодализму. Возможность же появления кавалерии нового типа он объясняет тем, что в начале VIII в. стремя, давно известное кочевым народам востока, стало достоянием и западноевропейцев. Благодаря стремени коренным образом изменилась роль лошади в военном деле и впервые стало возможным прочное соединение вооруженного воина с конем. Содержание рыцаря стоило чрезвычайно дорого, и оно было возложено на крестьян. Военный класс приобрел политическое господство. «Немногие изобретения оказали столь же катализирующее влияние на историю... Античность выдумала кентавра, раннее средневековье сделало его господином Европы»²². Влияние технических усовершенствований на социальное развитие понимается Уайтом до крайности прямолинейно и примитивно.

Хотя рыцарство действительно господствовало при феодализме и генезис этого общественного строя ознаменовался разделением функций между военным классом, сосредоточившим в своих руках военное дело, и крестьянством, отстраненным от войны и управления и поглощенным производительным трудом, все же «военная теория» не может объяснить генезиса феодализма, поскольку она не рассматривает самого содержания этого процесса: смены систем общественных связей.

От упомянутой теории существенно отличается гипотеза, высказанная советскими учеными М.Я. Лойбергом и В.Э. Шляпентохом. Справедливо указывая на то, что в период генезиса феодализма уровень развития производительных сил в сельском хозяйстве «не только не превышал, но и был ниже соответствующего уровня рабовладельческой экономики», М.Я. Лойберг и В.Э. Шляпентох предлагают поэтому искать факторы формирования феодализма вне аграрной сферы²³. Они выдвигают на первый план вопрос о материально-технической базе военной организации при переходе от античности к средневековью и указывают на то, что достигнутое античностью производство тяжелого кавалерийского вооружения сделало возможным создание немассового конного войска; возникновение его повсюду предшествовало интенсивной феодализации. Исключительно активную роль военного фактора в докапиталистическую эпоху М.Я. Лойберг и В.Э. Шляпентох объясняют тем, что «военная организация являлась механизмом внеэкономического принуждения, т.е. обеспечивала функционирование докапиталистической экономики»²⁴. Эти идеи заслуживают внимания, но нуждаются в проверке путем всестороннего исследования. Разделяя мысль о том, что военная организация господствующего класса и, следовательно, характер его вооружения играли большую роль в процессе становления феодализма, как и в дальнейшем его функционировании, мы позволим себе высказать сомнение: объясняют ли указанные факторы «общий механизм непосредственного перехода» европейских народов от общинно-родового строя к феодальной системе?²⁵

Как и всякое сложное историческое явление, генезис феодализма явился результатом переплетения многих причин. Тем не менее необходимо попытаться выделить среди них определяющие, движущие силы процесса. По нашему мнению,

²¹ См. *Brunner H.* Der Reiterdienst und die Anfänge des Lehnwesens. В кн. *Brunner H.* Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechts. Stuttgart, 1894.

²² *Lynn White, Jr.* Medieval Technology and Social Change. Oxford, 1962, p. 38.

²³ См.: *Лойберг М.Я. и Шляпентох В.Э.* Общие факторы формирования феодальной системы хозяйства в Восточной Европе. В кн.: «Тезисы докладов и сообщений девятой (таллинской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (октябрь 1966 г.)». Таллин, 1966, с. 145.

²⁴ Там же, с. 146.

²⁵ См. там же, с. 147.

это можно сделать лишь рассматривая феодализацию с социологической точки зрения, как переход от одной системы социальных связей к другой.

Причины перехода к феодализму мы усматриваем в кризисе социального строя варваров, вызванном их столкновением с обществом Римской империи и переселением в завоеванные ими провинции. До тех пор пока варварские племена оставались в привычных для них условиях, присущая им социальная система мало изменялась и не испытывала коренных потрясений. Социальные структуры варварского общества — большая семья, род, племя — играли решающую роль в жизни его членов. Из поколения в поколение эти структуры неизменно формировали всю жизнедеятельность индивида; принадлежность к ним давала ему полноправие и гарантировала свободу, возможность пользоваться всеми общественными и имущественными правами. Эти группы представляли собой естественно возникшие, основанные на родстве союзы взаимной помощи, и лишь в составе подобной органической группы индивид мог рассчитывать на поддержку и защиту. Индивид не мог отделить себя от коллектива сородичей и соплеменников, смотрел на себя как на естественное звено в цепи поколений. Его обособленное существование было невозможно не только по материальным, но и по социально-психологическим причинам: личность могла себя идентифицировать только в составе коллектива и в его духовной атмосфере.

Родоплеменная структура представляет собой замкнутую и достаточно жесткую форму общественных связей. Этнология свидетельствует, что возможности приспособления подобной социальной формы к быстро меняющимся условиям весьма невелики. Кровнородственные и семейные коллективы могли выполнять свои функции в рамках общества, относительно ограниченного по численному составу и территории. Ведь общение в этих группах заключалось в прямых личных контактах между их участниками, в законченной форме выражая личностный тип социальных связей. Общественные институты — органы управления, суда, культа — воплощались здесь в непосредственном взаимодействии членов общества.

На римской почве члены племени-завоевателя не жили изолированно от массы романизованного населения, находились в постоянном контакте с ним и с другими варварскими племенами. Между разными этническими и общественными группами устанавливались сложные взаимоотношения, регулировать которые органы родового строя были неспособны; они вообще не могли нормально функционировать в новых условиях. В этой во всех отношениях неоднородной социальной среде институты управления племенем, родовой помощи, кровной мести, соприязничества, семейного владения, хозяйственного сотрудничества, культового языческого общения, короче говоря, все традиционные формы социальных связей варварского общества, обнаружили свою неэффективность, неспособность предоставить индивиду необходимую защиту. Таким образом, сохранение прежней социальной системы варваров в странах, в которые они переселялись, оказалось невозможным. Как уже было отмечено, племенная организация стала сменяться территориальной уже в процессе расселения в захваченных странах. Вскоре началось смешение варваров с местным населением. Вся система социальных связей, которую мы называем варварским обществом, начала рушиться.

Ослабление старой системы социальных связей означает формирование какой-то новой их системы, перегруппировку имеющихся в наличии общественных элементов, вступление индивидов в новые отношения между собой. Индивид по-прежнему не был способен жить изолированно, полагаясь только на собственные силы: он нуждался в поддержке и защите, испытывал непреодолимую потребность вновь слиться с коллективом и подчиниться его авторитету. Ослабление родовых связей вызывалось прежде всего не индивидуалистическими поползновениями их членов, а неспособностью этих коллективов справиться с задачами, которые ставила

перед ними жизнь в новой социальной, этнической, политической и духовной обстановке, порожденной завоеванием и столкновением с иной цивилизацией. Поскольку основа, на которой возникали новые связи, была территориальной, то связи эти завязывались уже не между сородичами, а между людьми посторонними, не объединявшимися родством. Такие неродственные связи могут принимать различные формы. Они могли быть отношениями между равными в имущественном и социальном положении людьми; таковы общинные связи и союзы искусственного родства. Но неродственные связи возникали и между социально и экономически неравными людьми — в результате складывались различные формы зависимости.

В варварских королевствах создавались социальные отношения и первого, и второго рода. Наряду с коммендацией, сеньориальной зависимостью, дружинной службой, министералитетом и иными отношениями, основанными на господстве и подчинении, широко распространяются союзы равных. Еще оставаясь в рамках родственной группы, индивид не мог не ощущать ее внутреннюю слабость, неспособность дать ему необходимую защиту. Даже не выходя из этой группы, не порывая с сородичами, он искал помощи за пределами круга родства. Некоторую поддержку оказывала община. Но, как уже отмечалось, «земледельческая» община периода раннего средневековья не была сплоченным коллективом: ее члены вели обособленные хозяйства и подчас приходили в столкновения между собой. В источниках она обычно упоминается в связи с теми конфликтами, которые вспыхивали из-за пользования угодьями и пахотными участками внутри общины или с соседними поселениями. Сплоченность община могла проявить преимущественно вовне, в отношениях с другой общиной или с властями, внутренняя же ее структура была рыхлой. Община вряд ли могла заменить отдельному человеку родственные группы в деле защиты и помощи.

Источники сообщают о других объединениях людей, строившихся на принципах равенства, — о защитных гильдиях, братствах, товариществах. Человек сплошь и рядом больше полагался на друга, побратима, нежели на родственников. Такие братства, отчасти строившиеся по образцу родственных групп, могли объединять довольно большое число людей. Члены братств были обязаны защищать жизнь и честь друг друга, мстить за своих собратьев. В защитные гильдии вступали люди, которые могли сохранять при этом прежние отношения с кровными родичами. Гильдия также предоставляла защиту, охраняла имущество своих сочленов, принимала на себя некоторые функции по охране порядка; между ее членами существовала духовная близость²⁶.

Гильдии, братства и иные квазиродственные объединения играли большую роль в жизни варваров и привлекали многих людей, лишенных необходимой поддержки своих сородичей, дополняя или заменяя ее. Влияние этих союзов на социальные отношения было настолько велико, что королевская власть брала гильдии под покровительство и контроль, стремясь использовать их в своих целях, прежде всего для охраны порядка. Объединения на основе равенства и товарищества продолжали играть огромную роль на протяжении всего средневековья. Ремесленные цехи, объединения купцов, союзы подмастерьев, сельские и городские коммуны, монашеские и рыцарские ордена и иные братства и ассоциации воплощали в себе корпоративную сторону феодальной жизни, эмбрионы которой возникли еще в предшествующую эпоху. Перечисленные формы объединений в высшей степени различны, но существенно обратить внимание на одну общую (в той или иной степени) для них черту: в отличие от природных союзов родства, они складывались на основе волеизъявления вступавших в них лиц, испытывавших нужду в том, чтобы

²⁶ Слово *gildi* означало «платеж», «пир». Гильдии регулярно устраивали торжественные собрания и пиры, совершали совместные жертвоприношения и богослужения.

включиться в коллектив и найти в нем удовлетворение определенным социальным потребностям, которые не могли быть утолены в рамках родственной группы.

Помощь и защиту, которую предоставлял коллектив, можно было получить и от индивидуального покровителя. Связь с ним восполняла недостававшую для многих потребность в создании устойчивых отношений с обществом. Дело заключалось не только в покровительстве, которое оказывал могущественный человек. Отношения между сеньором и вассалом, как правило, не сводились к отношениям между двумя лицами. В действительности то были отношения в пределах целой группы. Ведь у такого сеньора имелись и другие вассалы, поэтому вступление под его покровительство означало вместе с тем установление социальной связи с ними. В результате создавался особый мирок, в котором сочетались «горизонтальные» и «вертикальные» связи: между подзащитными и между ними и сеньором. Такие сплоченные вокруг патрона мирки существовали и в поздней Империи, давая защиту человеку от внешних опасностей и от посягательств государства. В сложившемся феодальном обществе вассалы одного господина образовывали союз равных (пэров), составлявший в случае необходимости курию. В обществе переходном, которым мы занимаемся, вассалы скорее объединялись в дружину или товарищество. Во всяком случае признание зависимости от господина сопровождалось вступлением подзащитного в социальную группу, строившуюся на совсем иных основаниях, чем союз родства. Однако отношения зависимости с самого начала не исключали сохранения связей с сородичами, одни могли дополнять другие. В основе родственных связей лежал принцип взаимности, мы обнаружим его и в связи между подопечным и покровителем: подзащитный обязан помогать сеньору и повиноваться ему, а тот в свою очередь должен защищать его. Отчасти власть сеньора даже строилась по образцу родовой. Англосаксонские законы VII—X вв. содержат много свидетельств того, что отношения покровительства и зависимости сочетались и переплетались с родственными связями. Вергельд за убитого человека получал наряду с сородичами и его покровитель²⁷. Подобно этому он и участвовал в уплате штрафа за проступок, совершенный подвластным человеком²⁸. Вообще нужно подчеркнуть, что отношения личного покровительства, верности и коммемдации сами по себе не противоречат родовому строю и существовали в недрах древнегерманского общества, подобно тому как существуют и у других народов на стадии варварства. Нередко один и тот же человек был одновременно связан с членами гильдии и с покровителем: в англосаксонских законах в качестве соприсяжников и поручителей такого человека выступают и его «товарищи», и господин²⁹.

Но могло создаться такое положение, когда родственные отношения вступали в противоречие с отношениями покровительства, и обязанности, сопряженные с родством, оказывались несовместимыми с обязательствами по отношению к сеньору. Здесь ясно обнаруживается большая сила связей с господином по сравнению с родственными связями: преимущество отдавалось первым. Так, родовая месть была запрещена по отношению к сеньору, против него нельзя было свидетельствовать в суде. Обычное право сурово карало за нарушение клятв, и тем не менее английский король Альфред предписывал, что человек должен скорее нарушить данную им клятву, чем изменить своему глафорду (господину)³⁰. В этих конфликтных ситуациях проявлялось предпочтение, которое отдавали власти сеньора как более эффективной и ценной для подзащитного. «Законы Альфреда» гласили: «...человек может сражаться на стороне своего кровного родственника, если тот подвергся

²⁷ Ine, 70, 76.

²⁸ Ine, 74, § 1.

²⁹ Ine, 21.

³⁰ Альфред, 1, § 1.

противозаконному нападению, но не против своего господина, — этого мы не разрешаем»³¹. В конечном итоге подобные конфликты могли привести к разрыву отношений родства и к полному обособлению от них отношений вассальной зависимости.

Формы, которые принимали отношения господства и подчинения, были столь же многообразны, как и причины, вынуждавшие людей в них вступать. Обедневшие или стоявшие перед угрозой разорения люди искали себе покровителей, закабались у более богатых собственников. Но и в кабале нет ничего специфичного для общества раннего средневековья, и ее не следует смешивать с феодальной зависимостью. Феодальное подчинение — не закабаление и не порабощение непосредственных производителей, хотя и то и другое происходило в изучаемый период.

Выше уже была высказана мысль, что основная часть свободных вступала в феодальную зависимость вместе со своими хозяйствами, — следовательно, не разорившись. Дело заключалось не столько в угрозе разорения свободных соплеменников, сколько в тех условиях, в которых они очутились после образования государства. Королевская власть зародилась не в результате классового размежевания в среде варваров, — она возникла одновременно и в связи с ним, а отчасти ему предшествовала. Уже самые потребности организации завоевания, отмечал Энгельс, делали ее необходимой. Водворившись в бывших римских провинциях, предводители варваров должны были позаботиться о создании органов принуждения, которые контролировали бы покорение правосудия и сбор доходов для короля и его слуг. Органы «военной демократии», сложившиеся в несравненно более примитивных общественных условиях, не могли справиться с этими задачами. Переход от родоплеменной организации к территориальной неизбежно обуславливал возникновение государства. Сохранение остатков римских государственных институтов облегчало протекание этого процесса³².

Но возникнув в ходе завоевания и отчасти выражая интересы всего племени (союза племен), королевская власть начала обособляться от массы соплеменников и противопоставлять себя им. Ее непосредственной опорой становились дружинники и приближенные короля, его должностные лица, духовенство. Отношения же рядовых свободных к королю приобретали односторонний характер подданства. Отстраняемые от участия в управлении, они вместе с тем по-прежнему должны были исполнять все те обязанности, которые прежде составляли неразрывное единство с их правами: в первую очередь — воинскую службу.

Социальный состав населения варварского королевства был пестрым и сложным: обломки позднеимперского общества, элементы варварского общества, находившегося, как мы видели, в состоянии дезинтеграции. Если непосредственно вслед за завоеванием на первый план могли выступать отношения между завоевателями и покоренными, то вскоре картина должна была измениться. Переживавшая упадок социальная структура варваров не могла долго гарантировать их привилегированного положения в обществе. Неминуемо должны были сказаться реальные имущественные и общественные различия. Высшие слои романизированного населения были приближены к королю, их представители вступали к нему на службу, сближаясь с варварской знатью. Вместе с тем утрачивали свой социальный вес мелкие свободные из числа варваров: их роль в государстве была незначительной.

В обществе, несравненно более сложном по составу, чем общество варварское, и во много раз превосходившем его по численности населения и по занимаемой территории, неминуемо должно было происходить общественное разделение труда, выделение разных социальных групп с присущими каждой из них

³¹ Альфред, 42, § 6.

³² См.: Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.

общественными функциями. Аграрная природа этого общества предопределила характер разделения труда — между земледельцами и землевладельцами. Но немалую роль в этом процессе сыграло и государство. Слабая государственная власть, возникшая в варварских королевствах, была не в состоянии осуществлять управление и охранять порядок в стране. Вместе с тем она не могла и отказаться от выполнения этих функций. Но она вынуждена была возлагать их на людей, пользовавшихся наибольшим могуществом и влиянием на местах, в тех мирках патроната и господства, из которых теперь состояло общество. Могущество крупных земельных собственников, магнатов и духовенства определялось тем, что в них как бы «замыкались» социальные связи этих мирков, они были основными «узлами» общественных интересов массы населения.

Большая часть населения — и свободные, и зависимые (колоны, литы, рабы) — занимались крестьянским трудом. Отдавать немалую часть своего времени для исполнения воинской службы и других общественных обязанностей свободному мелкому хозяину стало нелегко. Прежде, пока варвар входил в коллектив родственников, в большую семью, он мог совмещать воинские занятия с хозяйственной деятельностью: когда он уходил на войну, члены его обширной семьи (в состав домовой общины могло входить несколько десятков человек, в том числе несколько взрослых мужчин) продолжали вести хозяйство. С ослаблением родственных связей и с распадом больших семей подобное совмещение труда и воинских занятий делалось все менее возможным. Одновременно вокруг короля складывался слой дружинников, не занятых производительным трудом и приобретавших все больший вес в военном деле и в управлении. Уже здесь были заложены предпосылки разделения общественных функций между воинами и крестьянами.

У многих мелких аллодистов возникало стремление избавиться от ставшего обременительным государственного тягла. С этой целью они искали себе сеньоров, которые защитили бы их от требований государства, т.е. исполняли бы вместо них военную службу, а они бы за это на них работали и платили бы им оброки. Во Франкском государстве, в котором процесс феодализации шел интенсивнее, чем где бы то ни было, эти явления приобрели настолько большое распространение, что борьба с ними сделалась важной задачей королевского законодательства.

Например, в капитулярии, изданном для Италии в 825 г., указывалось, что свободные люди, «прибегая к коварству и хитрости» (*fraudolenter ac ingeniose*), передавали свои владения церкви, получая их обратно за уплату оброков, с тем чтобы не нести публичных обязанностей. Капитулярий предписывал, чтобы они исполняли службу в ополчении и прочие государственные повинности, пока владеют своим имуществом. Здесь подчеркивается, что эти люди прибегали к «возвращенным прекариям» (*precaria oblata*) (ибо, судя по всему, именно такой характер носили их сделки с церковными учреждениями) «не из-за бедности, а с тем, чтобы уклониться от несения государственной службы» (*non propter paupertatem sed ob vitandam reipublicae utilitatem*)³³. А.И. Неусыхин справедливо замечает по этому поводу, что «дарения совершали не только бедняки, но и свободные люди средней степени зажиточности, которые старались избежать таким способом обременительной для них службы в военном ополчении. Такими людьми могли быть только свободные аллодисты крестьянского типа»³⁴.

Из других капитуляриев также явствует, что военная служба была крайне тяжелой повинностью для крестьян Франкского государства. Пользуясь их стесненным положением, могущественные представители светской и церковной знати принуждали крестьян к несению службы в ополчении до тех пор, пока

³³ *Boretius A. (ed). Capitulariæ regum Francorum, 1.1. Hannoverae, 1883, N 165, p. 330.*

³⁴ *Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства..., с. 382, прим. 3.*

последние не передавали им свои владения, после чего их освобождали от участия в войнах³⁵. Служба в армии, отрывавшая крестьянина от хозяйства и налагавшая на него дополнительное бремя, действительно могла довести его до разорения. Поэтому-то свободные крестьяне, заботясь о сохранении и укреплении своего хозяйства, подчас предпочитали отказаться от независимости, превратить надел в держание и подчиниться власти церковного учреждения, нежели сохранять ставшую тягостной для них свободу, сопряженную с исполнением воинской службы. Склонность некоторых свободных людей ко вступлению в духовное звание Карл Великий объяснял не благочестивыми настроениями, а стремлением уклониться от несения военной службы и других государственных повинностей; поэтому изданный им капитулярый запретил принимать сан священнослужителей без разрешения государя³⁶.

Немалый интерес представляют в этой связи и военные капитулярии Каролингов, предписывавшие, чтобы военную службу несли все владельцы или держатели четырех земельных наделов-мансов; владелец трех мансов обязан объединиться с однонадельным владельцем и совместно с ним выставить воина; те, кто имеет по два манса, также должны объединиться и вдвоем послать на войну одного человека; наконец, четыре крестьянина, владеющие мансом каждый, должны были содержать сообща на свой счет одного воина³⁷. Таким образом, единицей земельного владения, достаточной для содержания воина, в начале IX в. считались четыре манса. Несомненно, это предписание свидетельствует об имущественной неоднородности аллодистов, среди которых существовали люди с несколькими наделами. Лишь владельцы четырех наделов имели достаточно средств для того, чтобы снарядиться на войну должным образом; содержание боевого коня и обладание полным вооружением стоили очень дорого и были доступны лишь для наиболее богатых людей. Но вместе с тем это предписание — яркое доказательство действия во франкском обществе закона общественного разделения труда. Свободные крестьяне были долее не в состоянии осуществлять право ношения оружия, которое для них отныне являлось уже не правом, а тягостной повинностью, отрывавшей их от хозяйства и налагавшей на них большое дополнительное материальное бремя. Вряд ли дело заключается в разорении широких слоев крестьянства; нет никаких оснований считать всех владельцев одного или двух мансов обнищавшими людьми. Источником превращения воинской обязанности в обременительную повинность служила необходимость для рядового общинника все свое время, средства, силы и внимание посвящать сельскохозяйственному труду на наделе, иначе говоря — превращение его из соплеменника, участвовавшего не только в производстве, но и в общественном управлении, в крестьянина, в непосредственного производителя, лишенного возможности — в силу примитивных, тяжелых условий труда — заниматься чем-либо сверх него. Не об этом ли говорит и переход у франков от «мартовских полей» — собраний народного ополчения к «майским полям» — военным смотрам профессиональных конных воинов короля? Не так ли следует понимать и военную реформу Карла Мартелла?

В англосаксонской Британии военная служба, распространявшаяся первоначально на всех свободных, уже с конца VII в. во все большей мере перепоручается гезитам и тэнам, а ополчение рядовых кэрлов оттесняется на второй план. Процесс разделения труда между крестьянами и королевскими воинами нашел свое отражение и в терминологии записей обычного права и законов. В наиболее ранних англосаксонских Пrawdax общество расчленялось на эрлов и кэрлов —

³⁵ См.: Boretius A. (ed). *Capitularia*, 1.1, N 73, p. 165.

³⁶ Boretius A. (ed). *Capitularia*, t.1, N 44, p. 125.

³⁷ См.: Boretius A. (ed). *Capitularia*, t. I, N 50, p. 137. Cp. Lot F. *L'art militaire et les armees au Moyen Age en Europe et dans le Proche Orient*. T. I. Paris, 1946.

родовую знать и свободных людей, обладавших полноправием; впоследствии же эта общественная структура приобретает иной характер: законы говорят о *gesidcund men* и *sierlisk men*, т.е. о служилых людях и крестьянах. Интересно сравнить предписания о порядке исполнения военной службы, издававшиеся английскими королями в X и в XI вв. Законами короля Этельстана (925—935 гг.) предусматривалась явка в ополчение двух конных воинов «от одного плуга»³⁸. Между тем в «Книге Страшного суда» (1086 г.) в разделе о землевладении в Беркшире читаем: «Если король посылает куда-либо войско, с пяти гайд должен пойти только один воин, а с каждой гайды следует поставлять его питание и содержание и 4 солида в течение двух месяцев. Эти деньги королю не посылать, а отдавать воинам»³⁹. Это свидетельствовало о том, что ко времени Нормандского завоевания крестьяне практически были освобождены от исполнения военной службы, ибо владение пятью гайдами не было крестьянским и, согласно англосаксонскому праву, давало привилегии тэна. В этот период человек, имевший менее пяти гайд земли, считался «безземельным», т.е. не обладавшим достаточно крупным владением для того, чтобы исполнять воинскую службу рыцаря⁴⁰. Как видим, освобождение крестьян от военной повинности означало для них дополнительную повинность по содержанию профессиональных воинов. Можно предположить, однако, что сдачу продуктов и платежи воинам крестьяне предпочитали службе в войске, отрывавшей их от хозяйства. Нормандское завоевание углубило функциональное разделение труда в английском обществе.

И в Скандинавии лейданг — обязанность свободного населения участвовать в охране морского побережья — была со временем заменена одноименным налогом, который должны были платить бонды, тогда как воинские функции стали концентрироваться в руках королевских дружинников. В силу медленного развития феодализма в скандинавских странах разделение труда между воинами и крестьянством не было здесь полным; тем не менее в XIII в. хирд — королевская дружина — играла в Норвегии более важную роль и обладала большей боеспособностью, чем народное ополчение, а в XII в. хирд становится средоточием сплачивавшегося вокруг короля господствующего класса рыцарей.

Думается, именно по указанным выше причинам многие свободные франкские аллодисты крестьянского типа, не будучи разорены, тем не менее искали покровительства церкви, передавая в ее пользу свои надельные участки на условиях *ргесагеа oblata*. О том, что вступившие под частную власть крестьяне сплошь и рядом были далеки от обнищания, свидетельствует самый факт их эксплуатации феодалами: как бы мог крупный земельный собственник заставить зависимого крестьянина отдавать ему прибавочный продукт своего труда, если он еще до вступления в зависимость якобы дошел до такой бедности, что не мог долее существовать самостоятельно, следовательно, не производил, видимо, в своем хозяйстве в достаточном количестве даже и необходимого продукта?! Между тем «прекарии вознаградительные» (*ргесарга remuneratoria*), как и «прекарии выданные» (*ргесарга data*), вряд ли можно считать наиболее характерными формами втягивания крестьян в зависимость от земельных собственников⁴¹.

Наряду с правом ношения оружия свободные общинники «дофеодального» общества обладали и другими правами-обязанностями: правом участия в сотенных и окружных собраниях, правом выступать в суде в качестве заседателей, соприсяжников и свидетелей. Эти права-обязанности также превращались в обузу

³⁸ II Aethelstan, 16.

³⁹ DB. I, 56 b.

⁴⁰ См.: Гуревич А.Я. Мелкие вотчинники в Англии раннего средневековья. «Известия АН СССР. Серия истории и философии», т. VIII, 1951, № 6, с. 548, сл.

⁴¹ См.: Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья, с. 176, сл.; Мильская Л.Т. Светская вотчина в Германии VIII—IX вв., с. 91-114.

для тех аллодистов, которые не имели в своих хозяйствах рабочей силы (рабов, держателей, домоладцев), достаточной для того, чтобы заменить их во время частых отлучек, сопряженных с занятием общественными делами. Но именно такие крестьяне составляли большинство населения. Источники свидетельствуют о том, что они постепенно перестают играть сколько-нибудь заметную роль в публичных собраниях, которые остаются народными больше по названию. Функции судей и соприсяжников все более переносятся на небольшую группу лиц, обособляющихся от остального населения. Так, в англосаксонском обществе эти функции с конца X в. могли исполнять только «достойные доверия тэны» или «родовитые тэны», т.е. лица, принадлежавшие к социальной верхушке. После Нормандского завоевания, закрепившего феодальный строй в Англии, исключение простолюдинов из числа судей было выражено чрезвычайно резко: вилланы и вообще все «низкие и неимущие люди» не могли исполнять судебных обязанностей, переданных в руки баронов⁴².

Не следует думать, что переход публичных функций к социально привилегированным группам всегда обязательно определялся стремлением последних закрыть крестьянам доступ в официальные судебные инстанции. Повидимому, мелкие крестьяне нередко видели в своем освобождении от обязанности посещать сотенные и окружные собрания не ущемление полноправия, а облегчение лежавшего на них бремени. Во всяком случае, это определенно видно из памятников норвежского права. Сохранность элементов старинной свободы у норвежских крестьян в феодальный период была сопряжена с их обязанностью посещать судебные собрания-тинги. (В Норвегии в большей мере, чем во многих других странах, сохранялась система народных собраний.) И тем не менее в «областных законах» мы встречаем предписания, которыми разрешалось всем бондам, не имевшим помощников в своих хозяйствах, не посещать тингов⁴³. Неявка же на тинг без уважительной причины считалась серьезным проступком, и установление наказаний за непосещение тингов свидетельствует об участившихся случаях уклонения бондов от исполнения этой обязанности. Затруднительность для простых крестьян совмещать свое хозяйство с активным участием в общественной жизни была одной из причин изменений, происшедших в системе народных собраний в северо-западной Норвегии — Трендалаге. Первоначально высшим собранием области был Эйратинг, на который должны были являться все совершеннолетние мужчины. Это был, следовательно, всеобщий тинг (альтинг). Однако со временем местом высшей судебной инстанции в Трендалаге сделался Фроста-тинг; сюда вызывались уже представители бондов, по 40—60 человек от округа-фюлька, остальное же население должно было лишь обеспечивать их продуктами на время посещения тинга. Точно также и в юго-западной Норвегии, в области Гулатинга, число бондов, обязанных являться на народное собрание, сокращалось. В конце XI в. на Гулатинг приходило до 400 бондов. Постановлением короля Магнуса Эрлингссона (1164 г.) это число было сокращено до 250. Во второй половине XIII в. число крестьянских представителей на тинге еще более сократилось: теперь их было всего около полутора человека. Тем не менее и эти последние подчас проявляли упорное стремление не ездить на собрания: недаром законы предусматривали случай, когда на областной тинг не являлся ни один человек из целого округа!⁴⁴

Сокращение представительства бондов изображается в законах как льгота, сделанная крестьянам королевской властью. Для бедного крестьянства это, несомненно, и было льготой, независимо от тех социальных последствий, которые неизбежно должно было иметь такое изменение крестьянского представительства в органах управления.

⁴² Leges Henrici, 29, § 1.

⁴³ Frostathengs-Lov, 1,4.

⁴⁴ См.: Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967, с. 156, сл.

В средневековой Исландии право-обязанность посещать общее собрание острова — альтинг — распространялось на всех свободных мужчин. Уклонявшиеся от посещения альтинга должны были платить выкуп, шедший в пользу участников альтинга (*thingfararkaup* — плату за поездку на тинг). Малоимущие пользовались льготой: от посещения альтинга они были освобождены.

В таких странах, как Исландия и Норвегия, обязанность посещать публичные собрания была особенно тяжелой, ибо население жило очень разбросанно, а в природных условиях Скандинавии (горы, фьорды) поездка даже на сравнительно незначительное расстояние подчас превращалась в целое путешествие. Трудность заключалась, однако, не только в этом. Уезжая на тинг, бонд оставлял свое хозяйство. Из саг видно, что бонды, принимавшие участие в собраниях тингов, были владельцами рабов, вольноотпущенников, имели многочисленных домочадцев, которые трудились в их усадьбах.

Единственным способом радикально избавиться от всех публичных обязанностей, сопряженных с правами свободного человека, в условиях раннего средневековья был отказ от этих прав, т.е. отказ от независимости, отличной свободы. Говоря о росте частной вотчинной власти, об иммунитете, обычно подчеркивают важную роль, которую он играл в укреплении власти феодалов над зависимым крестьянством, в его эксплуатации. Но наряду с этой совершенно правильной мыслью не позволительно ли будет высказать и другое предположение: в установлении частной власти вотчинника (не в дальнейшем развитии, которое обычно вело к усилению эксплуатации крестьян и к росту их бесправия, а именно в установлении ее) в ряде случаев могли быть заинтересованы и сами крестьяне. Тем самым они уклонялись от тягостной повинности участвовать в публичных судебных заседаниях, главное же — избавлялись от разорительных штрафов, грозивших свободному человеку. Вотчинник в собственном суде не был обязан придерживаться предусмотренной варварскими Пrawdами системы наказаний, которая сложилась еще в период, когда возмещения уплачивались не индивидом, а родственной группой.

Известно, что в число «людей наших» (*homines nostri*), упоминаемых в «Капитулярии о поместьях», входили, наряду с сервами, также и зависимые люди, из числа бывших свободных. В титуле IV капитулярия проводится разграничение между проступками, совершенными «людьми нашими» по отношению к господину, и преступлениями против «других людей», очевидно, не входивших в сферу его частной власти. Преступления второго рода караются «по закону»: очевидно, если преступник не был сервом или литом, его должны были судить в качестве свободного. Проступки же по отношению к господину наказывались, помимо уплаты возмещения, бичеванием («исключая человекоубийство и поджог, за что следует штраф»). Это значит, что одного и того же человека могли судить то как свободного, то как несвободного, в зависимости от характера преступления и от того, против кого оно было содеяно. Следовательно, свободный человек, отдавшийся под власть феодала, мог быть в ряде случаев судим как несвободный, что освобождало его от части ответственности за совершенный им проступок. Королем Кнудом в Англии было издано распоряжение, которым запрещалось господам выдавать своих зависимых людей то за свободных, то за несвободных, смотря по тому, как им легче было защищать их в суде⁴⁵.

Используя сеньориальную юстицию в качестве средства внеэкономического принуждения, а доходы от нее как один из каналов выкачивания из крестьян феодальной ренты, крупный земельный собственник вместе с тем не был заинтересован в полном разорении подвластных ему людей. Система наказаний в варварском обществе и в обществе феодальном (применительно к крестьянину) была

⁴⁵ II Cnut, 20, 1.

глубоко различна, и в общем, по-видимому, можно признать, что в последнем она в большей мере считалась с необходимостью сохранить крестьянское хозяйство (как объект эксплуатации), не допустить его до полного разорения. Достаточно напомнить статью 20 «Великой Хартии вольностей», запрещающую при наказании виллана конфисковать его инвентарь, необходимый для обработки его надела и домена лорда. Варварские Правды, напротив, нередко исходят из предположения о возможности полного разорения свободного в результате уплаты штрафа или вергельда⁴⁶.

Признание над собой судебной власти могущественного человека могло сулить многим крестьянам определенное облегчение социального и имущественного положения. Не этим ли нужно объяснить возникновение слоя сокменов в областях датских поселений в Англии? Сокмен первоначально не лишался прав на свою землю, но не должен был посещать судебную курию лорда — своего покровителя. Нет оснований считать причиной подчинения этих крестьян судебной власти лордов их обеднение. По мнению Е. А. Косминского, сокмены и *liberi homines* «Книги Страшного суда» относились к полнонадельным крестьянам⁴⁷. Между тем этот слой был очень многочисленным: в последней трети XI в. их насчитывалось до 23 тысяч хозяйств, т.е. около 9% общего числа крестьян, засвидетельствованных «Книгой Страшного суда» по всей Англии. Можно ли быть уверенным в том, что все они попали под судебную власть лордов в результате королевских пожалований иммунитетных прав — соки? Этот процесс, по-видимому, шел и «сверху», и «снизу»: наряду с наделением крупных феодалов королем широкими иммунитетными правами (иногда над целыми округами) происходило вступление свободных крестьян в судебную зависимость от них, и скорее всего последнее предшествовало королевским иммунитетным пожалованиям, оформлявшим уже сложившиеся или складывавшиеся отношения и расширявшим сферу судебной власти феодала.

Во всех упомянутых явлениях, на наш взгляд, можно обнаружить действие объективного исторического закона классового разделения труда. Энгельс писал об этом в «Анти-Дюринге»: «Разделение общества на классы — эксплуатирующий и эксплуатируемый, господствующий и угнетенный — было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока совокупный общественный труд дает продукцию, едва превышающую самые необходимые средства существования всех, пока, следовательно, труд отнимает все или почти все время огромного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от непосредственно производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусства и т.д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда»⁴⁸.

Само собою разумеется, разделение на классы, несущие различные общественные функции, совершалось в зависимости от распределения в обществе собственности, ибо в состав класса, освобожденного от производительного труда, могли входить преимущественно крупные собственники или служилые люди государя, а угнетенный класс образовали простые крестьяне.

В отличие от общественного разделения труда, под которым обычно понимают разделение населения по роду хозяйственных функций (разделение на производителей и купцов, на ремесленников и земледельцев и т.д.), то разделение труда, о каком говорит Энгельс, можно было бы назвать классовым, или

⁴⁶ См.: Грацианский Н.П. О материальных взысканиях в варварских Правдах. В его кн.: «Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья».

⁴⁷ Косминский Е.А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М., 1947, с. 382-383.

⁴⁸ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 292-293.

функциональным, разделением труда, ибо лежало в основе разделения общества на классы и социальные группы, выполняющие различные общественные функции.

Представители разных классов феодального общества как раз и выполняли разные общественно необходимые функции: производственную, военную, судебную, функцию управления, идеологические и религиозные функции; и класс, сконцентрировавший в своих руках функции, не связанные непосредственно с производством, использовал их в собственных интересах, в целях эксплуатации класса трудящихся. Энгельс, высказав мысль о том, что «в основе деления на классы лежит закон разделения труда», продолжает: «Это, однако, отнюдь не исключало применения насилия, хищничества, хитрости и обмана при образовании классов и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочивать свое положение за счет трудящихся классов и превращать руководство обществом в эксплуатацию масс»⁴⁹. Исходя из интересов эксплуататорского класса феодального общества, его идеологи говорили о божественном происхождении классов с разными функциями. Например, ланский епископ Адальберон в стихотворении, обращенном к французскому королю (начало XI в.), писал, что в «тройственном доме божьем» одни «молятся», другие «сражаются», а третьи «трудятся» и все эти сословия «едины» и «разделение их непереносимо»⁵⁰.

Подводя итоги рассмотрению развития классового общества в недрах первобытнообщинного строя, Энгельс выделял главное — общественное разделение труда: «Родовой строй отжил свой век. Он был взорван разделением труда и его последствием — расколом общества на классы. Он был заменен государством»⁵¹.

Как мы видели, в поисках новых социальных связей, которые могли бы заменить подорванные и ставшие неэффективными родоплеменные отношения варварского общества, люди вступали в группы, дававшие им защиту и помощь и основывавшиеся либо на равенстве, либо на подчинении и господстве. В гильдии или в союзе побратимов индивид находил некоторые средства для защиты своей личной свободы; но подобная корпорация не избавляла его от гнета раннефеодального государства и вряд ли могла предотвратить утрату им экономической самостоятельности. В защитные гильдии могли входить преимущественно люди, занятые неземледельческим трудом, — торговцы, воины, моряки. Вступая по воле сеньора, индивид утрачивал личную и имущественную независимость, но зато обретал покровительство и гарантию от посягательств всех других магнатов и государства. Под властью сеньора складывались «оптимальные» условия для занятий крестьянина сельскохозяйственным трудом. Развивавшееся в этот период разделение общественных функций сливалось с интенсивным формированием новых социальных связей в единый процесс феодализации — процесс создания тесных мирков сеньориального господства профессиональных воинов и духовных лиц над крестьянством.

Итак, ни в коей мере не отрицая факта прогрессирующей имущественной дифференциации, шедшей в обществе дофеодального и раннефеодального периода, и прямого обнищания части свободного населения, мы все же не в этих фактах видим основной источник превращения широких слоев свободных в зависимых, в держателей земли от крупных землевладельцев. Превращение свободных соплеменников в крестьян, в непосредственных производителей, поглощенных сельскохозяйственным трудом, не оставлявшим им возможности и средств для активного участия в политической жизни, в войнах и суде, делало неизбежным оттеснение их от исполнения этих общественных функций и концентрацию их в

⁴⁹ Маркс К. и Энгельс. Соч., т. 20, с. 293.

⁵⁰ Adalberonis carmen ad Rotbertum regem Francorum. *Migne J.P. Patrologiae cursus completus*. T. CXLI. Paris, 1853, col. 781—782.

⁵¹ Маркс К. и Энгельс. Соч., т. 21, с. 169.

руках военного и управляющего класса феодальных собственников. Иными словами, формирование крестьянства — не результат развития феодальных отношений, а причина их генезиса. По своей социально-экономической природе крестьянство, раздробляемое самим производством, представляет собой класс, не способный к самоуправлению, к самостоятельному активному участию в общественных делах; его кто-то должен представлять, выражать его интересы. В условиях раннего средневековья эту функцию неизбежно принимала на себя королевская власть, подчинявшая себе крестьян и сплачивавшая вокруг себя вооруженную часть общества — дружинников, служилых людей, а также духовенство. Классовое разделение функций здесь неизбежно приобретало характер феодальный.

Общественное разделение труда между классом крестьян и военным и управляющим классом феодалов — универсальное явление средневековья; конкретные его формы в разных странах были в высшей степени различны. В то время как во Франкском государстве это разделение общественных функций зачастую происходило путем самоотдачи крестьян под власть господ, в виде прекария и коммендации, в Англии оно осуществлялось прежде всего при посредстве королевских раздач целых деревень под власть церкви и служилых людей. пожалования на правах бокленда⁵² вели к установлению такого отношения между обладателем пожалования и населением бокленда, при котором крестьяне работали на магната, снабжали его средствами, необходимыми для содержания свиты и выполнения военной службы.

В этом варианте развития феодальных отношений под властью магната оказывались сразу группы крестьян — подчас жители целой деревни, даже нескольких деревень. Впрочем, нередко то же самое наблюдалось и в Германии — в результате пожалований имунитета над округами (вспомним «оттоновские привилегии»). В Скандинавии институтом, во многом близким к англосаксонскому бокленду, была вейцла. Право сбора «кормления» с жителей того или иного округа, которое принадлежало королю, могло быть передано им его приближенному, служилому человеку. В отличие от Англии, где бокленд жаловали навечно, в Скандинавии вейцлу передавали лишь на срок, обычно на срок жизни пожаловавшего и получателя пожалования. Это — существенное отличие, ибо в таких условиях господа-лендрманы и другие владельцы вейцл не могли закрепить пожалованное владение за своей семьей, так сказать, превратить бенефиций в феодал. Поэтому они оставались под постоянным контролем королевской власти. Другое отличие заключалось в том, что скандинавские бонды не утрачивали личной свободы и, будучи подвластными владельцу вейцлы, сохраняли свою правоспособность. Но существо отношения было тем же самым, что и в Англии: под властью владельца вейцлы находились крестьяне, своим трудом содержавшие его и обеспечивавшие тем самым возможность несения им военной службы. И здесь, следовательно, происходило общественное разделение труда между классом профессиональных воинов и классом трудящихся. В Скандинавии это разделение социальных функций было неполным, крестьяне не были совершенно устранены из сферы управления, суда и военного дела, но классом, который по преимуществу концентрировал в своих руках эти функции, было рыцарство, фрельсы — как их именовали в Швеции и Дании, свободные люди, т.е. освобожденные от уплаты налогов, получившие право присваивать эти поступления с подчиненных им бондов и использовавшие их для исполнения рыцарской службы. По нашему мнению, неполное освобождение норвежских бондов от общественных функций, не связанных с их производственной

⁵² См. выше, гл. I, § 1.

деятельностью, явилось одним из источников застоя крестьянского хозяйства и экономического развития страны в целом в XIII—XIV вв.⁵³

Германский король Генрих Птицелов, заботясь о создании в Саксонии военно-оборонительной системы, переселил в крепости воинов из числа сельских жителей (*milites agrarii*), заставив крестьян снабжать их продовольствием⁵⁴. В данной связи не имеет решающего значения вопрос о том, были ли эти воины крестьянами или королевскими министриалами⁵⁵, — существенно то, что королевская власть проводила политику разделения общественных функций между профессионалами-воинами и сельским населением, ставя крестьян на службу зарождающемуся рыцарству.

Еще раньше франкские государи, подчинив Южную Галлию, наделяли землями своих вассалов. В X в., когда в этих областях Франции появилось большое число крепостей с гарнизонами *milites*, последние получали продовольствие от жителей окружавшей местности. В более поздний период эти территории превратились в феодалы знатных владельцев крепостей⁵⁶.

Феодализм на ранней стадии характеризуется строем вооруженных дружин, живущих за счет эксплуатации сельского населения. Дружины имеют тенденцию организовываться в иерархию во главе с монархом. Власть представителя военного класса над крестьянами, которые дают ему средства к жизни, для вооружения и содержания его собственной дружины, распространяется обычно и на их землю; в этих случаях он выступает в качестве собственника земли своих крестьян. Но, как мы уже говорили, право собственности феодала на землю в период раннего средневековья было производным от его власти над населением. Крестьяне не утрачивали своих наделов и продолжали вести на них хозяйство и под властью феодала. Они по-прежнему тесно связаны с землей, независимо от того, прикреплены они к ней или нет, они — ее фактические обладатели, под какими бы «феодальными вывесками» ни скрывалось это отношение⁵⁷.

Намеченными выше основными линиями процесс феодализации в Европе, разумеется, не исчерпывался. В каждом отдельном варианте он приобретал свои неповторимые черты, обусловленные всей конкретной совокупностью местных условий. Нам хотелось указать прежде всего на общие социологические предпосылки генезиса феодализма, делавшие неизбежным переход от «дофеодальной» свободы к феодальной зависимости. Но для правильного понимания исторической перспективы, в которой совершался этот переход, необходимо остановиться на особенностях соотношения свободы и несвободы при феодализме и на самом содержании этих понятий в средние века.

⁵³ См.: Гуревич А.Я. Основные этапы социально-экономической истории норвежского крестьянства в XIII—XVII вв. В сб.: «Средние века», вып. XVI, 1959.

⁵⁴ Widukindi monachi Corbeinsis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres. I, 35. Ed. G. Waitz — R.A. Kehr. Hannoverae et Lipsiae, 1904.

⁵⁵ См.: Колесницкий Н.Ф. К вопросу о германском министриалитете X—XII вв. В сб.: «Средние века», вып. 20, 1961, с. 35.

⁵⁶ Lewis A.R. The Development of Southern French and Catalan Society 718—1050. Austin, 1965, p. 240, ff.

⁵⁷ См.: Маркс К. и Энгельс. Соч., т. 23, с. 729.

§ 2. «Несвободная свобода»

Свобода и несвобода занимают особое место среди центральных категорий социальной действительности раннего средневековья, имеющих прямое отношение к процессу становления феодализма. Как и к понятию собственности, к этим понятиям совершенно необходим строго исторический подход. Нет ничего более ошибочного, чем перенесение понятия свободы, выработанного одной эпохой, в иную историческую эпоху. Современное понятие свободы предполагает независимость от кого бы то ни было. Отсюда устойчивое сочетание почти синонимов «свобода и независимость»; свобода понимается как самоопределение. Далее, в содержание свободы входит ничем не ограниченное волеизъявление индивида, возможность располагать собой и «поступать так, как хочется», свобода воли. Понимание свободы, сложившееся в Новое время, включает идею всеобщего равенства и демократии; вспомним нерасторжимое единство лозунгов буржуазных революций «свобода, равенство и братство». Но подобное понимание свободы не имеет ничего общего — ни в сфере социально-политической, ни в сфере духовной — с пониманием свободы в средние века. Неверно было бы применять к обществу раннего средневековья и категории свободы и рабства, как они выработались в античном обществе, хотя в пережиточной форме они могли в какой-то мере сохраняться и после краха Римской империи.

Средневековое общество, строившееся на неравенстве и зависимости, тем не менее не было царством несвободы. Лишь при гервом и очень грубом приближении оно делится на свободных и несвободных: подобное расчленение не охватывает всех многообразных, разноплановых и текучих социально-правовых градаций этого общества, постоянных колебаний и переходов между свободой и несвободой. Когда мы говорим о свободе в средние века, то необходимо всякий раз ставить вопрос чья это свобода — дворянина, бюргера, крестьянина, так как содержание и смысл свободы каждого из них были различны. Далее возникает вопрос: какова степень этой свободы, — она всякий раз особая. Наконец, очень важно выяснить: по отношению к кому ее обладатель свободен? Ибо абстрактной категории «полной», или «абсолютной», свободы, «свободы вообще» средневековье не знало, также как была ему чужда категория «полной» несвободы. Этому обществу присущи бесчисленные ступени и оттенки свободы и зависимости, привилегированности и неполноправности. Были люди более и менее знатные, более и менее свободные.

В период, когда феодальное общество еще только складывалось, изменения свободы происходили в двух основных направлениях. С одной стороны, широкие слои мелких владельцев и свободных соплеменников, втягивавшихся в зависимость от магнатов, деградировали в социально-правовом отношении; с другой стороны, несвободные приобретали частичную правоспособность. Можно допустить, что в результате этих изменений обе группы сближались: превращение бывших свободных в зависимых держателей и испомешение бывших несвободных на наделах вело к ликвидации некоторых существенных различий между ними. Они занимали теперь одинаковое место в системе производства. Но делать отсюда вывод о том, что все крестьяне, будь то пришедшие в упадок свободные либо отпущенные на волю несвободные, слились в процессе феодализации в единую массу «крепостных», людей, по отношению к которым феодалы обладали «неполной собственностью», было бы неверно.

На всех стадиях истории феодального общества сохраняется многообразие степеней зависимости. Средневековое крестьянство всегда разбито на многочисленные социально-правовые прослойки, разряды и группки, каждая со своим, ей присущим статусом, правами и правовыми ограничениями. Сколь ни скромны были правовые возможности крестьянина, сколь ни сильна была его

зависимость и подчиненность господину, за ним признавались какие-то права, имущественные и личные.

Феодальное общество основывается на жестокой эксплуатации класса трудящихся крестьян. Но в отличие от рабовладельческой эксплуатации древности, средневековая эксплуатация зависимых крестьян обставлена правовыми нормами и обычаями. Средневековому праву чуждо понимание человека как вещи, существовавшее в римском праве применительно к рабам. И господин, и зависимый в средние века — оба субъекты, однако с различными правами и обязанностями. Крестьянин, считавшийся несвободным по отношению к своему господину, не был таковым же в отношении третьих лиц: *servus* одного, но *ab aliis liberrimus*. В то время как в древнем мире часть людей стояла вне права и была лишена какой бы то ни было свободы, в средние века понятия свободы, достоинства, статуса (*libertas*, *dignitas*, *status*) могли применяться не только к людям, но даже к вещам: к церквям, к землям и т.п. Имелась в виду совокупность прав, относящихся к владению или церковному учреждению. Надел имел свой статус, зачастую отличавшийся от статуса его держателя («ингенуильные», «литские», «сервилльные» мансы); земля пользовалась «правом» не платить подать; серв, вступив на «свободную землю», получал освобождение.

Средневековые не знают категории «свободы вообще», свободы, не связанной с конкретными индивидами или группой лиц. *Libertas* — это свобода данного индивида, отличающаяся от свободы другого. Сознание средневековых людей лишено представления о равенстве прав. Здесь действует принцип *sum cuique* — «каждому свое». На протяжении всего средневековья феодальные юристы постоянно были заняты скрупулезными изысканиями, направленными на установление статуса разных групп свободных и зависимых. Дело в том, что статус людей, принадлежавших к одной социальной категории, изменялся с течением времени и от одной местности к другой. Как не было единого понятия свободы, так отсутствовало и единое понимание несвободы, — его содержание изменялось, было текучим и противоречивым.

Например, французский серваж в IX в. отличался от серважа в X—XII вв., а последний — от серважа более позднего времени, причем всякий раз термином *serf* (*serf*) покрывались весьма неоднородные отношения и разные категории крестьян. «Есть много состояний серважа», — писал в конце XIII в. французский юрист Бомануар. Юридическое положение сервов было столь неоднородным и признаки серважа в такой мере варьировали, что современные специалисты не могут достигнуть единства в определении этого важнейшего средневекового французского института — единых критериев для него невозможно установить. Несмотря на норму права, гласившую, что все приобретенное сервом принадлежит его сеньору (римская традиция, трактовавшая имущество рабов как собственность их господ, здесь несомненна), в действительности сервы вступали во всякого рода имущественные сделки, приобретали и отчуждали не только движимое имущество, но и землю, могли владеть даже аллодами¹. Термин *servus* восходит к античности: так называли раба. Однако средневековый серв — отнюдь не раб. Он — юридический субъект; при всей ограниченности своей правоспособности он обладал рядом прав, которыми пользовались свободные люди. Этим он радикально отличался от раба древности или раннего средневековья. В отличие от другой категории французских крестьян — «вилланов», повинности которых лежали на земле держания и которые имели право покинуть своего господина, сервы не пользовались свободой в выборе сеньора, а их повинности имели наследственный характер и лежали на их личности. Кроме того, сервы были формально лишены права наследования имущества и свободы брака и

¹ См.: Perrin Ch.-E. Le servage en France et en Allemagne. «Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche». Vol. III. Firenze, 1955, p. 213.

должны были платить соответствующие пошлины господину. Тем не менее сервы — не крепостные: как уже упоминалось², в XI—XIII вв. ни в одном документе среди признаков серважа не упоминалось прикрепления к земле. Сервы находились в «телесной зависимости» (*homines de corps*) от своих господ, т.е. лично были с ними связаны, подчинялись их власти и юрисдикции, но не считались, подобно римским колонам, *servi glebae*. Находясь в зависимости от сеньора, серв мог приобрести держание на стороне, но степень его зависимости от других землевладельцев была меньшей, и они не могли требовать от него платежей, являвшихся признаком личной подвластности и бросавших на его личность «пятно» несвободы: эти повинности по-прежнему взыскивал с него основной сеньор. Таким образом, будучи противопоставлены свободным (Бомануар говорил о трех состояниях людей: «благородных» — *gentillese*, «от рождения свободных» — *franc naturellement* и сервах), сервы в то же время не были ни рабами, ни крепостными. Возникает предположение, нельзя ли назвать сервов «полусвободными»? Симптоматично, однако, что это понятие в средние века не употреблялось. Серваж — особое, специфически средневековое социально-правовое состояние, в котором своеобразно переплетались черты свободы и несвободы. Качественные особенности положения сервов обуславливались в первую очередь, по-видимому, их непосредственной зависимостью, личной подвластностью сеньору³.

Изменения в юридическом статусе крестьян отражали их социально-экономическое положение и соотношение классовых сил в обществе, но лишь в конечном счете, а не непосредственно, так как на статус держателей влияли и многие другие обстоятельства, помимо способа и степени их эксплуатации: политическое положение в стране, общая расстановка общественных классов, способность господствующего класса контролировать положение крестьян, наличие или отсутствие свободных земель, плотность населения, правовая традиция, влияние римского права и многое другое.

Юридический статус и фактическое положение держателя сплошь и рядом были различны. В результате одного и того же человека можно было назвать одновременно и несвободным, и свободным. Так, в одном завещании VIII в. упоминались «два раба, один из коих свободен (*liber*), а другой — раб (*servus*)». В XI в. Клунийский монастырь получил в дар земли с рабами и рабынями (*cum servis et ancillis*), среди которых были свободные (*liberi*) и рабы (*servi*)⁴.

В отдельные периоды в некоторых странах Западной Европы наблюдается тенденция к усилению зависимости крестьян, к их прикреплению, т.е. всякого рода ограничению их юридических возможностей и, в частности, их права покинуть землю и выйти из-под власти господина, — то, что называют «закрепощением». Тем не менее, как уже подчеркивалось выше, комплекс явлений, известных под названием «крепостничества», остался в целом чуждым Западной Европе не только в эпоху становления, но и в последующую эпоху расцвета феодализма; о крепостничестве в собственном смысле можно говорить лишь применительно к Восточной Европе конца средних веков. Эта оговорка очень важна, так как понятия «закрепощение», «крепостничество», «крепостное право» содержат в себе указания на полное бесправие крестьян, на их подчиненность произволу господина. Вспомним слова В.И. Ленина о том, что крепостное право в России почти ничем не отличалось от рабства. Но именно этого и не было в Европе периода раннего средневековья, где в полурабской зависимости находились одни лишь дворовые.

Как правило, проводилось разграничение между личными и имущественными правами крестьянина: они были ограничены в разной мере, — и, следовательно,

² См. выше. гл. I, §1.

³ См.: Bloch M. *Melanges historiques*. T. I, p. 305, 315, 356, 373.

⁴ См.: Boutruche R. *Seigneurie etfeodalite*. Paris, 1959, p. 128,307.

между правом сеньора на личность и на имущество зависимого крестьянина. Даже если господин обладал широкой властью над крестьянином, эта власть имела определенные правовые рамки и не была произвольной. Английские вилланы в XIII в. были несвободны и бесправны по отношению к своим лордам, но в отношениях с посторонними лицами они обладали значительными правами. Английский юрист Брактон, писавший в период наивысшего расцвета вилланства в Англии, утверждал, что все приобретенное вилланом принадлежит его господину. Но вместе с тем он признавал: приобретенная вилланом земля считается как бы его собственностью, если лорд не «наложит на нее свою руку», и виллан может ею распоряжаться как своей и вчинять относительно ее судебные иски. Это признание особенно ценно в устах феодального юриста, который, следуя принципам римского права, приравнивал средневекового виллана к античному рабу⁵.

Естественно, сейчас речь идет о праве, о юридическом статусе крестьянина, а не о тех фактических нарушениях и злоупотреблениях сеньоров своей властью, которые обычно происходили в феодальной действительности. Право и жизненная реальность всегда в той или иной степени расходятся, между ними существуют противоречия, но это обстоятельство не превращает права в пустую фикцию. Во всяком случае, в средневековом обществе право играло колоссальную роль в социальной жизни, не только отражая — в идеализированной, нормализованной форме — реальное положение, но и воздействуя на жизнь общества.

Представление о том, что в средние века господствовало «право сильного» или даже «кулачное право», — по меньшей мере односторонне. Господство «права сильного» наступало обычно в моменты нарушения нормального течения жизни: в периоды войн, в обстановке чужеземного господства, при обострении классовой борьбы и в особенности когда феодалы учиняли расправу над побежденными крестьянами; «право сильного» ощущалось на большой дороге, в других мало доступных для правосудия местах. Но «право сильного» было не правом, а прямым насилием, которое современниками так и осознавалось. То было вопиющим нарушением закона, права, нормы и должно было подвергнуться искоренению.

Говоря о средневековом праве, нужно иметь в виду следующие обстоятельства. Во-первых, средневековое общество, консервативное в самой основе, базируется на обычае, ориентировано на «старину», и всякое изменение или нарушение традиции воспринимается в нем как нечто неестественное, чуждое его природе; нарушенное равновесие должно быть возможно скорее восстановлено. Во-вторых, средневековое сознание ставит закон выше людей, считает, что право вообще не создается людьми: оно представляет собой естественную часть миропорядка, это Божье установление; законодатель, собственно, лишь «отыскивает», восстанавливает право уже существующее, но, возможно, забытое либо искаженное, но не создает нового права. Право обладает такими неотъемлемыми в глазах средневекового человека качествами, как старина и справедливость: право всегда «старое» и «доброе». Первое из этих качеств предполагает второе и наоборот⁶. Записавший «Саксонское зеркало» Эйке фон Репков прекрасно выразил средневековое отношение к праву: «Век господства несправедливого обычая ни на миг не может создать права»⁷. Право рассматривается в этом обществе (во всяком случае, в теории) как воплощенная мораль.

Наконец, в отличие от римского права, представлявшего собой законченную, согласованную систему, дававшую предустановленную форму для практического поведения, средневековое право формировалось эмпирическим путем, на основе бесчисленных локальных обычаев, прецедентов и отдельных казусов и не сложилось

⁵ Select Passages from Bracton and Azo. Ed. *Maitland F. W.* London, 1895. f. 5, 25.

⁶ См.: *Kern F.* Recht und Verfassung im Mittelalter. «Historische Zeitschrift», 120. Bd., 1919.

⁷ *Sachsenspiegel. Landrecht.* Hrsg. *Von Eckhardt K.A.* Berlin—Frankfurt, 1955, S. 228.

в единое и непротиворечивое целое. Для него характерны не столько общие нормы, сколько частные привилегии и установления, вызванные к жизни конкретными потребностями момента. Эта особенность средневекового права нередко порождает у современного человека впечатление, что в средние века господствовал произвол. Но такое впечатление односторонне. Общество не может не строиться на праве. Разумеется, в классовом обществе право отражает в первую очередь интересы господствующего класса, но эти интересы всегда оформляются юридически. В конце концов в этом заинтересован и сам господствующий класс.

На протяжении всего периода раннего средневековья крестьянство выступало в защиту «старины», обычного права, даже и тогда, когда фактически оно боролось за новые права. В народных выступлениях этого периода мотив отстаивания старинных вольностей был одним из ведущих. Идеал старинной народной свободы воодушевлял крестьян на сопротивление господам. Остававшееся свободным крестьянство понимало свободу как жизнь по собственному праву и свободу от податей как противоположность сеньориальному господству. Борьба зависимых крестьян за облегчение своего положения под властью сеньоров и за сокращение эксплуатации также осознавалась ими как борьба за восстановление прежних вольностей. И эта борьба давала определенные результаты. Сколь принижены ни было положение зависимых крестьян, за ними приходилось все же признавать какие-то права. Поскольку феодальная эксплуатация основывалась на наделении крестьянина земельным участком, феодал должен был позаботиться о том, чтобы крестьянин мог вести свое хозяйство, более того, чтобы у него существовала хотя бы минимальная заинтересованность в его обработке. При господстве произвола и грубой силы, когда отсутствуют элементарные гарантии сохранения за производителем надела и необходимого продукта его труда, нормальное феодальное воспроизводство попросту невыносимо. Мы уже не говорим о таком факторе, оказывавшем воздействие на положение крестьян, как соперничество между феодалами из-за рабочей силы, когда крупные землевладельцы стремились переманить к себе крестьян, создавая для них более льготные условия, чем их прежние господа.

Права крестьян не столько фиксировались законом, сколько закреплялись обычаями. Но обычай был разным в разных частях страны и варьировался даже в пределах отдельной области. Положение крестьян никогда не нивелировалось. Они делились на многочисленные юридические категории и разряды. Их статус, сочетавший элементы свободы и несвободы, был различен даже в один и тот же период. Поэтому попытки определить его для крестьян целой страны (как это делали, например, английские феодальные юристы в XII и XIII вв.) не могли отразить реальной пестроты социально-правовых категорий крестьянства.

Проблема личного статуса — одна из центральных проблем права в средние века. Может быть, как раз здесь мы затрагиваем главную особенность феодального права. Если юридические проблемы античности концентрировались вокруг имущественных и политических прав граждан и управления государством; если в буржуазном обществе право преимущественно служит задаче регулирования имущественных отношений, то в обществе феодальном правовые усилия направлены в первую очередь именно на вопросы юридического статуса лиц, определения их сословных прав и обязанностей, их правовых возможностей и взаимоотношений, того, что в Англии в конце англосаксонского периода было названо *rectitudines singularum personarum*. Поземельные отношения неразрывно связаны с личными, сословными отношениями и нередко от них получают свою окраску и самый смысл.

Как возникли эти специфические черты средневекового права? Нужно, по-видимому, разграничивать основу, на которой оно сложилось, и питавшие его источники. Основой формирования сословного права средних веков и, в частности,

спектра градуированных свобод и зависимостей (может быть, лучше сказать: свободы-зависимости) явилась сама действительность феодального общества, характеризующегося такой системой социальных отношений, при котором люди объединены в замкнутые группы, сочлененные между собой иерархическими связями. В каждой из таких групп (общин, корпораций, цехов, братств, орденов, союзов, гильдий), а также в каждом сословии, правовом разряде, ранге существует относительное равенство; членство в группе, союзе гарантирует их участникам сохранение присущего им статуса и определенной степени свободы и правоспособности. Но эти группы, построенные «по горизонтали», сообщаются с группами другого статуса «по вертикали»: между ними уже нет равенства; члены разных сословных групп находятся между собой в отношениях службы, зависимости, неравенства. Строй крупного землевладения, эксплуатирующего крестьян, и военная вассальная организация определяют основные черты всей этой системы.

Что касается источников средневековых отношений свободы-зависимости, то нужно указать по меньшей мере на два таких источника. Первый — градуированная свобода варварского общества, в котором право неразрывно связывалось с его носителем — общественной группой. Каждая из групп варварского общества — свободные, знатные, полусвободные — обладала своим правом, специфической совокупностью прав и обязанностей, преимуществ или ограничений, и никакого абстрактного, в равной мере ко всем членам общества приложимого права не существовало⁸. Это представление о единстве статуса и его обладателя и о правах отдельного лица как члена группы сохранилось и в средние века, где в течение долгого времени продолжал действовать принцип персонального права: каждого судили «по его закону»⁹, а общего права для всей страны и всех подданных государства не было.

Вторым источником, определившим специфику средневекового права, было христианство с его пониманием проблем свободы и несвободы человека. Неверно, конечно, считать, что христианская религия несовместима с общественной несвободой и что церковь боролась против рабства. Средневековые богословы отмечали разительный контраст между христианским учением о равенстве людей перед Богом и об освобождении их в результате искупительной жертвы Христа, с одной стороны, и социальной действительностью — с другой: «По высокому закону небес все люди свободны, но человеческий закон знает рабство». Это противоречие объясняли грехопадением первых людей, которое по воле Божьей должно быть искуплено земными страданиями рода человеческого. Смирение перед Творцом, служение ему с любовью — залог грядущего освобождения; истинная свобода — на небесах. Подобно этому и долг серва — повиноваться, слава же господина — освобождать его от неволи. Учение церкви благоприятствовало закреплению зависимости крестьян от господ. Но вместе с тем в рабстве видели неестественное состояние человека, созданного Богом свободным и оказавшегося в несвободе вследствие конфликта с Богом. Ниже мы вернемся к вопросу о влиянии христианства на понимание свободы в средние века. Сейчас нужно лишь отметить, что из взаимодействия обоих названных компонентов — представления варваров о градуированности личных прав и христианского учения об отношении человека с Богом — и развились средневековое феодальное право и понимание свободы и несвободы с их соответствующими градациями как ступеней в социальной иерархии.

В марксистской литературе проблема средневековой свободы всесторонне не разрабатывалась, хотя отдельные аспекты ее затрагиваются в различных исследованиях. Для понимания этой проблемы особенно существенное значение имеют идеи А.И. Неусыхина о позитивном содержании понятия свободы как

⁸ Подробнее см. гл. II, § 2.

⁹ *Capitulare de villis*, 4.

реальной совокупности прав и обязанностей членов варварского общества, о нерасчлененном поначалу единстве прав и обязанностей, что дает основание считать эту свободу равнозначной полноправию. Дальнейшую эволюцию свободы и ее дифференциацию на привилегированность одних и неполную («ущербную») свободу других, начинавшую сближаться с несвободой, А.И. Неусыхин связывает с изменениями в отношении собственности на землю: утрата аллодов все возрастающей частью членов феодализировавшегося варварского общества и, на другом полюсе, концентрация земельной собственности возвышавшимися социальными группами вели к возникновению многозначительности и градуированности содержания свободы, характерных для феодализма¹⁰. Эти мысли представляются чрезвычайно плодотворными. Они открывают широкую перспективу для дальнейшего исследования содержания свободы в средневековом обществе. В частности, точка зрения, согласно которой свобода соплеменника в варварском обществе имела определенное позитивное содержание, а не определялась лишь негативно (как противоположность рабству), дает ключ к расшифровке многих проблем социальной истории раннего средневековья. Не менее важна идея градуированности и многозначности свободы в эту эпоху.

Мысль А.И. Неусыхина о характере связи свободы и собственности нуждается, как нам кажется, в дальнейшей проверке. А.И. Неусыхин видит в этой связи причинное отношение: изменение собственнических прав влечет за собой изменение прав личных; последние определяются первыми. Тот, кто обладал земельной собственностью в варварском обществе, был свободен и полноправен. Тот, кто утратил свое земельное владение, не мог сохранить независимости и, следовательно, лишался старинной народной свободы, деградировал, становился неполноправным. Однако можно представить себе это отношение и несколько иначе. Дело в том, что как право обладания землей, так и личные права человека были в конечном счете обусловлены принадлежностью его к коллективам: к роду, семье, племени. Вне этих коллективов не могло быть ни свободы, ни владельческих прав индивида, и поставленный вне них (т. е. «вне закона») преступник, изгой, лишался не только прав на землю и прав свободного соплеменника, но и права на жизнь: всякий мог его убить, как зверя. Таким образом, и владельческие права, и свобода-полноправие члена варварского общества были функцией его принадлежности к этому обществу и к образовавшим его ячейкам.

Между собственностью и свободой в период раннего средневековья вряд ли существовала прямая и обязательная причинно-следственная зависимость. Уже упоминалось, что люди, находившиеся в личной зависимости от сеньоров, подчас могли приобретать земельную собственность и даже иногда имели право ею распоряжаться, что отнюдь еще не изменяло их несвободного статуса. С другой стороны, лица, лишенные земли, могли сохранять свободу, а вступив на службу к сеньору в качестве военных слуг, приобретали новые права и привилегии. Таким образом нередко возвышались несвободные, достигая более благоприятного юридического статуса, чем свободнорожденные. Наконец, признание свободным человеком власти над собой господина или покровителя не всегда и не обязательно влекло утрату им прав на свою землю: английские сокмены были в судебном отношении подчинены лордам, однако те не имели никаких прав на их наделы. Видимо, свобода и собственность в феодализировавшемся обществе находились в более сложном и противоречивом отношении. Аллод, видоизменившись, не исчезает и при феодализме, тогда как старая народная свобода, существовавшая в варварском обществе, не пережила его и сменилась запутанной, но имевшей свою логику системой личных прав, обязанностей, зависимостей, градаций и служб, характерных

¹⁰ См.: *Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства...*, гл. I.

для феодального строя. «Дофеодальная» свобода частично, в измененном виде сохранялась преимущественно лишь на «периферии» феодального мира — в Швейцарии, во Фрисландии, в Исландии, в других скандинавских странах.

Проблема свободы в средневековом обществе еще более осложняется тем, что в понятие свободы входило не только социально-правовое, но и морально-религиозное содержание. Известно, что право, выражая господствующие производственные отношения и отношения собственности, вместе с тем несет на себе отпечаток тех моральных ценностей, которыми живет и руководствуется общество. Поскольку же в средние века этические нормы были одновременно и религиозными истинами, то религиозное понимание идеи свободы не могло не накладывать отпечаток и на ее правовое толкование.

Генезис феодализма начинается в обществе, переживающем глубокий социальный и духовный кризис. Переход варваров от язычества к христианству, сколь поверхностным поначалу он ни был, в конечном счете влек за собой перестройку всей картины мира, переоценку традиционных ценностей, выдвижение в сознании людей новых моральных категорий. Если к проблеме изменения формы религиозного сознания подойти как к проблеме сдвига в общественном самосознании, то мы увидим, что победа христианства означала переосмысление значимости человека и его места в мире.

В язычестве божества, воздействуя на жизнь людей, вместе с тем и сами были подвластны безличной необходимости, силе, стоящей над ними и управляющей всем космосом, — року, судьбе. Сознание неизбежности космического порядка требует от человека беспрекословного ему повиновения и выполнения общественных предписаний; своеволие, личная инициатива могут нарушить гарантированное всеобщей регламентацией равновесие, необходимое для благополучия мира и общества (между ними осознанной грани не существовало). В «Прорицании вёльвы» — памятнике скандинавской мифологии, рисующем историю сотворения мира и предсказывающем его гибель и второе рождение, отразились взгляды людей в переломный период перехода от язычества к христианству. В день конца существующего мира погибнут и боги, подчиняясь неизбежной судьбе. В этой песне в единую мировую трагедию связываются моральный упадок людей и гибель богов, нарушивших клятвы и договоры. Моральное равновесие социальной системы варваров рухнуло в ходе их переселений и завоеваний, столкновения с цивилизованным миром. Перед ними возникли новые проблемы, социальная жизнь чрезвычайно усложнилась. Традиционное обращение к мифу и привычному ритуалу не могло разрешить новых противоречий и подсказать поведение, которое соответствовало бы новой реальности. Все это неизбежно порождало кризис в сознании.

Языческие верования варваров соответствовали племенному строю: божества германцев были связаны с определенной местностью, на которую распространялись их могущество и покровительство, это были племенные боги. Представление о космосе строилось по образцу усадьбы, в которой проживал варвар.

Разрушение привычных племенных и кровных связей у варваров сделало их сознание доступным учению о равенстве людей перед богом. Христианство выдвигало новую систему отношений: человек — Бог, в которой человек оказывался высшим творением бога, поставленным им в центре мироздания, а Бог — свободным Творцом, не подчиненным необходимости и ничем не связанным, руководствующимся лишь собственной волей и замыслом. В этом новом для варваров антропологическом понимании Бога содержалось иное понимание человека и иное понимание его свободы. Признав свободу за Богом, человек не мог не

признать ценности свободы и для себя¹¹. Согласно христианскому учению, Бог сотворил человека свободным, и самое его грехопадение — доказательство тому. Но первородный грех привел к утрате людьми свободы, они стали рабами своих страстей. Спасение человека достигается в форме милости Божьей, получаемой, однако, по воле самого человека. Каждое человеческое существо представляет собой арену борьбы, ведущей к спасению или к гибели. Как достичь спасения? Христианство отвечало: путем подчинения Богу. Чем вернее человек служит Богу, чем более он отрекается от себя, тем он свободнее. В глубочайшем своем смысле свобода есть служение Богу. Следовательно, свобода и несвобода в сознании людей средневековья утратили метафизическую противоположность. Свобода стала предполагать подчинение, служение, верность; вера (*fides*) в Бога понималась как верность (*fidelitas*) ему. Напротив, тот, кто не повинуется Богу, кто мнит себя свободным, на самом деле — ниже всякого раба, он погиб. Земная свобода, по учению богословов, не подлинная свобода, — это лишь обманчивый образ. Истинные свобода и благородство заключаются в добровольном подчинении Творцу. Для средневековых религиозно-этических конструкций, распространявшихся и на право, характерно противопоставление «свободного рабства перед Богом» (*libera servitus*) «рабской свободе мира» (*servilis mundi libertas*). Свобода исчезает с нарушением верности.

Естественно, христианская проповедь имела в виду внутреннюю, духовную свободу, свободу от греха («где дух Божий, там и свобода»). Но религиозное учение об освобождении через смирение, самоотречение и службу давало этическое обоснование новому общественному взгляду на свободу. Из этой пары понятий: «служба» и «свобода» именно служба доминирует в христианском сознании. Принцип службы и иерархии пронизывает все отношения, организует весь социальный и духовный мир средневекового человека.

Свобода в средневековом обществе — это не независимость, не самоопределение. «Иметь сеньора нисколько не противоречило свободе»¹². Быть свободным не значит ничему и никому не подчиняться. Напротив, чем свободнее человек, тем в большей мере он подчинен закону, обычаю, традиционным нормам поведения. Действительно, раб не подчинен закону, тогда как свободный человек обязан ему повиноваться. В «Саге об Олафе Святом» Снорри Стурлусон рассказывает о том, что король Норвегии запретил вывоз зерна из одной области страны в другую. Знатный человек Асбьярн, нуждавшийся в зерне, приехал к своему знатному родичу Эрлингу с просьбой продать ему зерно. Тот отвечал, что не может этого сделать, так как король запретил торговлю зерном, и не принято, чтобы слово короля нарушалось. Но Эрлинг предложил выход: «Мне кажется, мои рабы должны иметь зерно, так что ты можешь купить сколько нужно. Они ведь не состоят в законе или праве страны с другими людьми»¹³. Здесь отчетливо проявляется средневековое сознание того, что закон — это связь людей (связь как объединение и как ограничение); закон существует, однако, не для всех; несвободные не связаны его предписаниями, тогда как для свободных и тем более для знатных они обязательны. Оказывается, то, что не положено делать свободному, может безнаказанно совершить несвободный. Можно говорить о «свободной несвободе» и, соответственно, о «несвободной свободе» в средние века.

Рыцарь, дворянин свободнее крестьянина, простолюдина. Но эта свобода благородного выражается не только в обладании привилегиями, которых лишен неблагородный, но и в необходимости подчиняться целой системе правил и

¹¹ См.: *Gusdorf G.* Signification humaine de la liberte. Paris, 1962, p. 81—82; *Gilson E.* L'esprit de la philosophie medievale. 2. serie. Paris, 1932, ch. V.

¹² *Block M.* La societe feodale. La formation des liens de dependance. Paris, 1939, p. 398—399.

¹³ *Heimskringla*. II. Olafs saga helga, kap. 117.

ограничении, ригористичных предписаний этикета, не имеющих силы для простых людей. Свобода состоит, следовательно, не в своеволии или беззаконии и не в облегчении строгости закона. Свобода состоит в добровольности принятия на себя обязательства исполнять закон, в сознательности следования его нормам. Рыцарь или священник свободно, по доброй воле вступает в отношения с сеньором или с церковью, принимая на себя определенные обязательства. Всякий раз принятие этих обязательств облекается в форму индивидуального акта: омажа, присяги, заключения договора, посвящения, пострижения, сопровождающихся публичной церемонией. Наоборот, несвобода серва, или, что то же самое, «свобода» его от закона — недобровольна: она унаследована от предков, ибо он несвободен «по крови», от рождения, он серв уже в утробе матери, и выбора ему не предоставлено. Серв живет не по своей воле и не по закону, а по воле господина. Здесь действует произвол, но не закон. Брактон не нашел более точного определения английского виллана, чем указание на то, что он не знает сегодня вечером, что велит ему господин делать завтра вечером, что велит ему господин делать завтра утром. Действительность не соответствовала этому определению, вилланы были подчинены поместному обычаю, фиксировавшему отношения между ними и лордом, и знали, какие повинности и в каком размере, когда и где должны исполнять. Но идея, что серв живет не по своей воле, а по воле другого, лучше всего выражала средневековые представления об основаниях свободы и несвободы.

То, что подчинение и зависимость не только не противоречили в этом обществе свободе, но и сплошь и рядом являлись ее источником, видно из положения несвободных слуг и министерялов, которые получили свободу и привилегии вследствие исполнения военной службы в пользу короля или других могущественных князей. В понятии «Свободное рабство» (*liberum servitium*) для средневекового человека не было ничего противоречивого. Во Франкском государстве для сохранения и упрочения своей свободы многие искали покровительства у короля, вступая в личную от него зависимость: обладание лишь старинной народной («публично-правовой») свободой не гарантировало общественного положения.

Показательно направление, в каком происходило в период феодализации общества изменение содержания понятий, обозначающих зависимых людей. «Человеком» (*homo*, *homo*) в раннее средневековье называли несвободного; в более позднее время, когда стали оформляться отношения вассалитета, эти термины стали применять к свободным вассалам на господской службе. Точно так же древнеанглийский термин «*сniht*» (нем. *Knecht*), «раб», «слуга» затем приобрел значение «оруженосец», «рыцарь». Подобную же трансформацию претерпели термины «маршал», «сенешал», «майордом» и некоторые другие, первоначально обозначавшие рабов, слуг, а в феодальную эпоху ставшие титулами высших сановников. «Тэн» (*thegn*) из слуги превратился в знатного вассала короля. Термин «*баро*», «человек», «вассал» в феодальном обществе стал феодальным титулом. Эти изменения значений социальных терминов, вне сомнения, отражают сдвиги в общественной структуре. Во всех приведенных случаях эволюция термина свидетельствует о восхождении человека по социальной лестнице, о повышении его сословного статуса вследствие «благородной» службы сеньору¹⁴.

Высокое общественное положение рыцарства в период раннего средневековья в значительной мере определялось службой, ее особым военным характером, а также наличием земельного владения и власти над людьми; хотя окончательное замыкание дворянства в наследственное сословие происходит в более поздний период, и в это

¹⁴ Ж. Кальметт предположил, что термин «*vassus*» представляет собой латинизированное кельтское *gwas* («человек»). *Calmette J. La societe feodale*. Paris, 1927, p. 17. В этом случае опять-таки ясно видно направление, в котором социальная действительность моделировала понятия.

время принадлежность к знатному роду имела немалое значение. Личнонаследственный статус преобладал в ранне-феодальный период над социально-имущественным. Выполняемая общественная функция в большей степени влияла на социальное положение феодала, чем наличие у него земельных владений. В ряде областей Европы знать еще могла пополняться выходцами из других общественных слоев и не достигла той стабильности своего состава, которая делается для нее более характерной в период оформления феодальных сословий¹⁵.

Можно отметить еще одно изменение в социальной терминологии: сдвиги в соотношении понятий «знатность» и «свобода», происшедшие в средние века. Во франкский период термин «nobilitas» подчас был эквивалентом «libertas»: тот, кто владел аллодом и не имел среди предков рабов, мог считаться nobilis, «благородным». Между тем в развитом феодальном обществе «свободными» — в полном смысле слова — именовались уже одни благородные, высшие вассалы, знатные сеньоры: в этом именно смысле применялся к баронам термин «liber homo» в «Великой Хартии вольностей». Вассалитет сливается со знатностью, а знатность — со свободой.

Таким образом, идея связи свободы со службой господину, с подчинением и зависимостью не ограничивалась одной сферой религиозно-этических представлений, она отражала реальную социальную практику складывавшегося феодального общества. Однако совершенно невозможно принять всерьез утверждение немецких историков Э. Отто и А. Вааса, что средневековая свобода вообще была возможна лишь в форме подвладности и имела своим источником господство короля или сеньора над свободным. Эти авторы игнорируют существование старой «народной» свободы, частично сохранившейся и в феодальную эпоху¹⁶. Но между свободой и зависимостью, при всей контрастности этих категорий для нас, в средние века установилась функциональная связь.

Другую особенность средневековой свободы составляло то, что она не имела вполне индивидуального характера. Обладать свободой в той или иной степени значило принадлежать к группе, социальному слою, сословию, которое пользовалось определенными, только ему присущими правами, привилегиями, особым статусом, и в рамках которого все его члены были равными. Вне этого сословия соответствующие права не имели смысла и не существовали. Средневековая свобода — корпоративная свобода, регламентируемая правилами корпорации.

Итак, в период генезиса феодализма происходил не только упадок старой «народной» свободы соплеменников. Было бы неправомерным упрощением ограничиваться утверждением, что свобода сменялась зависимостью. Переход от «дофеодального» строя к феодализму невозможно адекватно представить в категориях «упадка» или «подъема» в отношениях свободы (хотя поскольку античное рабство изжило себя и разлагалось, рабы поднялись в социально-правовом отношении). Средневековая свобода — не пережиток племенной свободы варваров, так же как и феодальная зависимость — не ослабленная форма рабства. Это иная по своему содержанию система социальных связей, качественно новые отношения свободы-зависимости, характеризующиеся множеством градаций и переходов.

Проблема свободы в раннефеодальном обществе приобрела в современной медиевистике особенно большое значение в связи с теорией «королевских свободных» (Konigsfreie), развиваемой группой западногерманских историков, во главе которой стоит Т. Майер и которая представлена такими учеными, как Г. Данненбауэр, К.З. Бадер, В. Шлезингер, И. Бог и др.

¹⁵ Замыкание знати в разных странах происходило не в одно и то же время и в неодинаковой мере.

¹⁶ См.: Otto E.F. Adel und Freiherr im deutschen Staat des friihen Mittelalters. Leipzig, 1937; Waas A. Die alte deutsche Freiheit, ihr Wesen und ihre Geschichte. 1939.

Вкратце содержание этой теории сводится к следующему¹⁷. Древнегерманское общество было не демократическим, как полагали большинство ученых в XIX в., а аристократическим; в нем господствовала знать, располагавшая землями, бургам, зависимыми держателями, остальное население находилось у нее в подчинении. Поэтому переход от германской древности к раннему средневековью не характеризовался каким-либо коренным переворотом в социальном строе: знать по-прежнему занимала в обществе господствующее положение. Более того, в эпоху Меровингов и Каролингов происходит не столько упадок свободного крестьянства, сколько его формирование.

Столь парадоксальная точка зрения объясняется тем, что некоторые сторонники этой теории вообще отрицают существование широкого слоя старосвободных или рядовых свободных людей (*Gemeinfreie*) в социальной структуре раннесредневековой Европы. «Независимый в правовом, сословном, хозяйственных отношениях «свободный крестьянин», самостоятельно трудящийся в своей усадьбе, представляет большую проблему или загадку социальной истории раннего средневековья, — пишет К.Босль, — говоря откровенно, его невозможно обнаружить, да его и нельзя включить в эпоху, основные черты и предпосылки которой для этого не подходят»¹⁸.

Согласно теории «королевских свободных», свободное крестьянство начинает складываться во Франкском государстве благодаря политике королевской власти, заботившейся об укреплении своих позиций. С этой целью франкские короли создавали слой военных поселенцев, людей, наделенных землей и обязанных исполнять военную службу в пользу государства. Из числа литов, полусвободных и других неполноправных и зависимых людей, находившихся под личной властью и покровительством короля и получивших от него свободное состояние, создается слой *Königsfreie*. Расселение «королевских свободных» в пограничных районах Франкского государства и в завоеванных областях, освоение ими пустовавших до того земель, несение воинской повинности характеризуют их отношение к королю и накладывают решающий отпечаток на их правовое и общественное положение. «Королевские свободные» явились той социальной базой, опираясь на которую франкские монархи смогли проводить широкую внешнюю завоевательную политику и держать в подчинении знать. Однако раздаривание государями прав и власти над «королевскими свободными» светским и церковным магнатам и присвоение последними коронных доменов вели к ослаблению и исчезновению связи *Königsfreie* с королевской властью и к их растворению в широкой массе вотчинно-зависимых крестьян, сидевших на землях магнатов¹⁹.

Таким образом, свобода крестьян, в понимании историков этого направления, оказывается продуктом королевской политики и функционально связана с государством — творцом социальной структуры и права. Свобода, по их

¹⁷ Специальный критический разбор этой теории см. в статьях: Данилов А.И., Неусыхин А.И. О новой теории социальной структуры раннего средневековья в буржуазной медиэвистике ФРГ. В сб.: «Средние века», вып. 18, 1960, и Колесникий Н.Ф. Современная немецкая буржуазная историография о феодальном государстве в Германии (там же), а также в кн.: Неусыхин А.И. Судьба свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв., с. 9—16.

¹⁸ Bosl R. *Frühformen der Gesellschaft*, S. 161. Т. Майер не отрицает существования в средневековой Германии «старосвободных», но утверждает, что они были немногочисленны и не составляли самостоятельного слоя («сословия»). Mover Th. *Die Entstehung des «modernen» Staates im Mittelalter und die freien Bauern*. ZSSR, GA, 57. Bd., 1937, S. 279.

¹⁹ См.: Mayer Th. *Mittelalterliche Studien*. Lindau und Konstanz, 1960; *Das Problem der Freiheit in der deutschen und schweizerischen Geschichte*, hrsg. von Th. Mayer («Vorträge und Forschungen», II. Bd.). Lindau und Konstanz, 1955; Dannenbauer H. *Herrschaft und Staat im Mittelalter*. Darmstadt, 1956; *Adel und Bauern im deutschen Staat des Mittelalters*, hrsg. von Th. Mayer. Leipzig, 1943; Bog I. *Dorfgemeinde, Freiheit und Unfreiheit in Franken*. Stuttgart, 1956; Schlesinger W. *Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*. I—II. Göttingen, 1963.

утверждениям, предполагает господство и порождается им. Советские историки уже продемонстрировали научную несостоятельность теории «королевских свободных» и основанных на ней построений и исследовательских методов историков — ее приверженцев. Особое сословие «королевских свободных» не засвидетельствовано ни «варварскими Правдами», ни картуляриями и формулами, ни политиками; истолкование источников историками школы Т. Майера тенденциозно и произвольно²⁰.

Нет никаких оснований соглашаться с тезисом об отсутствии в древнегерманском и в раннесредневековом обществах широкого слоя свободных — рядовых, полноправных, ни от кого не зависящих людей. Их существование, вопреки утверждению К. Босля, не «загадка» и вполне «вписывается» в картину той эпохи, если, разумеется, не представлять ее себе столь односторонне и предубежденно, как это склонны делать Т. Майер и его последователи.

Признание наличия в древнегерманском обществе родовой знати, пользовавшейся влиянием и авторитетом среди соплеменников, отнюдь не дает возможности принять антиисторический взгляд сторонников указанного направления относительно извечности аристократического строя у германцев. Древнегерманская знать и знать раннефеодального общества — далеко не одно и то же, это две различные и по происхождению, и по существу общественные группы, хотя переходы и элементы преемственности между ними могли иметь место²¹.

В противовес теории «королевских свободных», истолковывающей свободу в обществе раннего средневековья как негативную категорию (поскольку она возникает в результате избавления зависимых и неполноправных людей от неволи), советские исследователи обнаружили позитивную природу свободы соплеменника в варварском обществе²² и наполнение свободы в феодальную эпоху новым содержанием²³.

Свобода не возникает впервые в ходе перестройки франкского общества и в связи с политикой королевской власти. И этот тезис историков школы Т. Майера невозможно принять. Королевская власть не создает социальную структуру, исходя из интересов своей политики. Тем не менее следует отметить, что эти историки в мистифицированном и искаженном виде затронули очень важную проблему. Это проблема трансформации свободы, происходящей при переходе от варварского общества к обществу раннефеодальному, проблема качественных изменений в содержании свободы крестьян в новых социальных условиях. Вместе с тем это и проблема отношения между свободным крестьянством и государством в феодальную эпоху. Ложная трактовка проблемы свободы в трудах упомянутых выше западных историков не делает ложной самую проблему. К сожалению, в нашей медиевистике, давшей справедливую отрицательную оценку взглядам западногерманских историков, не была подмечена рациональная проблематика, обремененная в фальсифицирующие построения. Между тем новые вопросы в науке подчас ставятся первоначально в искаженной формулировке, нередко дискредитирующей их содержание.

Приведенный в предшествующих разделах книги материал дает основание, как нам кажется, утверждать, что королевская власть действительно играла активную роль в процессе развития феодальных отношений. Мы видели, как значительная часть свободных общинников подпала под власть церкви и светских господ

²⁰ См.: Данилов А.И., Неусыхин А.И. Цит. соч., с. 120—134.

²¹ См.: Бессмертный Ю.Л. Некоторые проблемы социально-политической истории периода Каролингов в современной западноевропейской медиевистике. В сб.: «Средние века», вып. 26.1964, с. 105, сл., 113—114.

²² См.: Неусыхин А.И. Возникновение зависимого крестьянства..., с. 33.

²³ См. выше, § 1.

вследствие раздач королями своих прав по отношению к этим крестьянам. Право сбора угощений, кормлений, посещения пиров, которые устраивались соплеменниками для короля (князя), передавалось им своим приближенным, монастырям, служилым людям; тем самым свободные крестьяне оказывались подчиненными получателям пожалований, а кормления и продуктовые поставки, утрачивавшие добровольный характер по мере укрепления королевской власти, в руках знатных лиц и церковных учреждений перерастали в феодальную ренту. Таким путем происходило в Англии «освоение» феодалами крестьян и их земель, пожалованных королями на правах бокленда. Тенденция к превращению кормлений и даней в регулярные подати и поземельные платежи обнаруживается и в скандинавских странах. Эволюция термина «вейцла» в этом отношении очень показательна. Первоначальное его значение — «пир», «угощение». Но затем он приобретает дополнительное значение — «кормление»; по таким кормлениям, упорядоченным и ставшим обязательными для крестьянства, разъезжали конунги. Вейцлой стали называть и материальное обеспечение, которое получал служилый человек короля (так и называвшийся — вейцламан), поставленный им «кормиться» в определенной местности. Наконец, термин «вейцла» распространился на самую эту местность: она сделалась округом кормления. В отличие от англосаксонского бокленда, территория которого из округа кормления превратилась в вотчину, скандинавская вейцла этой эволюции, видимо, до конца не прошла. Однако тенденция развития ясна. Напрашивается параллель между скандинавской вейцлой и древнерусским полюдьем, которое со времен Ольги опиралось на систему княжеских погостов. Дальнейшее «окняжение» и «обоярение» кормлений и деревень, с которых они следовали, вело к превращению погостов в вотчины²⁴.

Историки, стоящие на точке зрения теории *Königsfreie*, утверждают, что «королевские свободные» якобы принадлежали королю; поэтому он и мог передавать их монастырям и светским магнатам. Но данные источников, на которые ссылаются эти историки, нуждаются в ином истолковании. Пожалование свободных людей и их земель церкви или знати — еще не доказательство того, что эти люди стояли в особом личном отношении к королю, а их владения принадлежали ему на праве собственности. Выше уже неоднократно подчеркивалась неправомерность применения понятия «частная собственность» к поземельным отношениям эпохи раннего средневековья. Жалованные грамоты и другие документы той эпохи могли говорить о передаче всех прав, включая свободу неограниченного распоряжения, — фразеология юридических документов была заимствована из римского права. Но в действительности за этой традиционной фразеологией и терминологией скрывались новые отношения, далеко уже ей не соответствовавшие. Подлинным объектом королевских пожалований сплошь и рядом были не зависимые люди и не земли, являвшиеся собственностью короля, но те полномочия и права, которыми он реально располагал по отношению к своим свободным подданным, в том числе и аллодистам: право сбора кормлений и даней, присвоения судебных штрафов, право суда, военная власть. Все эти права или часть их король жаловал магнатам. Но эти пожалования, при таком их понимании, никак не могут свидетельствовать о личной зависимости от короля крестьян, являвшихся объектом пожалований (вернее, пожалований прав по отношению к этим крестьянам). Критики теории «королевских свободных» уже отметили то решающее обстоятельство, что крестьяне, на которых распространялись пожалования, сохраняли право свободного распоряжения своими землями, и что, следовательно, их земли не расценивались королем как его «полная собственность»²⁵.

²⁴ Юшков С. Эволюция дани в феодальную ренту в Киевском государстве в X—XI вв. «Историк-марксист», кн. 6, 1936.

²⁵ См.: Данилов А.И., Неусыхин А.И. Цит. Соч., с. 129.

Современный словарь не дает вполне адекватных понятий для описания подобных явлений. Можно, конечно, говорить о пожаловании прав «верховенства», о передаче «публичной власти» над крестьянами, о «верховной собственности» короля, о ранней форме его феодальной собственности, но все эти определения неточны и могут запутать дело. Трудность состоит в том, что передача королем полномочий (еще одно не слишком удачное выражение!) знатному лицу или монастырю не носила, строго говоря, ни публично-правового, ни тем более частноправового характера, ибо самое разграничение «публичного» и «частного» не осознавалось в такой форме²⁶. Поэтому мы предпочитаем говорить о передаче власти над людьми, жившими на определенной территории, власти, которая отчасти могла распространяться и на их земли.

Следовательно, пожалования королями власти над свободными людьми и собираемых с них доходов — пожалования, которые играли огромную роль в генезисе феодализма у англосаксов и в Скандинавии, практиковались и на континенте Европы, в частности во Франкском государстве²⁷. Отношения между королевской властью и свободным крестьянством выглядят, однако, далеко не так, как это рисуют сторонники теории «королевских свободных». Источники сообщают не об особом сословии лично подчиненных королю и получивших от него статус *Konigsfreie*, а о широкой массе свободных крестьян — рядовых свободных (*Gemeinfreie*), свобода которых претерпевает определенные изменения в результате королевских пожалований. Но дело не в одних пожалованиях.

Еще более существенно то, что между раннефеодальным государством и свободным крестьянством устанавливались противоречивые отношения. Свободные люди представляли для королевской власти контингент армии, на их собраниях решались местные дела, они участвовали в судах, в охране порядка. До тех пор пока существовал достаточно широкий слой свободных аллодистов, королевская власть находила в них свою социальную опору и могла противостоять притязаниям магнатов²⁸. В тех странах, где свободное крестьянство не исчезает и в феодальную эпоху (в Англии, в Скандинавии), королевской власти удавалось противодействовать центробежным силам. В этих странах долго не изживались традиции «военной демократии» и король в какой-то мере продолжал играть роль предводителя народа.

Свободные крестьяне, со своей стороны, нуждались в покровительстве короля и органов его власти, защищавших их — пусть непоследовательно — от притеснений церковных и светских господ. Кроме того, в короле они видели воплощение благополучия страны и народа²⁹.

См.: *Корсунский А.Р.* Образование раннефеодального государства в Западной Европе, с. 149.

²⁶ «Феодализм... есть отрицание этого разграничения». *Pollock F. and Maitland F. W.* The History of English Law. Vol. I. Cambridge, 1898, p. 230.

²⁷ См.: *Колесницкий Н.Ф.* К вопросу о раннеклассовых общественных структурах. В сб.: «Проблемы истории докапиталистических обществ». Кн. I, с. 621, сл.

²⁸ См.: *Корсунский А.Р.* Образование раннефеодального государства в Западной Европе, с. 149.

²⁹ Представления о сакральной природе королевской власти у германских народов — не измышление реакционных историков, как утверждают Н.Ф. Колесницкий (всб. «Средние века», вып. 18, с. 154, ел.), Э.Вернер (*Werner E.* Charismatisches Erbe merowingischer Adelssippen? «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», XV, 1967, S. 1207—1211) и некоторые другие ученые. Эти представления не возникли впервые под влиянием христианства, которое, вне сомнения, усилило их и по-новому обосновало, но, по-видимому, существовали еще в языческую эпоху. Если это кажется спорным для историков, изучающих источники по истории континентальных германцев (см. критические замечания А.И. Неусыхина по адресу К. Гаука в сб.: «Средние века», вып. 20, 1961, с. 294—300), то источники по истории скандинавов дают на этот счет большой материал. Мнение С. Пекарчика о том, что учение о сакральной природе королевской власти в Скандинавии — результат сознательной пропаганды «в современном смысле» (*Пекарчик С.* Сакральный характер королевской власти в Скандинавии и историческая действительность. «Скандинавский сборник», X, Таллин, 1965, с. 177. Далее автор несколько смягчает свои утверждения, см. там же, с. 183, 189, ел.), на наш взгляд,

Но по мере роста окружавшего короля служилого слоя происходило укрепление самостоятельности королевской власти на новой основе: король в меньшей мере нуждался в народном ополчении, отдавая предпочтение профессиональному конному тяжеловооруженному войску. Вместе с тем крестьяне, поглощенные сельскохозяйственным трудом, не могли регулярно выполнять функции воинов, участников народных и судебных собраний³⁰. Между крестьянством и королевской властью вырастал новый слой военных и служилых людей, постепенно сосредоточивавших в своих руках воинские функции, управление, суд. Свободное крестьянство, за исключением его верхушки, поставившей пополнения в этот феодализировавшийся социальный класс, утрачивало свое прежнее значение в глазах короля и все более превращалось в объект эксплуатации.

Отныне короли ценили в свободных людях не столько политическую силу, способную играть активную роль в общественных отношениях, сколько плательщиков податей, кормлений, исполнителей государственных барщин и служб³¹. С них требовали поставки кораблей, транспортных средств, лошадей, продуктов, фуража, участия в постройке и ремонте укреплений, дорог, в перевозках, предоставления постоя людям короля, короче говоря, использовали их в качестве носителей государственного тягла. От воинской службы они также не были освобождены, но поскольку далеко не всем мелким владельцам она была под силу, то им приходилось либо в складчину снаряжать одного воина от нескольких наделов, либо оставаться дома, работая на более обеспеченных людей, уходивших на войну. Воинская служба, являвшаяся прежде признаком свободы и полноправия, одной из наиболее почетных обязанностей члена племени, превращалась для основной массы свободных крестьян в тяжкое бремя, от которого они чаяли избавиться³².

Свобода этих людей, тесно сопряженная с государственным тяглом, оказывалась своеобразной формой зависимости от королевской власти, источником их эксплуатации государством и его представителями. Вместе с тем, как мы видели, слой свободного крестьянства и его земли явились тем резервом, из которого короли производили пожалования в пользу церкви и знати.

Таким образом, функциональная связь крестьянской свободы с государственной властью в период раннего средневековья действительно существовала. Однако она имела совершенно иной характер, нежели это предполагали сторонники теории «королевских свободных»: свобода крестьян не создавалась королевской властью, но она трансформировалась в условиях развивавшегося феодального государства, коренным образом меняя свое существо. Из свободы-полноправия членов варварского общества она превращалась в ограниченную, ущербную свободу-зависимость подданных короля.

В этом свете, очевидно, и нужно рассматривать вопрос о свободном крестьянстве в феодальном обществе. На средневековой крестьянской свободе явственно отпечатывается основной антагонизм этого общества.

Распространено мнение, что феодализм исключает свободу крестьянства, что становление феодального строя сопровождается всеобщим закрепощением сельского населения и что свободная крестьянская собственность — «преходящее» явление в эпоху раннего средневековья. Выше уже была показана неверность этих утверждений. Даже в наиболее феодализированных странах Европы на протяжении

рационализирует подлинную картину духовной жизни и религиозно-политических представлений скандинавов дохристианской поры.

³⁰ См. выше, § 1.

³¹ См.: Колесницкий Н.Ф. Исследование по истории феодального государства в Германии (IX — первая половина XII века). М., 1959, с. 224—225.

³² См. выше, § 1.

всего средневековья сохранялась прослойка свободных крестьян, не находившихся в зависимости от крупных землевладельцев. Наряду с ними существовали лично свободные крестьяне, подчиненные сеньорам чисто номинально. Они обладали собственными землями и могли ими распоряжаться без вмешательства сеньора. Ренту они платили символическую: пару шпор или перчаток, каплуна, фунт воска и т.п. Этот «чинш в знак признания зависимости» от сеньора не имел никакой материальной ценности. Судебная зависимость таких людей от сеньоров, если она вообще имела место, была легкой. По сути дела, это свободные владельцы, подчиняющиеся феодальному принципу «*nulle terre sans seigneur*».

Многие историки склонны считать прослойку свободных аллодистов, сохранявшуюся в тех странах, где основная масса крестьян была втянута в вотчинную зависимость, пережиточным явлением, осколком «дофеодальной» социальной системы, расценивать ее в качестве признаков незавершенности феодализации. Но, во-первых, такого рода «незавершенность» наблюдается почти повсеместно. В той же Франции — «классической» стране феодализма — существовали районы с высоким процентом аллодиальных землевладельцев³³. В Германии, Англии этот слой был еще шире. Велик он был и в Италии, и в других странах Европы.

Во-вторых, представление о свободе крестьян в средние века как пережитке «дофеодальной» эпохи не подходит к странам, в которых свободное крестьянство преобладало. Видеть в свободном крестьянстве средневековой Норвегии только наследие варварского общества — значит отказаться что-либо понимать в ее социальной структуре, которая ведь и базировалась на свободных бондах. Но этот «заповедник» крестьянской свободы с XII или с XIII в. знал феодальный строй вооруженных дружин, феодальную монархию и церковь, имел господствующий класс, живший за счет крестьянства. Следовательно, речь должна идти не о том, что феодализм якобы несовместим с крестьянской свободой, а о том, как он с нею реально соотносился. Ссылкой на пережитки мы ровным счетом ничего не объясним. Мы видели, что свобода крестьянства в феодальном обществе качественно отличается от свободы соплеменников в варварском обществе. Нас не должно вводить в заблуждение то, что средневековая крестьянская свобода-зависимость может внешне напоминать старую «народную» свободу германцев. Восходя генетически к «дофеодальной» свободе, свобода средневекового крестьянства — новая по своему содержанию. Она может быть правильно понята только в контексте феодальной системы, интегральной частью которой она является. Будучи функционально связана с феодальным государством, средневековая крестьянская свобода включается в механизм социальных связей феодального общества, налагая на них свой отпечаток и во многом определяя особенности всей общественной системы.

³³ См.: Грацианский Н.П. Бургундская деревня в X—XII столетиях. М.—Л., 1935. Lewis A.R. The Development of Southern French and Catalan Society...; Boutruche R. Une société provinciale en lutte contre le régime féodal. Rodez, 1947.

Заключение

Почему в Европе возник феодализм? На этот вопрос наука еще не дала достаточно убедительного ответа. Однако, по меньшей мере, один важный результат историками достигнут: был отвергнут целый ряд предложенных объяснений. Продемонстрирована несостоятельность попыток искать решение этого вопроса в классовых конфликтах античного мира¹: борьба рабов и других угнетенных против господствующего класса была бесперспективна в социологическом смысле: она не открывала никакого выхода из кризиса позднеимперского общества. Римская социально-политическая система потерпела крах не потому, что в недрах ее созрели новые общественные силы, — не исключено, что в этом случае она бы проявила способность к трансформации. Не находит никакой опоры в конкретных данных истории и мысль о том, что феодализм якобы сменил систему рабства вследствие развития производительных сил, сделавшего неизбежным переход к более прогрессивным производственным отношениям. В первые столетия после падения Империи в экономической жизни во многих отношениях наблюдался регресс по сравнению с древностью, прогресс становится заметным только при сопоставлении раннего средневековья с эпохой варварства, которая тогда закончилась для большинства народов Европы. Но и при таком сопоставлении вряд ли можно обнаружить значительные качественные сдвиги в экономике. Малое производство при господстве натурального хозяйства не создавало сколько-нибудь широких возможностей для повышения производительности труда. В целом уровень производства в период раннего средневековья не был выше уровня производства, достигнутого в античности; наоборот, долгое время он даже был ниже.

Но и развитие варварского общества само по себе не порождало феодализма. Возможности этого общества изменяться, по-видимому, нередко переоцениваются. Ни в производстве, ни в социальной структуре, ни в политической организации варварские племена Европы, в первую очередь германцы, не переживали коренных сдвигов на протяжении периода, предшествующего Великим переселениям народов. Их социальная структура была такова, что способность ее эволюционировать была чрезвычайно ограничена. То, что общественный строй варваров был очень консервативным, лучше всего доказывается анализом общественных отношений *lex* народов и племен, которые не переселились на территорию Империи. Сопоставление данных скандинавских источников XII—XIV вв. с сообщениями античных авторов о древних германцах обнаруживает сходство поистине поразительное, если учесть, что между рассказом Тацита и записями права Норвегии и Швеции пролегло более тысячелетия!

Великий спор между романистами и германистами об истоках феодализма не принес победы ни одной из сторон именно потому, что поиски истоков нового общества они вели в неверном направлении. Идея романо-германского синтеза, взаимодействия социальных отношений Рима и варваров представляется более перспективной. Однако конкретизация этой идеи — скорее пожелание, чем уже достигнутый наукой результат.

Очевидно, для разрешения «загадки» генезиса феодализма требуется выдвижение новых гипотез, подход к этой старой проблеме с разных сторон.

Выше было высказано предположение, что взаимодействие варваров с покоренным ими населением Империи открыло путь к развитию феодализма прежде всего потому, что вызвало крах традиционной социальной системы германцев, не пережившей перипетий завоеваний и переселений. Человек, не находя более поддержки со стороны сородичей и соплеменников, вынужден вступать в новые

¹ См.: Корсунский А.Р. Проблема революционного перехода от рабовладельческого строя к феодальному в Западной Европе. «Вопросы истории», 1964, № 5.

общественные связи, которые могли бы дать ему помощь и защиту и удовлетворить потребность в интеграции в составе «малой группы».

Человек варварского общества — всегда член органической группы. Вне таких групп он не был способен существовать в качестве полноправного деятельного члена общества. Устойчивые и в достаточной мере сплоченные социальные группы были необходимым условием как материальной, так и духовной его жизни. Не только в хозяйственном и имущественном отношениях, но и социально-психологически варвар нуждался во включении в определенную плотную сеть социальных связей. Распыленность социальной практики члена варварского общества, который был и трудящимся, и членом народного собрания, и воином, и участником судебных сходов, находила отражение в отношениях индивида с социальным целым: варвар не представлял собой вполне обособленной личности. Неразвитость человеческой индивидуальности (в понимании ее, сложившемся в Новое время) в этом обществе и отсутствие частной собственности (опять-таки в буржуазном ее понимании) — явления, между собой связанные: человек не представлял собой субъекта, четко и осознанно противопоставлявшего себя как социальному, так и природному и вещному окружению, в котором он видел бы только объект приложения собственных сил, способностей и прав. В своей духовной, моральной жизни он был ориентирован не «вовнутрь», а «наружу»: ее центр находился не в нем, но в группе, к которой он принадлежал; его поведение в наименьшей степени определялось индивидуальным выбором или личными склонностями, он был подчинен системе регламентации, навязываемой обществом.

Расшатывание родовой структуры было вызвано завоеванием, которое привело варваров в совершенно чуждую им по всем показателям среду и поставило перед необходимостью организовать над ней свое господство. Вековые связи варварского общества ослабевали и рвались, окончательно распадался род, большая семья делилась на малые (индивидуальные) семьи, изменилась община. Те социально-правовые разряды, которые составляли основу стратификации варварского общества — знать, свободные, зависимые, — дифференцировались, утрачивали бывшее определяющее значение. Между тем социальная «валентность» человека — потребность его в обладании определенным набором общественных связей и способность их поддерживать — не ослабевала. Мы можем представить себе индивида, входившего в варварское общество, как «ядро», в которое стягивалось известное число социальных «нитей», связывавших его с другими индивидами. Если некоторые из старых «нитей» рвались, возникала необходимость завязать новые отношения.

Но в изменившихся общественных условиях уже не удавалось восстановить связи прежнего типа, возникали качественно новые связи. На смену связям по крови, родовым отношениям приходили отношения территориальные, соседские, отношения между побратимами, членами защитных гильдий, товариществ. Люди, лишившиеся поддержки родственников, вынуждены были искать покровительства у могущественных особ. Место сородича в системе социальных связей начинал заступать господин. Отношения между сеньором и вассалом первоначально строились в известной мере по образцу отношений родства; в памятниках раннего средневековья часто встречается прямое сопоставление первых и вторых. Таким образом, распад родовых отношений своей оборотной стороной имел создание социальных связей сеньориально-вассального типа, отношений господства и подчинения.

В этих новых группах воспроизводилась традиционная ориентация человека на группу, по-прежнему подчинявшую его поведение строгому конформизму. Сама же группа, в которую входил индивид, была ориентирована «вовнутрь», представляла собой замкнутый, самостоятельный и самоудовлетворяющийся мирок,

с относительно слабыми связями с другими группами. Однако общество не может вовсе распасться на изолированные самодовлеющие ячейки. Поскольку мы говорим об обществе, предполагается какая-то форма общения между составляющими его группами; общество есть система социальных связей. Такая система существует в раннефеодальном обществе. Носителями межгрупповых связей здесь выступают лица, возглавляющие малые группы, прежде всего сеньоры. В их руках сосредоточиваются те социальные функции, которые прямо не связаны с производством: военная, судебная, управленческая, религиозная.

Таким образом, переход к феодальному разделению труда выражался в функциональной специализации членов общества. Отныне индивид был либо только земледельцем, либо исключительно воином, духовным лицом. Круг его общественных интересов сужался, но поле деятельности становилось более интенсивно насыщенным. Внимание и навыки крестьянина сосредоточивались на труде, рыцаря — не ратных занятиях, клирика — на общении с Богом и духовных заботах о пастве. Вырабатывались различные типы человеческих индивидов, соответствовавшие роду занятий и классовой принадлежности. Человек оказывался прикованным к той социальной роли, которую он играл в обществе. Он подчинялся определенным моральным требованиям, предъявляемым к нему его классово-сословным статусом.

Переход от варварского общества к феодальному, следовательно, означал и смену типов индивидов. Этот переход в плане социально-психологическом был столь же сложным и длительным процессом, как и самый генезис феодального строя, составной частью которого он являлся. Но невозможно говорить о становлении человеческой личности в современном смысле слова. Индивид по мере углубления общественного разделения труда все более срастался со своей социальной ролью. Он представлял собой крестьянина, ремесленника, купца, рыцаря, священника, но не личность, которая занимается сельским хозяйством, ремеслом, торговлей, несет военную или церковную службу. Иначе говоря, его занятие, общественная роль, функция, которую он выполнял, принадлежность его к определенному классу и сословной группе определяли всю структуру его индивидуальности.

Феодальное общество — общество относительно жестких статусов, стабильных сословных категорий. Социальная мобильность ему не свойственна. В рамках статуса и профессии человек пользовался относительной свободой и мог выражать себя и свои личные качества в своей деятельности и в эмоциональной жизни. Но индивидуальная свобода как широкая возможность выбора жизненного пути и личного поведения в средние века была ограничена. В этом смысле в феодальном обществе никто не был лично свободен — от зависимого крестьянина до князя и государя. Самосознание человека могло развиваться в той степени, в какой оно было связано с его социальной ролью. Поэтому феодальное сословное общество воспринималось его членами как естественный социальный порядок: индивид не перерос его и вряд ли мог вполне сознавать свою несвободу. Принадлежность к группе была важным источником сознания социальной устойчивости и чувства уверенности индивида, — как то было и в варварском обществе.

Повторяем, перестройка структуры человеческого индивида — неотъемлемая сторона развития «дофеодального» общества к феодализму. Выработка нового отношения индивида к обществу и нового типа человеческого самосознания была частью процесса становления механизма социального контроля, присущего феодальной системе.

Но очень многое в этом новом феодальном механизме было заимствовано — в измененной или даже в традиционной форме — у предшествовавшего общества. Феодальный строй не порывает полностью с варварской социальной структурой, он включает в себя ее элементы.

Пути формирования феодальных отношений были различны: все зависело от местных условий и исторических традиций. Во Франкском государстве были распространены самоотдача крестьян под власть магнатов и дарения земель в пользу церкви: оказываясь в результате такого дарения и связанной с ним коммендации под властью духовного лица или церковного учреждения, крестьянин продолжал владеть своим хозяйством, но поскольку он отныне не был полноправным свободным, то и не обязан был исполнять военную службу; в этом заключалось определенное преимущество прекариста перед мелким свободным аллодистом.

В некоторых других странах самоотдача крестьян под власть магнатов не была столь распространена. Здесь функциональное общественное разделение труда осуществлялось по преимуществу путем раздач государем служилым людям или церкви тех доходов, которые он собирал с крестьян. Получатели пожалований и дани приобретали возможность существовать за счет этих крестьян и в той или иной мере подчиняли их своей власти. Нечто подобное нередко происходило и при пожаловании иммунитета.

Формы установления власти феодалов над крестьянами были разными, неодинакова была и степень подчинения крестьян и лишения их личной свободы; конечный результат повсеместно был один и тот же: создание отношений господства и подчинения, которые распространялись уже не на одних рабов, вольноотпущенников и других несвободных или полусвободных людей, но охватывали главную часть населения. Возникали классы феодальных господ и зависимых подданных. Общественное разделение труда становилось источником эксплуатации и угнетения феодалами крестьян.

Нельзя не заметить: в этой книге нет определения феодализма. Оно не дано не потому, конечно, что автор, претендующий на рассмотрение ряда проблем генезиса феодального строя в Западной Европе, сам не знает, что именно возникало и формировалось. Напротив, внимательный читатель, несомненно, составил себе представление о понимании феодализма, которое лежит в основе книги. Но представление о феодализме и определение феодализма — не одно и то же. Первое может быть достаточно гибким, изменчивым, способным включать по мере необходимости различные оттенки и освещать разные стороны проблемы. Второе по необходимости отличается известной жесткостью, отработанностью, однозначностью; определить — значит «определить», «поставить предел». Но, призывая к новому рассмотрению проблемы генезиса феодального строя, автор как раз и не хотел исключать те или иные вопросы, которые не вытекают из принятого определения феодализма, но постановка которых, возможно, оказалась бы плодотворной для его понимания.

В характеристику феодальной формации, которая принята в нашей медиевистике, обычно включаются следующие основные признаки: (1) противоречие между крупной собственностью на землю и мелким производством крестьян; (2) внеэкономическое принуждение, необходимость которого проистекает из этого основного противоречия в производственных отношениях. Условный характер земельной собственности и ее иерархическая структура, а равно и иерархия самого господствующего класса считаются «внешними, правовыми признаками» феодализма²: надстраиваясь над системой производственных отношений, они не входят в существо феодализма³.

² См.: «История средних веков», т. I.M., 1966, с. 10—11; Барг М.А., Сказкин С.Д., История средневекового крестьянства в Европе и принципы ее разработки, с. 69.

³ Во введении (см. стр. 191) мы отпращивались от указанных двух признаков феодализма как исходных для дальнейшего анализа.

Нельзя не согласиться с существенностью указанных основных признаков феодального строя. Но, будучи принципиально важными, они сами по себе еще недостаточны для его появления. Более того — эти признаки характеризуют не один лишь феодализм. И крупное землевладение с эксплуатацией мелких производителей, и внеэкономическое принуждение встречаются в других социальных системах, помимо феодальной, играя в них также чрезвычайно важную роль. Не по этой ли причине многие историки были склонны видеть феодализм в поздней Римской империи?

Дело, однако, не в отдельных признаках. Если понимать общественную формацию как систему, все основные элементы которой между собой взаимосвязаны и находятся в функциональном взаимодействии, то для ее характеристики недостаточно выделения одного-двух критериев, сколь бы существенными они ни были. Очевидно, необходимо принимать во внимание и другие стороны этой социальной системы. Их соотношение и степень относительной важности вряд ли можно установить априорно. Иначе говоря, нужно выйти за пределы одних лишь производственных отношений и рассмотреть специфические, для данной именно формации характерные формы общественных отношений вообще.

Неотъемлемая черта феодализма, как уже неоднократно подчеркивалось выше, — господство межличных, прямых социальных связей и их преобладание в раннефеодальном обществе над отношениями чисто вещного типа. Эта черта не есть специфический признак феодализма, ибо она характеризует любую формацию, в которой товарное производство не становится регулятором общественной жизни. Но без непосредственных личностных отношений между людьми нет феодализма. Недостаточный учет этого признака социальных систем в докапиталистических формациях — серьезное препятствие для достаточно глубокого их понимания.

Социальные отношения в феодальном обществе можно подразделить на несколько типов. Во-первых, это отношения господства, и подчинения между землевладельцами и зависимыми крестьянами, антагонистические отношения между господствующим классом и классов угнетенным. Во-вторых, это отношения покровительства и службы, обмена услугами между представителями различных категорий в господствующем классе: вассалитет, сеньориальное господство, сюзеренитет. В-третьих, это отношения сотрудничества и взаимной поддержки членов корпоративных и общинных групп. Нетрудно заметить, что если первый и второй типы феодальных отношений составляют систему «вертикальных» общественных связей (господство и подчинение), то третий тип характеризуется преобладанием «горизонтальных» социальных связей (членство в общине, цехе, гильдии, сословии, союзе и т.д.), в той или иной мере переплетающихся со связями «вертикальными».

Мы полагаем, что для характеристики феодальной системы существенно учитывать все эти типы социальных связей. Их сочетание может быть различным. В одних обществах корпоративное начало выражено сильнее (в Западной Европе), в других — слабее (например, в Византии), и это не может не накладывать своего отпечатка на всю систему. Не исключено, что, исходя из указанной типологии общественных отношений, можно было бы построить и типологию феодализма. Мы полагаем, что подобная типология имела бы преимущества перед той, о которой говорилось во Введении, когда северофранцузскую «модель» феодализма прилагают ко всем другим феодальным обществам, вынося им оценку «недоразвитый», «неклассический», «нетипический» феодализм⁴. Не случайно все чаще выдвигаются возражения против применения «западноевропейской модели» феодализма к

⁴ См.: *Удальцова З.В.* Задачи изучения генезиса феодализма в странах Западной Европы. «Вопросы истории», 1966, № 9, с. 61, ел.; *Бессмертный Ю.Л.* Изучение раннего средневековья и современность. «Вопросы истории», 1967, № 12, с. 92—93.

обществам, расположенным за пределами Европы⁵. Типология социальных связей позволила бы с достаточной гибкостью оценить все конкретное многообразие общественных систем, которые, несмотря на их специфические черты, можно и нужно относить к феодальному типу. Не исключено, что к этому типу принадлежат некоторые общества не только средних веков, но и древности, и Нового времени. Мы слишком привыкли ставить знак равенства между понятиями «феодализм» и «средневековье», но ведь это уравнивание, действительное для Европы, может оказаться и неверным для других частей земного шара.

Буржуазная историография обычно дает урезанное, лишенное существеннейших признаков определение феодализма, исключая из него систему отношений производства. Справедливо критикуя этот взгляд, историки-марксисты, как нам кажется, слишком поспешно вывели за рамки определения феодального строя в качестве «внешних» все его черты, не входящие в круг производственных отношений. По-видимому, при понимании феодализма как целостной функционирующей системы необходимо включать в его характеристику все типы социальных связей, устанавливая формы их соотнесенности и взаимодействия.

Печатается по изд.: Гуревич А.Я. «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе». М., 1970.

⁵ См.: *Coulborn R.* (ed.). *Feudalism in History*. Princeton, 1956; *Hall J.W.* *Feudalism in Japan — a Reassessment*. «Comparative Studies in Society and History», Vol. V, N 1, 1962; «Проблемы истории докапиталистических обществ». Кн. I.